

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

1956

11



1956

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 11

Ноябрь, 1956 г.

---

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<b>ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ. ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА...</b>	<b>3</b>
Е. Д. СТАСОВА — Накануне (Страницы воспоминаний)	
С. И. АРАЛОВ — Да здравствует власть Советов!	
ДЖОН РИД — Десять дней, которые потрясли мир (Фрагменты из книги)	
АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС — Встречи с Лениным (Фрагменты из книги)	
М. ФИЛИПС ПРАЙС — Русская революция (Фрагменты из книги)	
—	
Н. КОРЖАВИН — Родившимся в двадцатых, стихи	35
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — Новые стихи	36
ФЕДОР ПАНФЕРОВ — Недавнее прошлое, повесть	41
ЛЮБОВЬ КАБО — В трудном походе, повесть	105
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Е. ДРАБКИНА — «Спид-ап!» (По страницам зарубежной печати)	207
ОТВЕТ ЗАВОДА	225
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — Письмо другу	227
М. КОРАЛЛОВ — Калидаса	237
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
Елена Успенская. Труженики революции.— М. Щеглов. Роман о восставшем народе.— Иван Кашкин. Завоеванное право.— М. Алексеев. Поиски и находки.— М. Чарный. Душевные люди.— А. Палей. Рассказы и повести И. Ефремова.— А. Мамонов. Стихи друзей.	247
<i>Политика и наука</i>	
Г. Петровский. Воспоминания о В. И. Ленине.— А. Середа. Зимний взят!— И. Макарьев. Прекрасная жизнь.— Н. Сергеева. Книга президента Сукарно.— Мих. Леснов. Молодость древнего народа.— А. Николаева. США и независимость арабских стран.— Член-корреспондент Академии наук СССР А. Трайнин. Жан Поль Марат — теоретик уголовного права.— Иван Сергеев. Лицо страны.	265
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва



---

---

# ОЧЕРКИ ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ

## Октябрь 1917 года...

Е. Д. СТАСОВА

★

### НАКАНУНЕ

(Страницы воспоминаний)

**В** июне 1912 года я была арестована и после длительного заключения, в ноябре 1913 года, сослана на поселение в б. Енисейскую губернию (ныне Красноярский край).

Осенью 1916 года мне удалось вырваться из ссылки. Я откопала статью закона, согласно которой ссыльнопоселенец по отбытии некоторого срока имел право на «отпуск» в Европейскую Россию к престарелым родителям. Когда я нашла эту статью, товарищи смеялись над моими «юридическими» изысканиями и не верили, чтобы у меня что-нибудь получилось. Однако разрешение на выезд в Петербург, к родителям, всё же мне выдали. После этого кое-кто из ссыльных последовал моему примеру, в частности товарищ Ватиц (Быстрянский).

Но всё чуть было не сорвалось. До отъезда оставалось всего два-три дня, как вдруг ко мне внезапно нагрянул пристав с обыском. Если бы он накрыл меня за переписыванием материалов для бюллетеня, составлявшегося группой ссыльных-большевиков, чем я нередко занималась, кончилось бы плохо. К счастью, печатный и иной материал я держала в ящике с двойным дном, который мне изготовил товарищ по ссылке Попов, столяр по профессии, и пристав ничего не обнаружил.

Поездка из Красноярска до Питера навсегда осталась у меня в памяти. Вагоны 3-го класса были переполнены солдатами-сибиряками, возвращавшимися из отпуска на фронт. По подсчёту одного из солдат, нас находилось в вагоне 175 человек. Это вместо сорока!

Но, конечно, больше всего запомнились беседы со спутниками. Я спрашивала солдат об их собственных настроениях и о настроениях в тех частях, где они служили. Охоты воевать не было ни у кого. Все были уверены в поражении России, и всё же каждый возвращался в свою часть. Дисциплина не была ещё окончательно подорвана, хотя прежнего беспрекословного подчинения не было и следа.

Где-то под Пермью произошла интересная встреча в вагоне с несколькими немецкими пленными. Они работали на одном из заводов и ехали в Пермь покупать не то продукты, не то материал для работы. Солдаты сейчас же забросали их вопросами о настроениях в немецкой армии, и из всей беседы было видно, что нет никакой вражды, никакого озлобления, а скорее жалость друг к другу.

У меня было только крошечное место для сидения, и, когда ночью все располагались на ночлег, я не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Каждое утро (путь продолжался семь суток) солдаты говорили мне: «Ну, мамаша, теперь твой черёд. Лезь наверх, ложись спать» — и уступали мне верхнюю полку.

Отношения были самые дружественные, но я из осторожности долго не говорила солдатам, что возвращаюсь из ссылки. Когда солдаты всё же дознались, что я политическая ссыльная, начались бесконечные расспросы. Моих спутников живо интересовали всевозможные политические темы, да и не только политические — они жадно ловили каждое слово большевистской правды.

В Питере я немедленно связалась со Шляпниковым, Молотовым, Залуцким, М. И. Ульяновой, которые входили тогда в Бюро ЦК, и быстро включилась в партийную жизнь. Хотя я приехала лишь в отпуск, обратно в Сибирь так и не вернулась. Вскоре после приезда я серьёзно заболела, срок пребывания в Петербурге был мне продлён, а там наступила революция.

Перед самой Февральской революцией, 24 февраля, я вместе с отцом была на собрании у кого-то из адвокатов, где выступал Керенский с докладом о последних событиях. Он рассказывал о забастовке и демонстрации рабочих, состоявшейся 23 февраля.

В ночь после собрания к нам на квартиру явилась полиция и произвела обыск в той комнате, где я жила. Ничего предосудительного полиция не нашла, но меня всё же арестовали и отвели в Литейный полицейский участок, находившийся вблизи от нашей квартиры, на Фурштадтской, 26.

Когда я вошла в камеру, там была всего одна женщина, но арестованных всё приводили и приводили, и к концу дня нас набралось до восемнадцати человек. В камеру беспрестанно доносилась стрельба. Каждый раз при её усилении мы радовались — наша берёт, а при ослаблении падали духом — плохо, мол, наше дело.

Вечером 27 февраля после обычной поверки в участке установилась непривычная тишина. Обычно, проведя поверку, надзиратели сходились, пили чай и беседовали, а тут — ни звука. И вдруг необыкновенный шум — раскрывается дверь, врываются несколько человек. Мы сразу решили, что это черносотенцы. Они кричали: «Выходите, вы свободны!»

Я была старшей в камере, и получилось так, что все женщины стали за мной, как цыплята за наседкой, и спрашивают: «Елена, что делать?» У меня мелькнула мысль: черносотенцы, конечно, пришли, чтобы с нами расправиться, но если мы выйдем наружу, то там всё же можно бежать и спастись, в камере же деваться некуда. Я и говорю: «Айда, идём!»

У нас были подушки и одеяла, мы их захватили и пошли из камеры. Смотрим, все двери открыты. Выходим во двор, но нас ведут не на улицу, а во второй двор. Ну, думаю, сейчас начнётся расправа. Однако вместо толпы погромщиков мы увидели... пожарных. Оказывается, в этом втором дворе находилась пожарная команда и оттуда был выход на Сергиевскую улицу.

Увидев нас, пожарники начали махать своими шлемами и кричать: «Ура, свобода!» Тут я и догадалась, что нас освободили не черносотенцы, а уголовные, вышедшие из дома предварительного заключения и явившиеся выручать своих подружек, составлявших основное население полицейских участков. Тюрьмы были переполнены, поэтому жандармы держали политических по участкам.

На другой день я с утра пошла к Н. Д. Соколову, будучи уверена, что он в курсе всех событий и я смогу получить у него полную информацию. Николай Дмитриевич Соколов, известный петербургский присяжный поверенный, социал-демократ, примыкал к большевикам. Я знала его много лет.

На Воскресенском проспекте (ныне проспект Чернышевского) мне повстречался грузовик, переполненный солдатами и рабочими. Они разбрасывали листовки Петроградского Совета рабочих и солдат. Я подобрала одну из листовок, отнесла её домой и опять побежала к Соколову.

Он рассказал мне об образовании Совета и сказал, что ему нужно идти туда, в Таврический дворец, на заседание. Я пошла с ним.

В Таврическом дворце меня встретил В. М. Молотов. Вячеслав Михайлович дал мне поручение встречать всех большевиков, возвращающихся в Питер, и по поручению ЦК их регистрировать. И вот я опять в ЦК, опять секретарствую.

Большевики, освобождённые революцией из тюрем и ссылок, съезжались со всех концов России. Прибывали всё новые и новые члены Русского бюро ЦК.

Бюро ЦК для проведения практической работы в России, или Русское бюро ЦК, было образовано, как известно, в 1912 году на Пражской конференции. Первоначально в его состав входили Серго Орджоникидзе, Сурен Спандарьян, Сталин, я, Семён Шварц. Сразу же после побега из ссылки, в ноябре 1912 года, стал членом Бюро Яков Михайлович Свердлов; также состояли в нём в те годы Филипп Голощёкин, Григорий Иванович Петровский и ещё ряд товарищей.

Русское бюро ЦК было рабочим органом по практическому руководству партийной работой в России. Работало оно под руководством Ленина, который находился за границей и с которым Бюро стремилось поддерживать тесную связь. Когда того или иного из членов Бюро арестовывали, на его место вводили нового. Делалось это в рабочем порядке, согласовывалось с Лениным, и сейчас даже трудно сказать, кто в какое время входил в Бюро — так часто после Пражской конференции обновлялся и менялся его состав.

Особенно затруднялась работа после начала первой мировой войны, когда невероятно усложнилась связь с Лениным. Однако Бюро не прекращало своей деятельности, развернув особо энергичную работу в 1916 году, когда возглавил его В. М. Молотов.

Как-то, незадолго до Апрельской конференции, у меня на квартире собрались все находившиеся тогда в Петербурге члены Бюро ЦК. Были Молотов, Залуцкий, Стучка, Сталин, Голощёкин, Шляпников и другие товарищи, сейчас уже не упомяну всех, но пришло не менее двадцати пяти человек. И всё же многие отсутствовали — в Питере не было тогда Свердлова, Орджоникидзе, Петровского, не вернулся из-за границы Ленин.

Так выглядело после Февральской революции Русское бюро ЦК.

В марте 1917 года в Петербург дошли сведения о том, что на собрании-митинге в Ачинске Л. Б. Каменев выдвинул предложение послать приветственную телеграмму Михаилу Романову. Бюро ЦК на одном из заседаний обсуждало этот вопрос и сурово критиковало Каменева за его поступок. Тем не менее, когда Каменев приехал из Ачинска в Петербург, И. В. Сталин предложил ввести его в редакцию «Правды». Ряд членов Бюро ЦК считал это неприемлемым. Однако Сталин действовал очень настойчиво, и в конце концов его предложение прошло: Каменев был введён в редакцию «Правды».

Сталин и Каменев быстро захватили руководящее положение в редакции «Правды» и с мнением Бюро ЦК мало считались. Под их руководством газета повернула вправо и начала выступать за условную поддержку Временного правительства. В. И. Ленину по приезде из Швейцарии пришлось резко менять линию «Правды», проводившуюся Каменевым и Сталиным.

До Апрельской конференции Центральный Комитет так и не был сконструирован, работа велась скорее организационная, по собиранию сил. В первые дни Февральской революции у ЦК даже не было своего помещения, хотя партия и вышла из подполья. Помню, в начале марта в Таврическом дворце, прямо в коридоре, у входа в зал, мы поставили

обычный канцелярский стол и над ним повесили плакат: «Секретариат ЦК РСДРП (большевиков)».

За столом сидела я, и это был весь аппарат ЦК. Вокруг шла неопи-суемая толча, люди приходили и уходили. Моей помощницей в эти дни была С. М. Свердлова, сестра Якова Михайловича. Я ей давала много поручений, она бегала по разным организациям, по разным людям, даже пыталась одним пальцем печатать на имевшейся у нас машинке. Вскоре, однако, она уехала в Нижний Новгород. Тем временем аппарат ЦК расширился, начали работать сёстры Менжинские — Вера и Людмила Рудольфовны, Бронислав Веселовский.

Центральный Комитет вплоть до Апрельской конференции собирался от случая к случаю. Чаще всего члены Центрального Комитета и Бюро ЦК встречались друг с другом в помещении редакции «Правды», на Мойке.

В конце марта или начале апреля Военная организация, созданная сперва при Петербургском Комитете и ставшая вскоре после Февральской революции серьёзной силой в Петербурге, заняла бывший дворец Кшесинской. Все лучшие комнаты «Военка» (так называли сокращённо Военную организацию), где командовали Подвойский и Невский, захватила себе и отдала Петербургскому Комитету, а ЦК большевистской партии дали комнаты на втором этаже, правда, с роскошной ванной и с балконом. Там секретариат ЦК и разместился. В ванной мы устроили склад литературы.

В день приезда Владимира Ильича в Питер, 3 апреля, состоялось первое совещание большевиков с участием Ленина, на котором он изложил свои взгляды на задачи партии и революции. Совещание проходило во дворце Кшесинской, но не в наших комнатах, а в помещении «Военки». На следующий день Владимир Ильич выступил в Таврическом дворце и заявил, что старое наименование партии мы должны сбросить, как грязную рубашку<sup>1</sup>. Помню, как Ф. Дан с возмущением меня спрашивал: «Неужели вы с этим согласны?..»

Во дворце Кшесинской Владимир Ильич бывал не раз. Он собирал нас в комнатах секретариата ЦК, с нашего балкона выступал перед собиравшимся у дворца народом.

В конце марта ко мне на квартиру явились вернувшиеся из Туруханской ссылки Я. М. Свердлов и Ф. И. Голощёкин. Яков Михайлович, смеясь, сказал:

— Ну вот, вы приехали в Питер, совершили революцию и вызволили нас.

Но он пробыл в Питере недолго, вскоре уехал в Екатеринбург (ныне Свердловск), возвратившись обратно только к Апрельской конференции.

Владимир Ильич выступал на всех заседаниях Апрельской конференции. Он поражал своей неисчерпаемой активностью. Когда я вспоминаю Апрельскую конференцию, передо мной особо ярко встаёт образ Ленина и рядом с ним — Свердлова. Как и Ильич, Яков Михайлович был необычайно активен и особенно настойчив в проведении ленинской линии. Он приехал тогда делегатом от Урала, но с первого же дня явился душой конференции по всем организационным вопросам.

<sup>1</sup> В своём выступлении утром 4 апреля в Таврическом дворце на собрании большевиков В. И. Ленин изложил тезисы о задачах революционного пролетариата. Он считал необходимым изменить устаревшую программу партии и предложил отказаться от старого названия партии — социал-демократическая, так как это название загрязнило оппортунисты, изменники социализма. Он сказал, что большевистскую партию надо назвать Коммунистической партией, потому что её конечной целью является построение коммунизма. (Примеч. ред.)

Я впервые тогда встретила с Яковом Михайловичем на работе, хотя мы давно с ним знали друг друга и были дружны ещё с ссылки, по переписке. Он отбывал ссылку в Туруханском крае, а я — в Канском, Ачинском и Минусинском уездах.

Переписка наша была очень оживлённой, и мы оба с грустью в сердце уничтожали полученные письма. Прекрасно помню одно письмо Якова Михайловича, полученное мной в селе Курагино. Он сообщал мне тогда, что зачитывается перепиской Герцена и Огарёва. По этому поводу Яков Михайлович писал, что вот, мол, переписка Герцена с Огарёвым даёт необыкновенно яркую картину эпохи, в которой они жили. Наша же эпоха будет этого лишена, так как мы, получая интереснейшие и важные письма от партийных товарищей, вынуждены их уничтожать. Вот так приходится мне делать, писал он, с вашими письмами.

На Апрельской конференции Яков Михайлович Свердлов показал себя блестящим организатором. Партия тогда строилась по землячествам. И вот Яков Михайлович неумоимо путешествовал из одного землячества в другое, проводя в них линию В. И. Ленина по всем обсуждавшимся на конференции вопросам. Это он устраивал совещания товарищей, когда надо было сплотить их по какому-либо из спорных вопросов. Он подготавливал и составлял комиссии по разным вопросам конференции и так далее. Он же подготавливал и список кандидатур в члены Центрального Комитета партии для обсуждения на конференции.

По вопросу о составе ЦК у него был спор с В. И. Лениным. Свердлов сумел провести свою точку зрения. Это был вопрос по поводу секретарей Центрального Комитета. Владимир Ильич считал, что в состав ЦК надо ввести как организаторов Н. К. Крупскую и меня, говоря, что партия бедна организаторскими силами и что ЦК нуждается в таких опытных организаторах, какими являемся, по его мнению, мы. Свердлов же полагал, что нет необходимости вводить секретарей в состав ЦК, что они могут работать в аппарате, не будучи членами Центрального Комитета. Владимир Ильич с ним в конце концов согласился, и мы обе не вошли в состав ЦК, выбранного на Апрельской конференции.

Какое бы крупное начинание ни стояло на повестке дня, Яков Михайлович был неумолим в его проведении. Можно было только удивляться тому, как он успевал быть везде и проводить все те встречи, совещания, количество которых просто невозможно сосчитать. Так происходило и в июльские дни и во время подготовки Октября. Яков Михайлович всегда и везде успевал.

С конца марта по июнь секретариат ЦК партии, как я уже указывала, помещался в бывшем дворце Кшесинской. В конце июня, когда положение обострилось и нам пришлось спешно покинуть дворец, весь архив партии и все документы ЦК несколько дней находились у меня на квартире. Затем секретариат Центрального Комитета обосновался в помещении клуба Интернационала на Коломенской, а в конце августа или начале сентября 1917 года переехал в дом Сергиевского братства по Фурштатской, 19. Публика говорила об этом здании, что ЦК помещается под крестами, намекая на то, что на входных дверях с улицы в матовых стёклах были прозрачные кресты.

Это помещение раздобыл Яков Михайлович вместе с В. Р. Менжинской. Сделал он это с определённой целью. В передних комнатах с лестницы помещался склад издательства ЦК «Прибой». В секретариат можно было попасть только через него, а в случае появления полиции можно было через чёрную лестницу (которая не выходила во двор, а вела в церковь) подняться туда и в церкви спрятать нужные материалы ЦК.

Всё это время я работала секретарём ЦК, а впоследствии — секретарём Северного областного комитета партии.



Многосторонние обязанности лежали тогда на секретаре Центрального Комитета партии. Ведь, грубо говоря, это был человек на все руки, на все дела.

В мои обязанности входило: во-первых, приём товарищей и ответ на их вопросы во всех областях партийной деятельности, а также снабжение их литературой; во-вторых, ведение протоколов заседаний ЦК; в-третьих, писание и рассылка директив ЦК; в-четвёртых, финансы ЦК. Кроме того, мне же приходилось шифровать документы и заниматься вопросами снабжения. Помню, например, звонит Владимир Ильич и говорит, что такой-то товарищ едет на фронт, надо достать ему валенки,— значит приходилось доставать валенки.

Много хлопот было с финансами. Достаточно сказать, что по окончании рабочего дня сотрудник из «Правды» привозил в секретариат ЦК всю дневную выручку от продажи газеты в розницу. Это были бумажные «керенки»-копейки, которые надо было пересчитать, а на другой день получить за них в банке общую сумму в более удобных знаках, чем копейки и трёхкопейки.

К каким только способам не приходилось прибегать для получения денег на нужды ЦК! Так, в конце 1916 и в начале 1917 года я распространяла, то есть попросту продавала, фотографии с какого-то вечера у фрейлины императрицы Вырубовой с участием Распутина. После убийства Распутина эта фотография была в большом ходу в либеральных кругах, и я её продавала без конца.

Или такой финансовый вопрос. После Октября наркомом юстиции был назначен Пётр Иванович Стучка. Он обнаружил в делах Наркомюста документ о залогах, внесённых после июльских дней за арестованных товарищей. Сумма эта составляла что-то около восьми тысяч рублей, если мне не изменяет память. И вот мне было поручено получить эти деньги в Госбанке по соответственной доверенности ЦК партии.

Я спокойно пошла одна в Госбанк, получила деньги и, положив их в портфель, отправилась из Госбанка к себе в секретариат на Фурштадтскую. По пути села в трамвай. На нужной мне остановке вышла из трамвая и пошла по улице. Только дошла до угла Фурштадтской и Друскеникского переулка, как слышу, сзади кричат: «Стой!» Я оглянулась и увидела незнакомого человека, одетого матросом. Надо сказать, что тогда в Питере немало бандитов надевало матросскую форму и бесчинствовало под видом моряков.

На улице виднелись лишь отдельные пешеходы да дворники, лениво подметавшие мостовую. Я пошла дальше, держа по-прежнему портфель под мышкой. Вдруг чувствую, что за него сзади уцепились. Я схватила портфель другой рукой, тогда незнакомец грубо выругался и дал мне подножку. Я упала, но портфель не выпускала. Он протащил меня по мостовой, ещё раз выругался, вырвал портфель и побежал к стоявшему в переулке автомобилю. Я вскочила и бросилась вслед, стараясь увидеть номер машины, но расстояние было слишком велико для моих близоруких глаз.

При падении я ударила лицом о мостовую и ссадила себе крепко кожу. Пошла кровь. Около меня начала собираться толпа. В числе любопытных оказался проходивший мимо знакомый, присяжный поверенный Григорьев. Я спросила его, почему он не помог мне, а он ответил, что думал, будто это... «семейное дело». Тут же мы с ним пошли в ближайший участок милиции, где я сообщила о происшедшем.

Позднее меня несколько раз вызывали на Гороховую, где помещалась ВЧК, и показывали разных задержанных. Один из них был очень похож на грабителя, и я попросила надеть на него матросскую бескозырку. Арестованный пришёл в ужас и упал на колени, прося прощения и гово-

ря, что он не был на Фурштадтской в тот день, когда произошло ограбление. В бескозырке лицо его изменилось, я увидела, что это не тот. Несомненно, скрывшийся бандит никак не думал, что я получила из Госбанка всего восемь тысяч рублей, так как по тем временам это была слишком маленькая сумма для грабителей.

...Помню дни VI съезда, хотя присутствовать на нём мне не довелось. Я как-то пошла в бывший дом Сампсониевского братства, где вначале заседал съезд. Председательствовал М. С. Ольминский. Он увидел меня, подозвал к себе и спросил:

— Ты это зачем сюда пришла?

Я ответила:

— Пришла на заседание съезда.

— А ты не знаешь, — заявил Ольминский, — что мы заседаем нелегально и что нас могут арестовать? Немедленно уходи. Тебе нельзя попадаться.

Так я и ушла.

По окончании съезда ко мне пришёл Яков Михайлович и ознакомил с составом избранного Центрального Комитета. Записи никакой во время заседания не велось, выборы проводились строго конспиративно, и результаты выборов Свердлов занёс шифром в свою неизменную записную книжечку. Этот список он зачитал на первом же пленуме ЦК, собравшемся сразу после съезда, 4(17) августа.

В августе 1917 года в Петербурге проводились выборы в районные и городские думы. За время после июльской демонстрации, после арестов и наступления Корнилова настроение у всего населения, не говоря уже о рабочих, очень изменилось, а потому выборы проходили совсем в иной атмосфере, чем то было в начале июля. Другим стало и отношение к большевикам. Многие простые люди говорили, что голосовать надо за нас, большевиков, так как, мол, большевики борются за бедный люд, за мир, хотят дать хлеб всему населению и землю крестьянам.

Выборы, как известно, дали Коммунистической партии много голосов и значительное преобладание в ряде районов. В Выборгском районе был выделен специальный Лесновский подрайон, и в нём председателем, или головой, был выбран М. И. Калинин. Была выбрана членом подрайонной думы и я.

Заседания думы происходили сравнительно часто. Перед каждым заседанием собиралась партийная фракция, чтобы получить точную информацию, распределить выступления, подсчитать голоса и принять меры для того, чтобы увеличить число своих голосов за счёт неустойчивых элементов думы. Секретарскую работу в подрайоне думы вёл тогда, будучи ещё студентом, ярый большевик Весник.

Помещение подрайонной думы мы использовали для наших партийных собраний. После этих собраний, глубокой ночью, в полной темноте, приходилось пешком возвращаться домой вдоль всего Сампсониевского проспекта.

В нашей же подрайонной думе 16 (29) октября проходило и знаменитое заседание ЦК с представителями Исполнительной комиссии Петербургского Комитета партии, Военной организации, профсоюзов, обсуждавшее решение ЦК партии о вооружённом восстании, которое было принято за неделю до этого.

10 (23) октября Центральный Комитет собрался на квартире меньшевика Суханова, там и было принято решение о восстании. Договаривалась о предоставлении квартиры я. Когда в марте 1917 года я работала в секретариате ЦК в Таврическом дворце, мне каждодневно приходилось встречаться с Галиной Константиновной Сухановой, женой Суханова, работавшей секретарём газеты «Известия».

Г. К. Суханова, в отличие от своего мужа, была большевичкой. Она чем могла помогала мне в работе по секретариату ЦК. Помогала она и работникам «Правды»: постоянно хлопотала, чтобы «богатая» редакция «Известий» — орган Совета — давала «Правде» курьеров и оказывала иную техническую помощь. Чем ближе я с ней сходилась, тем больше убеждалась, что Галина Константиновна не разделяет взглядов своего мужа и искренне, по существу идёт с большевиками. Эта уверенность и заставила меня обратиться к ней, когда возник вопрос о помещении, где можно было бы провести заседание Центрального Комитета. Г. К. Суханова охотно предоставила свою квартиру. Её муж ничего не знал об этом заседании.

В Октябрьские дни мы сговорились с Я. М. Свердловым, что я приду к нему в Смольный, чтобы договориться о переводе туда секретариата ЦК. Это было числа 28—29 октября (10—11 ноября).

Смольный кипел, как котёл, и разыскивать кого-либо было чрезвычайно трудно. Ходила я из комнаты в комнату, как вдруг меня встретил кто-то из работников Совета и попросил помочь. Дело шло о каком-то иностранце, не то шведе, не то норвежце из посольства, который просил дать ему ордер на дрова. Он не говорил по-русски, и вот товарищ и вытащил меня объясняться с иностранцем. Ордер ему выдали.

Потом надо было зарегистрировать у одной молодой женщины новорождённого. Она пришла не в церковь, не куда-нибудь, а в Смольный. Нельзя же было ей отказать!.. И пошло одно дело за другим.

С Яковом Михайловичем мы встретились только поздним вечером, и он сказал мне, что положение не очень устойчивое. На Петербург наступали Краснов с Керенским. В самой столице подняли восстание юнкера. Свердлов считал, что мне лучше оставаться пока на Фурштатдтской улице.

Тут же мы условились о выпуске «Бюллетеней ЦК» (их вышло восемь-девять номеров), в которых сообщали крупным партийным организациям о событиях по всей России.

---

С. И. АРАЛОВ

★

## ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

Много было пережито мной за долгую жизнь, много ярких, незабываемых событий сохранила память, но наиболее отчётливо запомнились дни работы Второго Всероссийского съезда Советов, делегатом которого мне посчастливилось быть.

На съезд я попал в качестве делегата от 3-й армии, с Западного фронта.

В 1917 году мне довелось присутствовать на многих солдатских собраниях и революционных митингах, участвовать во множестве различных заседаний, но такого революционного подъёма, такого единства ещё никогда не приходилось видеть. (Маленькая кучка эсеров и меньшевиков не в счёт. Они сгруппировались где-то слева в проходе, что-то выкрикивали, хмурые, жалкие по сравнению со всем кипящим, живым и грозным собранием, заполнившим зал Смольного.)

Когда я ехал в Петроград с фронта, мне не всё было ясно — я говорю о сроках пролетарской революции. Невольно вспоминались события революции 1905 года, участником которых мне пришлось быть. Победы, поражения и ошибки тех времён приходили мне на память, я сравнивал

их с современными событиями. Но когда с товарищами фронтовиками мы прибыли в столицу, встретились с рабочими и особенно когда увидели, что делается на съезде Советов, услышали речи делегатов, то и сердце, и душа, и ум сроднились со всем залом. А зал этот олицетворял весь русский трудовой народ — солдат, рабочих, крестьян. Нет, это не была серая масса, солдатская «бессловесная скотинка», жертвы самодержавного строя, как многие рассматривали тогда простых людей труда. Это был вновь родившийся свободный народ, который наконец-то почувствовал свою богатырскую силу. И надежды миллионов, и страдания миллионов, и их твёрдую волю выразил величайший человек — Ленин, руководитель большевистской партии.

Не буду подробно рассказывать о Втором съезде Советов — он уже достаточно описан, его исторические документы известны всем. Приведу только несколько штрихов — может быть, они чем-нибудь дополнят картину.

## 1

Приехав в Петроград, мы предъявили свои мандаты в организационный комитет, в Смольный, и получили взамен беленькие небольшие листочки полутвёрдой бумаги, где было написано, что такой-то является делегатом съезда; помню, очень скромный вид был у этих драгоценных листков.

Наскоро закусив продуктами, которые в вещевых мешках привезли с собой, мы тотчас же вышли на улицы. Хотелось посмотреть, что делается возле Зимнего дворца, обойти центр города, побывать на заводских окраинах.

По осенним улицам шагали рабочие с винтовками. Они учились военному делу — маршировали, перебежали рассыпным строем. Их обучали солдаты Петроградского гарнизона.

Удивительное дело: Керенский со своими министрами мечут громы против большевиков, в «предпарламенте» выступают с наглыми заявлениями, что большевикам-де крышка, что Временное правительство сильно и так далее, а в это время большевики открыто обучают рабочих не только политике, но и умению воевать, готовят к борьбе, учат овладевать узловыми пунктами столицы во время революции. Это я сам слышал, наблюдая за занятиями Красной гвардии на улицах Питера.

Солдаты учили рабочих, а красногвардейцы в свою очередь обучали своих военных учителей.

Поглядел я на всё это и понял, что сила революционных, большевистских идей прочно овладела рабочей и солдатской массой, что буржуазии не сохранить уже своей власти. Час пробил. И... куда только девались все мои сомнения!

С таким настроением вернулся я в Смольный.

Открылся съезд. Зал заседаний полон до отказа, заняты все уголки, подоконники, проходы. Сесть удалось далеко не всем — люди часами стоят на ногах, но никто и не думает уходить. Тесно, душно. Рабочие в пальто, в тужурках, солдаты — в видавших виды шинелях. Особенно много солдат, или это мне так кажется? Шинели распахнуты, серые папахи заломлены на затылок. Лица распарены от жары, красные, возбуждённые, но счастливые. В зале непрерывный гул: возгласы, реплики. Когда оратор мямлит что-то неинтересное, делегаты переговариваются друг с другом. Но вот на трибуне одного оратора сменяет другой, чья речь попадает в точку, и тогда то и дело в аплодисментах взлетают руки присутствующих.

Припоминаю выступление одного из лидеров меньшевизма, Мартова. Он говорил что-то о крови, проливающейся на улицах Петрограда. На

меня он произвёл впечатление беспомощного человека, у которого «всё в прошлом». Кто-то из солдат громко закричал: «Ну тебя к чертям!», кругом зашумели, а Мартов всё не покидает трибуны и монотонно тянет волюнку о том, что его партия «снимает с себя всякую ответственность»...

Когда меньшевики и эсеры заявили, что уходят со съезда, зал вспыхнул возмущением. Несутся крики: «Корниловцы!», «Лакеи капитализма!», «Целуйтесь с Керенским!», «Дезертиры!»

Солдаты, рабочие, наваливаясь друг на друга, окружили трибуну, президиум... Кто-то крикнул, что меньшевики с эсерами пошли спасать Временное правительство, Зимний дворец. Это вызвало смех: «Туда им и дорога! Контра!»

Кучка эсеров и меньшевиков не казалась нам тогда опасной, настолько велика уже была уверенность в победе пролетарской революции.

Съезд заседал всю ночь, с 25 на 26 октября (7—8 ноября). Поздней ночью было принято обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!» о низложении Временного буржуазного правительства, о том, что вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.

Революция победила.

После многих выступлений, всяких внеочередных и очередных заявлений, которые улетучились уже из памяти, вдруг вскочил на подмостки матрос. Помню его крепкую, коренастую фигуру. Он твёрдо отчеканил о взятии Зимнего и об аресте Временного правительства. Буря восторгов после каждой его фразы, каждого слова... Наконец выступил Ленин. Это было уже на второй день заседания съезда (если можно вообще-то говорить о втором дне — мы и не заметили, как ночь сменилась тусклым осенним петербургским деньком).

Ленина ждали. Делегаты хотели увидеть любимого вождя и организатора победившей революции. Многие (и я в том числе) никогда не видели его. И вот он здесь, среди нас.

Долгие минуты Ленин не мог начать свою речь, столь огромен и безбрежен был разлив радости,

Наконец в зале немного стихло. От Ленина ожидали пламенной программной речи, а он просто и спокойно, без всяких торжественных вступлений, заговорил о том, что было понятно и дорого всем, — о мире.

Сказал буквально несколько слов (в Собрании сочинений В. И. Ленина они занимают всего лишь пять строчек). Сказал о том, что вопрос о мире есть жгучий, больной вопрос современности, и тотчас же приступил к чтению Декрета о мире, предупредив, что этот Декрет должно издать избранное нашим съездом правительство.

И это начало ленинской речи как бы характеризовало и суровый облик революции, и деловой характер Всероссийского съезда Советов, и ту практическую линию, на которую следует ориентироваться вот так, сразу, с первых же часов Советской власти.

В кратком заключительном слове по докладу о мире, произнесённом В. И. Лениным на том же заседании, особенное впечатление произвели его слова о силе народа, о силе государства. «По нашему представлению, — сказал Владимир Ильич, — государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы всё знают, обо всём могут судить и идут на всё сознательно».

Никакой тайной дипломатии, во всём действовать открыто! — эти ленинские слова запали в душу. Да и вся его речь о мире и вторая речь — о земле — ответили на те самые жгучие, самые насущные вопросы, которые волновали миллионные народные массы.

Как горячо мы, вояки, мечтали о мире! Сколько было переговорено на эту тему в окопах и землянках!.. Каким образом удалось Ленину услышать эти наши разговоры, как узнал он то, что жило в наших сердцах?..

Голосования, в нашем теперешнем понимании, при принятии документов Октябрьской революции — декретов и обращений — на съезде не было.

Все встали. Крики, овации. Шапки, папахи полетели вверх. Запели «Интернационал».

Я видел слёзы на лицах солдат, на глазах стоявших рядом мужественных пожилых людей, да и мои глаза затуманились. Плача от счастья и радости, мы пели. И президиум съезда и Ленин пели вместе со всеми.

Но вот кто-то с трибуны прокричал, перекрывая овации и шум:

— Работой, бешеной работой, организацией будем закреплять нашу власть, нашу победу! Капитализм не вернётся. Поклянёмся быть верными, стойкими, преданными Советской рабоче-крестьянской власти!

Тысячи голосов ответили:

— Да здравствует власть Советов!

## 2

После Второго съезда Советов я направился в свой старый, 114-й пехотный Новоторжский полк, в котором воевал. От полка этого я был в своё время выбран в дивизионный комитет, из дивизионного комитета — в армейский, а оттуда уж меня делегировали на съезд Советов. Но «родной» своей, разумеется, считал 114-й полк. Он стоял на Западном фронте, а в дни Октября по какой-то причине был переведён в Финляндию. Туда я и поехал.

Поехал, чтобы вернуться к солдатской массе, так как чувствовал, что за последние месяцы, работая в различных комитетах, отрываюсь от солдат. Хотелось проникнуть опять в душу солдата, узнать, как «человек с ружьём» относится к Советской власти, ко всем политическим событиям.

В то время не было такого правила, по которому делегат должен был отчитаться перед теми, кто послал его на съезд. Но мы, делегаты съезда, считали это своей обязанностью; солдаты (и офицеры) с большим интересом слушали рассказы об Октябрьской революции в Питере, о Ленине и руководителях партии большевиков.

Выступая на митингах, рассказывая об историческом съезде и его решениях, я почувствовал, что солдаты понимают Советскую власть, понимают, что это народная власть. Агитировавших за то, чтобы выбрать в Учредительное собрание меньшевиков и эсеров, с треском провалили. Однако не обошлось и без нездоровых явлений. Так, например, был выброшен лозунг: «Конец денежному ящику!» Его «авторы» предлагали все полковые деньги раздать солдатам, распределить поровну между всеми. Придумали эту штуку анархисты, они довольно ловко воздействовали на крестьянскую мелкособственническую психологию: поедешь, дескать, домой, и вот тебе деньжата на поправление хозяйства...

С помощью Солдатского совета мы без особого труда нейтрализовали влияние анархистской группы.

Солдаты выбрали меня помощником командира полка, и в этой должности мне пришлось расформировывать часть, демобилизовать её личный состав. Уезжая по домам, солдаты прихватывали винтовки. Они объясняли: в деревне неизвестно что и как, может, придётся Советскую власть защищать, пусть уж лучше со мной винтовочка останется...

В январе 1918 года и я возвратился в родную Москву. Явился в Московский военный округ. Здесь получил поручение: организовать оперативный отдел.

## 3

В Опероде округа я работал январь, февраль и половину марта 1918 года. После переезда правительства из Петрограда в Москву меня перевели на должность заведующего Оперативным отделом Наркомвоенмора, а в сентябре, когда был организован Революционный военный совет Республики, назначили членом Реввоенсовета.

Я не оговорился, сказав, что был заведующим, а не начальником отдела — так, по-граждански, в то время называлась эта командная должность в сугубо военном учреждении.

В силу обстановки той поры Оперативный отдел занимался не только оперативным военным руководством, но и вопросами снабжения боеприпасами, снаряжением и продовольствием, подбором командиров и политическими кадрами, агитаторами и рассылкой литературы и тысячами, тысячами всевозможных крупных и мелких текущих дел. Когда в Москве проводились операции по подавлению анархистских выступлений, левозерозского восстания, пришлось принимать непосредственное участие и в этой работе. Но в основном можно сказать, что до формирования полевого штаба Реввоенсовета Оперод по своим функциям играл в известной степени роль генерального штаба Красной Армии.

Надо ли говорить, что работа эта была громадной. Днём и ночью не знали мы отдыха. Бесконечные телеграммы со всех концов страны, телефонные звонки, ежедневно сотни посетителей с различных фронтов и из различных отрядов, и ежечасно всё новые и новые требования, диктуемые моментом.

А начинать пришлось буквально на пустом месте. Из Московского военного округа перешло нас в Наркомвоенмор человек пятнадцать. Отвели нам целый особняк на Пречистенке, дом № 37, и сказали: «Действуйте!» Сразу навалилась уйма работы. И по мере того, как возникали всё новые задания, нам приходилось приглашать новых сотрудников. Таким порядком к нам прибыли молодые генштабисты выпуска 1916—1917 годов. Они были лояльны к Советской власти и, понимая, что возврата к старому нет, основательно нам помогли. Постепенно мы стали обрывать, появились топографы и другие специалисты.

Но, подчеркну, народ у нас был всё молодой, опыта, конечно, мало. Да и я, руководитель, офицер военного времени, не получивший военного образования, часто становился в тупик. Выручали горячее стремление овладеть серьёзным делом, революционный энтузиазм и, разумеется, дружная совместная работа с коллективом — один не решу, посоветуемся, обмозгуем, и решим вместе. Справлялись.

Для того чтобы читателю была яснее обстановка, в которой действовал Оперод, укажу, что вначале у нас не было даже своего телеграфного пункта; приходилось ездить на Мясницкую, на Главный телеграф, а чаще всего и пешком ходить, ведь автомобиль имелся единственный, гонки много, да и с бензином было очень трудно.

Кстати, о нашем автомобиле, шегольском «фиате», реквизированном у шёлкового фабриканта Жиро, владельца фабрики, помещавшейся в Хамовниках (ныне «Красная Роза»). Во время первой мировой войны мадам Жиро и её дочери организовали отряд Красного Креста для выздоравливающих. Мне пришлось с неделю пробыть в этом отряде начальником охраны. Там я и был представлен дамам-патронессам. С тех пор прошли грозные месяцы войны, революции, гражданской войны. И вот к заведующему Оперодом неожиданно является депутация, состоящая из..

дочери Жиро — Жермены и самой мадам. Цель «депутации» — пользуясь «старым знакомством», уговорить меня вернуть им «фиат». Пришлось разочаровать дам, решительно отказав им. Так ни с чем они и ушли, а автомобиль продолжал обслуживать Оперод...

После переезда правительства из Петрограда в Москву, в марте 1918 года, Владимир Ильич собрал у себя в кабинете совещание военных работников. Были вызваны руководители Наркомвоенмора (помню, что был Склянский), Московского военного округа и некоторые специалисты, в том числе генерал царской армии М. Д. Бонч-Бруевич, брат Владимира Дмитриевича, большевика. Обсуждался вопрос об организации и строительстве Красной Армии, об обязательной военной службе, о взаимоотношениях командиров и комиссаров.

В кабинете Председателя Совнаркома было холодно. Владимир Ильич сидел за своим рабочим столом, накинув шубу, в шапке. Он внимательно вслушивался в рассуждения выступавших, подавал реплики. Чётко запечатлелось, что Ленин тогда твёрдо поставил вопрос об обязательности всеобщей действительной военной службы, доказывая, что Советскую власть должны защищать все граждане, исключая, конечно, классовых врагов. У нас должна быть классовая армия! Ленин кратко сказал также, что необходимо обязательно создать институт комиссаров, как некий контрольный аппарат, представляющий в армии Советскую власть, и как воспитательный центр, ведущий коммунистическую пропаганду в частях, разъясняющий значение борьбы с контрреволюцией.

Примерно с этого времени, после совещания, о котором я сейчас упомянул, Ленин взял Оперод на заметку, запрашивал у нас сведения по оперативным вопросам, да и по другим — о подготовке и посылке на фронт комиссаров, политработников и агитаторов, о снабжении боевых подразделений.

Чаще всего рано поутру раздавался телефонный звонок, и знакомый голос вождя спрашивал: «Расскажите, что делается на фронтах?»

Тогда не была принята такая официальная форма доклада, какая существует сейчас, не надо было рапортовать; заведующий Оперодом, докладывая обстановку на фронтах за вчерашний день и минувшую ночь, просто говорил: «Владимир Ильич, там случилось то-то и то-то, сделано то-то». Доклад был по форме простой, но Ленин требовал исключительной конкретности и точности.

Иногда приходилось сообщать: «Вот, Владимир Ильич, произошла такая неприятная история — наши части отошли, или — такое-то воинское соединение оставило соседа без помощи». В таких случаях Ленин, бывало, замечал: «Это досадно. Но вам ведь не видно, что они там делают, а может быть, следовало отойти? Проверьте. Надо чаще сотрудникам Оперода ездить на фронт, издали трудно судить...»

Обычно телефонный разговор с Владимиром Ильичём продолжался минут пять—десять. Коротко говорили, он не любил длительных переговоров по телефону. Но когда вызывал к себе, беседа протекала по-иному.

Владимир Ильич подходил к карте России, висевшей на печке (на крышке отдушника), и я докладывал о том, что произошло на фронтах за прошедшие сутки или за более продолжительное время. Иногда при этих докладах присутствовал Яков Михайлович Свердлов. Владимир Ильич требовал особенно подробных объяснений при неудачах, отступлениях. Выяснял причины, спрашивал, что нами предпринято для исправления, посланы ли подкрепления. Тут же Владимир Ильич давал указания, советы, критиковал нас.

Порой Ленин посоветуется со Свердловым, а то и скажет ему: «Яков Михайлович, помогите Аралову подобрать толковых людей, худо у них



с этим, а на Троцкого рассчитывать не приходится». (Троцкий, как известно, был в ту пору наркомом военно-морских сил.)

Свердлов понимающе кивал головой и вскоре либо сам приезжал к нам в Оперод, подробно выяснял наши нужды, либо вызывал меня к себе.

Однажды я пожаловался Владимиру Ильичу, что некоторые отряды не выполняют боевых приказов. Он заметил тогда: строгую дисциплину вводите, непременно добивайтесь выполнения приказов — расхлябанность, партизанщина поведут к поражению; особенно боритесь с партизанщиной — это ведь, по сути дела, анархия; беспощадно наказывайте нарушителей, предавайте трибуналу ослушников.

А потом, прищурившись, хитро на меня посмотрел и добавил:

— А может быть, на месте виднее, когда надо отступить или наоборот — идти вперёд?.. Вы находитесь далеко, поэтому не знаете обстановки. Необходимо прислушиваться к красноармейцам, командирам. Не отрывайтесь от боевых отрядов. Внимательно продумывайте предложения командиров.

И продолжал убеждённо: без дисциплины ни одна армия в мире не может существовать; в Красной Армии надо добиваться сознательной дисциплины, ибо величайшая легла на неё честь — быть первой социалистической армией в борьбе с мировым империализмом. Нам, говорил Владимир Ильич, нужна не палочная дисциплина, как в царской армии, а сознательная самодисциплина, чтобы каждый красноармеец продумал, понял свою великую роль и помнил, что он защитник социалистического Отечества, защитник народа!

...Пришла телеграмма с одного из узловых участков Восточного фронта — требование срочно прислать военные припасы. Ленин направил телеграмму в Оперод, на моё имя, с припиской: «Немедленно выполнить». И вскоре позвонил по телефону:

— Получили вы, товарищ Аралов, телеграмму?

Когда я ответил, что пока не получал, ничего о ней не знаю, Владимир Ильич предложил:

— Потребуйте почту и посмотрите — я подожду.

Но и в текущей почте этой телеграммы ещё не было. Тогда Владимир Ильич подробно изложил суть дела и добавил:

— Это архиважно. На вас лично, товарищ Аралов, возлагаю ответственность за немедленное исполнение. Сколько дней вам потребуется? Я замаялся, помедлил с ответом.

Ленин сказал:

— Даю вам категорически неделю на всё, вплоть до отправки. Хорошо? Нужна будет моя помощь — звоните в любое время.

Надо было послать на этот участок фронта винтовки, патроны, орудия, снаряды и различное другое военное снаряжение, а главное — в большом количестве. Кроме того, Владимир Ильич возложил на Оперод формирование эшелона для отправки всего собранного.

Задача была не из лёгких. При этом следует представить себе, что мы полностью не знали всех запасов и резервов, не всё было взято на учёт. К тому же многое нужно было ремонтировать. Сотрудники Оперода приложили все силы, чтобы выполнить распоряжение Ленина. Пришлось основательно пометаться по Москве. Тогда, в 1918 году, нужно было самим везде бывать, самим выяснять наличие тех или иных припасов, добиваться, чтобы при тебе отправили отобранное, только тогда можно было быть уверенным, что оно поступит на склад.

Через несколько дней всё было найдено, приведено в порядок и направлено на Рязанский вокзал, где формировался поезд. Но здесь мы

встретили сопротивление кос-каких работников железной дороги, столкнулись с саботажем. Пришлось прибегнуть к помощи Владимира Ильича. Его вмешательство быстро разрядило обстановку. Эшелон ушёл на фронт.

В июне 1918 года (числа не помню) Владимир Ильич приехал в Оперод вместе со Свердловым и выступил перед собранными здесь политработниками, отправлявшимися на Восточный фронт, на борьбу против мятежного чехословацкого корпуса. Политработников было больше сотни — преимущественно московские, петроградские, иваново-вознесенские рабочие; большей частью люди среднего возраста, закалённые большевики. Многие из них потом на фронтах отдали жизнь свою за Советскую власть.

К сожалению, я не вёл записи и, конечно, не могу сейчас передать точно все слова, мысли Владимира Ильича, сказанные тогда. Ленин обрисовал общее положение на фронтах гражданской войны. Говоря о чехословацком мятеже, о захвате волжских городов, он прямо указал, что чехословацкий корпус продан франко-английским империалистам и действует в их интересах, а империалисты пылают ненавистью к Советской России. Врезалась в память фраза: «Помните, Советская власть приводит в бешенство, в ярость буржуазию». Говорил, что мы окружены со всех сторон империалистическими хищниками, а изнутри их поддерживают недремлющие контрреволюционеры. Ваше дело, обращаясь он к присутствующим, вдохнуть бодрость в ряды Красной Армии. Трудно, но надо преодолеть усталость, ненависть к войне, ибо мы ведём революционную войну и для этого пополняем Красную Армию революционным пролетариатом.

Закончил он примерно так:

— Вы, пролетарии Москвы, Питера, Иваново-Вознесенска, вступая в армию, укрепляете полки, отряды. Поднимите дух и объедините красноармейцев, помогайте командирам и сами учитесь, учитесь, учитесь воевать. Проверяйте каждый шаг спецов, каждое распоряжение и вместе с тем учитесь у них. Нет ничего стыдного в том, чтобы учиться у знающих людей, нет в этом никакого умаления комиссарского звания, пролетарского достоинства. И вместе с тем вы, комиссары, обязаны смотреть в оба за специалистами, но не терроризируйте их. Умело надо подходить...

Простые слова вождя, сказанные без пафоса, произвели на слушателей очень большое впечатление.

#### 4

В Оперод Владимир Ильич Ленин заезжал не раз. Появится неожиданно и тотчас же начнёт подробно расспрашивать о делах, внимательно выслушает, со знанием дела рассмотрит наши оперативные карты, а потом даст, как всегда, чёткие и абсолютно ясные указания.

Кроме Владимира Ильича, в Опероде бывали Свердлов, Дзержинский, Чичерин и другие товарищи.

Хорошо запомнилось одно из посещений Дзержинского, когда Феликс Эдмундович приехал специально, чтобы разобраться в судьбе некоторых офицеров, арестованных по подозрению в участии в контрреволюционном заговоре. Они содержались тогда в бывшем Алексеевском юнкерском училище в Лефортове. Дело в том, что Владимир Ильич предложил Дзержинскому вместе со мной проверить, не попали ли в среду контрреволюционеров люди случайные, которых можно использовать в Красной Армии. Ленин подходил к людям осторожно, внимательно, никогда не рубил с плеча.

В этой связи уместно вспомнить ещё об одном разговоре Владимира Ильича со мной, разговоре, который состоялся позже, весной 1919 года, перед началом VIII съезда партии.

Мне было поручено доложить делегатам съезда обстановку на фронтах. Ленин, встретив меня в Кремле, близ своего кабинета, остановил и тут же, в коридоре, около окна, дал обстоятельные советы, как лучше построить доклад. Довольно подробно он говорил о роли военных специалистов, бывших генералов и офицеров, честно служивших революционному народу, рекомендовал отметить их работу и даже перечислил несколько фамилий. И тотчас же — он никогда не упускал подходящего для этого случая! — снова подчеркнул роль и значение комиссаров и политработников.

Мой великий собеседник был столь увлечён изложением своих мыслей, что буквально прижал меня к стене коридора. Говоря, доказывая, он жестукирировал, часто дотрагиваясь рукой до моего плеча...

Удивительно просто и легко было разговаривать с Лениным.

Владимир Ильич ни в какой мере не подчёркивал своего превосходства над собеседником, задавал вопросы ясные и определённые. Если твои ответы его не удовлетворяли, он спрашивал вновь, но, даже если новый ответ был не очень-то вразумителен, ты не чувствовал ни насмешки, ни пренебрежения. Он разговаривал, как с близким товарищем. Ему не соврёшь, и не только потому, что он всегда распознает фальшь, но и потому, что чувствуешь, как он тебе верит, знаешь, что он охотно, внимательно поправит тебя, если что не так.

Эта необычайная простота, непринуждённость, лёгкость беседы с Лениным вызывали желание говорить одну только правду, рассказывать всю подноготную, ничего не скрывая. И так хотелось работать после каждой беседы с Лениным, после каждого доклада ему!

Ленин умел быть строгим, но любил и посмеяться, пошутить. Он сурово наказывал разгильдяев, но прощал тем, кто ошибался по незнанию.

Вот довольно курьёзный эпизод, который произошёл с молодым работником Оперода А. Гиршфельдом. Это был очень способный и деятельный юноша, присланный к нам «Союзом молодёжи III Интернационала».

Однажды ночью он дежурил и, набегавшись за день по Москве со всякими срочными и сверхсрочными поручениями, прикорнул у телефона. Звонок. Саша Гиршфельд взял трубку, но спросонок не расслышал имени говорившего. А тот продолжает: «Вот товарищи с фронта немедленно требуют винтовок и снарядов. Откуда их взять? Я не в курсе дела». Саша не придумал ничего лучшего, как сказать: «Пошлите их к чёрту!..» Пауза — и на том конце телефонного провода раздаётся смех: «Хорошо, я их пошлю, но только пошлю к вам».

Это говорил Ленин.

На следующее утро мне пришлось по вызову Владимира Ильича быть в Кремле с докладом. Между прочим он мне сказал:

— Какой это у вас ночью строгий товарищ дежурил? Ах, комсомолец! Я так и думал. Обязательно научите его вежливо отвечать и внимательно относиться к людям, к каждому заявлению.

А у самого глаза смеются.

Когда вспоминаешь годы и дела гражданской войны, то явственно видишь, какую громадную организующую работу по созданию Красной Армии проделал Центральный Комитет партии во главе с Лениным. И не только организаторскую работу вёл Ленин — он повседневно осуществлял руководство операциями на фронтах, практически руководил военными действиями, вникал во все стороны военной жизни.

Мы, военные работники, которым посчастливилось общаться с Владимиром Ильичём в те трудные и славные годы борьбы с белогвардейцами и интервентами, знаем, как много времени и сил отдавал он военным делам. Нам и тогда было совершенно ясно, что главное, основное руководство Красной Армией и её боевыми действиями принадлежало Владимиру Ильичу Ленину, а не начальству тогдашнего Военного комиссариата.

Великий вождь революции был и великим знатоком военного дела.

---

ДЖОН РИД

★

## ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ПОТЯСАЛИ МИР

(Фрагменты из книги)\*

...Восстание произошло крайне просто и вполне открыто.

Временное Правительство собиралось отправить петроградский гарнизон на фронт.

Петроградский гарнизон насчитывал около шестидесяти тысяч человек и сыграл в революции выдающуюся роль. Именно он решил дело в великие Февральские дни, он создал Советы Солдатских Депутатов, он отбросил Корнилова от подступов к Петрограду.

Теперь в нём было очень много большевиков. Когда Временное Правительство заговорило об эвакуации города, то именно петроградский гарнизон ответил ему: «Одно из двух: правительство, неспособное оборонять столицу, должно либо заключить немедленный мир, либо, если оно не способно заключить мир, оно должно убраться прочь и очистить место подлинно-народному правительству...»

Было очевидно, что любая попытка восстания всецело зависит от поведения петроградского гарнизона. План правительства заключался в замене полков гарнизона «надёжными» частями — казаками, «Батальонами смерти». Комитеты отдельных армий, «умеренные» социалисты и ЦИК поддерживали правительство.

...Петроградский Совет опасался замыслов правительства, а между тем с фронта являлись сотни делегатов от рядовых солдат, которые в один голос заявляли: «Правда, нам нужны подкрепления, но ещё нужнее нам знать, что здесь, в Петрограде, революция находится под надёжной защитой... Держите тыл, товарищи, а мы будем держать фронт...»

25(12) октября Центральный Исполнительный комитет Петроградского Совета обсуждал при закрытых дверях вопрос об организации особого военного комитета...

---

\* Книга революционного американского журналиста Джона Рида на русском языке издавалась в начале двадцатых годов. В. И. Ленин характеризовал её как «правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата». А в предисловии к русскому изданию Н. К. Крупская писала, что книга эта «будет иметь особое большое значение для молодёжи, для будущих поколений, для тех, для кого Октябрьская революция будет уже историей»

30(17) октября<sup>1</sup> собрание представителей всех петроградских полков приняло следующую резолюцию: «Петроградский гарнизон больше не признаёт Временного правительства. Наше правительство — Петроградский Совет. Мы будем подчиняться только приказам Петроградского Совета, изданным его Военно-Революционным Комитетом».

...3 ноября (21 октября) огромный солдатский митинг в Смольном постановил:

«Приветствуя образование Военно-Революционного Комитета при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестностей обещает Военно-Революционному Комитету полную поддержку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее связать фронт с тылом в интересах революции.

...Петроградский гарнизон заявляет: на страже революционного порядка в Петрограде стоит весь гарнизон вместе с организованным пролетариатом»...

Чувствуя свою силу, Военно-Революционный Комитет решительно потребовал, чтобы штаб Петроградского округа подчинился его распоряжениям. Он разослал по всем типографиям приказ не печатать без его утверждения никаких призывов или прокламаций. В Кронверкский арсенал явились вооружённые комиссары. Они захватили огромное количество оружия и снаряжения и приостановили отправку десяти тысяч штыков в Новочеркасск, штаб-квартиру Каледина... Внезапно очутившись перед лицом опасности, правительство обещало Комитету безнаказанность в случае, если он добровольно разойдётся. Слишком поздно...

3 ноября (21 октября) вожди большевиков собрались на своё историческое совещание. Оно шло при закрытых дверях. Я был предупреждён Залкиндом<sup>2</sup> и ждал результатов совещания за дверью, в коридоре. Володарский, выйдя из комнаты, рассказал мне, что там происходит.

Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано действовать: для восстания нужна всероссийская основа, а 24-го не все ещё делегаты на Съезд придут. С другой стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд организуется, а крупному организованному собранию трудно принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы должны действовать 25 октября — в день открытия Съезда, так, чтобы мы могли сказать ему: Вот власть! Что вы с ней сделаете?»

В одной из комнат верхнего этажа сидел тонколицый, длинноволосый человек, математик и шахматист, когда-то офицер царской армии, а потом революционер и ссыльный, некто Овсенко, по кличке — Антонов. Он был поглощён разработкой планов захвата столицы.

Со своей стороны, готовилось к бою и правительство. К Петрограду незаметно стягивались самые надёжные полки, выбранные из разбросанных по всему фронту дивизий. В Зимнем дворце расположилась юнкерская артиллерия. На улицах, впервые с дней июльского восстания, появились казачьи патрули...

В понедельник 5 ноября (23 октября), утром, я заглянул в Мариинский дворец, чтобы узнать, что делается в Совете Российской республики. Шли ожесточённые споры о внешней политике Терещенко... Присутствовали все дипломаты, кроме итальянского посла, о котором говорили, что он совершенно разбит катастрофой при Карсо...

<sup>1</sup> Это собрание было 31 (18) октября. (Ред.)

<sup>2</sup> Залкинд — активный участник Октябрьского переворота, член Петроградской организации большевиков. (Ред.)

В момент, когда я входил, левый эсер Карелин читал вслух передовицу лондонского «Таймс», в которой говорилось: «Большевизм надо лечить пулями».

Повернувшись к кадетам, Карелин кричал: «Это такие в а ш и мысли!»  
Голоса справа: «Да! Да!»

«Да, я знаю, что вы так думаете,— горячо ответил Карелин.— Но посмейте только попробовать на деле!»

...На улице дул с запада сырой холодный ветер. Холодная грязь просачивалась сквозь подмётки. Две роты юнкеров, мерно печатая шаг, прошли вверх по Морской. Их ряды стройно колыхались на ходу: они пели старую солдатскую песню царских времён. ...На первом же перекрёстке я заметил, что милиционеры были посажены на коней и вооружены револьверами в блестящих новеньких кобурах; небольшая группа людей молчаливо глядела на них. На углу Невского я купил ленинскую брошюру «Удержат ли большевики государственную власть?» и заплатил за неё бумажной маркой: такие марки ходили тогда вместо разменного серебра. Как всегда ползли трамваи, облепленные снаружи штатскими и военными в таких позах, которые заставили бы позеленеть от зависти Теодора Шонта... Вдоль стен стояли рядами дезертиры, одетые в военную форму и торговавшие папиросами и подсолнухами.

По всему Невскому, в густом тумане, толпы народа с бою разбирали последние выпуски газет или собирались у афиш, пытались разобраться в призывах и прокламациях, которыми были заклеены все стены. Здесь были прокламации ЦИКа, Крестьянских Советов, «умеренно»-социалистических партий, армейских комитетов,— все угрожали, умоляли, заклинали рабочих и солдат сидеть дома, поддерживать правительство...

Какой-то броневик всё время медленно двигался взад и вперёд, завывая сиреной. На каждом углу, на каждом перекрёстке собирались густые толпы. Горячо спорили солдаты и студенты. Медленно спускалась ночь, мигали редкие фонари, текли бесконечные волны народа... Так всегда бывало в Петрограде перед беспорядками.

Город был настроен нервно и настораживался при каждом резком шуме. Но большевики не подавали никаких внешних признаков жизни; солдаты оставались в казармах, рабочие — на фабриках... Мы зашли в кинематограф у Казанского собора. Шла кровавая итальянская картина, полная страстей и интриг. В переднем ряду сидело несколько матросов и солдат. Они с детским изумлением смотрели на экран, решительно не понимая, для чего понадобилось столько беготни и столько убийств...

Из кинематографа я поспешил в Смольный. В 10-й комнате, на верхнем этаже, шло непрерывное заседание Военно-Революционного Комитета. Председательствовал светловолосый юноша лет 18, по фамилии Лазимир. Проходя мимо меня, он остановился и несколько робко пожал мне руку.

— Петропавловская крепость уже перешла на нашу сторону! — с радостной улыбкой сказал он.— Мы только что получили вести от полка, посланного правительством в Петроград на усмирение. Солдаты стали подозревать, что тут не всё чисто, остановили поезд в Гатчине и послали к нам делегатов. «В чём дело? — спросили они нас.— Что вы нам скажете? Мы уже вынесли резолюцию: «Вся власть Советам». Военно-Революционный Комитет ответил им: «Братья, приветствуем вас от имени революции! Стойте на месте и ждите приказа».

— Все наши телефонные провода,— сообщил он,— перерезаны. Однако военные телефонисты наладили полевой телефон для сообщения с заводами и казармами...

В комнату непрерывно входили и выходили связные и комиссары. За дверями дежурило 12 добровольцев, готовых в любую минуту помчаться

в самую отдалённую часть города. Один из них, человек с цыганским лицом и в форме поручика, сказал мне по-французски: «Все готовы выступить по первому знаку».

Проходили: Подвойский, худой, бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания; Антонов, небритый, в грязном воротничке, шатающийся от бессонницы; Крыленко, коренастый, широколицый солдат, с постоянной улыбкой, оживлённой жестиком и резкой речью; Дыбенко, огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди того времени и грядущих времён.

Внизу, в помещении фабрично-заводских комитетов, сидел Сератов. Он подписывал ордера на казённый арсенал — по полтора ста винтовок каждому заводу... Перед ним выстроилось в очередь сорок делегатов.

В зале я встретил несколько менее видных большевистских деятелей. Один из них показал мне револьвер.

— Началось! — сказал он. Лицо его было бледно. — Выступим ли мы или нет, но враг уже знает, что ему пора покончить с нами или погибнуть самому!

Уходя из Смольного в 3 часа утра, я заметил, что по обеим сторонам входа стояли пулемёты и что ворота и ближайшие перекрёстки охранялись сильными солдатскими патрулями...

Во вторник утром, 6 ноября (24 октября) весь город был охвачен возбуждением. По стенам было расклеено объявление, подписанное Военно-Революционным Комитетом Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. «К населению Петрограда. Граждане! Контрреволюция подняла свою преступную голову. Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить Всероссийский съезд Советов и сорвать Учредительное собрание. Одновременно погромщики могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту и резню... Петроградский Совет Рабочих и Солдатских депутатов берёт на себя охрану революционного порядка от контрреволюции и погромных покушений»...

Утром... у меня было дело к цензору, канцелярия которого помещалась в Министерстве иностранных дел. По улицам все стены были заклеены прокламациями, истерически призывавшими народ «к спокойствию»...

Утренние газеты сообщили, что правительство запретило газеты «Новая Русь», «Живое слово», «Рабочий путь» и «Солдат» и постановило арестовать руководителей Петроградского Совета и членов Военно-Революционного Комитета...

Когда я пересекал Дворцовую площадь, под аркой генерального штаба с грохотом проскакали несколько батарей юнкерской артиллерии и выстроились перед дворцом. Огромное красное здание генерального штаба казалось необычайно оживлённым. Перед дверьми стояло несколько автомобилей; беспрерывно подъезжали и уезжали всё новые автомобили с офицерами... Цензор был взволнован, как маленький мальчик, которого привели в цирк. «Керенский, — сказал он мне, — только что ушёл в Совет Республики подавать в отставку!» Я поспешил в Мариинский дворец и успел застать конец страстной и почти бессвязной речи Керенского, целиком состоявшей из самооправданий и жёлчных нападок на политических противников...

...На углу Морской и Невского солдатские отряды с примкнутыми штыками останавливали все частные автомобили, высаживали из них седоков и направляли машины к Зимнему дворцу. На них глядела большая толпа. Никто не знал, за кого эти солдаты: за Временное Правительство или за Военно-Революционный Комитет. У Казанского собора происходило то же самое. Машины отправлялись оттуда вверх по Невскому. Вдруг появилось 5—6 матросов, вооружённых винтовками. Взволнованно

смеясь, они вступили в разговор с двумя солдатами. На их матросских бескозырках были надписи: «Аврора» и «Заря свободы» — названия самых известных большевистских крейсеров Балтийского флота. «Кронштадт идёт!» — сказал один из матросов... Эти слова значили то же самое, что значили в Париже 1792 года слова: «Марсельцы идут!» Ибо в Кронштадте было 25 000 матросов, и все они были убеждённые большевики, готовые идти на смерть.

Петроградский Совет беспрерывно заседал в Смольном, где был центр бури. Делегаты сваливались и засыпали тут же на полу, а потом просыпались, чтобы немедленно принять участие в прениях... Я спустился в первый этаж, в комнату № 18, где шло совещание делегатов-большевиков. Резкий голос не видного за толпой оратора уверенно твердил: «Соглашатели говорят, что мы изолированы. Не обращайтесь на них внимания! В конце концов им придётся идти за нами или остаться без последователей...»

Оратор поднял вверх клочок бумаги. «Мы уже увлекаем их за собой! От меньшевиков и эсеров только что явилась делегация; они говорят, что осуждают наши действия, но если правительство нападёт на нас, они не станут бороться против пролетарского дела!» Гром восторженных восклицаний...

С наступлением ночи огромный зал наполнился солдатами и рабочими, густой темно-коричневой толпой, глухо гудевшей в синем табачном дыму. Старый ЦИК, наконец, решился приветствовать делегатов того нового съезда, который нёс ему гибель, а может быть, и гибель всему созданному им революционному порядку...

Было уже за полночь, когда Гоц занял председательское место, а на ораторскую трибуну в напряжённой, казавшейся мне почти угрожающей тишине поднялся Дан.

«Переживаемый момент окрашен в самые трагические тона,— заговорил он.— Враг стоит на путях к Петрограду, силы демократии пытаются организовать сопротивление,— а в это время мы ждём кровопролития на улицах столицы, и голод угрожает погубить не только наше правительство, но и самую революцию...»

Массы измучены и болезненно настроены; они потеряли интерес к революции. Если большевики начнут что бы то ни было, то это будет гибелью революции... (Возгласы: «Ложь!») Контрреволюционеры только ждут большевиков, чтобы приступить к погромам и убийствам... Если произойдёт хоть какое-нибудь выступление, то Учредительного Собрания не будет...» (Крики: «Ложь! Позор!»)

...Снова на трибуне Дан, яростно протестуя против действий Военно-Революционного Комитета, который послал комиссара для захвата редакции «Известий» и для цензурирования этой газеты. Последовал страшный шум. Мартов пытался говорить, но его не было слышно. Делегаты от армии и Балтийского флота встали со своих мест, крича, что Совет — это и х правительство.

Среди дикого беспорядка Эрлих<sup>1</sup> предложил резолюцию, призывающую рабочих и солдат сохранять спокойствие и не слушать провокаторов, призывающих к демонстрации, вместе с тем признавая необходимость немедленного создания Комитета Общественной Безопасности, а также срочного создания Временным Правительством закона о передаче земли крестьянам и об открытии мирных переговоров...

Тогда вскочил Володарский, резко крича, что накануне Съезда Советов ЦИК не имеет права брать на себя функции этого Съезда.

<sup>1</sup> Эрлих — один из лидеров меньшевиков. (Ред.)



— ЦИК фактически мёртв,— заявил Володарский,— и эта резолюция всего только манёвр с целью поддержать его гаснущую власть... Мы, большевики, не станем голосовать за эту резолюцию!

После этого все большевики покинули зал заседания, и резолюция прошла...

Около 4 часов утра я встретил в вестибюле Зорина<sup>1</sup>. За плечами у него была винтовка.

— Мы выступили! — спокойно, но удовлетворённо сказал он мне.— Мы уже арестовали товарища министра юстиции и министра по делам вероисповеданий. Они уже в подвале. Один полк отправился брать телефонную станцию, другой идёт на телеграф, третий — на Государственный банк. Красная гвардия вышла на улицу.

На ступенях Смольного, в холодной темноте, мы впервые увидели Красную гвардию — сбившуюся группку парней в рабочей одежде. Они держали в руках винтовки с примкнутыми штыками и беспокойно переговаривались.

Издали, с запада, поверх молчаливых крыш доносились звуки беглой ружейной перестрелки. Это юнкера пытались развести мосты через Неву, чтобы не дать рабочим и солдатам Выборгской стороны присоединиться к вооружённым силам Совета, находившимся по другую сторону реки; но кронштадтские матросы снова навели мосты...

За нашими спинами сверкало огнями и жужжало, как улей, огромное здание Смольного...

\* \*  
\*

...В среду 7 ноября (25 октября) я встал очень поздно. Когда я вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула полуденная пушка. День был сырой и холодный. Напротив закрытых дверей Государственного банка стояло несколько солдат с винтовками с примкнутыми штыками.

— Вы чьи? — спросил я.— Вы за правительство?

— Нет больше правительства! — с улыбкой ответил солдат.— Слава богу!

Это было всё, что мне удалось от него добиться.

По Невскому, как всегда, двигались трамваи. На всех их выступающих частях повисли мужчины, женщины и дети. Магазины были открыты, и вообще улица имела как будто даже более спокойный вид, чем накануне. За ночь стены покрылись новыми прокламациями и призывами, предостерегавшими против восстания.

...Я купил номер «Рабочего пути», единственной, казалось, газеты, которая была в продаже, немного позже удалось купить у солдата за полтинник уже прочитанный номер «Дня». Большевицкая газета, отпечатанная на огромных листах в захваченной типографии «Русской воли», начиналась крупно отпечатанным заголовком: «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! Мира! хлеба! земли!»

...На Невский, казалось, высыпал весь город. На каждом углу стояли огромные толпы, окружавшие яростных спорщиков. Пикеты по двенадцати солдат с винтовками с примкнутыми штыками дежурили на перекрёстках, и краснолицые старики в богатых меховых шубах показывали им кулаки, а изящно одетые женщины осыпали их бранью. Солдаты отвечали очень неохотно и смущённо улыбались... По улице разъезжали броневики, на которых ещё были видны старые названия — «Олег», «Рюрик», «Свято-

<sup>1</sup> Зорин — активный участник Октябрьского переворота, большевик. (Ред.)

слав» — все имена древнерусских князей. Но поверх старых надписей уже краснели огромные буквы «Р.С.Д.Р.П» (Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия). На Михайловском проспекте появился газетчик. Толпа бешено набросилась на него, предлагая по рублю, по 5, по 10 рублей за номер, вырывая друг у друга газеты. То был «Рабочий и Солдат», возвещавший победу большевиков, призывавший фронтовые и тыловые армейские части к поддержке восстания... В этом лихорадочном номере было всего четыре страницы, напечатанных огромным шрифтом. Новостей не было никаких...

Когда мы подошли к Смольному, его массивный фасад сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые люди, торопливо шагавшие сквозь мрак и тьму. Подъезжали и отъезжали автомобили и мотоциклы. Огромный серый броневик, над башенкой которого развевалось два красных флага, завывая сиреной, выполз из ворот. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. У внутренних ворот тоже горел костёр, при свете которого часовые медленно прочли наши пропуска и оглядели нас с ног до головы. По обеим сторонам входа стояли пулемёты, покрытые брезентом, и с их казённых частей, извиваясь, как змеи, свисали патронные ленты. Во дворе, под деревьями сада, стояло много броневиков; их моторы были заведены и работали. Огромные и пустые, плохо освещённые залы гудели от топота тяжёлых сапог, криков и говора... Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой: тут были рабочие в чёрных блузах и чёрных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в серых меховых папахах. Среди всего этого народа торопились, протискиваясь куда-то, известные многим Луначарский, Каменев... Все говорили одновременно, лица их были озабочены, у каждого под мышкой переполненный бумагами портфель. Шло экстренное заседание Петроградского Совета... То было очень важное заседание. Троцкий, от имени Военно-Революционного Комитета, заявил, что Временное Правительство больше не существует. ...На трибуне появился Ленин. Его встретили громовой овацией. Он пророчил мировую социалистическую революцию...

\* \*  
\*

...Поздней ночью мы прошли по опустевшим улицам и через Иверские ворота вышли на огромную Красную площадь, к Кремлю. В темноте были смутно видны фантастические очертания ярко расписанных, витых и резных куполов Василия Блаженного. Не было заметно никаких признаков повреждений... По одной стороне площади вздымались ввысь тёмные башни и стены Кремля. На высокой стене вспыхивали красные отблески невидимых огней. Через всю огромную площадь до нас долетали голоса и стук ломов и лопат. Мы пересекли площадь.

У подножия стены были навалены горы земли и булыжника. Возвратившись повыше, мы заглянули вниз и увидели две огромные ямы в десять — пятнадцать футов глубины и пятьдесят ярдов ширины, где при свете больших костров работали лопатами сотни рабочих и солдат.

Молодой студент заговорил с нами по-немецки.

— Это братская могила, — сказал он, — завтра мы похороним здесь пятьсот пролетариев, павших за революцию.

Он свёл нас в яму. Кирки и лопаты работали с лихорадочной быстротой, и гора земли всё росла и росла. Все молчали. Над головой небо было густо усеяно звёздами, да древняя стена царского Кремля уходила куда-то ввысь.

— Здесь, в этом священном месте, — сказал студент, — самом священном во всей России, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся

могилы царей, будет покоиться наш царь — народ... — Рука у него была на перевязи; её пробила пуля во время уличных боёв. Студент глядел на неё.

— Вы, иностранцы, — продолжал он, — смотрите на нас, русских, сверху вниз, потому что мы так долго терпели средневековую монархию. Но мы видели, что царь был не единственным тираном в мире; капитализм ещё хуже, а ведь он повелевает всем миром, как настоящий император...

Когда мы уходили, рабочие, уже сильно уставшие и мокрые от пота, несмотря на мороз, стали медленно выбираться из ям. Через Красную площадь уже торопилась на смену темнеющая масса людей. Они соскочили в ямы, схватились за лопаты и, не говоря ни слова, принялись копать, копать, копать...

Так всю эту долгую ночь добровольцы от народа смеяли друг друга, ни на минуту не останавливая своей спешной работы, — холодный утренний свет уже озарил на огромной белоснежной площади две зияющие кирпичные ямы совершенно готовой братской могилы.

Мы поднялись ещё до восхода солнца и поспешили по тёмным улицам к Скобелевской площади. Во всём огромном городе не было видно ни души. Но со всех сторон, издали и вблизи, слышался тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь. В бледном полусвете раннего утра, перед зданием Совета собралась небольшая группка мужчин и женщин с целым снопом красных знамён с золотыми надписями — знамён Центрального Исполнительного Комитета Московских Советов. Светало. Доносившийся издали приглушённый шум движения крепчал, становился всё громче, переходя в рокот. Город поднимался на ноги. Мы двинулись вниз по Тверской, неся над собой реюющие знамёна. Часовенки, мимо которых нам пришлось идти, были заперты. В них было темно. Заперта была и часовня Иверской божией матери, которую некогда посещал перед коронаванием в Кремле каждый новый царь и которая обычно была открыта и наполнена толпой, круглые сутки сияя огнями, отражавшими на золоте, серебре и драгоценных камнях её икон отблески свечей, зажжённых набожной рукой. А теперь, как уверяли, впервые со времени наполеоновского нашествия, свечи погасли.

Святая православная церковь лишила своего благословения Москву — это гнездо ядовитых ехидн, осмеливавшихся бомбардировать Кремль. Церкви были погружены в мрак, безмолвие и холод. Священники исчезли. Для красных похорон нет попов, не будет панихид по усопшим, над могилой святотатцев не вознесётся никаких молитв...

Магазины были тоже закрыты, и представители имущих классов сидели дома — по другим причинам. Этот день был Днём Народа, и молва о его пришествии гремела, как морской прибор...

Через Иверские ворота уже потекла людская река, и народ тысячами заградил обширную Красную площадь. Я заметил, что, проходя мимо Иверской, никто не крестился, как это делалось раньше...

Мы протолкались сквозь густую толпу, сгрудившуюся у Кремлёвской стены, и остановились на вершине одной из земляных гор...

По всем улицам на Красную площадь стекались огромные толпы народа. Здесь были тысячи и тысячи людей, истощённых трудом и бедностью. Прощёл военный оркестр, игравший «Интернационал», — и вся толпа стихийно подхватила гимн, медленно и торжественно разлившийся по площади, как морская волна. С зубцов Кремлёвской стены свисали до самой земли огромные красные знамёна с белыми и золотыми надписями: «Мученикам авангарда мировой социалистической революции» и «Да здравствует братство рабочих всего мира!»

Резкий ветер пролетал по площади, развевая знамёна. Теперь начали прибывать рабочие фабрик и заводов отдалённых районов города, — они несли сюда своих мертвецов. Можно было видеть, как они идут через ворота, под трепещущими знамёнами, неся красные — как кровь — гробы. То были грубые ящики из нетёсаных досок, покрытые красной краской, и их высоко держали на плечах простые люди, с лицами, залитыми слезами. За гробами шли женщины, громко рыдая или молча, окаменевшие, мертвенно-бледные. Некоторые гробы были открыты, и за ними отдельно несли крышки; иные были покрыты золотой или серебряной парчой, или к крышке была прикреплена фуражка солдата. Было много венков из безжизненных искусственных цветов...

Процессия медленно подвигалась к нам по открывавшемуся перед нею и снова сдвигающемуся неровному проходу. Теперь через ворота лился бесконечный поток знамён всех оттенков красного цвета с золотыми и серебряными надписями, с чёрным крепом на верхушках древков. Было и несколько анархистских знамён — чёрных с белыми надписями. Оркестр играл революционный похоронный марш, и вся огромная толпа, стоявшая с непокрытыми головами, вторила ему. Печальное пение часто прерывалось рыданиями...

Между рабочими шли отряды солдат, также с гробами, сопровождаемые воинским эскортом — кавалерийскими эскадронами, и артиллерийскими батареями, пушки которых увиты красной и чёрной материей, — увиты, казалось, навсегда. На знамёнах воинских частей надписи: «Да здравствует III Интернационал» или «Требуем всеобщего справедливого демократического мира!» Похоронная процессия медленно подошла к могилам, и те, кто несли гробы, опустили их в ямы. Многие из них были женщины — крепкие, коренастые пролетарки. А за гробами шли другие женщины — молодые, убитые горем или морщинистые старухи, кричавшие нечеловеческим криком. Многие из них бросались в могилу вслед за своими сыновьями и мужьями и страшно вскрикивали, когда жалостливые руки удерживали их. Так любят друг друга бедняки...

Весь долгий день, до самого вечера шла эта траурная процессия. Она входила на площадь через Иверские ворота и уходила с неё по Никольской улице, поток красных знамён, на которых были написаны слова надежды и братства, ошеломляющие пророчества. И эти знамёна развевались на фоне пятидесятитысячной толпы, — а смотрели на них все трудящиеся мира и их потомки отныне и навеки...

Один за другим уложены в могилу пятьсот гробов. Уже спускались сумерки, а знамёна всё ещё развевались и шелестели в воздухе, оркестр играл похоронный марш, и огромная толпа вторила ему пением. Над могилой, на обнажённых ветвях деревьев словно странные многокрасочные цветы, повисли венки. Двести человек взялись за лопаты и стали засыпать могилу. Земля гулко стучала по гробам, и этот резкий звук был ясно слышен, несмотря на пение...

Зажглись фонари. Пронесли последнее знамя, прошла, с ужасной напряжённостью оглядываясь назад, последняя плачущая женщина. Пролетарская волна медленно схлынула с Красной площади...

И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымалывать царство небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдёшь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть — счастье...

---

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

★

## ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

*(Фрагменты из книги)\**

В то время, как возбуждённые весёлые толпы солдат и рабочих, обрадованные победой пролетарской революции, с пением наполняли огромный зал в Смольном, в то время, как пушки на «Авроре» возвещали о смерти старого порядка и о рождении нового, Ленин спокойно всходил на трибуну.

Председатель объявил:

— Слово предоставляется товарищу Ленину.

Мы напрягли всё наше внимание. Сейчас перед нами должен был предстать человек, которого мы так давно жаждали видеть и слышать...

С места, отведённого для журналистов, его вначале почти не было видно. Среди грома аплодисментов, выкриков, топота ног и различных приветствий он прошёл через сцену и взшёл на трибуну. Шум, крики и аплодисменты достигли апогея.

Теперь он стоял перед нами во весь рост, и наши сердца упали. Внешне он представлял собой, как раз противоположное тому, что создало о нём наше воображение. Мы ожидали встретить солидного мужчину огромного роста, производящего впечатление одной своей наружностью. На самом же деле перед нами стоял небольшого роста, коренастый человек...

Когда стихли последние аплодисменты, он сказал:

— Товарищи! Мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического государства.

И затем начал говорить спокойным, бесстрастным, чисто деловым языком. В его голосе скорее была какая-то сухая жёсткая нота, чем красноречие. Засунув большие пальцы в вырезы жилетки, он раскачивался взад и вперёд на каблуках. Целый час внимательно следили мы за его речью, надеясь отыскать в ней те скрытые магнетические качества, которые объяснили бы нам его опромное влияние на эти свободные, молодые, энергичные души. Но напрасно...

Большевики своим «безумством» и беспредельной храбростью зажгли наше воображение, и мы ожидали того же от их вождя. В своём романтическом представлении о нём мы думали, что вождь большевистской партии предстанет перед нами, как воплощение всех тех качеств, которые свойственны этой партии, что он заключает в себе всю силу и мощь этой партии, что он — нечто вроде сверхбольшевика...

Мы прекрасно знаем, как тяжело было бремя, которое большевики возложили себе на плечи. Справятся ли они с ним? Их вождь в самом начале не производил впечатления сильной личности.

Таково было первое впечатление. И тем не менее, начав с этой ложной оценки, через шесть месяцев я уже был в лагере... тех, для которых первый человек и политик во всём мире был Ленин...

\* \* \*

Во всех случаях жизни Ленин проявлял крайнее самообладание. События, которые других доводили до безумного состояния, для него служили лишь поводом к сохранению спокойствия и душевного равновесия.

\* Альберт Рис Вильямс — американский журналист, приехавший в Россию в 1917 году вместе с Джоном Ридом. Он пылливо следил за революционными событиями, не раз виделся с Лениным и беседовал с ним. В США Вильямс издал книгу о своих встречах с Лениным и книгу «Народные массы в русской революции», в которых дал честное, правда несколько субъективное, освещение Октябрьской революции. Обе эти книги были изданы в русском переводе в двадцатых годах.

Единственное историческое заседание Учредительного собрания представляло собой очень бурную сцену. На этом заседании две партии сцепились в смертельной схватке. Боевые выкрики делегатов, стук по попитрам, громы и молнии ораторов, две тысячи голосов, страстно поющих «Интернационал» и «Революционный марш», заряжали атмосферу электричеством. Настроение повышалось с каждым часом и к вечеру достигло своего апогея. Крепко охватив перила, стиснув зубы, в крайне нервном, возбуждённом состоянии, сидели мы на галерее и следили за происходящим. Ленин сидел в ложе первого ряда, и лицо его выражало неподдельную скуку.

Наконец, он встал и, удалившись на задний план платформы для президиума, присел на ступеньках, покрытых красным ковром. Изредка он бросал взгляды вокруг себя, рассматривая это громадное стечение народа. Затем он подпер голову рукой и закрыл глаза. Красноречие ораторов и рёв собрания катились у него над головой. Но он продолжал мирно дремать... Раза два он открыл глаза, посмотрел вокруг себя и потом опять закрыл.

Через некоторое время он встал, потянулся и спокойной походкой направился к своему месту в ложе.

Мы с Джоном Ридом сошли с галереи и проскользнули в зал, чтобы узнать мнение Ленина об Учредительном собрании. Он что-то ответил нам равнодушным тоном. И затем сразу спросил, как идёт работа в бюро пропаганды. Его лицо прояснилось, когда мы сказали, что материал печатается целыми тоннами и через окопы направляется в германскую армию. При этом мы добавили, что встречаются затруднения в работе на немецком языке.

— Ах, да, — воскликнул он, внезапно оживляясь и вспомнив мои «подвиги» на броневике. — Как ваш русский язык? Можете ли вы уже разбираться в речах?

— Слишком много слов в русском языке, — ответил я уклончиво.

— Вот в этом-то и дело, — сказал он, — языком нужно заниматься систематически. Нужно в самом начале овладеть основами языка. Я скажу вам, какого нужно держаться метода.

Метод Ленина состоял вкратце в следующем: во-первых, нужно изучить все имена существительные, потом все глаголы, потом все прилагательные и наречия и затем все остальные слова, нужно изучить этимологию и начатки синтаксиса и потом практиковаться в языке везде и повсюду, при встрече с каждым русским человеком. Отсюда ясно, что метод Ленина был не столько тонкий, сколько всесторонний. Словом, это был его метод завоевания буржуазии в приложении к завоеванию языка — самое серьёзное занятие предстоящим делом. Он очень оживлённо излагал нам свой метод.

Он склонился на барьер ложи и, блестя глазами и жестикулируя, продолжал говорить. Наши сотоварищи журналисты глядели на нас с завистью. Они полагали, что Ленин «сдирает кожу» со своих противников, или сообщал нам какие-нибудь тайны, или уговаривал нас энергичнее стать на сторону революции. В такой критический момент, несомненно, только подобные темы могли вызвать такой взрыв энергии у главы великого русского государства. Но они ошибались. Председатель Совета Народных Комиссаров Российской Республики просто излагал перед нами свой взгляд, как нужно иностранцам изучать русский язык, и наслаждался дружеским разговором.

При напряжённых горячих дебатах, когда противники Ленина немилосердно его «чистили», он обычно сохранял полнейшее спокойствие и даже проявлял юмор. После своего доклада на IV съезде Советов Ленин занял место на сцене, чтобы выслушать нескольких своих противников, взявших слово. Когда он считал фразу противника удачной, он широко

улыбался и аплодировал вместе с другими. Когда же, по его мнению, противник нёс чепуху, Ленин иронически улыбался и аплодировал в насмешку (ударом ногтем большого пальца правой руки о ноготь левой).

\* \* \*

...Одним из секретов силы Ленина является его необыкновенная искренность. Он искренен со своими друзьями. Он всегда, конечно, радуется, когда пополняются ряды его партии, но он никогда никого не привлекает на свою сторону изображением в розовых красках условий работы или перспектив в будущем. Наоборот, он скорее изображает всё в более мрачных тонах, чем есть на самом деле...

Ленин искренен также со своими заклятыми врагами. Один англичанин, говоря о необыкновенной прямоте Ленина, рассказывал, как он сказал ему:

— Против вас, как против личности, я ничего не имею. Но политически — вы мой враг, и я должен пользоваться всеми средствами, чтобы вас уничтожить. Ваше правительство относится ко мне так же. Ну, а теперь давайте посмотрим, как далеко мы можем пойти вместе.

Эта печать искренности лежит на всех его публичных выступлениях. Ленину чужды обычные атрибуты всякого дипломата-политика: обман, блестящее словоизвержение, рисовка. Сразу чувствуется, что он не может обмануть, даже если бы захотел. И по тем же причинам он не может обмануть и самого себя.

Источники его информации очень обширны и дают ему массу фактов. Эти факты он взвешивает, просеивает и подвергает испытанию. И затем пользуется ими, как стратег, как химик, оперирующий социальными элементами, как математик. Он подходит к фактам следующим образом: «Вот эти факты говорят за нас: раз, два, три, четыре». Он вкратце перечислял их. «А вот эти — против нас». И он тоже считал их: «Раз, два, три... Нет ли ещё?» — спрашивал он. Мы усиленно ворочали мозгами, стараясь отыскать ещё что-нибудь, но обычно напрасно. Взвесив данные той и другой стороны, за и против, он принимался за вычисления, словно решая математическую задачу...

Ленин действует, как хирург со скальпелем в руках. Он срывает маску с претых экономических мотивов, скрывающихся за пышными фразами империалистов. Их воззвания к русскому народу он показывает в истинном свете, обнаруживая за их прекрасными обещаниями подлую хищную руку эксплуататоров.

Будучи неумолим к фразеологии «левых», тех из них, которые за революционными фразами прячутся от действительности, он считает своим долгом лить уксус и жёлчь в подслащённую воду революционно-демократического красноречия и ко всякому сентименталисту и глашатаю разных лозунгов относится с нескрываемой насмешкой.

Когда немцы вели наступление на Красный Петроград, со всех концов России в Смольный лился настоящий поток телеграмм с выражениями ужаса, протеста, ненависти. Телеграммы обычно заканчивались: «Да здравствует непобедимый русский пролетариат!», «Смерть хищникам империалистам!», «Мы будем защищать столицу революции до последней капли крови!»

Ленин, читая эти телеграммы, распорядился послать депешу всем Советам с просьбой не присылать в Петроград революционных фраз, а слать войска, а также сообщать точно, сколько записалось в армию добровольцев, сколько имеется оружия, амуниции и продовольствия...

...Сила Ленина, как великого политика и провидца, основывается не на какой-нибудь мистической интуиции, а на его способности накапливать массу фактов для каждого отдельного случая, а затем наиболее рационально пользоваться этими фактами.

М. ФИЛИПС ПРАЙС

★

## РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

*(Фрагменты из книги) \**

На трибуне стоял тот самый невысокий, коренастый, лысый человек, которого шесть месяцев назад я видел на первом съезде Советов в роли руководителя крошечной большевистской группы. Это был Ленин... Петроградский Совет составлял к этому времени единую фалангу большевистских депутатов, и когда Ленин заговорил о предстоящем съезде Советов, как единственном органе, способном осуществить революционную программу русских рабочих, солдат и крестьян, зал разразился нескончаемыми аплодисментами. Возле меня кто-то прошептал, что сию минуту получено известие, что с помощью рабочих-красногвардейцев и части гарнизона Военно-Революционному комитету удалось занять Зимний дворец и арестовать всех министров, за исключением Керенского, бежавшего в автомобиле.

Я спустился этажом ниже, в бюро большевистской партии. Здесь я увидел нечто вроде импровизированного генерального штаба революции, рассылавшего во все концы города гонцов, снабжённых инструкциями и возвращавшихся затем со сведениями и новостями. Наверху, в бюро старого меньшевистско-эсеровского исполнительного комитета, царил гробовая тишина. Две машинистки приводили в порядок бумаги, а издатель «Известий» Розанов ещё пытался сохранить самообладание...

...Около десяти часов вечера я вышел из Смольного. На улице, возле костра, в группе рабочих и балтийских матросов шёл разговор о съезде. Я услышал, как один из них сказал: «Мы должны теперь взяться за работу в провинции — разъяснять и организовывать; ни один из депутатов не может оставаться здесь дольше, чем это необходимо».

Я пошёл вдоль берега Невы, которая в самых мелких местах, против верфи, стала уже затягиваться ледяной коркой. С Финского залива надвигался суровый ноябрьский туман. Против Васильевского острова стояли крейсер «Аврора» и один эсминец с орудиями, направленными на Зимний дворец. Раздался крик «Стой!», и я увидел цепь красногвардейцев, преградившую улицу. Я оказался поблизости от Зимнего дворца...

«Где находятся министры Керенского?» — спросил я у одного из часовых. «На том берегу, в Петропавловской крепости», — гласил лаконичный ответ. «Здесь вы не пройдёте», — сказал другой часовой...

Я повернул назад и столкнулся с отрядом женщин в солдатской форме. Их вели под конвоем. Они входили в состав пресловутого Женского батальона смерти, — несчастные деревенские девушки, казавшиеся русской буржуазии достаточно надёжными и позволившие поэтому использовать себя в качестве пушечного мяса против большевиков. Не зная, что им делать, когда наступил кризис, они остались возле Зимнего дворца, после того, как остальной гарнизон перешёл на сторону Военно-Революционного комитета. Теперь их вели в Петропавловскую крепость, откуда, однако, им предстояло вскоре быть отпущенными на свободу и отправленными по домам.

---

\* Английский журналист М. Ф. Прайс в 1917 году был петроградским корреспондентом «Манчестер гардиан». Непредубеждённый очевидец, Прайс изложил свои наблюдения и мысли об Октябрьском перевороте в ряде книг. Публикуемые отрывки взяты из его книги «Русская революция» (Гамбург, 1921).



Я прошёл по мосту через Неву и приблизился к Петропавловской крепости. У ворот стояли красногвардейцы, а на башне этой бастилии царизма реял красный флаг. Вчера ещё заседало правительство Керенского и вершило судьбы распадающегося общественного порядка. Сегодня его члены находились в этой крепости, куда всего днём раньше они засадили вождей большевиков. Колесо фортуны повернулось, и господство тех, кто пришёл к власти в результате Февральской революции, кончилось в течение одной ночи. Русская революция вступила тем самым в новую фазу. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов одержали верх.

...К 9 ноября стало очевидно, что в настоящее время власть находится в руках Военно-Революционного комитета, действующего от имени Второго Всероссийского Съезда Советов. Тогда всё это представлялось мне крайне забавным, и я не мог не улыбаться, думая о событиях последних трёх дней. Я ещё не привык к революционной атмосфере. Я пытался представить себе, как в Лондоне появляется комитет из простых солдат и рабочих, чтобы объявить себя правительством, не признающим никаких приказов с Уайтхолла, не согласованных с ним самим. Я пытался представить себе, как британский кабинет министров вступает с комитетом в переговоры об урегулировании конфликта, в то время как Букингемский дворец окружён войсками, а глава государства, переодетый прачкой, спасается бегством через заднюю дверь. И всё же в русской действительности произошло тогда нечто подобное. Было почти невозможно свыкнуться с мыслью, что многовековая русская империя развалилась у нас на глазах с такой паразитической неустойчивостью.

...На следующий день, 10 ноября, в воздухе повеяло иным настроением. Казалось, что впервые за много месяцев в России установилась такая политическая власть, которая знает, чего она хочет. Это мнение ясно высказывалось в обычных уличных разговорах. К цирку «Модерн» стеклась большая толпа народу, перед которой, в числе других, должны были выступать и делегаты съезда Советов. Группы людей, принадлежащих к низам среднего сословия — студенты без средств, мелкие лавочники, и вообще те городские элементы, которые в России прозываются «мещанами», обменивались мнениями. Ни слова не говорилось о насильственных действиях, с помощью которых большевики захватили власть. Действия, оскорбившие нежные чувства интеллигентов, не волновали практичных «политиков улицы». Смогут ли большевики обеспечить города продовольствием и положить конец войне? Таков был вопрос, который они задавали. «Ни царское правительство, ни правительство Керенского не сумели этого сделать, пусть теперь эти люди попытаются», — были слова, которые я слышал со всех сторон. Класс мелких лавочников и значительная часть пролетариев в крахмальных воротничках, которые в течение всего лета проявляли ожесточённую враждебность к большевикам, в данный момент, казалось, перешли на позиции благожелательного нейтралитета.

В тот же день я отправился на Васильевский остров и посетил гавань, куда приходили суда из Кронштадта. В районе гавани, вокруг костров расположились на некотором расстоянии друг от друга патрули красногвардейцев и заводских рабочих с красными повязками на рукавах, под командой матросов. Здесь собрались толпы любопытных и жадных до зрелищ, чтобы посмотреть на маленький крейсер «Аврора» и эсминцы, стоявшие на якоре на Неве с поднятыми на них красными флагами. Кронштадтские матросы и красногвардейцы превратили Балтийский флот в оплот революции. Поскольку теперь они оказались правой рукой нового правительства, то петроградский мещанин явился поглядеть на своих но-

вых властителей. Некоторое время я наблюдал, как группы красногвардейцев и матросов отвечали на расспросы этих людей, которые под влиянием буржуазной пропаганды до вчерашнего дня смотрели на большевиков как на чудищ и казались теперь изумлёнными, что обнаружили в них такие же человеческие существа.

К вечеру я отправился в Смольный. Второй Всероссийский съезд Советов уже окончился, и делегаты разъезжались по всем направлениям компаса. Они везли с собой громадные тюки с брошюрами, прокламациями и воззваниями, чтобы распространить их в отдалённых областях. Татары в степи и охотники за пушниной в Сибири должны были получить известие о великом событии в Петрограде — о попытке создать первое в мире рабочее правительство. Наверху большевики уже завладели помещением официального советского органа «Известия». Его меньшевистский редактор собрал свои пожитки и покинул редакцию незадолго до моего прихода. Большевистский деятель Стеклов стоя вёл серьёзный разговор с каким-то неизвестным мне человеком. Аксельрод пытался навести какой-то порядок в кипе бумаг. Другой человек ковырял шилом в замке ящика, ключ от которого, повидимому, захватили с собой меньшевики. Вдоль одной из стен комнаты, погружившись в глубокую задумчивость, расхаживал Ленин. Я наблюдал эту сцену со всей её суестью и напряжённой деловитостью и спрашивал себя — надолго ли всё это?..

...23 ноября я отправился в Министерство иностранных дел, где застал советских уполномоченных за кропотливой разборкой архивов. Им удалось, наконец, заполучить ключи, отсутствие которых до сих пор не позволяло им добраться до тайных договоров. До сего времени это обстоятельство не имело большого значения. Однако, как только выяснилось, что господствующие классы союзных стран самым серьёзным образом собираются бойкотировать Советы, стало настоятельной необходимостью заручиться каким-нибудь оружием для обороны. Наилучшее моральное оружие, какое только можно было найти, представляла собой открытая дипломатия. Ключи были обнаружены при содействии бывшего чиновника Министерства иностранных дел, который вскоре снова явился на работу. Его провели в помещение, где находились сейфы, и объяснили, что он должен открыть их и помочь разобраться в их содержимом. Он заявил о своей готовности это сделать, как только у него не останется сомнений в том, что комиссары обладают действительной властью. «Ибо, — сказал он, — я тридцать лет служил России и буду впредь служить любой партии, которая окажется достаточно авторитетной, чтобы говорить от имени России». На следующий день «Известия» опубликовали первый из тайных договоров.

Каких только перемен не увидели в эти дни стены Министерства иностранных дел! Я вспомнил, как два года тому назад, в роскошном кабинете с видом на Дворцовую площадь, с французской мебелью XVIII века и портретами царей и цариц из дома Романовых, я получал интервью у Сазонова, тогдашнего министра иностранных дел Николая II.

Мы говорили о возможности реформ в России. Да, сказал министр, они возможны, пожалуй, даже неизбежны, при условии, если при их проведении не будут нарушены традиции России. О каких-либо коренных реформах, конечно, не может быть и речи, пока не окончена война и не разгромлена Германия.

«В конце концов, — сказал он, — величайшей реформой наших дней был царский декрет о запрещении продажи водки. Для нашего народа и впредь будет существовать один путь к спасению — путь верности старым традициям». Когда мой взгляд упал на то кресло, в котором сидел тогда Сазонов, я невольно подумал о том, что бы он сказал теперь...

В соседней комнате советские комиссары продолжали трудиться над разборкой документов и тайных договоров, составленных Сазоновым и послами союзников и подписанных этими людьми от имени их правительств. Соглашение, по которому к Франции отходил правый берег Рейна в том случае, если Россия получила бы свободу действий в Польше; договор, деливший Персию и Турцию на сферы влияния союзников; протоколы переговоров, из которых явствовало, как румынскую олигархию пытались склонить к вступлению в войну, обещая ей выровнять границы за счёт венгерских и сербских территорий; договор с Италией, гарантировавший ей колонии в Африке и Малой Азии в обмен на обещание удерживать Святой Престол от всякого мирного посредничества; всё было именно так, как мы предполагали. Это, как видно, и были те «старые традиции», на которые ссылался Сазонов!

Поскольку дело обстояло таким образом, не оставалось никаких сомнений, что советские комиссары разом покончат с этими договорами, предав их гласности.

На балконе Министерства иностранных дел зимний ветер развевал большой красный флаг. Надпись на нём гласила: «Да здравствует мир!» Вся атмосфера, царившая там, наверху, создавала впечатление, что русские революционеры начали серьёзную борьбу за мир.



---

---

Н. КОРЖАВИН

★

## РОДИВШИМСЯ В ДВАДЦАТЫХ

Оглядываясь вновь и вновь,  
Ты чувствуешь в летящих датах  
Всё, что вошло и в плоть и в кровь  
Ребят, родившихся в двадцатых.

Что мы услышали от мам?  
Всё то, что прочие? Едва ли!  
Другие песни спели нам,  
Другие сказки рассказали.  
Мы были новою страной,  
Ещё не признанной, но сущей.  
Гражданской сказочной войной  
Она прорвалась в мир грядущий.

Мы родились в года баллад  
Не спетых, но успевших сбыться.  
В года, что времени граница,  
В стране, что вызовом была...

В стране, что вызовом была!  
И потому уже сначала  
Ей косность мира, как могла,  
На дерзкий вызов отвечала,  
Старалась брать реванш во всём  
И не всегда стреляла мимо...

Но то, что мы с собой несём,  
Уже от нас неотделимо.  
И наши люди шли сквозь дни  
И забывали, как солдаты,  
Что эти дни — не дни, а даты,  
И что герои дат — они.

Наш век — такого не найти,  
В нём всё мечта  
И все — при деле...  
В нём суть поэзии в пути  
Моей страны к заветной цели.

---

ЕВГ. ЕВТУШЕНКО

★

## НОВЫЕ СТИХИ

### ОКТАБРЬ

Над судьбами,  
                                путями  
ты в памяти, Октябрь!

...С землёю под ногтями  
воители в лаптях,  
задумчивая ясность  
ленинского  
                                лба,  
шагов матросских властность  
у мраморного льва,  
и в сумерках лиловых,  
в кострах  
                                и голосах,  
мерцание «лимонок»  
на рыжих поясах...  
Дохни железным ветром  
и помоги в пути,  
штыков суровым светом  
лицо мне освети!

За всё я отвечаю  
и отвечать хочу,  
но часто замечаю —  
не всё мне по плечу.  
Хочу,  
                                желаю,  
                                смею,  
а остаюсь в долгу —  
ещё не всё  
                                умею,  
ещё не всё  
                                могу.

Ты —  
                                мужество решений,

направленность судьбы,  
и праздника свершений,  
и будничность борьбы.  
Ты —  
        чувств и мыслей зрелость,  
ты —  
        знамя и рычаг,  
и смелость  
        смелость,  
                        смелость  
в поступках  
        и речах...

Ты сердцу верь по стуку.  
Прими меня в бойцы,  
веди меня повсюду  
на зимние дворцы!

### СТУДЕНТЫ

В улынках,  
        цветах,  
                        колосьях,  
из далей, далёких, как полюс, —  
сплошной МГУ на колёсах —  
подходит  
        к перрону  
                        поезд.  
И вот они,  
        ставшие больше и крепче,  
идут с рюкзаками в руках —  
в кепках,  
        платочках,  
                        рубашках клетчатых,  
в тапочках  
        и сапогах.  
Идут девчонки бедовые  
и парни  
        большие,  
                        степенные,  
философы  
        и биологи,  
сияя,  
        как в день стипендии.  
Все от загара медные,  
сквозь астры  
        и георгины

идут  
     медички  
         и медики,  
 географы,  
     географини.  
 Среди вокзального грохота,  
 смешно сапогами топая,  
 несёт  
     девчушка крохотная  
 связку колосьев тонкую...  
 А ночью  
     гордо,  
         внимательно,  
 после всех новостей,  
 смотрят московские матери  
 на спящих своих детей.  
 Глаза материнские тёплые  
 с тревожной и нежной любовью  
 глядят  
     на руки их тёмные,  
 на выгоревшие брови.  
 Спят они чисто и крепко.  
 Они отдыхали редко.  
 Очень они устали.  
 Взрослыми они стали.

### ПИОНЕРСКИЙ ГОРН

Тропа извилиста,  
     корниста.  
 По ней спускаюсь я к реке  
 и слышу долгий зов горниста,  
 невидимого вдалеке.  
 Он пробивается сквозь щуплость  
 худого, жидкого леска,  
 и дачники,  
     от солнца шурясь,  
 приподнимаются с песка.  
 Есть превосходство в этом горне  
 над нами,  
     взрослыми людьми,  
 и перехватывает в горле  
 от зависти и от любви.  
 Меня не раз бедою било.  
 Я ничего не позабыл,  
 но надо так, чтоб это было —  
 чтоб ветер бил  
     и горн трубил.

Холоднодушия слепого  
 я никому не извиню,  
 и, если больно,  
                                 если плохо,  
 я всё равно не изменю —  
 ни солнцу,  
                                 ни тропе корнистой,  
 ни мокрым веткам,  
                                 ни реке,  
 ни зову долгому горниста,  
 невидимого вдалеке.

\* \*  
 \*

Давай поедem вниз по Волге,  
 а может, вверх по Ангаре.  
 Давай поверим, как помолвке,  
 в дороге встреченной заре.  
 Давай увидим ночью где-то,  
 как, проплывая чередой,  
 дома,  
                         дома на сваях света  
 стоят над чёрною водой.  
 Пусть, вместе нас ещё не зная,  
 посмотрит вдруг из ивняка  
 вся очень добрая,  
                                 родная,  
 вся очень русская —  
                                 Ока.  
 Пусть и Сибирь с второй Окою  
 и ярославские стада...  
 Пусть земляникою сухою  
 повеют курские стога.  
 Но не забыть тревоги века,  
 себя в дорогу торопя.  
 Нам от раздумий не уехать,  
 как не уехать от себя.  
 Меняясь,  
                         реки,  
                                 стены,  
   горы  
 проявят близость многих душ,  
 и будут люди,  
                                 будут споры,  
 и дружб немало  
                                 и недружб,  
 и очертанья новых строек,  
 и восхищение без фраз,



и немота признаний строгих,  
что мало знаем мы о нас.  
Вокруг события большие,  
вокруг великая страда.  
А впереди —  
                  всё шире,  
  шире  
большая добрая страна.  
Летая,  
                  сея,  
                                  строя зданья,  
мы за неё ведём бои,  
и нет без этого  
                                  призванья,  
и нет без этого  
                                  любви...



---

---

ФЕДОР ПАНФЕРОВ

★

## НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

*Повесть*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

**М**омню лес, густой, будто грива откормленного коня, и глубокий овраг, поросший сочными травами, а на берегу оврага — избушка, подслеповатая, старенькая, как и моя бабушка Груня. •

По вечерам в избушке собираются старухи в чёрных платьях — тихие, словно мухи перед морозом. Они становятся напротив огромного, закапанного воском киота. Бабушка впереди. Она впригнус произносит страшные слова и размашисто крестится. В эту минуту лицо её делается строгим и, как мне кажется, злым, а голос — угрожающим.

— Наступит день: затрубят трубы, и предстанут перед лицом бога живые и мёртвые, и он, всемогущий, всесильный, всемилостивый, скажет грешным: изыдите в огонь вечный.

В ад, значит? Это туда, где, как мне рассказывала бабушка, грешников поджаривают на сковородках, вярят в котлах и подвешивают за язык.

Когда я впервые услышал такие слова, то весь задрожал, представляя себе, как на кладбище из могилки поднимаются мёртвые, из изб на улицу выбегают живые и все, в том числе я, бабушка, старухи, грядутся перед богом... Какой же он всемилостивый, коль грешных гонит в огонь, меня, например? Ведь я на днях украл у бабушки пряник, и она мне сказала: «Ты грешник». Не-ет. Не пойду! За пряник — и в ад? «Я маленький!» — так скажу богу... И жду: вот-вот на строгий призыв бабушки поднимутся живые и мёртвые.

Но на улице всё шло так же, как и до бабушкиных угроз: дядя Егор, сапожник, избил жену, татары опять к Якуне-Ване привели краденую корову и зарезали, ребятишки залезли в огород тётки Лукерьи и «очистили» огурцы...

Слова бабушки постепенно становятся обычными... а мне скучно.

Вот и сейчас я лежу на полотах, прислушиваюсь к вздохам старух, смотрю, как они сонно перебирают чётки и все разом опускаются на колени, стучат лбами об пол...

Мне невыносимо скучно. Я бью в потолок пятками, и мне хочется, чтобы он обвалился на старух.

— Ага! Это вам за то, что молиться с собой не пускаете, — шепчу и жду: они обратят на меня внимание.

Ну где там! Хотя изба развалилась, всё равно меня на молитву не примут, потому что я православный, а они старой веры, без попов: вместо попа — моя бабушка. Она меня даже кормит из отдельной посуды. Мой бог висит отдельно — в данную минуту закрыт полотенцем. Мой бог один, борода-

тый, а в бабушкином киоте их десятки: вон едет на коне и копьём разит огромного змия, вот другого тащат на крест, третьего привязали к колесу, четвёртого жгут на костре. Эти же куда интереснее моего бога-одиночки... И я тихонько сползаю с полатей, неслышно шныряю между старухами и, выскочив наперёд, начинаю быстро, быстро креститься.

Поднимается переполох: нельзя крещёному молиться на их иконы... И старухи что-то кричат, торопливо гасят свечи, хотя я вижу, им стало веселее: не стучать сегодня лбами об пол. А бабушка сорвала с моего бородача-бога полотенце и бьёт меня им что есть силы. Мне вовсе не больно. Но я кричу так, будто меня режут. Бабушка уже повесила полотенце на гвоздь, обмывает иконы святой водой, а я всё ору и ору, громко, с надрывом, вот-вот «закачусь». Ага! Старушка сунула руку в карман чёрного платья, вытаскивает оттуда пряник и протягивает мне. Этого, конечно, для меня мало, и я, на миг прервав плач, снова ору, поглядывая на карманы других старух... И вот передо мной уже горка пряников, бубликов. Бабушка старательно фартуком вытирает слёзы с моего лица. Но я вижу на полке в кухоньке кувшинчик — небольшой, лиловатый. Уже несколько дней посматриваю на него. А теперь случай-то какой! И я ору, не отрывая взгляда от кувшинчика.

Заметь мой взгляд, бабушка не то сердито, не то ласково произносит: — Ах ты, пострелёнок, — и, достав кувшинчик, ножом вырезает оттуда мёд, намазывает его на ломоть белого хлеба и подаёт мне, говоря: — На-ка, на! — и гладит по голове. — Кто тебя? Кто? — и к старухам: — Кто это у нас мужика-то разобрал?

Меня все называют мужиком — это моя гордость. И я, уплетая хлеб с мёдом, по-взрослому отвечаю бабушке:

— Бирюк.

Да, бирюк, то есть волк. На него мы с бабушкой многое сваливаем.

— Вот отец приедет и бирюку хвост выдернет, — утешает она.

Я ещё не знаю своего отца, как не знаю и мать: оставлен у бабушки младенцем. И какой он, отец, — с бородой, без бороды? Высокий, маленький? Не знаю. Бабушка нет-нет да скажет:

— В Баке он. Четвёртый уж год там торчит.

И бабушка и старухи говорят не в «Баку», а в «Баке», «Бака». Мне ясно, раз отец может вырвать хвост у бирюка, то, стало быть, он всесильный, как и бог, о котором так часто говорит бабушка. Одного не понимаю: что это за «Бака» и почему отец «торчит» там четвёртый год.

Вскоре бабушка заговорила:

— Едет, непутёвый.

Я донимаю:

— Кто едет, бабаня?

— Твой... отец, — почему-то недовольно объясняет она и, однако, тщательно прибирает в избушке: моет окна, подоконники, белит печку, скоблит до белизны пол.

...И в одно утро, скрипя всеми колёсами и оглоблями, на тощей лошадеёнке, из спины которой ручейками сочится кровь, к избушке подъехали бакинцы.

Прилепившись носом к стеклу окна, стараюсь разгадать, кто же из двоих мужиков мой отец? Вот этот, с чуть раскосыми слезливыми глазами, в драном зипунишке и лаптях, или другой, тот, что вытаскивает из телеги сундук, — в сереньком лёгком пальто, в сапогах? У него длинный нос и лопаточкой бородка. Да, да, это отец: к нему подбежал мой старший братишка, Алексей, о котором я тоже немало понаслышался, и произносит:

— Папанька!

Да вон и бабушка повисла на его шее, затем на шее женщины, румянощёкой, темноволосой, — это моя мать.

Но я почему-то их перепугался, стремительно влетел на полати и забился в тёмный угол.

В избушке шум.

Бабушка и мать плачут, а отец кричит:

— Где он, стрикулист?

Я понимаю, речь идёт обо мне, и свёртываюсь в клубочек. Но отец уже тянет меня за босую ногу, вытаскивает из угла, и я впервые в жизни ощущаю отцовские поцелуи на лице и шуршание щекочущей бороды.

## 2

Еду в Баку...

Отец на днях сказал:

— Лёнька (то есть мой брат) больно квёлый. Оставим его у бабушки, а Федярку возьмём с собой: этот огни и воды пройдёт, и всё ему нипочём.

Вечером, за ужином, сидя у отца на коленях, теребя на его огромной жилистой руке волоски, заглядывая ему в лицо, спрашиваю:

— Квёлый кто?

— Квёлый? Да вон — лыки... лапти плетут.

Я знал, что такое лыко — шкурка, содранная с липы, и, по-детски дипломатичная, снова задаю вопрос:

— А ты лыки любишь?

— Лыки? Нет. К чему?

— А Лёньку? Квёлый ведь.

Отец на миг даже растерялся, затем криво усмехнулся, сказал, прижимая меня к себе:

— Министерская башка ты у меня растёшь: вишь, чего загнул. Однако Лёнька не лыки, а сын.

— Квёлый, — не унимаюсь я, польщённый похвалой отца, хотя ещё и не понимаю, что это такое — «министерская башка».

— Отшлёпать тебя, и будет квёлый, — сердито проворчала мать, и её до этого красивое лицо стало походить на лицо моей бабушки.

— Ишь ты! Только приехала — и колотить, — дерзко отвечаю я.

— Избаловали тебя тут! — вскрикнула мать, и её рука протянулась к моему мягкому месту.

Я, точно стриж, выскользнул из рук отца и молниеносно очутился на полатах.

Кричу:

— Достань-ка! Бакинска!

Отец захохотал.

— Что, мать? Возьмёшь его голенькими-то?

— Отшлёпаю? Дам по мордам, — бормочу я и кажусь сам себе взрослым человеком, но тут же, увидав, как по щекам матери потекли слёзы, неслышно спускаюсь с полатей, подхожу к ней, подставляю затылок — на, мол, бей — и трюсь лбом о её тёплую коленку.

— Жалость, стало быть, в нём есть, — перестав хохотать, удивлённо произнёс отец. И наставительно: — Мать жалей. Её надо жалеть: она мать. Меня жалей: отец. Бабушку. А других нет: звери.

Отец подвыпил: бутылка на столе опорожнилась. Хотя и потом, в трезвом состоянии, он мне не раз говорил:

— Страшнее человека, Федярка, зверя на земле нет.

Перед отъездом из села отец гулял со стариками общества: те отвели ему место для постройки дома, и, угощая их, он выставил пять вёдер водки — потратил почти весь «капитал», какой остался у него от заработка в Баку.

## 3

Говорят, до города Вольска семьдесят пять вёрст — это для меня такая же неизвестность, как «край света», о котором часто и довольно туманно рассказывала бабушка. Я знаю, на руке у меня пять пальцев, а сколько на обеих — не знаю, тем более для меня мрак — семьдесят пять. Да это и не важно: довезут. Важно другое — нас много, и все едут в Баку. Нас так много, что не знаю сколько. Телеги, телеги, телеги, а в них сундуки, узелки. Лошади все разные — гнедые, буланые, пегие, и возчики разные — мордва, татары, русские, нанятые на базаре. У иных телег почему-то оглобли обгорелые.

Я донимаю отца:

— Почему?

— Хитрые: нарощна обжигали оглобли, отправлялись за Волгу, в хлебные места, и милостыню там собирали на погорельцев. Сначала давали, а потом раскусили: жулики христовы.

Ничего не понимаю из объяснения отца и опять:

— Почему «жулики христовы»?

Отец сердится, как щенка, хватая меня за шиворот и кидает в телегу.

— Сиди!

Но разве усидишь, коль для меня всё ново, всё необычайно. Ведь мне всё время казалось, мир — это наша улица, овраг, лес, бабушкина избушка, старухи в чёрных платьях. А тут сёл-то, деревень-то сколько!

А вот это Вольск...

Мы спускаемся с горы.

Диво!

Дорога устлана камнем-булыжником, и ошинованные колёса на ней так гремят, что кричи хоть во всю глотку — не слышать. А улица широкая: три наших. Домá — ни одной соломенной крыши, церковь высоченная и купол золотой.

— Собор святого Егория, — поясняет отец.

— Это кто? — спрашиваю я.

— Кто? — передразнивает он. — Святой. Лошадиный покровитель. Егорий, ежели захочет, чтобы волки задрали какую лошадь, скажет: «дери», и волки мигом разнесут такую лошадь. Не скажет — конь всеми копытами отобьётся.

Я было развесил уши, слушая отца, но мать мечется между сгрудившимися на берегу телегами и вопит:

— Ваня! Где мешки-то?

Отец сразу посерьёзней, оборвал рассказ о Егории и кинулся к телеге. Выхватив оттуда мешки, он направился к пристани.

Ба! Волга-то какая!

У нас в селе речку коровы вброд переходят, и то нам, ребятам, страшно, а тут — водищи-то!

Отец говорит:

— Попусту текёт матушка-река. На поля бы её к нам — тогда не бегай за куском хлеба.

А это паро-ход.

Мы разместились на корме, а на верхней палубе — нам видать — гуляют барыньки под зонтиками и «кавалеры», как называет их отец.

— Нам-то способней тут: до воды — рядом. Как что — бултых. А оттуда, со второго этажа, попробуй-ка, — говорит отец, и глаза у него становятся насмешливыми.

Пассажиры на корме хохочут.

Отец, между прочим, великолепный рассказчик. Вчера, например, он долго рассказывал пассажирам о своём пребывании в Ашхабаде, о тяжёлой доле местного населения, вызывая у слушателей горестные вздохи,

а сегодня, по настоянию сивенького старичка продолжая рассказ, он вдруг встрепенулся, засиял глазами и стал каким-то озорным:

— Жара там такая, — тыча пальцем в грудь сидящего перед ним сивенького старичка, говорит отец. — Такая жара: клади баранину на землю — поджарится. Чурек пекут простым манером: лепят тесто прямо на стенки круглой ямы.

— Без огня? — спрашивает старичок.

— Ну, к чему? Земля-то горячей огня. А народ жёлтый, как лимон, и по-русски — ни бельмеса.

— Тупые, значит? — входя в азарт, утвердительно произносит старичок.

Отец за слово «тупые» какой-то миг зло буравил старичка глазами, затем, подмигнув остальным, продолжал:

— Зато топором раз тяпнешь — рупь подавай, два тяпнешь — два подавай. За день-то мешок наберёшь.

— Цолковых? — уже поражаясь, спрашивает старичок.

— Серебряных! — подтверждает отец. — Два мешка я привёз.

Наступила минутная тишина: слушатели думают — врёт или правду говорит плотник Иван Панфёров.

Тишину нарушает сивенький старичок:

— А что же ты... столько деньжищ... и тут вот, а не там, а? — Он показал рукой на верхнюю палубу да так и оставил открытым кругленький рот.

Отец, видимо, не ждал подобного оборота и какую-то минуту находился в затруднении, но быстро нашёлся:

— Они неразменны, рубли.

— Это то есть? — не унимается старичок.

— На тех рублях с одной стороны сатана выбит, с другой — ихний бог, истукан... И такой рупь нигде не меняют, — уже победоносно произносит отец.

Старичок, как козёл на новые ворота, таращит глаза, а слушатели, поражённые неожиданной концовкой, так хохочут, что перекрывают шум парходных колёс.

## 4

Через несколько дней мы прибыли в Астрахань.

В каких-то городах, видимо в Саратове и в Царицыне, — я тогда о городах-то вообще понятия не имел, — в каких-то городах парход стоял подолгу, и отец где-то пропадал. Я канючил, просился, но он меня с собой не брал, говоря:

— Около матери побудь, вещи карауль.

В Астрахани повёл на толкучку, где у меня от множества людей, духоты и пыли закружилась голова. Я пошатнулся и чуть не упал. Отец грубо дёрнул за руку, сказал:

— Ты! Барынька, что ль? А ещё мужик! Сейчас обнову тебе купим... на ноги.

И я, подбодрённый обещанием, собрав силёнки, начал толкаться вместе с ним среди этой бушующей, орущей, торгующей и продающей толпы.

Вскоре отец купил мне «резинковые калоши». Верно, они были в заплатах: залитые и смазанные чёрным лаком. Но ведь это же впервые в жизни для меня приобретённые! Примерив их на босую ногу, я замер и на вопрос отца: «Не малы ли?», задыхаясь, еле слышно ответил:

— Гожа, папанька!

И, конечно, я калоши снял с ног, со всей силой вцепился в них и понёс, тем более, что отец сказал:

— Гляди! Вырвут: воров в Астрахани, что мух.

На берегу, неподалёку от пристани, в толпе таких же пассажиров, как и мы, отец разыскал мать, сидящую на мешках с одежкой. От родителей я ещё перед этим слышал, что нас на особом пароходе отправят на взморье и там посадят на какую-то шхуну. Мать встретила нас встревоженная:

— Боялась, опоздаете.

— Сроду всего боишься, — ответил отец. — А мы обновку купили, — похвастался он и, отобрав у меня калоши, подал ей.

Мать повертела их в руках и, видимо, желая что-то сказать, неудачно произнесла:

— Эх! Заплатные.

— А ты думаешь, за семь гривен тебе новенькие... — оборвал её отец.

Мать надула губы.

«Сейчас поругаются», — подумал я и, увидев, что калоши запыхались, да ещё мы их пальцами захватили, побежал на мостик — мыть.

Сначала помыл одну калошу: она обновилась, посветлела. Потом приступил ко второй, первую поставив на бережок. Вот тут-то, на второй калоше, меня и постигла великая неудача. Вымыв, я пустил её по течению. Она поплыла, как лодочка, и я вовремя перехватил её рукой. Это мне очень понравилось. Повторил. И ещё повторил... И вдруг калоша сунулась носом в воду, захлебнулась и ушла на дно.

«До смерти запорют меня», — пронеслось в моей голове, а сердце «оторвалось».

Что же делать?

Безотчётно схватив первую калошу, я сунул её в воду следом за утонувшей... и бочком, словно набедукуривший шенок, подошёл к родителям.

На моё счастье, они как начали переругиваться из-за калош, так и продолжали, даже не заметив меня. А тут ещё подошла бабушка Груня, которая провожала нас до Астрахани. Она протянула мне что-то большое, гораздо больше любого яблока, и такое светло-красное, притягательное, что у меня глаза загорелись.

Бабушка ласково произнесла:

— Ешь, внучек: вкусно, страсть.

Я вонзился зубами, брызнул сок, но в следующую секунду выплюнул откусанное и заплакал горькими слезами: «что-то» оказалось приторным и вязким.

— Да что ты, что ты, касатик! — перепуганно заговорила бабушка. — Ведь это помидора...

И потом я долго горевал, что подарок бабушки — красивое и красное — был мне так не по вкусу.

Когда стали садиться на пароход, мать спохватилась:

— Где же Федяркины калоши? Куда ты их дел, Федька?

Я неопределённо повёл руками и промямлил:

— Да тут... где-то.

## 5

Вот и Каспий — то гневный, то ласковый. Сейчас ласковый, потому кажется, он после каких-то огромных трудов развалился под яркими лучами солнца и, подрёмывая, блаженствует: такая солнечная, необъятная гладь, а по ней быстро бежит наша остроносая шхуна, как бы грозя морю грохотом и визгом толстенных цепей. Местами солнечную гладь то и дело взрывают стада каких-то животных — чёрных, крупных, как бараны.

Я опять к отцу:

— Кто?

— Тюлени.

— А зачем?

— Играют. Поиграть всякому охота, особо ежели на воле, сынок.

Мне интересно, но у отца почему-то в глазах грусть, и я снова тереблю его за штанину.

— А ты что... поиграть-то?

— Я в тисках, — ответил он непонятным словом.

В другое время я донял бы отца, а тут увлёкся морем: больно оно уж великое, как небо.

К вечеру Каспий отдохнул, зашевелился, расправил плечи и пошёл работать: откуда-то, наверное из глубин моря, поднимаются огромные волны, куда больше бабушкиной избушки, хлещут по шхуне, перекатываются через палубу, и всё кипит, клокочет.

— Сатана разыгрался, — сказал отец, уводя меня в трюм...

И я уже представляю себе, как сатана — мохнатый, с хвостом, с рогами, вместо человеческих ног у него козлиные копыта — разыгрался: где-то там, поддно моря, подложил много, много дров, поджжёт, и море кипит, словно в котле.

Ух, здорово!

Вот так сатана!

Нас в трюме много — пожилых и малышей. Почти все заболели морской болезнью. Но меня она почему-то не берёт, и я, несмотря на то, что мать мне сурово приказала: «Федька, из трюма не бегай», уже на палубе.

Тут интересно: носятся матросы, что-то кричат. Над шхуной косо вьются чайки, да так низко, что вот-вот схватишь рукой. А по палубе перекатывается солёная вода. Она подхватывает меня, как щепку, и я удаляюсь то о якорные цепи, то о канаты.

Но мне весело, интересно.

Такого меня и увидел матрос — здоровенный, в брезентовом просоленном плаще.

— Ты что тут? Эй, герой! Волна стащит в море — на закуску тюленям. Откуда, кто, как звать?

Откуда? А разве я знаю, откуда еду. «Из Расеи в Баку», — так говорят взрослые. А звать меня...

— Федька, — намеренно грубовато отвечаю, побаиваясь этого человека в покоробленном плаще и с такими большими чёрными, как дёготь, глазами.

— Фёдор, значит? А я Аким, Аким Морев — вот какая моя морская фамилия, — прогудел он надо мной в рёве волн.

— А откуда? — с задором в свою очередь спросил я.

— Далек. Там. — Дядя Аким махнул рукой куда-то в сторону сплошной туманной стены брызг. — Там — не видать... На берегу родственнички мои. Рыбаки: за рыбой на Каспий ходят, за тюленем. Каспий — наш бог, вот кто: то милует, то казнит.

...Я хотел есть и потому решительно спросил:

— Поесть нет ли чего, дядя Аким?

— Для такого клопа найдётся.

— Я не клоп, а мужик.

— Ну и для мужика найдётся.

Он ввёл меня в столовую, переполненную матросами, и громко возвестил:

— В морской пучине новый моряк отыскался. Принимай, ребята, в компанию, угощай, чем ни на есть.

Матросы приняли меня шумно, угостили щами с мясом, расспрашивали, откуда я, хотогали над моими ответами... А я, привязавшись к дяде Акиму, ни разу даже не спустился в трюм, точно забыв, что там страдают от морской болезни отец и мать.



Каспий озоровал несколько дней и стих только перед Баку.

Мать и отец, оправившись от морской болезни, встревожились, стали искать меня и уже было решили: «Федярку, видно, снесло в море», как столкнулись со мной у дяди Акима, — тогда от «великого» горя перешли к «великому» гневу: отец снял с себя ремень и выпорол меня.

На этот раз я не обиделся на отца: прав.

## 6

Город Баку раскинулся на огромной береговой дуге. В центре он поблёскивает зданиями, церквями, минаретами. Тут и небо чистое, ярко-голубое. А по правую и левую сторону небо заволочлось какой-то чернотой.

Мы — все пассажиры, в том числе отец, мать и я, — выбрались из трюма, готовые сойти на берег, и смотрим на город.

Отец почему-то сегодня со мной особенно ласков — возможно, раскаивается, что порол. Он крепко держит меня за руку и говорит:

— Гляди, сынок, вот она какая, Бака-то. Видишь, в середине Белый город. Светится всё там. А по правую сторону... Где у тебя правая-то рука? — неожиданно спрашивает он.

Я впервые вижу такой город, которому нет «конца-краю». Мне даже кажется, что наша шхуна превратилась в какую-то муху и её вместе с нами втягивает в свою пасть та громадина, что раскрывается перед нами.

Стало страшно.

— Где у тебя правая-то рука? — снова слышу я необычайно ласковый голос отца и в замешательстве показываю то левую, то правую руку.

Мать, видимо, считала разговор отца пустой забавой — «сходить надо сейчас, а он не знает чего» — и прикрикнула на меня:

— Какой крестишься, бестолочь?!

Я выхожу из оцепенения и поднимаю правую руку.

— Вот.

— Знаешь, значит? Говорю, молодец ты у меня растёшь, — похвалил отец и продолжал: — Так вот, по правую сторону Белого — Чёрный. Видишь, темно там на небе. Левее — Бейбат. Вышка на вышке: нефть тартают. Ну, а там, за Чёрным городом, Сабунчи, Сураханы — не видать отсюда.

Пристани длинные, длинные, не такие, как на Волге, а скорее походят на деревянные мосты.

Мы идём по пристани на берег и несём с собой «всё богатство»: мешок с постелью, мешок с одежкой и корзинку с «едой».

Я вижу, с неба летит снег, но какой-то чудной: чёрный. Ловлю снежинки, растираю — ладони почернели.

— Сажка летит, дурень, — ворчит мать. — Не вытирай о штаны-то, не отстираешь потом.

— Так вот какой тут, сынок, снег, — говорил отец, став сосредоточенным, напряжённым. — Где работу-то искать теперь? — спрашивает он, ни к кому не обращаясь.

— К Шибаеву, а то к «Олеуму», — уверенно произносит мать.

— Ты уж всё знаешь. Знаток! — И, глядя на множество буровых вышек, измазанных нефтью, отец тихо добавляет: — Пожар бы... тогда нам, плотникам, рупь с колесо зарабатывать.

— Пожар? Да что ты, Ваня... и наше богатство сгорит, — в страхе произносит мать, называя так всё, что находится в двух мешках.

— Ты только об этом и думаешь, а дальше своего бабьего носа не видишь, — зло кидает слова отец.

Я понимаю — сейчас они опять поругаются. Уже сколько раз ругались на пароходе... И потому, теребя отца за штанину, спрашиваю:

— Жить где будем? В Белом?

— Бары разные в Белом. Мы — в Чёрном, ай на Бейбате, — так называл он район Бибиэйбата.

Через неделю отец определился плотником на нефтяной промысел Шибаева. Поселились мы в тесной комнате в одноэтажном, с плоской крышей здании, окнами и дверями во двор.

Баку того времени — это грязные нефтяные промысла, конка, запряжённая в четвёрку тощих коняг, сажа летит, как снег, мутные воды канав.

Когда я подружился с дворовыми ребятами, они меня спросили:

— Откуда приехал?

Я не знал ни названия родного села, ни дороги к нему и потому ответил, как отвечал в пути всем:

— Из Расей.

Более взрослые ребята прозвали меня «Расейским». Однако я среди своих сверстников вскоре, видимо потому, что физически был сильнее их, заделался вожаком — они называли меня «атаман сорви-башка».

У нас уже выработался свой план: как только вскакивали утром (а спали почти все под кроватями), бежали к полицейскому участку. На двор участка каждую ночь свозили зарезанных, удавленных, убитых. И мы, взобравшись на каменный забор, рассматривали мертвецов, пока не выходил усач полицейский, которого мы звали «Крючком». Крючок метлой сгонял нас с забора, за что мы и не давали ему проходу на улицах: завидя, всей оравой кидались наперерез и во все наши маленькие глотки кричали, дразня:

— Крючок! Крючок!

Полицейский злился, а прохожие смеялись.

Поголдавшись около полицейского участка, мы совершали очередной налёт на мусорные ящики и, глядишь, что-нибудь да находили: то случайно выброшенные, даже завёрнутые в бумажку женские чулки, то кости или железуки — и всё это тащили к старьёвщику-персу, а заработанные копейки немедленно тратили на халву.

Но берег Каспия — самое излюбленное место наших прогулок. Море посылало нам подарки — железный лом, доски, обрывки веревок, а иногда и якорную цепь. Поэтому мы и любили его. Для других море — это крушение, беда, несчастье, для нас разбитая волной и выброшенная на берег лодка — подарок. А тут ещё мазут — грязная нефть. Она плавает на море, густая, будто сало. Мы собираем её в вёдра и по дешёвке сплавляем сборщику нефти.

А после обеда (мы-то не обедали) вертели около солдатских казарм. Здесь перепали нам куски хлеба от солдат, иногда плюшка с остатками щей, да и подзатыльники.

Так шла жизнь.

Отец работал на промысле, мать собирала мазут, я сломя голову носился по излюбленным местам, и меня уже стали называть лоботрясом.

## 7

В нашей маленькой комнате вместе с нами жили ещё два квартиранта — босьяки. Один из них, по прозвищу «Царище», — огромного роста, лохматый, и другой, его напарник, — маленький и юркий, по прозвищу «Смоляв». Его так звали, видимо, потому, что он всегда был вымазан нефтью, значит Смоляв — просмолённый. И то и другое прозвище придумал отец: на клички он был мастер.

Оба они — Царище и Смоляв — день-два работали на промысле, а потом пили. Пили много, четвертями, затем выбирались на улицу и дрались, избивая таких же оборвышей, как и они.

В драке первым шёл Царище. Весь окровавленный, он с тычка бил всех, кто подворачивался под его кулаки-кувалды, и ревел:

— Про-ле-тари-ят! Ширь-топырь, бей по сопатке!

А Смоляв, делая вид, что он не причастен к этому безобразию, отбегал в сторонку, прыгал на одном месте, но, как только кто-либо падал на булыжник под ударом Царища, подскакивал и избивал упавшего, тоже воя:

— Пролетарият! Давай валяй!

Но вот однажды к нам в комнату пришёл студент.

Собрались рабочие, в том числе и дядя Ваня Кошелев — наш односельчанин и дальний родственник. Он жил в Баку уже несколько лет, работая слесарем на нефтяном промысле общества «Олеум». Детей у него не было, и жена дяди Вани, тётка Маша, женщина крупная, полная, иногда вводила меня к себе погостить.

Две необычайности поражали меня в комнатке тёти Маши: во-первых, то, что она каждый вечер старательно выщипывала на голове дяди Вани волосы и добилась своего: к весне у него лысина заблестела ото лба до макушки, как лужёное дно кастрюли, и во-вторых, она укладывала меня спать на подушках. Дома я спал где попало, и чаще под кроватью. А тут подушки! Я ложился на них, не смея шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни головой. Она же угощала меня леденцами, доставая их из круглой, выскокой, разрисованной банки... И когда в Баку взрослые заговорили о возникновении каких-то банков, видимо финансовых, мне казалось, что это всюду расставляют банки с леденцами.

Сейчас дядя Ваня сидит в нашей комнате за столом, светится лысиной, улыбчивым широким лицом. Он добрый — это я знаю и потому стремительно выскакиваю из-под кровати и устраиваюсь у него на коленях. Устроившись, шепчу:

— Дядь Вань, я пощипу тебя.

— Что за «пощипу»? Пощиплю, что ль?

— Угу, — отвечаю я и тянусь пальцами к его голове.

— Это к чему же пощипать-то меня хочешь? — спрашивает он и хохочет.

— А тётъ Маша? Видел ведь я.

Он проводит ладонью по огромной лысине и торжественно произносит:

— Закончено уж. Шабаш, стало быть.

— А я маленько, с боков.

— Фельдка! Знай своё место! — цыкнул на меня отец.

Я моментально скрываюсь под кроватью и прислушиваюсь.

Отец шёпотом сказал студенту:

— Сейчас придут Царище и Смоляв. Подождём?

— Лучше, если бы их не было, — так же шёпотом ответил студент.

— Пролетариятом зовут себя, — пояснил отец.

— Далеко им до пролетариата, шарлатанам. Вот пролетарият, — и студент показал на дядю Ваню.

У меня уже сложилось убеждение, что пролетарият — это Царище и Смоляв: вон как лупцуются на улице. Оказывается, пролетарият — дядя Ваня, тихий и добрый.

Отец сел у двери, а студент забрался в передний угол и стал читать что-то, видимо, очень заманчивое. Он читал роман под названием «Кирилл Обжора». Название книги я восстановил потом, помня, как мать иногда упрекала меня:

— Что ты, Фельдка, жрёшь, как Кидрил Обжора. — Она вместо «Кирилл» говорила «Кидрил».

Временами студент откладывал книгу и начинал что-то рассказывать, и люди слушали его с большим вниманием. Говорил он о земле, о заво-

дах, о зароботке, но, если слышались шаги или голоса под окном, студент снова принимался читать.

Я в такие часы лежал под кроватью. Мне казалось удивительным: как это так — студент перелистывает книгу и всё что-то говорит, говорит, говорит.

— Читает, — пояснил мне дядя Ваня.

Спустя много лет я узнал, что студент был социал-демократом и вместе с дядей Ваней Кошелевым входил в подпольную организацию. Меня же тогда интересовало другое — что значит «читает»? Однажды я привязался с этим вопросом к матери. Мать пробовала мне растолковать, даже взяла книгу и что-то с грехом пополам прочитала. Но это мне ничего не объяснило. Тогда она разозлилась и отвесила мне подзатыльник. Я больше от досады, чем от боли, заревел.

Дядя Ваня сказал:

— Букварь надобно достать ему. Пускай буквы учит.

— Верно, озоровать перестанет, атаман сорви-башка, — согласился отец.

Вскоре появился букварь, потёртый, обтрёпанный, приобретённый дядей Ваней на толкучке.

Мать скомандовала:

— Садись за стол, учи. Это «а», это «бы», это вот «вы». Ноне это за долби, а потом пойдём дальше, — уверенно, вытерев концом косынки губы, произнесла она.

Я начал долбить:

— А, бы, вы...

Скучно.

Нет, я лучше займусь клопами. Клопы жили в стене над кроватью, в ямочках от гвоздей, и я их, когда никого из взрослых дома не было, спичкой перегонял из одной ямки в другую. Были они разные: маленькие и большие. Большие значило — отцы, матери, дядья, гуляки, жулики, воришки, буйные, головорезы. Маленькие — это мы, сорванцы... И я их водил друг к другу в гости, сватал, венчал, устраивал свадьбы, драки, свалки и под конец поджигал.

Интересно!

Но приходила мать, била меня щепой и сажала за букварь.

И опять начиналось:

— Жи, зы, и, кы, лы, мы...

Когда буквы были «выдолблены», мать проверила и, хотя сама читала по складам, а писала так, что ею написанное никто не понимал, однако скомандовала:

— А теперь давай писать. Пиши: «мама».

— Как? — спросил я.

— Бестолочь. Ну, пиши: «мы».

— Как? — опять спросил я.

— Вот как! — Мать, помусолив карандаш, занесла его над головой, подумала и написала «мы».

Я списал: «мы».

— Прибавь к «мы» «а».

Я прибавил, получилось: «мыа».

— Теперь к этому подпиши ещё «мы» и «а».

Я подписал, получилось: «мыамыа».

— Читай! — приказала мать, и на её лице заиграла торжествующая улыбка победителя. — Читай! — ещё раз произнесла она.

Я прочитал:

— Мыамыа.

Она крикнула:

— Дурак! И в кого только уродился: в нашем роду нет, в отцовском тоже!

— А Тютю, — напомнил я ей про её родственника Тютю — парня здорового, бегающего по улице за курами с криком: «Тютю, тютю» — иных слов он не знал.

Мать, оскорблённая за свой род, долбанула меня кулаком в затылок.

— Это помнишь, а разумное нет, — и, прочитав то, что я написал, сказала: — Вот как надо писать. Дай-ка карандаш, — и написала: «мыама».

Прочитала вслух и ахнула, растерянно говоря:

— Федярка, да как же «мама»-то нам написать?

Ого! Вот уж получается слово. Этому меня научил дядя Ваня. Я могу написать: «клоп», «мазут». И пошло — на всех заборах, на тротуарах, на стенах коридоров и даже на двери полицейского участка коряво и неуклюже: «клоп», «мазут», «клоп», «мазут».

Прошёл год, и я уже читаю. Мои друзья и сверстники не умеют, а я с пыхтеньем и с кряхтеньем прочитал дешёвенькую книжку «Ермак Тимофеевич». Эге! Собираю уличных сорванцов на берегу моря и рассказываю им про Ермака Тимофеевича. Рассказываю вечер, другой, третий. Скучно рассказывать одно и то же... И я начинаю фантазировать. Сегодня Ермак делает одно, завтра — другое. Вот он забрался в наш знаменитый полицейский участок, словил ненавистного нам усача полицейского и повёл его к морю, приговаривая:

— Я тебя, хахаль, сейчас утоплю. Это наказание тебе произвожу за ребят. Гонял ты их с забора метлой?!

— Гонял, — смиренно отвечал усач полицейский.

— Ну вот, теперь утопишь и тогда ребят гонять не будешь.

Такие рассказы моим сверстникам очень нравятся. Успех подхлестывает мою фантазию: Ермак Тимофеевич заходил уже по промыслам, по мусорным ящикам, по берегу моря, по квартирам богатых и бедных, и вместе с ним мы вдруг стали видеть, где богатство, а где и нищета, где труд, а где и безделье.

## 8

Родители мои, «заработав денюгу», решили отправиться в село — строить дом. Отец сколотил сундук, на крышке которого написал: «И.И.П.», что означало: «Иван Иванович Панфёров», набил его купленной на толкучке одежкой, старыми топорами, ржавыми дверными петлями, пилками, какими-то железюками, и мы покинули Баку.

Мне уже стукнуло восемь лет.

Никто — ни отец, ни мать — не задумывался над тем, куда и как меня пристроить.

— Вырастет, сам привьётся к колышку, — рассуждали они.

Да я и сам не задумывался, кем буду, куда пойду. В Павловке связался с уличными ребятами, лазил по огородам, по садам, целыми днями пропадал в лесах, а зимой — на лыжах, и только одно событие как-то потрясло меня.

Вскоре после нашего приезда в село вернулась и тётка Маша. У неё случилась беда: на промысле при падении буровой вышки дядю Ваню задавило брёвнами. Рабочие, члены профсоюза, через суд добились того, что нефтяная компания «Олеум» выплатила тётке Маше три тысячи рублей. С этим «капиталом» она и приехала в родное село. Здесь, конечно, все родственники встретили её, а вернее — её «капитал», с распростёртыми объятиями: называли Марией Петровной, приглашали в гости, угощали блинами. Одним словом, чуть не на руках носили. Среди родственников оказался один самый «гостеприимный». Он уговорил тётку Машу, и она поселилась у него. Это был наш сосед Царьков, прозванный так за то,

что его прадеды когда-то делали фальшивые деньги. Родственники покосились на тётку Машу, понимая, что «капитал» уходит от них. А Царьков предложил тётке Маше:

— Вот что, Мария Петровна, давай построю я тебе лавочку во дворе у себя, откроешь ты мелочную торговлю, и каждый твой рупь, который сейчас лежит дарма, будет зазывать в твой карман копеечку-другую.

Она вначале сопротивлялась, потом согласилась. И вскоре появился небольшой домик из сосновых брёвен, а над дверью вывеска:

«Мелочная торговля М. П. Кошелевой».

Какое-то время тётка Маша торговала, а затем заболела сыпным тифом. Её остригли, уложили в постель, стали лечить. А когда она начала поправляться, Царьков, взяв икону, встал на колени перед тёткой Машей, ещё лежащей в постели, и сказал:

— Мария Петровна, зачем тебе на старости лет утруждать себя какой-то торговлей? Ты откажи мне всё. Я буду ездить за товаром, торговать, а деньги вместе будем считать. Я ж тебя, клянусь господом богом, буду до гробовой доски поить, кормить, одевать и ублажать, как мать родную.

Она снова поколебалась, но согласилась.

Тогда Царьков начал приближать «гробовую доску».

Как только тётка Маша поднялась с постели — это было летом, — Царьков посоветовал:

— Мария Петровна, что ты в духоте лежишь? Шла бы на погребницу. Там и прохлада, там и мух нет и покой: никто мешать тебе не будет. А я сенца постелил, сделал вроде пуховой перины. Иди-ка лежи, отдохни.

Она отправилась на погребницу. И как только переступила порог, Царьков запер дверь снаружи, затем позвал нас, ребяташек, и командовал:

— По конфетке дам, только вот что: возьмите прутья и через дырки плетня подразните эту Марию-то Петровну.

Ну мы, ребяташки, ещё ничего не соображающие, достали прутья, налетели на погребницу и принялись дразнить тётку Машу. Сначала она просила не тревожить её, потом начала плакать и причитать, потом торкнулась в дверь и завопила, призывая на помощь Царькова. А тот стоял на крыльце дома, смотрел, как мы орудуем, и хохотал.

Спустя некоторое время тётка Маша в одной домотканной нижней рубашке, с седой клочкастой головой, грязная и полубезумная, стала появляться на улице.

Родственники уже не звали её Марией Петровной, а, насмехаясь, кричали:

— Эй ты, бакинская барыня!

Да и мы, ребяташки, не давали ей проходу: прыгали впереди неё, поднимая тучу пыли, кидали в неё палками, камнями, улюлюкали, приплясывали:

Барыня! Барыня!  
Драна, вшива  
Барыня!

И однажды Марию Петровну нашли на погребнице: повесилась. Она висела всё в той же домотканной грязной рубашке, и когда ветер покачивал труп, то большой палец левой ноги чертил по песку.

Здесь её обступили односельчане. Кто-то пожалел, даже скрипнул зубами, сказав:

— Эх, жизнь ты наша окаянная.

Но большинство только позавидовало Царькову: три тысячи хапнул... А эта что же — старушка! Пора умирать: все умрём.

Я пробрался в круг и впервые душевно дрогнул:

«Да ведь это та самая тётка Маша, которая когда-то клала меня спать на подушках, угощала леденцами», — мелькнуло у меня, и после этого я невольно стал приглядываться к своим родственникам, к односельчанам и увидел, что все живут в раздоре друг с другом, что нет ни одного соседа, который бы мирно жил со своим соседом, и что особенно клокочет вражда среди родственников: впоследствии выяснилось, Царьков сам повесил тётку Машу.

## 9

Село у нас большое, расположенное от городов Хвалынска, Вольска, Кузнецка вёрст за семьдесят, среди деревень, заселённых мордвой, татарами, чувашами, русскими. Они-то и наезжали в базарный день на площадь, торговали здесь глиняными горшками, оглоблями, колёсами, зерном, мукой, тёсом, хомутами, огурцами, тыквами, арбузами, коровами, лошадьми. К этим приезжим всегда сквозила вражда у жителей Павловки. Многие павловцы относились к татарам, мордве и чувашам с высокомерием, называя татар «гололобыми», а мордву и чувашей — «косьми»: большинство из них болело трахомой, поэтому глаза у них всегда слезились.

Павловка делилась на три общества — Щетиновское, Зайкинское и Криулинское. В Щетиновке говорили, нажимая на «и», примерно так: «чиво», на Зайке нажимали на «о» — «чово», в Криульне на «е» — «чево»; и дразнили друг друга «чивошниками», «човошниками» и «чевошниками».

И каждый житель имел свою уличную кличку.

Наш сосед Михаил Прокофьевич Бирюков — человек тихий, даже какой-то выцветший. Идёт, бывало, поздней осенью по выгоревшим травам — его и не видать: вроде тень скользит. Дядя Миша мастерил сапожные колодки. В летнее время он садился во дворе под навесом у плетня, за которым, тоже под навесом, мой отец тесал клещи — деревяшки для хомутов. Сначала они оба работали молча. Но вскоре на фоне жаркого неба показывалась выцветшая голова дяди Миши, и его отяжелевшие, с надутыми жилами руки свисали через плетень. Вяло посмотрев на дверь своей хаты, он обычно начинал:

— Ваня. Вот ты был в Баке... как и что там... живут, к примеру? Видно, сладь медовая, ежели таскаешься туда?

— Сладь с горчицей, — отвечает отец. — Вот галахи (так называли в Павловке босяков, производя это слово от слова «голый») ...вот галахи, те, скажу, завидно живут: зашибут где ни где по цолковому на рыло, напьются и на берег моря под лодку — спи. Никакой тебе заботы. Впрочем, в Баке есть солидарность, — ввёртывал непонятное ни мне, ни дяде Мише слово отец и, не бросая тятать топором, рассказывал и час и другой о том, как в Баку рабочие друг за друга «горой стоят... солидарно, значит».

Дядя Миша висел на плетне, слушал и изредка, как бы между прочим, произносил:

— Паша пишет — домой хочется. А я говорю, подождать. А он — нутром, слышь, страдаю.

Это он про своего сына Павла, который уже несколько лет живёт в Баку и каждые два-три месяца шлёт дяде Мише деньги.

— Помирают там многие, чего говорить: копоть, — неутешительно замечает отец и вдруг грубо: — А тут мало ли нашего братадохнет? Солидарности здесь нет. Ежели бы оно...

Отцу не даёт договорить тётка Луша — жена дяди Миши, женщина полная и шумливая. Выбежав из хаты на крыльцо, она орёт:

— Ты что, водяная шишига! Ты что губы-то развесил? Шабёр (сосед) не бросает, клещи тещет, а ты?!

— Пошла-поехала. Покалякать и то не даст,— смиренно произносит дядя Миша и принимается за свои колодки.

Михаил Прокофьевич первый применил в поле каток, и улица прозвала его: «Агролом», то есть агроном.

Однажды я спросил отца:

— Что это тётка Луша дядю Мишу шишигой дразнит? Так ведь баб дразнят.

— А он баба и есть: видишь, я калякаю и дело делаю, а он по-бабьи— башку мочальную свесит и слушает. Агролом, одно слово.

— А я его... люблю: тихий он.

— Люблю? Отца люби, а он чужой, — всегда наставительно подчёркивал отец.

— А чего он дядю-то Пашу держит в Баке? — чуть погода спрашиваю я.

— Деньги из него выколачивает.

— А он бы убёг: большой ведь.

— Убёг? Куда? Отец паспорт не даёт, а без него человек на привязи.

— Что это — паспорт?

— Грамота такая. Вид, значит.

Из разъяснения отца я понял только одно, что дядя Миша плохо поступает с сыном, а ведь казался таким хорошим.



Против нашего дома живёт маленький, шустренький и чёрненький, как уголёк, Севастьян Строганов, по-уличному «Бешан». У него есть лошадь — пегая, лядащая, прихрамывающая на заднюю ногу. Про эту лошадь говорят:

— Под гору она вскачь, а на гору — хоть плачь.

Дядя Севастьян больше сидит в хате у окна, грызёт семечки. Он их интересно грызёт. Шелуху не выплёвывает, как это делают обычно, а легонько языком выталкивает изо рта. Смоченная слюной, шелуха не падает, а, цепляясь, гирляндой свисает ему на колено или на подоконник. Накопится, отяжелеет — отвалится. И снова изо рта дяди Севастьяна выползает сизая гирлянда.

Я пробовал так грызть семечки — не научился.

Так вот дядя Севастьян сидит у окна час, другой, затем начинает укоряюще рассуждать, обращаясь к жене, которая в это время лежит на печке:

— Ты гляди, у Ваньки Панфёрова воротный столб покосился. Нет чтобы поправить, камнем каким-никаким забутить. Упадёт столб, а в тот момент ребёнок подвернётся: хлоп по башке — и нет в живых. Жулик бакинский... Не видит, что ль? — И снова из его рта выползает сизая гирлянда шелухи.— А то вон,— спустя некоторое время снова начинает он, — у Мишки Бирюкова, агролома, труба на крыше... видишь — глина отвалилась, кирпич высунулся. Упадёт — и по башке его же девчонке. Эх ты, растрёпа...

А у самого, как говорили в деревне, двор полем горожён, небом крыт: ни ворот, ни забора, ни сарая.

И умер он не так, как умирают все: рано утром запряг пегашку, сел в телегу, подбросив под себя косу, а на голову картуз с каркасом, то есть со стальной пружиной внутри околыша, и выехал в поле. Там его застала гроза, и он был убит молнией. Так он и сошёл в могилу с кличкой «Бешан», и потомки его стали прозываться Бешановыми.



Мой дедушка, Иван Панфёров, давным-давно умер, но ещё жил его двоюродный брат, дедушка Пётр Кондратьевич, по прозвищу «Тюлень». Дедушка Пётр после женитьбы, в молодые годы, вместе с артелью отправился на Каспий бить тюленя. Там он, тоскуя по молодой жене Агаше, часто плакал, за что артельщики и прозвали его тюленем.

Моя обязанность по двору заключалась в том, что я каждый день должен был убирать натёсанную отцом щепу и складывать её под сараем. Иногда украдкой я таскал щепу бабушке Агаше, а она одаряла меня тыквенными семечками. Нередко я заставлял бабушку и дедушку за буйной руготнёй. Дедушка обычно лежал на печке и оттуда сыпал на голову бабушки оскорбительные слова, «поднимая» из гроба всех её родных. Бабушка, посеревшая от злобы, тыча из кухоньки ухватом по направлению к дедушке, тоже сыпала на его голову, казалось, оскорбительные слова, но дед только криво ухмылялся и что-то мычал. Но однажды бабушка не выдержала и кинула ему в лицо:

— Тюлень! Пра, тюлень!

В избушке наступила секундная мёртвая тишина. Лицо у бабушки так побледнело, что на нём виднелись только чёрные глаза. А дед вдруг, точно кот, спрыгнул с печи, поднял кулаки и пошёл на бабушку.

«Убьёт ещё», — мелькнуло у меня, и я стремительно кинулся ему наперерез.

Он на миг остановился; глазами, налитыми кровью, посмотрел на меня и крикнул:

— Уйди! Кутёнок...

Но бабушка успела, обежав меня, выскочить на улицу и там завопила...

Как-то я застал деда больным: бабушка что-то варила в печке, а он, свеся облысевшую голову, лежал на полатах и то стонал, то кряхтел.

— Что ты, деда? — спросил я, встревоженный.

— Захворал: животом взяло. О-ох, — простонал он и недовольно проворчал: — Скоро ты там, бабка?

— Сырую, что ль, её тебе подать, кашу? Сварится, и ешь на здоровье.

Я хотел было уйти, но дед задержал:

— Ты погоди, погоди, Федярка, — и начал рассказывать в героических тонах о том, как когда-то «плавал на Каспий — тюленя бить».

Бабушка возилась около печки, слушала деда и, временами вскидывая на него удивлённые глаза, покачивала головой, конечно, не веря его рассказам.

И вот жиденькая каша, сваренная бабушкой в чугушке, поставлена на стол, рядом положены деревянная ложка и большой кусок чёрного хлеба.

Дед, кряхтя, но довольно торопко, слез с полатей, сел за стол и, взяв в одну руку кусок хлеба, в другую — ложку, начал расправляться с кашей. Он так усердно ел, что вскоре от спины повалил пар. Под конец он накренил чугунок, выскоблил оттуда всё, что можно, затем собрал в пригоршню крошки со стола, отправил их в рот и изрёк:

— Всяку болезнь, Федярка, едой забивай. Гляди, какая сила во мне появилась: дай льва — и его раздеру, — и, забравшись на полати, через несколько минут захрапел, а бабушка поманила меня к себе и шёпотом растолковала:

— Зубов-то у него нет, у деда. За общий-то стол сядет, из одного блюда надо есть. А где ему успеть? Два сына, две снохи, ребяташки... У всех зубы острые. Как начнут, как начнут. Дед ещё не прожевал, а они щи уже прикончили. Встаёт из-за стола дед голодным. Наголодается

и вроде захворает: кашицы у меня попросит. Ты вот что, малый, тюленем его не называй: не любит — нож ему это острый.

Не дозволено было в крестьянской семье есть вне общего стола: загрызут. Дед и придумал — прикидываться хворым. Но и вообще-то он всю жизнь так голодал. Помню, как однажды он взял меня с собой в поле. Походив несколько часов за сохой, разбудил меня, спавшего под телегой, и сказал:

— Давай полдничать.

Расстелив дерюжку на боковине дороги, дед сбегал к роднику за водой, затем вынул краюху чёрного хлеба и начал проделывать что-то непонятное, но очень забавное: разрезав хлеб на кусочки и сбрызнув их водой, принялся лепить лошадок, коровок, овецек, поросят. Налепив, выставил их рядком на дерюжке и заговорил:

— Лошадь нам не поросят есть: Христос запретил, а татарам Магомет разрешил. Мы с поросят начнём. Татарам Магомет запретил, а нам Христос разрешил, — и принялся за «поросят», говоря: — Вкусна, а? Свиинка! Поросятки молодые, прямо с костями глотай.

Я тогда понял: хочется деду мяса, а оно подаётся на стол только в праздник рождества да на пасху. Ну, а тут вроде как мясо ест.

Дед Пётр так и умер с кличкой «Тюлень», и потомки его стали именоваться Тюленевы.

Всякие были клички.

Нас, например, дразнили так: «Панфёр-кадыка». Кличку дала нищенка-дурочка, слыша буйные крики моего отца и его братьев, видя их драки насмерть. Ну, а улица присочинила:

Панфёр-кадыка  
Съел корову да быка,  
Семьсот поросят:  
Одни ножки висят.

Досадно, конечно, такое слушать. В бой на обидчика! И мы, ребяташки, дрались... Но куда крепче нас дрались наши родители.

## 12

Однажды в воскресный день после обеда отец потянул меня за руку и сказал:

— Федярка, пойдём к брательникам.

Мать взмолилась:

— Ваня, ты там потише, не шуми.

Отец ответил:

— К чему шуметь? Мы душевно.

И вот мы в гостях у дяди Гриши и Никиты — братьев отца. Жена дяди Гриши — моя крёстная. Она вскипятила самовар, поставила на стол сахарницу, чашки, блюдо с кренделями — так звали на селе бублики, — полбутылки водки, затем усадила меня рядом с собой и дала кусок сахару.

Братья сидели за столом, пили сначала водку, потом чай, потом снова водку. Крёстная, не принимая участия в беседе братьев, расчёсывала мои волосы, говоря:

— И в кого ты такой кудрявый, как баран?

Затем стала расспрашивать, как я жил в Баку...

А братья мирно беседовали.

Они разные: отец чёрный, горбоносый, с бородкой, которую он сам стрижёт под лопаточку, глаза у него небольшие, порою то насмешливые, то зло-сверлящие; дядя Гриша ростом ниже отца, но крепкий и буро-ры-

жий, напоминающий мне доброго медведя из букваря; дядя Никита — ледящий, шепелявый, глаза у него большие, пустые, точно луковицы.

Хорошо!

И все они хорошие, особенно крёстная, и мне хорошо, и весь мир хороший.

Но вот отец вскинул кулак, что есть силы стукнул по столу. Почему-то погасла лампа, в темноте раздался рёв. Не помню, как я очутился на улице. Сбежался народ. Кто-то притащил ведро с водой. Отец сунул правую руку в ведро, и вода стала сразу красной. Оказывается, бежав со двора, он со всей силой ударил кулаком в раму и разрезал руку.

Так начался «диспут» о разделе сада.

Когда братья были ещё юношами, их отец, мой дедушка Ваня, за гумном посадил фруктовый сад. Посадив, сказал:

— Часть тебе, Микита, часть тебе, Гриша. А третья часть тому, бакинскому беглецу. Поделитесь, конечно, когда умру.

Было это так или иначе, но старшая сестра, тётка Саша, возможно, потому, что отец дал ей взаймы двадцать рублей, на суде показала, что да, такое устное завешание дедушка оставил. И суд присудил отцу одну треть сада.

Площадка под садом была такая: восемь саженей шириной сверху, и девять — внизу. Староста разбил площадку вдоль на три части, вбил колышки и отделил одну треть моему отцу. Но линия раздела прошла как раз по стволу одной яблони, разрезая её пополам. Тогда мы, ребяташки, я и брат, украдкой передвинули колышек в их сторону: яблоня стала нашей. А ребяташки дяди Гриши, заметив нашу проделку, передвинули колышек в нашу сторону: яблоня стала принадлежать им.

После этого мы кинулись на ребяташек дяди Гриши, они на нас. Следом за нами вступили в бой отцы. Раздались рычания и крики. Тогда выскочили из хат жители улицы и, оповещая: «Айдайте, Панфёровы лупчуются!» — метнулись к месту побоища.

После того как произошло уже несколько подобных драк и несколько раз урядник Борзой разнимал дерущихся насмерть братьев, прибыл старшина. Он облачился по-старшински: надел зипун, картуз с каркасом, сапоги с лакированными голенищами и повесил старшинскую медаль на грудь. Староста доставил два столба, на которых был выжжен царский орёл. Старшина заставил вырыть ямы и укрепить столбы на линии раздела, сказал:

— Столбы казённые. Теперь, если кто сдвинет, Сибирь-каторги не миновать.

Но ведь яблоня-то так и осталась поделённая на две части. Мы с братом рвали яблоки, безжалостно ломая сучья с чужой стороны, а двоюродные братья, так же безжалостно ломая сучья, стали рвать яблоки с нашей стороны. И снова драка, и снова жители улицы бегут с криками:

— Айдайте, у Панфёровых лупчуются!

В конце концов мы подпилили яблоню с их стороны, они ответили нам тем же... и яблоня посохла. Такая она стояла долго, таращась рогульками — символ жестокой вражды...

В один из зимних вечеров отец, снова потянув меня за руку, сказал:

— Федярка, пойдём: дядя Гриша умирает.

Дядя Гриша лежал на лавке в переднем углу. От высокой температуры он весь горел и казался ещё рыжее. Отца встретил хиленький, шепелявенький дядя Никита. Они сели за стол. Крёстная опять усадила меня рядом с собой, дала кусок сахара, приласкала, а братья — отец и дядя Никита — вели деловую беседу: как и где можно подешевле купить кленовых корней.

Все три брата, когда не было плотничьей работы, делали клещи — деревяшки для хомутов. Самые лучшие клещи считались «корневые», но

материал для таких трудновато было достать. Отец доказывал, что лучше клён купить в Явлейке, дядя — в Шемалаке: это были лесные сёла. А дядя Гриша лежал в переднем углу и тяжело дышал. Отец побренькивал в кармане двумя медными пятакими: ему по праву положено закрыть глаза умершему единоутробному брату.

И вдруг раздался хриповатый, слабый голос дяди Гриши:

— Ваня, — позвал он и, когда отец наклонился над ним, прошипел: — Ваня, прости уж меня, пошумели мы с тобой маленько здесь, на земле.

Отец со слезой в голосе ответил:

— Ну-у, к чему поминать? Чего не бывает меж родственников? Ты уходи спокойно: как-никак, а уж мы с Микитой поддержим семью твою.

Казалось, свершилось полное примирение...

Но дядя Гриша выздоровел, и соседи снова побежали по улице, оповещая:

— Айдаге! У Панфёровых лупцуются!

Лупцуются!

В поле кто-то у кого-то отпахал борозду — лупцуются. На свадьбах — лупцуются. При дележе лугов — лупцуются. В тракторе — лупцуются. Всюду лупцуются, и особенно при разделе семейного хозяйства. На днях три сына Якуни-Вани так лупцевались, что двоих пришлось отвезти в больницу за семь вёрст — в село Безобразовку. При отце все три братца жили в одном шатровом доме, только друг на друга рычали. Умер Якуня-Ваня, братцы стали делить хозяйство... и пустили в ход дубовые колья.

А в Баку, отец говорил, у рабочих «солидарность», там рабочие отхлопотали тётке Маше три тысячи рублей, а тут её за эти же деньги сжили со свету. Там книжки читают, а тут... Вот как я уже стал рассуждать.

## 13

Год в Поволжье выдался тяжёлый.

Ещё с весны подул жестокий, всespаляющий ветер — суховей.

У моего отца не было лошади. Земли он имел на две души: на себя и старшего сына — Алексея — около гектара (я в общественный раздел не попал). Да и земля эта разбросана в двадцати местах в виде полосок, или, как в деревне называли, загончиков. Так как отец долгие годы жил в Баку, полоски несколько лет не пахались и заросли сорняками. В эту весну загончики вспахали чужие люди, чужие люди засеяли просом и яровой пшеницей. Само по себе надо было ждать — полоски покроются сорняками, а тут ещё суховей...

Отец в углу двора, под навесом, тешет клещи и, поглядывая в знойное небо, кричит мне:

— Федярка, лезь на сарай, посмотри, нет ли тучки!

Я повинуюсь: лезу на крышу сарая, смотрю во все стороны. Небо чистое и раскалённое от зноя. Долго смотрю. Жар солнца сжигает меня. Но нет не только тучки — даже облачка.

Кричу:

— Папанька, нету тучки-то!

— Сиди, гляди! — приказывает он.

Сижу, гляжу... и засыпаю. А когда просыпаюсь, то вижу, что не один я забрался на крышу: то тут, то там на сараях торчат мои сверстники.

А через несколько дней по всему селу пошёл говор:

— Горим!

— Горим!

Меня удивило: люди кричат «горим!», но не бегут, не хватают вёдра, как это делают во время пожара... Надвигалось бедствие страшнее любого пожара — голод.

И вдруг в один день поднялось почти всё село. Распродав за бесценок одежку, заколотив окна изб, люди двинулись на Волгу, на Дон, в Баку, в Ашхабад, Красноводск.

Я впервые видел столько мёртвых. В начале пути, до Вольска, умирали старики, старухи, немощные. Их оплакивали живые, кое-как зарывали на боковинах большаков. Но потом, на Волге, когда все пристани, маленькие и большие, все пароходы, баржи, даже лодки были переполнены беженцами, да ещё вспыхнула холера, смерть стала обычным явлением.

Вначале меня каждый умирающий поражал: я смотрел, как он, корчась, с длинными перерывами, точно его окунали в воду, передыхал, затем глаза у него превращались в ледышки... и у меня начинала трястись голова.

Отец сказал:

— Ты, сынок, на это смотри, как на погоду: холодно — надень шапку, жарко — скинь её. Есть, поди-ка, хочешь?

— Хочу, — ответил я, ожидая, что он сейчас же отломит кусочек чёрного хлеба от краюхи: я ведь знаю — у него припрятана ещё одна краюха. От первой краюхи он нам три раза в день отрезает по кусочку и таскает кипятком, уверяя:

— Наливай живот кипятком. Оно что значит — есть хочется? Живот пустой. Набей его чем ни попало — замолчит. А так что ж, съедим враз весь хлеб и там же будем, — и показывает кружкой с кипятком на мёртвых, сложенных поленицей на борту парохода.

Я верю ему: быстро проглатываю кусочек хлеба и кружку за кружкой пью кипятком. Но моя сестрёнка Маруся пищит. Отец долго крепится и под конец отрезает ей дополнительный ломтик.

Я протестую:

— А мне?

— Ты большой и мужик. А она маленькая и девчонка, — авторитетно заявляет он и добавляет: — Вот в Царицын приедем, пойдём в Обжорный ряд. Там за пятак шей — валяй сколько душе твоей хочется. Из требухи, положим, из коровьих голов. А денег у нас с тобой вон сколько!

Я видел, как он ещё в Вольске поменял, очевидно для большей весомости, серебро на медные пятаки, и теперь всякий раз выхватывает пригоршней их из кармана, подбрасывает и с грустью хвастается:

— Вот сколько у нас с тобой... капиталу!

В Царицыне, переполненном беженцами, отец сводил меня в Обжорный ряд, где мы «до отвала» нахлебались варева из рубцов, да ещё прихватили матери и Марусе. Мать не могла пойти с нами: караулила вещишки.

Таковыми мы и прибыли снова в Баку.

#### 44

Шла русско-японская война.

Толпа «поднимала» иконы, двигалась по улицам с портретами царя, горланила: «Желтолицые черти!» А отец приносил с промысла иные вести и за обедом передавал матери:

— С войной плохо: говорят, наших бьют, а за что гибнут — неизвестно. Того студента, кой нам книжки читал, заарестовали. Меня спросили: «Против царя говорил?» — «Нет, мол. Книгу читал про Кидрилу Обжору».

Среди рабочих началось брожение, вспыхнули забастовки... В одно утро мы увидели, как по улицам пошли группы рабочих — мужчины и женщины. Они несли красные знамёна, пели незнакомые нам песни. Шествующих приветствовали жители города, выбравшиеся из своих комнаток, кое-кто из них присоединялся к демонстрации. Мы, ребяташки, за-

бегали вперёд и, бросая вверх свои потрёпанные картузики, кричали, повторяя за взрослыми:

— Да здравствует революция!

— Товарищи, вперёд!

Что за революция, куда «товарищи, вперёд» — мы, конечно, понятия не имели, но та ласка, с какой нас приняли демонстранты, нам очень понравилась.

Так мы проводили время почти ежедневно. Но однажды нарвались на шлепки.

По улице шли, как нам показалось, те же самые демонстранты, только в этот раз впереди почему-то несли иконы, портрет царя. Мы, как всегда, выбежали на мостовую и гаркнули:

— Да здравствует революция!

— Товарищи, вперёд!

И получили подзатыльники.

Это шла чёрная сотня.

Затем прорвалось самое зверское — погромы: началась резня. Армян вырезали одиночками, семьями, громили их дома, бросали зарезанных в колодцы, в канавы, в море.

Наступили чёрные дни.

Заполыхали нефтяные промысла. Пожары были настолько сильные, что не представлялось возможности тушить их...

Отец где-то на улице подобрал мандолину. Придя домой, сунул её мне в руки, сказал:

— На! Шарманка какая-то!

После «шабаша», пообедав, отец, как обычно, лёг отдохнуть. Я сел к окну и начал брэнчать на мандолине сначала очень тихо. Потом, расходясь, всё громче и громче, затем ударил всеми пальцами по струнам, да так, что задребезжали стёкла.

Отец проснулся, сказал:

— Федька, брось!

Я бросил.

Но разве усидишь, держа в руках такой невиданный музыкальный инструмент?! И я снова начал тихо брэнчать, затем, забывшись, ударил всеми пальцами по струнам. Отец снова проснулся и уже зло крикнул:

— Брось, ты-ы!

Ну, я потихоньку...

И моя рука как-то сама потянулась к струнам. Тогда отец вскочил с кровати, вырвал мандолину и ею огрел меня по голове с такой силой, что у него в руке остался лишь один гриф.

Так закончилось моё музыкальное образование...

Мы, ребята, не разбирались в событиях, однако, они оставили неизгладимый след в нашей детской памяти: в играх мы уже называли друг друга не иначе, как «товарищ». Это слово казалось нам самым душевным и мужественным.

Однажды на берегу моря, играя в «революционеров», мы с криком «ура, товарищи!» кинулись на воображаемого врага — чёрную сотню — и налетели на женщину в довольно приличном пальто и шляпе. Мы чуточку оторопели, а она взволнованным голосом спросила:

— Понимаете ли вы, ребята, что означает слово «товарищ»?

— Да, понимаем! — дерзко крикнули мы, сначала по одежде приняв эту женщину за «чёрную сотню».

Она заговорила ещё ласковее и под конец спросила:

— А учитесь ли в школе?

Я за всех ответил:

— Нет, не ходим.

— Почему?

— Денег у отцов нет.

И она, печально покачав головой, посоветовала:

— А вы учитесь во что бы то ни стало, тогда из вас выйдут крепкие товарищи.

Я решил послушаться совета этой женщины и пойти учиться. Ничего не сказав родителям, как-то утром вместе с учениками я вошёл в школу и уселся на свободной парте. Ученики меня знали и дружили со мной: я ведь умел глотать «шпагу», то есть ржавую железину, ходить на руках, по-лягушину прыгать, вертеться на трапеции — научился, наглядевшись фокусов в балаганах.

Но вот что странно: я ещё кое-что понимаю на уроке русского языка — умею читать. Но на уроке арифметики, например, я глупо смотрю в рот учительнице и ничего не понимаю. Хожу в школу каждый день, прилежно сижу за партой, а учительница меня не вызывает. Других вызывает, а меня нет — видимо, я ей чем-то не понравился.

Вскоре выяснилось, что я вместо первого класса попал во второй, да ещё самозванцем, без ведома учителей и родителей, уже в середине учебного года.

На этом тогда и закончилось моё образование. Началась безработица, и отцу было не до меня: его уволили с промысла. С полгода он в поисках работы «совался» в разные места: ездил в Сабунчи, Сураханы, в Чёрный город, в Белый и возвращался с пустыми руками.

Беда!

## 15

Напротив нас, в двухэтажном особняке, жил управляющий нефтяным промыслом. Каждое утро на подоконнике особняка появлялась беленькая собачонка. Она устраивалась на коврик и, распутив длинные, почти до лапок, уши, смотрела на нас большими выпуклыми глазами, как бы говоря: «Эх вы, шантрапа голодная!»

Мы, голодные ребятишки, дети рабочих, каждый день к определённом часу сбегались сюда — в комнату моего отца — и ждали, когда выйдет горничная Нюра. Вот появляется и Нюра с блюдечком, наполненным молоком и крошенным белым хлебом. С ложечки она кормит собачонку. Та быстро хватает кусочки, пропитанные молоком, и глотает, точно утка. Схватив кусочек, она отворачивается от Нюры, смотрит на нас, проглатывает хлеб, затем поворачивается к Нюре и снова хватается с ложечки кусочек. Накормив собачонку, Нюра вытирает ей салфеткой морду. Собачка недовольно ворчит и хриповато лает.

— Уходите прочь, — поясняет отец, вместе с нами наблюдающий кормёжку. — Вы нам больше не надобны, — подражая голосу барыни, жены управляющего, говорит он и, обращаясь ко мне, горестно добавляет: — Федярка, пойдём на Солдат-базар. Дотолковались мы с матерью: придётся суконку продать.

Суконкой называли гимнастёрку, привезённую отцом с военной службы. В этой суконке, по рассказам матери, он и венчался, так что она ценилась втрое: и как память о солдатчине, и как память о свадьбе, и как праздничное одеяние... Отец уже несколько раз таскал гимнастёрку на Солдат-базар. Там он её разворачивал и, держа за плечики, предлагал покупателям:

— Вот — сукна доброго, солдатского, износу нет. Глядите, ещё ни разу не стирана.

Это верно: под мышками гимнастёрки виднеются белёдые пятна от пота... И всё равно за неё давали тридцать копеек, самое большее — сорок, а отец хочет получить пятьдесят. Профсоюз помог достать ему бесплатные

билеты на проезд из Баку. Отец рассчитывал, что если за суконку получит пятьдесят копеек, то хоть и кое-как, но прокормит нас в пути. А ему больше сорока не давали, и пришлось согласиться...

И вот мы отплываем из Баку на шхуне, в трюме, переполненном такими же безработными, как мой отец, и такими же голодными ребятишками, как и я.

## 16

По приезде в село отец взялся за старшего брата Алексея.

Бабушка Груня умерла, и Алексей жил у тётки Дуни, сестры матери, старовойрки. Появился он в нашем доме подстриженный по образцу старовойрки — в кружок.

Отец, глянув на него, сказал:

— Что за горшок у тебя на башке? Ну-ка я его... — И, недосказав, взял большие портняжные ножницы и без гребешка и расчёски «оболванил» брата: на голове появились лесенки, вихры.

Алексей сначала сидел молча под ножницами, только морщился, но, когда провёл рукой ото лба до макушки, понял, как его обкорнали, и заревел благим матом.

— Ну вот, я говорил тебе, Федярка, Лёнька-то у нас квёлый, — произнёс отец и пальцем толкнул в плечо брата. — Иди. Ступай. К Дуняше ступай. Привык там псалтырь читать да лбом перед иконами стучать. Ступай, долби пол.

Брат ещё пуще заревел.

На крик прибежала мать. Она ведь тоже была когда-то старовойркой. Отец перед венцом увёл её в церковь и окрестил. Окрестить-то он её окрестил, но старовойрские привычки остались, осталась, видимо, и привязанность к старой вере и к старому быту. Вот почему мать всхлипнула, прижала голову брата к груди и запричитала:

— Ой, как обругал головушку...

Старухами вместо умершей бабушки Груни руководила тётка Дуня — женщина расторопная, бойкая, во всём ищущая выгоду.

Алексей был у старух чем-то вроде попа — читал псалтырь, житие святых и даже как-то вёл богослужение, за что те всячески одаряли его: кормили, поили, одевали, и это давало ему возможность учиться в двухклассном училище, которое он уже заканчивал первым учеником. Учитель, Николай Иванович Курбатов, сам выходец из народа, натолкнул его на мысль — поступить в Вольскую учительскую семинарию. «Оболваненный» Алексей ревел ещё, видимо, и потому, что представил себе: отец оторвёт его от учёбы, поставит за верстак и заставит строгать клещи.

Я понял состояние брата и дерзко крикнул:

— Нет, он не квёлый!

Отец любил меня. Но сейчас, посмотрев сверху вниз, как на щенка, он с такой силой ударил меня кулаком, что я отлетел в угол.

— Не перечь. Рано. Мне отец паспорт до тридцати лет не давал. А ты — гляди-ка чего! С горшка ещё не слез, а учит, — проворчал он, опуская глаза, понимая, видимо, что совершил несправедливое и неоправдываемое.

Этим ударом он надолго отдалил меня от себя.

«Куда идти и как быть?» — всё чаще задумывался я.

А тут ещё на нашей улице случилось страшное. На задах богатеев Гусевых жил Кошелев — бедный родственник тётки Маши. Он кустарным способом выделывал кожи. Однажды ночью кто-то подрыл кладовую у Гусевых и выкрал из неё всё, что там было. А там были сундуки с одежкой Гусевых, да и родственники Гусевых, оберегая добро от пожара, снесли свою одежку в эту же кладовую. Сам Гусев, старик жестокий и злой, сказал уряднику Борзому, что украл Кошелев. Урядник посадил



его в арестантскую. Каждую ночь мы слышали вопли и стоны Кошелева: урядник, допрашивая, беспощадно избивал его. Все жители улицы знали, что Кошелев не виновен: это был честнейший человек, скорее мог отдать своё, нежели взять чужое. Вся улица тайно кипела, возмущалась, но никто не решался вступить за Кошелева.

Кошелев умер от побоев в арестантской.

Впоследствии, в первый год революции, узнали: старик Гусев вместе с сыновьями подкопался под стену кладовки, вскрыл сундуки свои и родственников и всё добро перепрятал в ригу...

Смерть Кошелева потрясла меня.

И вдруг какой-то отчаянный голос прозвучал во мне: «Бежать! Куда угодно, но бежать!»

Но куда? Без денег, без помощи... И я, не спрашивая разрешения у родителей, устроился подпаском к пастуху Ивану Петровичу Дубову.

## 17

Иван Петрович Дубов, уже пожилой человек, с огромной бородой, с лысиной, широкоплечий, с могучими руками и тяжёлой походкой, напомнил мне сказочных богатырей.

Когда я заявился к нему, он посмотрел на меня, сказал:

— Коров пасти, милый, это не семечки грызть. Тут, брат, нужна сноровка. Она, корова-то, хоть и бессловесное животное, но любовь и уважение лучше человека понимает, а человек человеку — зверь. Я даже так думаю: страшнее человека зверя на земле нет.

«Отцовские слова», — подумал я и, сложив пальцы в крест, поклялся:

— Клянусь всеми святыми, буду исправно и старательно пасти коров.

Иван Петрович усмехнулся и присел на пенёчек у родника.

Он долго молчал.

Недоуменно молчал и я.

Спустя некоторое время Иван Петрович, почему-то болезненно морщась и придерживая обеими руками живот, сказал:

— Клянусь? Эх ты, два вершка от земли. Видно, не слышал, как Патифор-то Горелов перед братьями Ноздрёвыми поклялся?

— Не слышал, — ответил я.

— Так вот ложись или садись. Пока коровы-то полдничают, я тебе расскажу, как Патифор поклялся.

Я знал, что у нас на селе живёт Патифор Горелов, которого все боялись, даже кулаки. Он владел громадным массивом леса и сотней десятин земли. Лес примыкал к нашему селу, но туда не разрешалось ходить даже по ягоды. Сын Патифора, учитель, почти нищенствовал. Я не знал, откуда и как этот лес и эти земли достались Патифору. Только слышал, что когда-то он служил лесным сторожем у помещиков Ноздрёвых, а потом стал владельцем их имения.

— Всё, что есть сейчас у Патифора, — рассказывал пастух, — принадлежало когда-то помещикам Ноздрёвым. Ну, они были такие — гуляки. Больше всё балы да вечера, да по заграницам мотались. А имение-то со всем богатством управляющий по их воле заложил да перезаложил. Чуют Ноздрёвы — хоть бери суму да иди по миру. Как быть? Узнали они от адвоката, что можно «вылететь в трубу».

— Как «в трубу»? — спросил я.

— В трубу-то? Это вроде через голову перекувыркнуться. Мода такая тогда была: прогорит богатей, возьмёт и тайно всё своё имущество на родственника переписет. Бывшего богатея потерзают маненько, долги с него сдерут так: три или пять копеек вместо рубля. Пройдёт некоторое время, богатей отберёт у родственника грамоту — и богатство опять его. Братья Ноздрёвы пригласили, значит, Патифора, он доводился им родственником,

и сказали: так и так, мол, Патифорушка, всё богатство переведём на тебя, а ты поклянись перед господом богом, что, когда понадобится, имение нам беспрекословно вернёшь, за что получишь большую награду. Патифор, конечно, не дурак, взял в руки икону, стал на колени и поклялся. После этого впрягли в тарантас рысака, братья сели в тарантас, как положено им, Патифор — на козлы. Поехали в город Хвалынский. Зашли к нотариусу. На гербовой бумаге с орлом написали договор о передаче всего имения на такую-то сумму Патифору Горелову. Получил грамоту Патифор, спрятал её в карман поглубже и уже другим шагом вышел от нотариуса. А когда подошёл к тарантасу, сказал братьям:

— А ну-ка, братики-гуляки, садитесь на козлы. А я в кузов, как владеец имения.

Братики и то и сё, дескать, как же это ты, Патифорушка? А Патифорушка гаркнул на них. И голос-то у него появился грубый, с окриком. Что делать? Сели братики на козлы, взяли в руки вожжи, поехали, охая да вздыхая. Приехали в имение. Патифор прошёлся по горницам, сказал братьям:

— Жить вам на задах, в избушке, в которой я жил. Буду выдавать — на работу-то ведь вы не способны, — буду выдавать по три целковых в месяц. Хватит. Больше дам — всё равно пропьёте.

Пастух долго молчал, затем с грустью добавил:

— А ты, паренёк, говоришь: клянусь. Вон как Патифор-то поклялся. Да шут с ним: один вор других жуликов обворовал. Но ведь он, Патифор-то, и сейчас продолжает воровать — народ обдирает. Ты, малыш, ничего не смыслишь и проделок Патифора не видишь. В голодный год у крестьян, да ведь как — целыми сёлами, — скупит страховые листы на таких началах: пять рублей под страховой лист выдаст, но если хозяин вовремя пять рублей да с процентами не вернёт или случайно сгорит изба — страховые забирает Горелов. В прошлый голодный год он скупил страховые листы, а потом при помощи подкупленных пьянчуг поджёг дома и пуще разбогател.

— Дядя Ваня, буду пасти коров. Вот увидишь, не нахвалишься мной! — крикнул я, боясь, что он не верит моей клятве.

## 18

Иван Петрович более внимательно посмотрел на меня, затем сказал: — Что ж, ваялай. Только платить тебе нечем. За куски разве? Есть один подпасок, Шурка. Я ему отвёл в обществе восемь дворов, сказал: собирай от баб куски, вот тебе и плата.

Я знал, что каждое утро, выгоняя корову со двора, хозяйка что-нибудь да подаёт пастуху: кусок хлеба, огурец, а в праздничные дни — и ватрушечку.

— Согласен, дядя Ваня, — сказал я.

Тогда он крикнул:

— Эй, Шурка! Дрыхнешь всё! — И ко мне: — Любит спать. Так вот и проспит царство небесное. Ты спи поменьше. Прикорнул — и на ноги. Сон-то что? Пустое дело. Говорят, бог-бог, умный и прочее там. А к чему он ночь придумал? Сон там всякий? Глупо ведь. Мне вот уже скоро пятьдесят лет, а я, почитай, одну треть жизни проспал. К чему, зачем? Умный! Нет, не умный он, бог-то.

«Опять какие-то дерзкие слова у него: Патифора на селе все боятся, а он его — вором... и бога бранит», — подумал я.

Пробуждённый окриком Ивана Петровича, Шурка вялой походкой подошёл к нам.

— Спишь всё?! Приляжет — спит, присядет — спит, идёт — спит. Вот тебе помощник, — и Иван Петрович указал на меня.

Отец, узнав о том, что я определился подпаском, покосился, фыркнул: — Нашёл генеральское место. Хуже-то уже нет?

Быть пастухом или подпаском считалось на селе самым последним делом, вот почему отец покосился на меня. А в матери вдруг проснулось скопидомство. Она, поймав меня во дворе, шепнула, поплёскивая глазами:

— Ты, Федярка, куски не бросай там, в лесу. Поешь, а остальное тащи домой. Мы поросёнка на мельнице купим и кусками откармливать будем. Глядишь, к осени кабанчика заколем.

И я стал таскать куски домой.

Пастушечье дело оказалось для меня очень интересным. Мы поднимались чуть свет — ночную деревенскую тишь будил рожок Ивана Петровича. Певучий звук нёсся по улицам призывно и ласково. Тогда начинали мычать коровы во дворах, а где-то на конце села пронзительно и громко возвещал общественный бык: де, пора, пора на пастбище. Раздавался скрип калиток. В калитке появлялись сначала рога, потом голова рыжей или белой, чёрной или пятнистой коровы, а следом выходили хозяйки и опускали нам в приготовленные мешочки кусок хлеба, огурец, ватрушку, а иная и парочку яичек.

Стадо трогалось из села, оставляя за собой тучу пыли, и та висела над улицей, как прозрачный туман, а впереди, за околицей, уже виднелись зелёные поля, мелкие перелески. Скоро перед нами заворкует Гремячий ключ — так называется ручей, выбивающийся из-под обрыва. Вода ручья свежая, прозрачная и звонкая, как серебряные колокольчики...

Иногда на заре я уходил на окрайку гореловской берёзовой рощи и слушал, как там на все лады пели дрозды.

Природа представлялась мне не только живой, но и какой-то родной. Всматриваясь в зори, в густую зелень листьев, трав, вслушиваясь в пение птиц, журчание Гремячего ключа, я забывал о том, что на селе все непомерно злы, что там всех давит вражда.

Однажды, вернувшись из рощи, радостно и взволнованно настроенный, я сказал пастуху:

— Здоровый ты, Иван Петрович. Дубов — дуб и есть: тебя, гляжу, колуном не сшибёшь.

— Э-э, Федюшка! Я как иное яблоко: с виду-то и хорошее, а разломи — внутри червяк. Животом страдаю, беда!

И только после этого я стал замечать, что под глазами у дяди Вани всё гуще и гуще становятся чёрные круги. Мне его стало жаль, и поэтому я ещё с большей энергией, даже с азартом, принялся пасти коров.

Особенно тяжело было пасти стадо в период так называемой строки: в это время отложенные ещё в прошлую осень на спине коров яички овода проникают под кожу и превращаются в червячков. Червячки вызывают у скота зуд, и коровы, задрав хвосты, кидаются в тень или в воду. Вода у нас была в маленьком пруду, неподалёку от Гремячего ключа, а тень — в лесах Патифора Горелова. Удерёт туда корова, сторожа загонят её в загородь, тогда приходи хозяйка и выкупай — полтина с головы. А на полтину можно купить пуд муки. И я носился, подобно овчарке у чабанов. Со звонким криком, хлопая кнутом, отвешивая дубинкой удар непослушной корове, гнал стадо.

Дядя Ваня в это время уходил вперёд, садился на излюбленный пень около Гремячего ключа и оттуда смотрел, как все коровы послушно спустились с горы к пруду.

И однажды он, не скрывая восхищения, сказал:

— Ну, Федька, выйдет из тебя знаменитый пастух!

Мне приятно была его похвала.

Мы с Шуркой заметили, что чем богаче хозяйка коровы, тем скупее. Мало того, такая хозяйка почему-то ещё требовала, чтобы мы особо приглядывали за её коровой. Как-то раз мы пожаловались Ивану Петровичу, и он посоветовал:

— Дурачки! А вы выдаивайте коров.

Мы с Шуркой с азартом принялись за новое «ремесло»: поймаем корову богачки, привяжем к дереву, подставим фуражку, выдоим, а молоко выпьем. Другую корову возьмём да выдоим прямо на землю. Утром богачки поднимают крик: почему коровы приходят без молока?

— Не знам, не знам, — отвечаем мы.

И богачки, догадавшись, стали исправно давать нам куски.

Мать уговорила отца, и он купил у мельника поросёнка «аглицкой» породы. Месяца два поросёнка кормили размоченными кусками, и он заметно подрос, но потом ему кусков стало не хватать, и отец развил свою философию:

— Свинья, она существо какое? Свинья — свинья и есть. Грязь любит? Любит. Выйдет со двора, увидит лужу — и бух в неё. До пятачка вымажется, идёт себе по улице и хрюкает: вот, дескать, какая я красавица. Вам, дескать, людям, грязь эта не ндравится, а мне ндравится. Чуете, ребята? И ты, мать? Чем ни грязней, чем ни вонючей, стало быть, — сладь для свиньи. Я вот что думаю... — И, вызвав нас с братом из дому, он заставил рыть яму, сам же прикатил бочку из-под цемента, опустил её в яму на уровень с землёй, затем налил туда воды, бросил ведра полтора мучной пыли с мельницы, кусков и сказал нам:

— Вот будет для поросёнка еда — самая что ни на есть сладь!

Через два-три дня в бочке всё вспучилось, закипело, появились какие-то синие пузыри.

Такого «кушанья» и дали поросёнку.

Поросёнок отказался.

Отец объяснил:

— Обезумел от радости. Этак бывает и с человеком. Допустим, на работе проголодался, идёт домой и ждёт, кашу ему подадут. А тут на тарелочке рябчика: нате, кушайте. И обалдеет. И поросёнок обалдел. Ты, мать, день-другой ничего ему не давай: пускай от старой пищи отвыкнет.

И через три-четыре дня мы увидели такую картину: из бочки торчат задние ноги поросёнка и чуточку подрагивают. Мать выхватила его и завопила на весь двор.

Отец остановился как вкопанный, видимо, уже понимая всю нелепость своей затеи, однако сказал:

— Пишша завлекла его в бочку: жадность. Сверху-то жрал-жрал — мало! На дно полез! Ребята, давай откачивай его, как утопленника. Отойдёт.

Мы быстро принесли обрезок брезента, привезённый отцом из Баку, положили на него поросёнка, взяли за углы и начали «откачивать». Поросёнок, лёжа на спине, переваливался с боку на бок и хлопал копытцами по брезенту. Возможно, без нашей помощи он бы и «отошёл», но мы закатали его до смерти. Отец же в это время куда-то ушёл, затем появился и, глядя на дохлого поросёнка, сказал матери:

— Продал я его, хоть и за полцены.

Мать в страхе спросила:

— Кому, Ваня?

— Крайнову на колбасу.

— Ну, и слава тебе, господи!

Я знал, Крайнов живёт на базаре, делает колбасу и сам в магазине торгует ею.

Так закончилась «свиноводческая деятельность» Ивана Ивановича Панфёрова.

Но вскоре оборвалась и моя пастушечья деятельность: Ивана Петровича арестовал урядник Борзой.

То ли настоящая фамилия урядника была Борзой, то ли кличка — восстановить теперь трудно. Верно, он походил на собаку, но не на борзую, обычно на высоких ногах, с втянутым животом и тонкой мордой. Урядник скорее походил на волкодава — на коротких ногах, грудастый, с растопыренными седоватыми усами и со свирепыми, всегда прищуренными глазами — точь-в-точь как пёс у Гусевых.

С двумя полицейскими он прибыл к Гремячему ключу и тут, подняв с пенёчка Ивана Петровича, выхватив из ножен шашку,скомандовал:

— Айда, пошёл, чтобы чёрт тебе хвост в глотку воткнул!

Полицейские, встав по бокам Ивана Петровича, тоже выхватили шашки.

— При сопротивлении — руби! Шагом арш! — выкрикнул Борзой и зашагал впереди так, будто вёл за собой роту арестантов.

По всему было видно, Борзой боится Ивана Петровича, но хорохорится.

И я, осмелев, крикнул:

— Куда, дядя Ваня?

— Туда же, Федюшка. Не горюй: шагай. Шире шагай, брат! — ответил Иван Петрович, не поворачиваясь.

А Борзой, как волк, повернулся всем туловищем и молча, шевеля седыми усами, пригрозил мне шашкой.

За что же арестовал Борзой пастуха?

Может, он «люцинер», такой же, как тот студент, который посещал нашу комнату в Баку? Будто не похож. Но кто же он такой? Я начал припоминать.

Иногда он писал крестьянам жалобы на имя царя. Такую жалобу недавно написал вдове Кошелевой, мужа которой Борзой насмерть запорол в арестантской.

Вдова пришла к нему, туда, к Гремячему ключу, маленькая, худенькая — как только на ногах-то держится.

Иван Петрович усадил её на пенёчек, расспросил о житье-бытье, заплакал с ней вместе о погибшем муже и, взяв с неё клятвенное слово, что она никому не скажет, кто написал жалобу, достал из сумки бумагу и карандаш, сказав мне:

— Ты, Федюш, тоже, конечно, об этом — молчок!

Я-то промолчал, а вдова, видимо, не выдержала, кому-то шепнула о жалобе, и шёпот этот пополз по улице. На следующий день вечером, когда мы коров распустили по домам, меня во дворе встретил необычайно возбуждённый отец. Он отвёл меня в тёмный угол сарая и тихо, но торопко спросил:

— Вы что там? Чего? У Гремячего?

Я вскинул на него глаза, полагая, что он, узнав о том, что мы с Шуркой выдаиваем коров богатых хозяек, намеревается меня «взгреть», и крепче сжал длинный ремённый кнут: в случае чего буду им отбиваться от тяжёлых кулаков отца.

Отец так же возбуждённо продолжал:

— Грамоты всякие пишете. Грамотен! — Но упрёка или угрозы в его голосе не слышалось, и я, осмелев и даже как-то гордясь, сказал:

— А что? Запорол человека, и ничто ему. До царя дойдёт, он Борзому ноги выдернет.

— Да ведь в жалобе и царю по горбу. Чего пишете, грамотен! — И отец, достав из кармана жалобу, написанную Иваном Петровичем, стал полголоса читать: — «Что за слуги у тебя, царь-батюшка? Урядник Бор-

зой людей калечит, мужа моего невинного насмерть запорол. А они все у тебя такие — Борзые. Это ноги-руки твои, царь-батюшка. А раз ноги-руки твои гнилые, на чём держаться будешь? Рухнешь так-то».

— Ведь так ведь? — сказал я, когда отец кончил читать и молча уставился на меня. — А к чему она у тебя, грамота? Царю написана, а ты не царь!

— Не царь, — чуть подумав, согласился отец. — Она принесла. Вдова. Посоветоваться. Его где, царя-то, найти? Не указали, грамотеи. Её как переслать царю, грамоту вашу? На почте главный — зять Борзому. Вскроет письмо, за шиворот вас — и в арестанку... Такого царя вам пропишет, что потом отца-мать забудете как звать. Я не супротив того, чтобы землю от Борзых очистить, но надо же умненько.

Наутро я весь этот разговор передал Ивану Петровичу, добавив, что о жалобе уже знают все и все её обсуждают, но что мой отец задержал грамоту у себя.

— Говорит, до царя она всё одно не дойдёт.

Я полагаю, Иван Петрович забеспокоится, а он, улыбнувшись и посмотрев в сторону восходящего солнца, сказал:

— Не дойдёт? Ясно не дойдёт: до царя далеко, до бога высоко — оба пустые для нас места. А своё дело жалоба сделала! Вся улица заговорила о Борзом и о царе — это и хорошо. Вот что мы с тобой, Федюк, в народе разбудили... Но об этом молчок! Знать не знаем, ведать не ведаем. Отцу скажи, пускай грамоту уничтожит. Хорошо он сделал — задержал. Вдове царь не поможет. В песне, Федюша, запомни, есть слова такие:

Никто не даст нам избавленья:  
Ни бог, ни царь и ни герой.  
Добьёмся мы освобожденья  
Своею собственной рукой.

Я, конечно, ничего не понял из слов Ивана Петровича и хотел было ему возразить: «Бабушка мне говорила, что царь — это бог на земле, стало быть, он должен видеть: Борзой насмерть запорол Кошелева», — но Иван Петрович перебил мои мысли:

— Гляди-ка, коровы-то в гореловский лес потянулись. Отгони.

И ещё припоминаю...

У нас на селе было три общества, и в каждом из них верховодили старики — вроде активы. Чтобы быть принятым в старики, надо было иметь бороду и седой волос на голове, в крайнем случае лысину, затем — хотя бы одну лошадь и непременно уважение со стороны Борзого и стариков.

Старики в праздничные дни «заседали» неподалёку от нашего дома, на брёвнах. Тут они и вершили дела общества: сдавали на торгах в аренду общественные луга, землю или, например, подряд на строительство моста через овраг у церкви. Этот мост каждую весну сносила полая вода, и его каждый год восстанавливал подрядчик, за что старики из общественных сумм выплачивали пятьдесят рублей, а подрядчик в качестве магарыча выставлял старикам пять вёдер водки. В весну полая вода снова смывала мост, старики опять посылали за подрядчиком и «спивали» пять вёдер водки... Мост этот получил от народа название «Пьяный мост».

Так вот, Иван Петрович иногда присаживался в сторонке от стариков и внимательно прислушивался к их разговорам.

Только через несколько лет мне удалось узнать, что Иван Петрович Дубов, по профессии слесарь, был судим за «крамолу» и жил по «волчьему билету», то есть по особому паспорту, по которому разрешалось находиться в определённых губерниях не больше как два-три месяца. Про-

шёл срок — отправляйся в следующую губернию. Другими словами, владельца такого паспорта полиция гоняла, как волка.

Но был ли он социал-демократ, принадлежал ли к партии социалистов-революционеров или примыкал к какому-то другому течению, мне не удалось узнать. Да это для меня по тому времени и неважно было.

Мне также стало впоследствии известно, что Иван Петрович, как пастух, имевший доступ в любой двор и любую хату, изредка навещал «своих избранных» и «стремился сколотить сильных духом», но это как раз ему и не удавалось, вот почему он с тоской пожаловался как-то мне:

— Все люди на селе хорошие, Федярка, только судьба коверкает каждого.

Мне ещё непонятно было это слово «судьба», но я почему-то уже стал стыдиться своего незнания и тут возразил:

— А Борзой? Человека убил. Хороший?

Он задумался, затем с ещё большей тоской ответил:

— И Борзого мать не таким родила. Чистой души младенец был, как и все младенцы.

Меня, признаться, такой ответ ошарашил, а Иван Петрович, видя мою растерянность, продолжал:

— Малютка — родится от царя ли, от пастуха ли — всегда чист душой, а потом судьба и изуродует его.

— Это что — судьба? Вроде Борзого, что ли?

— Хуже. Вот, например, ваш сосед Михаил Прокофьевич — большой души человек?

— Ещё бы, — подтвердил я.

— А сына в Баку держит. Умирает тот, а отец держит. Отчего? Оттого, что Михаила Прокофьевича отруб сосёт, деньгу с него требует, а он — с сына. Вот и получается, отруб — судьба, и хуже Борзого. И беда, когда человек подчинится этакой судьбе.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### 1

Брат Алексей отправился в город Вольск, чтобы там держать экзамен в учительскую семинарию. Отец безропотно выдал ему разрешение на получение паспорта, сказал:

— Всё равно Лёнька у нас не привьётся: клещи строгать и то сноровки нет. Пускай уж. Может, поп из него получится.

Вскоре Алексей вернулся из города и, встретив меня, расплакался. Я, поняв, что он «провалился», сам заплакал: жалко.

Но что делать мне?

Иван Петрович на прощание сказал:

— Шире шагай, брат!

Куда шагать, как шагать?!

Наступила дождливая осень, а за ней тягучая, полуголодная зима. Она занесёт снегом избы, посадит нас «на серые ши», и, главное, нигде ничего не заработаешь. Даже клещи и те не в ходу: отец настрогал сорок пар клещей, а их никто не берёт. Шорники и клещевики от «тяжёлой доли» запьют. Запьёт, конечно, и мой отец. Сначала он обычно с тоской начнёт рассказывать о жизни босяков:

— Галахи шутя живут: сорвут где ни где рупь, выпьют — и под лодку.

И, глядишь, запьёт.

В ожидании голодной зимы однажды в воскресный день я отправился на базар и, шатаясь по «торговым рядам», натолкнулся на такую картину.

Вечно пьяный купец Чесалкин вышел из магазина и хриповатым голосом стал зазывать покупателей: татар, мордву, русских, словом, приезжих из соседних деревень и сёл. Зазывал он, мастерски расхваливая свои товары: гвозди, сковородки, ухваты, кочерги.

Против магазина Чесалкина расположился длинный, раза в четыре больше, магазин купца Крашенинникова.

Как это случилось, даже не знаю, но я встал у двери магазина Крашенинникова и звонким юношеским голосом, перебивая Чесалкина, стал зазывать покупателей:

— Давайте к нам! У нас аглицкие гвозди, аглицкие сковородки, — и, схватив сковородку, обрезком железа начал бить в неё, заглушая грохотом голос Чесалкина. — У нас и самовары, золотом лужённые, — хотя только потом узнал, что самовары лудятся не с внешней стороны, а с внутренней. Но кричал, фантазируя: — Тот, кто купит на рупь, бесплатно получит канарейку!

Толпа покупателей, услышав про лужённые золотом самовары и канарейку, сначала приостановилась, потом громко захохотала и хлынула в магазин Крашенинникова.

На следующее утро к нам в избу зашёл приказчик Крашенинникова, угрюмый, по прозвищу «Ухма», — он, чему-либо удивляясь, всегда выкрикивал: «Ух, ма!» И тут, войдя, сказал:

— Ух, ма! Андрей Иванович требует, чтобы ты, Иван Иванович, и сын твой Федька явились к нему.

Отец побледнел, искоса посмотрел на меня и тихо спросил:

— Спёр? Что?

Я тоже струхнул, но ответил:

— Нет. Истинный бог!

Отец что-то ещё хотел сказать, но Ухма нажал:

— Веди мальчонку.

Отец воткнул топор в чурбак, и мы, оба перепуганные, отправились к Крашенинникову.

По дороге отец снова шепнул:

— Ты, может, что спёр всё-таки? Скажи: не выдам, а знать буду.

— Прилепился, — грубо, обидясь на его допрос, ответил я, поворачиваясь к дому. — Возьму да и удеру.

Отец прошипел над моим ухом:

— Забыл, как весной дал тебе? Гляди, у меня в запасе ещё есть. Кубарем полетишь.

В другое время я бы и убежал. А сейчас навстречу идёт соседка Саня. Она моего возраста. Мы влюблены друг в друга. У неё длинная толстая коса, остренький носик, глаза большие, выпуклые. Может быть, кому-нибудь такие глаза казались лягушиными, но мне они нравились, как, видимо, и Сане во мне что-то нравилось, что, может быть, не нравилось другим. Она каждое утро выходит за сарай в сад и собирает там малину. И ягоды-то уж нет, а она вроде собирает. Я в это время маячу где-нибудь под яблоней, и издали мы улыбаемся друг другу, что-то говоря глазами.

При иной обстановке я обязательно удрал бы. А тут навстречу идёт любимая девушка!

Ладно уж, покорюсь.

...Купец Крашенинников, небольшого роста, с одутловатыми щёчками, с маленьким носиком и седоватой бородкой, почему-то напомнил мне тушканчика: ещё хвост приделать — и запрыгает.



Посмотрев через очки на меня, он быстро захлопнул крышку железной кассы и сказал, обращаясь к отцу:

— Шустёр парнишка-то у тебя.

Я уж приготовился дать отпор, ежели он что-нибудь пакостное скажет, но купец произнёс:

— Шустёр, говорю. Вижу по вчерашним делам. Хоть умишко-то у него маленькое, куриное, но зерно есть. Ты, Иван Иванович, отдал бы его в мои руки: выучу, купец будет. Я ведь тоже когда-то босой бегал, потом семечками торговал, а сейчас, гляди, купец второй гильдии, — не без хвастовства закончил он.

Отец подумал-подумал и ответил:

— Что ж, тринадцатый годок ему. Растил, поил, кормил. А теперь что ж? Отдай задарма?

Купец обиделся.

— Зачем же задарма, Иван Иванович? Мы, купцы, этого не любим: задарма. Условия заключим. Четыре года живёт у меня: в магазине работает, двор, конечно, убирает, ну, корова у нас есть — за коровой ходит. Хлеб, одежда моя, а в конце тебе на руки двадцать целковых.— Купец чуть подумал и, видя, что отца такой подачкой не проймёшь, добавил: — Ну, и пальто зимнее, сапоги и прочее.

Так я очутился за прилавком в магазине купца Андрея Ивановича Крашенинникова.

## 2

У Крашенинникова каменный дом, расположенный в стороне от базарной площади, рядом с домом купца Мунина. И по характеру, и по поведению, и по внешности оба купца резко отличались друг от друга. Мунин — крупный, седоватый, с гордой походкой, молчаливый. Он с апломбом, с барским презрением относился к моему хозяину и вообще ко всем жителям села. Нигде и никогда, кроме как в магазине, не появлялся. Мой же хозяин — небольшого роста, всегда куда-то спешит мышиным шагом, а главное, очень уж дотошлив.

Во дворе после недавней стройки дома в землю вонзились щепы, палочки, какие-то досочки. Мы, ребята, а нас трое, каждое утро поднимаемся чуть свет и по очереди чистим коровник, затем подметаем двор. Подметёшь, и кажется тебе, всё чисто, всё сделано, можно и пошалить. Но вот после завтрака выходит Андрей Иванович. Причмокивая и что-то высасывая из зубов, он палочкой начинает выковыривать щепки, верёвочки, обрезки жести и так исполосует весь двор, будто в поисках земляного червя рылись свиньи.

Часа за полтора до открытия торговли мы с купцом отправляемся на базарную площадь и тут около магазина принимаемся за «работу». Он идёт впереди, отбрасывает палочкой в сторону бумажки, верёвочки, случайно оброненные и уже ржавые гвозди, заставляет нас стаскивать всё это «добро» в кучу, потом приказывает:

— Отнесите на чердак. И, смотрите у меня, разложите там по палочкам.

Верно, такая муштровка приучала нас всё делать хорошо, однако тогда, главное, хотелось погулять.

В восемь часов открывалась торговля.

За десять минут до открытия являлись приказчики.

Странные это были люди.

Вот старший приказчик, Яков Иванович. У него кургузенькая, сивенькая бородка, похожая на красильную маховую кисть, масляные глаза. Голос тихий и елейный — это когда он говорит с хозяином или с выгодным покупателем. Но мы знаем, он злой и завистливый: завидует всем.

Второй приказчик — Пётр Носков. У этого скулы выдаются так, будто его ещё маленьким положили подбородком на наковальню и сверху пристукнули гирей. Он уполномоченный какой-то фирмы: украдкой от хозяина в праздничные дни выезжает в соседние сёла и торгует там граммофонами, пластинками.

Мы, ребяташки, знаем об этом, но молчим, потому что Носков после удачной торговли даёт нам по копейке. Мы покупаем орехи и по вечерам дуемся в «двадцать одно».

Остальные приказчики такие же наушники, такие же завистливые и злые, но более мелкие, бессильные, как мошкара по осени. Например, Пискунов, по-уличному Ухма. Угрястый и щуплый, он хвастается перед приказчиками своими успехами у женщин. Все знают — врёт, но с вождением слушают его похабную брехню.

Шумная торговля происходила только в воскресные, базарные, дни. В остальные торговля шла вяло, делать приказчикам было нечего, да и хозяин иногда уходил домой, передав бразды правления Якову Ивановичу... Тут-то приказчики полностью и выворачивали себя: если не зубоскалили над кем-либо из жителей села, а зубоскалили тоже мелко и паршивенько, то наперебой начинали рассказывать анекдоты — кислые, мелкие, поганые. Или заваривалась между ними ссора, а то и драка. Но и дрались они тоже мелко: бросали друг в друга резиновыми калошами, а чаще — скомканной бумагой.

Магазин купца Крашенинникова, выражаясь современным языком, вполне можно было бы назвать универмагом. В нём имелось всё, начиная с дёгтя, гвоздей, резиновых калош и кончая сахаром.

Да, о сахаре.

Накануне рождества и пасхи купец подходил к запасам сахара, брал головку, завернутую в синюю плотную бумагу, затем в белую, ставил на прилавок и говорил:

— Земскому начальнику.

После этого брал вторую головку, разворачивал её, вынимал несколько кружков сахару, таким образом уменьшая вес головки, и говорил:

— Это уряднику.

Затем, всё уменьшая и уменьшая вес головок, продолжал:

— Это попу. Это дьякону. Это псаломщику.

На прилавке появлялось свёртков сорок. Хозяин подзывал нас, ребяташек, и, прикладывая к каждому свёртку визитную карточку, на которой с одной стороны было отгиснуто золотыми буквами: «Купец 2-й гильдии Андрей Иванович Крашенинников», а на другой его безграмотной рукой написано поздравление с грядущим праздником, приказывал:

— Разнесите, кому указано.

Когда я первый раз понёс попу сахар, то со страхом подумал:

«Прогонят».

Но меня не прогнали, а сахар принял сам поп и даже благословил меня — дескать, тащи ещё.

Главное, что ценил купец в приказчиках, — это умение мастерски всучать покупателю плохой товар по дорогой цене. Тот, кто мастерски «всучал», был у хозяина в почёте.

Волей или неволей, но и мне пришлось обучаться этой «приказчицкой науке»: я научился мастерски «всучать», что заметил Крашенинников. Десятки раз всякими способами проверив меня и убедившись, что я копейку не ворую, он стал допускать меня к кассе, а в базарные дни даже вешал мне на шею кожаную сумку и доверял получать деньги с покупателей. Это сразу обозлило всех приказчиков, и они стали всячески под меня «подкапываться».

Тоскливо было жить в таком мире.

## 3

Одно вспоминается светлое пятно — это жена Крашенинникова, Екатерина Каллистратовна.

Небольшого роста, с клоком седых волос над лбом, с тёплыми, добрыми глазами, тихая и скромная, она то возилась на кухне рядом с кухаркой, то вместе с горничной прибирала комнаты. А детки (их четыре сына и две дочери) жили своей жизнью: старший сын, уверяли, болен туберкулёзом, хоть с виду он походил на откормленного быка; второй сын носил диагональные синие брюки, студенческую тужурку и десятый год числился в университете; третий, низенький и долгоносый, учился в реальном училище, а обе дочери — в гимназии. Только младший сын, Костя, ещё бегал в двухклассное училище и по вечерам играл с нами в городки, а зимой катался на коньках.

Екатерина Каллистратовна почему-то из всех ребят, работавших у купца, обратила особое внимание на меня. Возможно, в полном согласии с мужем, она решила готовить меня к роли старшего приказчика. В то время я об этом не думал, однако до сих пор благодарен ей за то, что она тогда допустила меня к шкафу с книгами и сказала:

— Читай, Фёдор.

В шкафу оказались собрания сочинений Гончарова, Данилевского, Мордовцева, Помяловского, Писемского, Тургенева.

И я с жаром принялся за книги. Читал, конечно, более интересные места, пропускал целые страницы, поэтому иногда от прочитанного в голове оставался какой-то сумбур.

Екатерина Каллистратовна заметила, что я слишком быстро «проглатываю» книги, и потому, расспросив о прочитанном, посоветовала:

— Читай с раздумьем. Не торопись. Куда спешишь? У тебя впереди целая жизнь, а в жизни, Фёдор, надо многое знать. Книги и дают знание. Я стал читать с «раздумьем».

Прочитал Гончарова, Тургенева, Помяловского, Писемского. Мордовцева читать не стал: не понравился. Екатерина Каллистратовна стала обучать меня и русскому языку, арифметике, географии. Я хотя и умел писать, но писал как вздумается, не признавая ни точек, ни запятых, да и понятия о них не имел. Тем более, никакого понятия не имел об арифметике и географии. Слышал; что есть такие страны, как Англия, Америка. Но где они?

И как я был удивлён, когда узнал, что, кроме России, Англии и Америки, ещё существуют Франция, Италия, Китай, Индия и десятки других государств. Я так увлёкся географией, что по целым вечерам «елозил» по карте, отыскивая столицы, озёра, моря, горы, реки.

Память у меня была хорошая: в одно раннее утро заучил всю таблицу умножения. Выслушав меня, Екатерина Каллистратовна искренне была удивлена:

— Да как же это ты, Фёдор? Ребята в школе месяцами заучивают, а ты — в одно утро. В школу бы тебе надо.

И не предполагала, видимо, Екатерина Каллистратовна, какой огонёк этими словами она зажгла в моей душе!

Младший сын купца, Костя, готовился к поступлению в пятый класс реального училища. К нему на дом ходили учитель по общим предметам и учитель немецкого языка. Я, прислушиваясь к тому, что преподавали учителя, многое запоминал, многое записывал и постепенно превратился в подсобного учителя купеческого сына: помогал ему «зубрить» уроки. Однажды учитель немецкого языка задал Косте выучить стишок на немецком языке. Костя, взяв учебник и бегая по длинным коридорам, выкрикивал стишок, а я слушал.

Пришёл учитель, спросил Костю. Тот замялся и ответил:

— Забыл.

А я нараспев закричал, даже не думая, что это дойдёт до ушей учителя:

— О танненбаум! О танненбаум! Ви грюн зинд дайне блеттер,— что должно было означать: «О ёлочка! О ёлочка! Как зелены твои веточки!»

Учитель повернул голову в мою сторону и удивлённо спросил:

— Кто это? — Увидав меня, с упрёком сказал Косте: — Он, не уча урока, выучил, а ты учил, да не выучил.

Костя вскоре поступил в реальное училище.

Вернулся он из города в форме реалиста: на нём шинель с «золочёными» пуговицами, фуражка с «гербом», щегольские ботиночки и серые перчатки. Он со мной уже не разговаривает, опасается прикоснуться ко мне, как к чему-то дрянному.

Во мне вспыхнула злоба: я помогал ему учить уроки, а теперь он даже знаться со мной не хочет. «В школу бы тебе, Фёдор», — вспомнил я слова хозяйки, и огонёк в моей душе стал превращаться в костёр.

Мой брат Алексей уже учился в учительской семинарии — среднее учебное заведение, куда был открыт доступ нам — детям крестьян. И я тайком от всех начал готовиться к экзаменам в учительскую семинарию. Но, прежде чем подать прошение, чтобы допустили меня к экзаменам, надо было иметь свидетельство хотя бы об окончании первых трёх начальных классов приходского училища. Я упорно стал готовиться к экзаменам за три класса. В этом, не догадываясь о моей цели, помогала мне Екатерина Каллистратовна. Но хозяин, видимо, что-то почувствовал: он стал морщиться, ворчать, что я по ночам «палю керосин», и однажды, когда я «упустил» покупателя, упрекнул:

— Глядишь в книгу, а видишь фигу.

Я был уже грамотнее купца и на его колкость ответил:

— А «село»-то пишется не через «ять». — Это я ему напомнил, как недавно он через меня отправлял письмо директору реального училища и в обратном адресе написал «село» не через обыкновенное «е», а через «ять». «Андрей Иванович,— сказал я тогда.— А «село»-то пишется не через «ять». Он буркнул: «Учи!» — однако ошибку исправил.

Вскоре я экстерном сдал экзамен за три класса начального училища и получил похвальный лист.

#### 4

Прошло четыре года.

Купец выдал обещанные двадцать рублей, сшил мне зимнее пальто. Екатерина Каллистратовна тайком от мужа напихала в мой сундучок отрезов на рубашки, на брюки и положила даже пару ботинок. С этим багажом я и направился к родителям.

После купеческого дома со светлыми окнами, побелёнными стенами, с крашеными полами, наша изба показалась мне мрачной и тёмной. Но это была своя изба, родной дом, тем более, что я входил в него уже как независимый человек: купец, чтобы удержать меня в приказчиках, стал платить мне жалованье — восемнадцать рублей в месяц. По тому времени это были большие деньги: учитель получал двадцать пять!

Отец и мать возгордились и, хвалясь, говорили всем:

— Федярка-то у нас восемнадцать целковых в месяц зашибает.

А двоюродная сестра моего отца — тётка Васёна, женщина крупная, шагистая, чем-то похожая на лошадь, — грубым, басовитым голосом оповещала село:

— У нас Федярка-то, ого-го, в купцы пошёл! Купеческая линия теперь зародится от Панфёровых. — И, придя к нам, как вихрь, налетела на меня: — Ты вот что, Федька! У купца дочка — ровесница тебе, ты её обыг-

рай. Он хоть потом и будет лаяться, купец, да ведь кровь-то в дочке родная: встаньте на колени — простит.

Я недоуменно заморгал, а она продолжала:

— Что глазами-то хлопаешь, бестолочь! Улести, говорю, дочку — и в купцы махнёшь.

## 5

Я бросил работу у купца и стал готовиться к поступлению в учительскую семинарию. Мать за это на меня гневалась, а отец погрузтел.

Я вполне понимал их.

Что ж, старшего сына вырастили, он поступил в учительскую семинарию, и отцу от него пользы, как от козла молока. Я, второй сын, ежемесячно по восемнадцати рублей приносил в дом и теперь тоже превращаюсь в того козла, от которого ни шерсти, ни молока. А у отца бегают ещё трое босоногих: на возрасте моя сестра Мария, подросток сестрёнка Лиза и малыш братишка Шурка. Да и они сами-то, мои родители, немолоды: каждому перевалило уже за сорок, жизнь пошла под уклон. Что ж, разбегутся все дети, и под старость даже куска хлеба не будет? Так рассуждали мои родители, и это было вполне понятно. Но понять — это одно, а сломать свою мечту — другое. И я, несмотря ни на что, продолжал готовиться к экзаменам в учительскую семинарию.

За месяц перед экзаменами брат, который готовил меня и которому, очевидно, до тошноты опротивело ворчание матери, уехал куда-то на Волгу к своему товарищу, и я остался один.

Тут-то и началось самое нелепое...

Для того чтобы допустили к экзаменам в учительскую семинарию, нужно было от губернатора получить свидетельство о политической благонадёжности. А у нас в селе уже был один такой страшный случай.

Сын вдовы, Егор, всегда и везде появлялся с книжкой в руках. Он в перерывы читал даже на гумне или в поле. В длинные зимние ночи почти до утра горела лампёшка в избе вдовы: это Егор сидел за столом и читал. Ему удалось закончить двухклассное училище, и он готовился поступить в учительскую семинарию. И всё было подготовлено: программа пройдена, мать продала последнюю овцу на дорогу. Но тут случилось непредвиденное. Егор, начитавшись подпольных брошюр, часто бросался злыми словами против помещиков и царя. Урядник Борзой об этом донёс начальству, и губернатор не дал Егору свидетельства о политической благонадёжности.

Всё оборвалось...

Конечно, если бы в то время Егор попал в кружок настоящих революционеров, возможно, его направили бы на верный путь. А тут, одинокий, обзлётанный, он скатился на «дно».

Потом мне рассказывали, что Егора вместе с его другом видели в Нижнем Новгороде. Оба босяки. Егор за пятак на потеху купцам с разбега ударом головы открывал дверь амбара. Его приятель за пятак выдерживал пять ударов кнутом. Но однажды купцы внутри припёрли кольями дверь амбара. Егор разбежался, ударился головой, расколол череп и тут же умер. Говорили, он знал, что дверь изнутри припёрта кольями. Перед тем как кинуться на неё, расцеловался со своим приятелем и сказал:

— Ну, Саша, прощай: конец пришёл.

Сколько их, талантливых людей из крестьян, опустилось на «дно», сколько погибло в нищете! Не закончится ли моя судьба так же, как судьба Егора,— я ведь тоже не восхваляю помещиков и царя.

И второе, ещё более нелепое препятствие: отец не даёт паспорта, без которого не допустят к экзаменам. Когда я прошу у него паспорт, он отво-

рачивается и молча уходит от меня. Я знаю, на это его подбивает мать. По ночам слышу, как она в кровати за занавеской зудит:

— Не давай, Ваня. И не давай, и не давай, и не давай. Один улепетнул, теперь другой. Они, образованные-то, отца и мать знать не хотят.

Иногда отец возражал:

— А может, отпустить Федярку? Я вот в Баке-то работал, и неплохо работал, а инженер подойдёт ко мне, ручки беленькие, на шее галстук, думаю: ну что ты, фитюлька, пальцем перешибу я тебя. А он совет подаст, и, глядишь, — умственная подмога. Вот и Федька — сноровный парень, пойдёт учиться и ума наберётся.

Мать взвизгивала:

— Разрази меня бог, не пушу!

Что ж делать? Нужен паспорт. Губернатору я давным-давно отослал прошение. А вот как теперь быть? Долго думал и под конец рискнул. Взял лист бумаги и на имя старшины левой рукой коряво написал: «Прошу моему сыну Фёдору Панфёрову выдать пашпорт. И. И. Панфёров».

С такой запиской я и направился в волостное правление, попав как раз в понедельник — похмельной день. Старшина прочитал записку, швырнул её волостному писарю, сказал:

— Выдай ему поскорее, да пойдём к Дуньке.

Дунька держала шинок и торговала водкой. Спеша к ней, чтобы опохмелиться, старшина и не заметил, что записка поддельная.

Получив паспорт, я пришёл домой, украдкой от родителей связал учебники, пораньше лёг спать, а поднявшись перед зарёй, обул лапти, схватил на кухне кусок хлеба и, тихо выбравшись из дому, отправился пешком за семьдесят пять вёрст в город Вольск.

Пройдя вёрст двадцать пять, захотел есть. Хлеб, что утром взял, был уже съеден у Гремячего ключа, где я приостановился, вспоминая пастуха.

— Ты тогда, Иван Петрович, сказал мне: «Шире шагай, брат». И вот я шагаю. Дошагаю ли только? — на прощание произнёс я, глядя на пенёчек, на котором Иван Петрович любил отдыхать.

Шагаю по пыльной дороге. Хочу есть. Как быть, где достать? Начать расходовать свой неприкосновенный капитал в рубль двадцать копеек? А на что буду жить в городе?

Вскоре я нагнал горбатого паренька. Мы познакомились. Оказалось, он тоже идёт в Вольск держать экзамены в учительскую семинарию.

Вёрст через пять я спросил:

— А есть, Петя, хочешь?

— Хочу. Как не хочу? — отозвался он и заморгал длинными, девичьи-ми ресницами.

— Что же делать?

— Гм... Делай не делай, а терпи, — скорбно улыбаясь, произнёс Петя.

— Терпи? Такой терпёж все кишки разорвёт.

— Разорвёт не разорвёт, а терпи.

Чуть погодя я предложил:

— Знаешь что? Давай по миру собирать.

— Эх! Не смею, — подумав, ответил Петя.

— «Не смею»? А есть-то хочется?!

— Умру, а не пойду, — категорически заявил он.

— Тогда вот что: иди серединой улицы, а я — под окна. Глядишь, что-нибудь и подадут.

Петя шагает дорогой, ещё больше сгорбившись, а я барабаню в окно и впригнув ною:

— Господи помилуй, православные, подайте милостыню Христа ради.

Слышу, как шлёпают ноги, и вижу — разлетаются на две половинки створки окна и уже протянулась рука, держащая лепёшку. Но тут же появляется лицо крестьянки, и её за секунду перед этим добрые глаза ста-

новятся злыми, рука с лепёшкой моментально скрывается, и на мою голову, как удары молота, обрушиваются слова:

— У-ух, лоботряс какой! Ступай-ка мимо. Ступай!

Неудача!

Грустный, прибитый и оскорблённый, подхожу к Пете.

— Обжёгси? — печально произносит он.

Предлагаю:

— Пойдём, молча стоять будешь под окном, а я попрошу и отбегу за угол. Тебе, горбатому, подадут.

На какой-то миг у меня промелькнула мысль, что я оскорбил Петю, назвав горбатым, но Петя согласился: голод диктовал своё.

И опять стучу в раму окна, и опять произношу те же слова, затем быстро отбегаю за угол и вижу: под окном стоит Петя, ещё больше вскинув горб, всем своим видом напоминая старого голодного грача. Затем окно открывается, протягивается рука, держащая кусок пирога с тыквой, и слышатся слова:

— Прими Христа ради, уродец.

Так мы прошлись от избы к избе, набрали подаваний, выбрались из села и на окраине, у ветряной мельницы, плотно поели. А поев, вздремнули, потом поднялись и направились в город.

## 6

Нас прибыло держать экзамены в учительскую семинарию сто шестьдесят молодых, а принять надо двадцать восемь человек. Каждый, конечно, предметы знал назубок. Я помню, когда меня готовил брат, то он иногда на заре приходил с гулянок, забирался на сеновал, где мы спали, и, толкнув в бок, неожиданно спрашивал:

— А ну, скажи-ка, какие озёра в Азии?

И я спросонья, как трешотка, выпаливал:

— Лобнор, Кукунор, Тенгриноор, Балхаш, Иссык-Куль... — и тут же засыпал.

Он снова толкал меня в бок.

— А ну, объясни-ка теорему Пифагора?

Я немедленно отвечал.

Тогда он спрашивал:

— А где находятся проливы Каттегат и Скагеррак?

Я и на этот вопрос отвечал.

— А где Гнилая Стрелка?

Должно быть, и все приехавшие знали предметы назубок, не хуже меня.

Но нас приехало сто шестьдесят человек. Принять же положено двадцать восемь. Что ж делать преподавателям?

«Резать».

И «резня» началась в первый же день.

Преподаватель русского языка Иван Афанасьевич Зорин, человек с огромным животом и маленькой, даже, казалось, крошечной головой, поделил нас на правых и на левых, затем сказал:

— Ну, господа, слушайте, кто сидит по правую сторону. Начнём диктант,— и, чуть подождав, невнятно пробормотал: — Бóчка, мёдка, кáтка, лóжка.

Многие так и написали: «бочка, медка, катка, ложка». Я был предупреждён братом: «Ты не пиши, что на диктанте промурлычет Зорин, а думай, догадывайся». Я задумался и вскоре догадался, что Зорин сказал: «Ложка дёття испортила кадку мёда».

Наутро фамилии тех, кто написал: «медка, катка», уже были вывешены на двери учительской семинарии как «зарезанные».

У меня хорошо прошли экзамены по русскому языку, по русской истории, по математике, но вот на экзамене по закону божьему пробила дрожь до пят.

Священник Пиксанов, любитель выпить (у него всегда был красненький нос), посмотрел на меня и произнёс:

— Здоровый ты парень, и сил в тебе, видно, немало: румянец играет на щеках. Ехал бы к отцу — пахать.

У меня мелькнула мысль:

«А не сообщил ли ему отец о том, что я воровским способом достал паспорт?»

Пиксанов продолжал:

— Ехай-ка, ехай! Да спокойненько паши землю, как и велено Адаму.

Я, осмелев, сказал:

— Батюшка, учиться хочется.

— Учиться, учиться,— недовольно проворчал он.— Вас вон сколько налетело! Куда мы вас денем?

Я снова настойчиво:

— Батюшка, учиться хочу.

У Пиксанова маленькие глаза стали ещё меньше. Он хитренько, вприщур посмотрел на меня, как бы говоря: «Подобру не хочешь уходить, так я тебя сейчас вытурю».

— А ну, давай начнём с катехизиса,— предложил он.

Катехизис — книжица в сто восемнадцать страниц, которую надо было знать наизусть: слово в слово, причём на славянском языке. И поп начал «гонять» меня по катехизису. Но что ни спросит — отвечаю. Тогда он, раскинув руки, как на распятыё, по-волжски сказал:

— Знашь. Но ведь это пустячок — катехизис-то. А вот скажи,— и снова вприщур хитренько посмотрел на меня, затем, чуть подождав, продолжал: — Скажи, когда бывает бог с хвостом?

Бог с хвостом?

Я впервые понял, что значит, когда пот катится градом: крупные капли пота с висков стали падать мне на рубашку, расплзаться, образуя большие пятна.

«Зарежет», — мелькнула у меня страшная мысль, и, как все ученики, не знающие предмета, я вскинул глаза в потолок.

Священник сидел в углу, и я над его головой увидел икону, на которой был нарисован бог отец Саваоф с седой бородой, в овале — бог Христос, а внизу — бог дух святой в виде голубя. Я чуть не заплясал перед священником и звонко выкрикнул:

— Бог дух святой, батюшка! С хвостом-то.

— Знашь,— снова по-волжски произнёс он.

Но скажи я ему вместо «святой» «святым», он бы меня «зарезал».

Так я прошёл в учительскую семинарию — и то двадцать восьмым по списку.

## 7

И мир посветлел.

Улицы, облупленные дома и домики, булыжные мостовые, площади, красавица Волга, да и люди — всё посветлело, всё стало казаться мне радостным, весёлым, а, в сущности, радость-то была только у меня на душе.

Брат дал мне из своих сбережений пять рублей и сказал:

— На мой карман больше не надейся — для себя еле хватает. Добывай сам!

Я зашёл в магазин и первым делом купил форменную фуражку, приделав к ней герб. Герб состоял из двух медных дубовых листьев, в середи-



не три буквы: «ВУС», что означало — Вольская учительская семинария. Тут же в магазине я надел фуражку и пошёл по городу, как самый счастливый человек на земле. Мне хотелось и плакать от радости и смеяться. Но, подходя к квартире, где жил брат, я вдруг вспомнил его слова: «Сам добывай», и вся радость с меня спала.

Как быть, где достать денег хотя бы на первые два-три месяца? Давать на дому уроки? Не справлюсь. Долго думал и наконец пришёл к заключению: надо собирать подаяние. Не так, конечно, как мы собирали с Петей, — кусочки, а иначе. И, взяв лист бумаги, крупными буквами написал:

«Многоуважаемые господа!

Я, сын крестьянина-бедняка села Павловки, экстерном сдал экзамен за три класса начального училища, затем самостоятельно подготовился и поступил в учительскую семинарию. Помогите мне пробиться к свету и пожертвуйте кто сколько может».

Учебный год уже начался, и я обязан был отпроситься у директора Гавриловского.

Гавриловский — поджарый, чистоплотенький, седоватые волосы ёжиком — говорит такими чёткими фразами, словно они заранее вылиты из олова.

— Для чего вам понадобился, господин Панфёров, отпуск? — спросил он, чуть наклоняя голову вправо.

Я по простоте ответил:

— Жить не на что, господин директор. Хочу посбирать, — и намеревался было ему показать подписной лист, как Гавриловский гневно искривил губы и раздражённо произнёс:

— Господин Панфёров, подаяние — позор! Вы опозорите всё наше учебное заведение.

Я догадался и быстро устранил опасность:

— Да нет, господин директор, не подаяние, а долги. Долги, господин директор.

— Другое дело: долги — это позор тех, кто их не выплачивает. Пожалуйста. — И разрешил мне двухнедельный отпуск.

Чтобы «не попачкать» подписной лист, другими словами, начать сбор с крупной суммы, я обратился к моей покровительнице — Екатерине Каллистратовне Крашенинниковой. Она прочитала воззвание, покачала уже седеющей головой и сказала:

— Унизительно, конечно, это — просить. Но иного выхода у тебя, Фёдор, нет. Прикрой глаза рукой и собирай. Вот тебе из моих сбережений.

Она некоторое время о чём-то думала, затем решительно поставила на листе порядковый номер — первый, полностью написала имя, отчество и фамилию. А я в эти секунды с дрожью ждал, сколько же она пожертвует. И вдруг вижу: в последней графе пишет — десять рублей. И тут же вышла и принесла золотой. Я поблагодарил её так, как, наверно, никогда и никого не благодарил. После этого пошёл по врачам, по учителям и даже по купцам. Таким образом набрал за две недели больше сорока рублей.

Подсчитав, что мне на три месяца вполне хватит тридцати рублей, я выделил десять рублей и передал их отцу.

Он долго недоверчиво смотрел мне в лицо и под конец спросил:

— Значит, отца-мать не забудешь?

— Не забуду, отец, — впервые вместо «батя» назвал я его отцом.

— Вот как — отец, значит? — чуточку растерявшись, проговорил он.

— Отец, конечно, а как же? — уже улыбаясь, весёлым голосом подтвердил я.

— Ясно-понятно. — Было видно, он растерялся от того, что я поставил себя на равную ногу с ним, однако, вертя в пальцах золотой, снова спросил. — А как же ты там будешь... сам-то?

— Прокормлюсь: я один, а у тебя трое...

У отца впервые при мне навернулись слёзы. Он их подавил и дрогнувшим голосом позвал:

— Мать! Гляди-ка, Федярка чего... золотой дал. А ты говорила, отца-мать забудет. Нет. Он не волчонок, чтоб отца-мать забыть. Федярка-то!

Но вскоре на меня обрушилась новая печаль.

Сестра Мария, окончившая пять классов женской школы, по просьбе матери была определена горничной в ту самую купеческую семью, где я прожил четыре года. Я знал избалованных и распущенных сынков Крашенинникова, знал, как они обращаются с горничными, но был бессилен что-либо предпринять. Только написал письмо Екатерине Каллистратовне, в котором просил её:

«Вы в моей жизни были самой лучшей и заботливой матерью. Так помогите стать на ноги и моей сестре, оберегайте её».

## 8

Шёл уже год тысяча девятьсот пятнадцатый — год русско-германской войны.

Буржуазия, мещане города, да в большинстве и интеллигенция нет-нет да и выползали на улицу, на площади, несли иконы, портреты царя и горланили:

— За бога и за белого царя!

Появилась песенка:

Пишет, пишет царь германский,  
Пишет русскому царю,  
Всю Расею завоюю,  
Сам в Расею жить пойду.

Эту песенку горланили ура-патриоты, но сыновей в армию не отдавали — подкупали врачебные комиссии, отыскивали в своих лоботрясах всяческие болезни, обучали своих чад симуляции.

Одному такому лоботрясу, сыну потомственного мещанина города Вольска, Пете Груничкину, мне довелось на дому давать уроки: при переходе в шестой класс реального училища он «заработал» переэкзаменовку по физике.

Его отец Илларион Макарович жил тем, что за высокие проценты давал в долг деньги и всё жаловался на «тяжёлые времена» и на то, что сын у него «непредприимчивый».

У Иллариона Макаровича вид богобоязненного старца — лицо в глубоких морщинах, глаза большие, покорные, как у галки, губы пышные, добрые, словно сдобные булки. Смотришь на него и думаешь: этот не способен даже воробья обидеть. А на самом деле Илларион не одного жителя города, особенно престофиль-вдов, пустил с сумой по миру, чем и нажил капитал. Кроме того, был он человек великого блуда: имел в городе семь наложниц.

Но богатенькие мещане, тоже в большинстве ростовщики, о нём говорили так:

— Башка!

— Чего и говорить — туз козырной!

А когда кто-либо намекал на наложниц, Илларион Макарович блаженно улыбался и отвечал:

— Кто цветочки не любит, тому жить не положено. Окромья того, за свою копейку ублажаю.

На сына он смотрел, пожалуй, так же, как лошадиник на жеребёнка: что будет делать жеребёнок, когда подрастёт, — воз повезёт или задом начнёт бить?

Я уже знал, что сынок Петя будет «задом бить».

— Вот отец умрёт, у меня денег будет мильён,— прорвало его однажды.

— Ну, уж и миллион? — нарочно поддразнивая, возразил я.

— А что? Не верите? У него, у старого чёрта, одних векселей на шестьсот тысяч. Вот он какой, чёрт папаша.

— И что же сделаешь, получив миллион?

— Поеду в Саратов, куплю все билеты в театр. Один сяду, пускаи для меня играют.

— Да ведь это страшно — один в театре.

Петя захопал белобрысыми, как у хряка, ресницами, задумался и вдруг выпалил:

— Тогда пароход куплю, самых красивых баб на него, музыку — и поехали по Волге туда-сюда. Только бы поскорее умирал папаша,— и таинственно: — Тогда я вам в месяц не восемь целковых, а двадцать выплачивать буду.

— Мало. От миллиона — и двадцать целковых,— снова подзадорил я.

— Ну, сто, а уроки не учить. На кой она мне — физика там разная. Вот умирал бы папаша скорей!

«Ничего себе сынок», — подумал я.

Но хорош и папаша. Он иногда заходил к нам в комнату и при сыне развязно, даже цинично рассуждал:

— Петька у меня что? Дурак, известно. Во всяком случаем, бог его от солдатчины отвёл? Отвёл. А кто богу помог? Я помог. Значит, во мне сила есть, богом данная. А он что? Чурбак с глазами. Говорю ему — учись. Вон они, учёные-то, как дела вертят. Тот же Мокротоваров. Отец-то его лыками торговал. А сын, Мокротоваров-то, в учёные пошёл. Выучился и тестя обобрал — четыреста тысяч хапнул. Тесть, положим, повесился, а Мокротоварову почёт: вот-вот и изберут городским головой — тут опять хапай и хапай. Я и говорю Петьке: «Учись». Нет... Не лезет в него наука.

Пётр в это время подмигивал мне, ухмыляясь, как бы говоря:

«Скоро подохнет чёрт папаша, и мильён — мне».

Но ведь их полгорода, таких мещан. Одни побогаче, другие победнее, третьи почти нищенствуют, но все устремлены к тому, к чему устремлён и Илларион Макарович: кого бы объегорить, где бы хапнуть.

По обе стороны Вольска, как бы отделяясь от города мещан и обывателей, на берегу Волги раскинулись довольно крупные по тому времени три цементных завода. Почти все рабочие жили около заводов, ютятся в избушках или в бараках.

Глядя на цементные заводы, я вспоминал, как в Баку к нам на квартиру приходили рабочие и слушали чтение студента — «люцинера». Теперь я тоже почти студент, и мне тоже следует идти к рабочим. Пожалуй, и не к рабочим, а туда, к крестьянам. Можно на лето наняться пастухом где-нибудь подальше от родной Павловки. Но для того, чтобы «пропагандировать», надо знать, что пропагандировать, а у меня в голове политический ералаш.

Я мог бы обратиться за советом к брату Алексею, но его, как и всех его одноклассников, ускоренным порядком выпустили из учительской семинарии, затем мобилизовали и отправили в школу прапорщиков, да и к политическим событиям он относился как-то спокойно. Одна мечта владела им: сдать экзамен на аттестат зрелости и поступить в Саратовский учительский институт.

Меня же «терзали» политические вопросы.

К кому же обратиться за советом?

К преподавателям?

Ну, к Гавриловскому не обратишься: этот бывший поп преподаёт у нас в классе психологию по учебнику Челпанова «Мозг и душа». Одно название учебника чего стоит! К преподавателю истории Ивану Васильевичу Обушкину... Ну, этот утянет в древние времена, обязательно к царю персидскому Киру!

Перебирая в памяти преподавателей учительской семинарии, я невольно задержал внимание на математике Николае Петровиче Куликове, вдруг вспомнив, как однажды мне брат Алексей сказал:

— Ты вот всё в политику суёшься. Совались и до тебя, и не такие головы, как ты. Вон Николай Петрович Куликов. В Казанском университете преподавал. Да в пятом году на площади речь закатил — и получил по шапке: сослали его в Вольск... С тех пор воды в рот набрал — утихомирили.

У Николая Петровича лоб, наплывающий на глаза, как у Дарвина, небольшая бородка. На уроках он всегда сурово-строг, но вне уроков — тихо-улыбчив, хоть и замкнут. До нас дошло, что он дома каждый вечер играет на скрипке. Нам подобное сочетание — математика и скрипка — казалось диким... Но мы его не только ценили, но и уважали.

— Да. Надо попытаться к нему, — решил я.

И однажды, увидев его сидящим на скамейке под деревьями бульвара над Волгой, я, покружившись по дорожкам, осмелев, подошёл к нему, поздоровался, не подавая руки, и спросил:

— Николай Петрович, разрешите посидеть возле вас?

— Что ж, садитесь, господин Панфёров.

— Николай Петрович, — чуть погодя снова начал я, пробуя завязать откровенный разговор, — в голове путаница у меня, — и смолк.

Он долго молчал, кривя верхнюю губу в улыбке так, что у него шевелился пепельный ус, затем сказал:

— Что ж, в ваши годы и у меня была путаница в голове. Это естественно, Панфёров.

«Да-а, — подумал я, — видимо, Алексей прав: утихомирили сокола». Однако ещё попытался:

— Но вам, Николай Петрович, очевидно, кто-то помог устранить путаницу? — И я в упор посмотрел в его глубоко запавшие глаза.

Он некоторое время молчал, украдкой бросая на меня взгляд, затем произнёс:

— В священном писании и то сказано: неисповедимы пути твои, господи, — и тихо рассмеялся, добавляя: — Но... вижу, с вами можно говорить серьёзно. Я понимаю, о какой путанице вы говорите, — будто заглядывая мне в душу, продолжал он. — Я понимаю... Первая путаница: есть бог или нет? Чтоб распутать эту путаницу, я вам очень рекомендую прочесть книгу Липперта «История культуры». Не бойтесь! Эту книгу вы найдёте в нашей городской библиотеке. Не запрещённая.

У меня вырвалось было:

— Николай Петрович, а нет ли у вас запрещённой книги? — но я вовремя сдержался, а Николай Петрович, точно не замечая моей растерянности, продолжал спокойным голосом:

— «История культуры» Липперта очищает от ржавчины умы, товарищ Панфёров, — еле слышно сказал он и показал на закованную во льдах Волгу, словно говорил со мной о ледоставе.

Я вскочил, затряс его руку:

— Благодарю, Николай Петрович, — и кинулся по направлению к городской библиотеке.

А он мне вдогонку:

— Да, да, господин Панфёров, благодарностью не отделаетесь! Подтянитесь, не то снова по алгебре получите двойку.

Я остановился, посмотрел на него, думая:

«Какой он? Около нас никого нет, а он слово «товарищ» прикрыл угрозой поставить по алгебре двойку... Нет! А всё-таки его не утихомирили...»

## 9

Мы снимаем комнату с одноклассниками Яней Резановым и Стёпой Сисикиным, платим хозяйке ежемесячно по три рубля с головы.

Оба мои приятели — разные.

Яня Резанов нескладно высокий, голова небольшая, нос приплюснутый, губы толстые, всё лицо избито мелкой оспой. Иногда из деревни Лопуховки мать присылала ему препорядочный мешочек сухарей. Приготовив уроки, Яня, не раздеваясь, ложился на кровать и, с треском уничтожая сухари, начинал сочинять стихи. Я помню концовку одного его устного стиха:

Ох ты, жисть, моя жисть,  
Тяжела и горька.

Мы хохотали, поглядывая на осевший мешочек с сухарями.

— Конечно, сухарей-то почти нет. Совсем будет жизнь тяжела и горька, когда мешочек опорожнишь.

Яня не обижался на наш смех и продолжал, лёжа на кровати, сочинять стихи. Сочинял он их до тех пор, пока не съедал сухари. После этого писал жалобные письма матери, чтобы та прислала ему «что-нибудь».

Стёпа ростом ниже Яни. Голова у него колом, лоб пересечён ложбинкой, нос непомерно высунулся вперёд, словно собирается куда-то убежать. Он всё мечтал влюбиться в какую-нибудь девушку. В городе Вольске девушек было много: епархиалки, жирные и белотелые, их готовили в жёны попов; шустрые, до девяти часов вечера разгуливающие по бульвару гимназистки... У нас при учительской семинарии была своя церковь, вернее, зал, оборудованный для богослужения. Во время моления правую сторону в церкви занимали мы, семинаристы, а левую — гимназистки. Мы поглядывали на гимназисток, перемигиваясь, улыбаясь, гимназистки смотрели на нас, украдкой отвечая нам тем же.

Стёпе очень хотелось влюбиться, и поэтому он настойчиво стал просить, чтобы я его познакомил с девушками.

— Ты только не называй, пожалуйста, своей фамилии. Скажи просто — Степан, — посоветовал я.

— Хорошо, — согласился он, поправляя очки на переносице большим и указательным пальцами, как клещами.

Вечером на бульваре мы увидели: сидят знакомые мне гимназистки. Я весело подхожу к ним, здороваюсь. Они визжат и хохочут. Стёпа стоит за моей спиной, привычным движением поправляя очки. Показывая на него, рекомендую гимназисткам:

— Это мой друг. Познакомьтесь.

Девушки охотно вскакивают со скамейки. Стёпа протягивает руку первой девушке и убийственно чётко произносит:

— Сисикин!

Гимназистки вспыхивают и отворачиваются от Стёпы, а я ему шепчу: — На кой чёрт ты фамилию произнёс! Си-си-кин! Прямо-таки граф какой-то! Пойдём.

Но по существу и Стёпа и Яня парни были хорошие: оба из бедной семьи, оба старательные в учёбе и оба простые.

И, однако, достав книгу Липперта «История культуры», я принялся читать её в одиночку. Трудно было: новая терминология, далёкая эпоха — дикие люди, каменные пики, топоры, а вот уже бронзовые топоры и пики.

Прочитав раз, недоуменно произнёс:

— Видно, голова у меня не так устроена — ничего не понимаю, а Николай Петрович горячо рекомендовал: «Эта книга мозги от ржавчины очищает».

Тогда я приступил к вторичному чтению.

На лодке отплыл вверх по Волге, забрался на меловой пустынный утёс; носящий название «Утёс Стеньки Разина», улёгся, развернул книгу.

Отсюда, с утёса, видна Волга во всём своём могуществе, далёкие заволжские степи, а в них деревушки — словно кто в непогоду лаптями натоптал: лапоть этак, лапоть так.

Овладевает мной вся эта величественная панорама. Хочется смотреть и смотреть на Волгу, на её рукава, протоки, на далёкие, затуманенные лёгкой испариной степи... но надо читать.

«История культуры есть история того труда, который поднял человечество из низменного и бедственного состояния на занимаемую им теперь высоту. Так благодаря сумме этого труда человек достиг своего настоящего положения».

Я несколько раз перечитал эти строки в книге Липперта и задумался. Как же так? По уверению библии, бог сотворил человека из глины, «вдунул в него душу живую», затем из его ребра создал ему жену Еву. И жили тогда Адам и Ева в раю, не зная ни заботы, ни труда. Но вот Ева согрешила, и бог, изгнав их из рая, проклял:

«Ты, Адам, теперь будешь в поте лица добывать хлеб свой, а ты, Ева, в муках будешь рожать детей своих».

Значит, бог трудом наказал человека, а рождением детей обрёк женщину на вечные муки.

Просто, ясно и... нелепо.

А у Липперта:

«История культуры есть история труда...»

Труда?

Я хотя не верил уже в бога, потому что перед этим прочитал книгу Ренана «Жизнь Иисуса», в которой автор изобразил Христа не богом, а человеком, однако представление о происхождении человека у меня было библейское...

Дней за двадцать я снова одолел книгу, и мне стало ясно, что не бог сотворил мир, а творил его сам человек, овладевший каменным топором, каменной пикой, способностью разумно строить жилища на земле и сообща добывать пищу. Поняв всё это, я стал искать встречи с Николаем Петровичем. Не знал, где и как «изловить» его. Но он, видимо, сам искал встречи со мной — однажды, во время большой перемены, увидав меня, сказал:

— Сегодня день рождения моего сына. Будут его товарищи. Приходите и вы.

Я поблагодарил математика и вечером направился к нему на квартиру. Перед этим тщательно вычистил ботинки, предварительно гуталином замазал шнурки, а они были свособразные — из изолированного электрического провода. Это сделано ради экономии: обычные шнурки стоили пять копеек и быстро изнашивались, а эти, из провода, — вечные. У меня не было верхней рубашки, но имелся воротничок с нагрудником из белого рубчатого репса. Постирал воротничок, отгладил, надел курточку, плотно застегнул на все пуговицы. Вот таким «франтом» и явился на квартиру к Куликову.

Меня встретил Николай Петрович. Он понимал, что при блеске новеньких, из лучшего сукна костюмов реалистов и коричневых с белыми фартучками платьев гимназисток я в своём одеянии померкну и застесняюсь. Поэтому сам встретил меня и, знакомя со всеми, произносил:

— Это наш самый боевой ученик.

А познакомив со всеми, увёл в свою рабочую комнату.

## 10

— Ну, как поживает Липперт? — спросил Николай Петрович, усаживая меня в мягкое кресло.

— Прошиб, Николай Петрович, — с глубоким вздохом выговорил я.

— Одолели, значит? Один?

— А как же? Конечно, один.

Николай Петрович подошёл к библиотечным полкам, вынул книгу, перелистал её, поставил на место, затем взял другую, раскрыл и положил на стол. Я одним глазом вижу: «История культуры Ю. Липперта» — и недоуменно смотрю на крутой затылок Николая Петровича, на его широкую спину.

— Один, значит? — резко повернувшись ко мне и неожиданно грубо проговорил он. — Один? Герой! Ничего не скажешь.

Я растерялся и пролепетал:

— А как же, Николай Петрович?

Он снова чуточку помолчал и, в упор глядя на меня, со скрытой печалью проговорил:

— Ленин очень хорошо отозвался об этой книге и рекомендовал её многим.

Я в то время не имел понятия, кто такой Ленин, и потому особого внимания на слова Николая Петровича не обратил, думая:

«Ленин, видимо, кто-то из его знакомых. Но он-то за что со мной сегодня такой строгий?»

— Один, значит, одолел Липперта? И ничего не понял из него? — продолжал Николай Петрович.

— Нет, понял, Николай Петрович! Бога нет, и мир создавали сами люди.

— Это не совсем так, потому что люди сами являются частью природы, то есть мира, как говорите вы. Но об этом после. Вы не поняли у Липперта главного: люди всё делали и делают сообща.

— Не-ет, и это понял.

— Понял? А почему же в одиночку изучаешь Липперта? Ведь это же кулацкая привычка. Ты, — неожиданно перешёл он на ты, — хочешь стать, добиваясь этого в одиночку, умнее всех, а кулак хочет стать, добиваясь этого в одиночку, то есть грабя народ в одиночку, богаче всех.

Я был ошеломлён и, однако, тоже резко возразил:

— Ну, уж и грабить! У меня даже такого помысла нет.

Николай Петрович изогнул в улыбке верхнюю губу, и пепельный ус у него зашевелился.

— Грабёж бывает разный. Вот ты, получив от меня на бульваре совет и припрятав его подальше от друзей, принялся изучать Липперта не вместе со своими товарищами, а в одиночку — разве это не духовный грабёж?

Я был наголову разбит. А Николай Петрович ещё, и самым жестоким образом, обрушился:

— В одиночку? Тогда ты останешься господином Панфёровым. Если таким хочешь остаться, то делать тебе около меня... — он чуть запнулся и резко сказал: — около нас тебе делать нечего.

Я поднялся и, забыв о том, что нахожусь у своего преподавателя, заходил из угла в угол, опустив голову. Когда же я выпрямился, то увидел перед собой милое, с улыбающимися глазами, доброе лицо Николая Петровича и еле слышно прошептал:

— Простите меня, учитель. Да-а, я шёл в одиночку и... и, Николай Петрович, поверьте, не хочу быть господином Панфёровым.

— Вот это и называется «пробуждение души»,— радостно произнёс он.— А теперь наказ, товарищ Панфёров. Слышите? Я вас называю — товарищ. Имейте в виду, это слово священо, и те, что называют друг друга товарищами, за великую правду народную идут на каторгу, на виселицу, на баррикады. Но бороться за правду народную по-настоящему может только тот, кто вооружён доподлинной наукой, знанием законов развития общества. Я вам дам книгу.— Он достал довольно толстую книгу, развернул её, держа на левой ладони, и, указательным пальцем потыкав в неё, добавил: — Это по вопросам политической экономии, написанная профессором Туган-Барановским,— и снова улыбнулся, вскинув руку с вытянутым указательным пальцем.— Туган! Да ещё Барановский! Стало быть, тугой баран.

Это восклицание показалось мне ироническим, но я не посмел высказаться, а Николай Петрович продолжал:

— У этого Тугана тоже путаница в голове, но вы... это, значит, ты и твои товарищи — найди их, товарищей, в своей среде,— вот вы и «прошибёте», как выражаешься ты, эту самую книгу. Я уверен, вы сумеете от Туган-Барановского забрать то, что он забрал у других, и отбросить то, что настраивал Туган самостийно. На! Иди, работай. Когда надо, позову.

Дома я поднял с кровати Яню Резанова (около него снова стоял препорядочный мешочек с сухарями), затем пригласил Стёпу, усадив их за стол, сказал:

— Давайте-ка прошибём вот эту книгу Туган-Барановского.

Прочитав название книги — «Очерки политической экономии», Яня и Стёпа, сделав большие глаза, в один голос вскрикнули:

— Запрещённая?

— Угу,— неволью соврал я.

— А где ты её взял? — спросил Яня и, вырвав книгу, прижал её к груди.

— Да только что шёл по бульвару, какой-то студент навстречу, сунул книгу и шепнул: «На, читай, сероглазый».

— У-ух,— выдавил из себя Стёпа, поправляя очки на переносице. — Значит, есть распространители запрещённой литературы.

— Давайте читать,— резко сказал я, чтобы дальше не врать своим друзьям.

Сначала мы читали Туган-Барановского втроём, потом круг наш стал расширяться: потянулись семинаристы и из нашего класса. А в весну, когда Волга уже вскрылась, мы, наняв две-три лодки, пригласив девушек, которым доверяли, выплывали с песнями на середину реки и, путив лодки по течению, принимались «прошибать» Туган-Барановского, книга которого всё ещё слыла среди нас «запрещённой».

Я при помощи Николая Петровича (у меня за это время были ещё две встречи с ним) смог в книге Туган-Барановского отделить от правильного неправильное и особенно те места, где Туган-Барановский стремился объединить интересы двух классов: капиталистов и пролетариата. Моё затруднение заключалось в том, что во время споров в расширенном нашем кружке я резко критиковал Туган-Барановского, но мои товарищи верили, что книга «запрещённая», поэтому каждое слово её принимали за истину и с трепетом, и потому мне трудно было «разоблачить» перед ними Туган-Барановского. Я мог бы им сообщить самое простое: Туган-Барановский — кадет, то есть член той партии, которая яростно защищает ин-



тересы капиталистов. И этого было бы достаточно, но я боялся, что поручу в кружковцах ту бережность, с какой они относились к запрещённой литературе, да и сам паду в их глазах: почти в течение года заставлял тайно читать Туган-Барановского, а теперь — нате-ка вам — автор, оказывается, кадет.

## 11

Летом тысяча девятьсот пятнадцатого года меня и моих сверстников призвали в армию. Как мы ни крутились, как ни вертелись, врачебные комиссии признали нас «годными».

И вот я отправляюсь в Павловку, чтобы проститься с родными.

Узнав о моём приезде, первая ворвалась к нам в избу шумливая и басистая тётка Васёна. Она сразу же обрушилась на меня:

— Баяла тебе, обыграй девку у Крашенинникова. Глядишь, теперь был бы старшим приказчиком, а то и компаньоном. Купец вывеску перекрасил бы, написал бы: «Торговля Андрей Ивановича Крашенинникова и К<sup>о</sup>».

Я, скрывая усмешку, ответил:

— Что ж, тётя, не вышло у меня.

— Не вышло! Совета старших не слушаешь. А вошёл бы в семью купца, он бы тебя и от солдатчины откупил.

Отец достал где-то кислушки — предшественницы самогонки. Мать напекла блинов. Собрались родственники: тётка Васёна, дядя Гриша — сын Якуни-Вани, двоюродный брат моей матери, да ещё троюродный брат моего отца — дядя Вася, или, как его называли, «Мёрзлый», — он жил бедно и потому даже в трескучие морозы ходил в лёгонькой куртке и дрожал. Ещё его на деревне звали «студентом» — за то, что он «путался» с пастухом Иваном Петровичем, был судим и два года просидел в тюрьме.

Дядя Гриша — старовёр: пострижен в кружок, принёс свою кружку, свою миску. Он короткий, но широкий и напоминает «ваньку-встаньку». Шорник — поэтому руки у него в вечной черноте, а ногти никогда не стрижены: загнутся и сами пообломаются. Рыжий до черноты. Глазки маленькие. Голос — бухало.

Родственники сначала выпили по стакану кислушки молча, потом выпили ещё, закусили блинами, и начался застольный разговор.

Тётка Васёна вытерла рукой рот и, обращаясь ко мне, наставительно сказала:

— Вот что, Федька, слушай теперь взрослых. Пойдёшь в солдаты, норови в денщики пробиться.

Я невольно улыбнулся.

Тётка Васёна прикрикнула:

— Что ты губы-то гнёшь? Вон у тётки Елены Коляжихиной сын денщиком в Сибири. Намедни матери трёшницу прислал.

Я снова улыбнулся.

Тётка Васёна вспыхнула, и её басок обрушился на меня:

— Опять губы гнёшь? А понятия никакого! Он ведь, офицерик-то, жиденький, жрёт помаленьку. Ты после него с тарелок-то лям-лям-лям — и сыт! Вот ведь оно чего. А то с пьяных глаз пошлёт тебя за водкой, ты купишь, а пятак — гривенник себе. Слушай взрослых, — наставительно закончила она.

Неожиданно в бой вступил, от напряжения став ещё рыжей, дядя Гриша. Он с презрением отмахнулся от тётки Васёны и, обращаясь к моему отцу, заремел:

— Ваня! Она всю калберу у твою сына искалечит. Эко что нашла — денщик, с тарелок лям-лям.

Тётка Васёна кинулась на него, доказывая своё, а он всё это взмахом руки отбрасывал и лез напролом:

— Нет, Федька, если хошь пробиваться в люди, так пробивайся в жандармы! Вот куда! Вон у нас на станции в Вольске жандарм. Пузо — во! Шея — как у хряка. Оденет белые берчатки, выйдет на станцию, увидит безбилетного — мешки от него себе, его по заливку. За день-то пятнадцать—двадцать мешков соберёт. Дом в городе приобрёл с мезонином! А она — лям-лям с тарелок!

И в буйном споре сцепились два моих советчика — тётка Васёна и дядя Гриша, доказывая каждый своё. Я смотрел на дядю Васю, «студента», и ждал, что-то он посоветует. Дядя Вася покровительственно переводил взгляд с тётки Васёны на дядю Гришу, а когда спор между ними как-то неожиданно оборвался, дядя Вася поднялся и, обращаясь ко мне на вы, вытягивая над столом худую и бессильную руку, сказал:

— Нет, Фёдор Иванович... денщик, жандарм. Нет! Это не путя! Уж если хотите пробиваться в люди, то пробивайтесь... — Он сделал длинную паузу, затем отдельно закончил: — Уж если хотите пробиваться в люди, то пробивайтесь в тюремные надзиратели, вот куда. — И, задыхаясь от нахлынувшего чувства, сел.

Тут на него, как буря на сухую полынь, накинудись дядя Гриша и тётка Васёна. А он, загадочно и победоносно улыбаясь, выждал и, когда пронеслась буря, твёрдо сказал:

— Что ваш денщик? Вы послушайте меня. Что ваш денщик, что ваш жандарм? Вот я сидел в тюрьме. Нас там, агафонов, пятьсот сидело? Сидело. Пятьсот посылок в неделю есть? Есть. Он, надзиратель, двести—триста посылок себе, остальные нам. Иди, жаловайся! Куды жаловаться? С тарелок лям-лям... в городе дом с мезонином приобрёл. А этот, наш-то надзиратель, постоянный двор держит, гостиницу, листоран на Волге и трактир. Вот-вот, глядишь, в миллионеры выскочит.

За столом наступила мечтательная тишина.

В этой тишине ко мне подошла мать, положила обе руки на мою голову и тихо сказала:

— Федярка! Живым только вернись!

## 12

Мы погрузились на пароход вместе с другими призывниками, прибывшими с цементных заводов, из деревень. Деревенских сразу можно было отметить: на каждом мешок с едой; призывники с заводов — с маленькими самодельными чемоданами. А мы, семинаристы, в чём мать родила: босые, на нас только штаны и рубашки, даже нет головных уборов. Перед отъездом мы три дня гуляли. Сначала нас угощали товарищи помоложе, потом мы стали угощать их и попродали на базаре всё, от постели и шинелишек до носков...

И вот мы на пароходе.

Крутой берег перед пристанью усыпан провожающими. Видны только головы. Лица у провожающих скорбные, опечаленные, льются слёзы.

Первый гудок, второй. Сейчас раздастся третий — и мы поплывём на «пушечное мясо», как тогда называли солдат.

И вдруг на пристань ворвался директор Гавриловский. Помахивая какой-то грамотой, закричал:

— Господа семинаристы! Ко мне! Я при помощи господина начальника Казанского учебного округа выхлопотал вам отсрочку от воинской повинности.

Мы шумно покинули пароход.

Директор, увидав нас, полуголых, отпрянул и даже поднял руки, повернув их ладонями к нам, как бы отталкиваясь от скользкой стены.

— Господа! Какой позор! — простонал он.

Вскоре я рассказал Николаю Петровичу о том, как родственники советовали мне пробиваться в люди. Порой он невольно смеялся, но чаще глаза у него становились печальными. Когда я кончил рассказ, он прошёлся по кабинету, затем сказал:

— Ты смеёшься, и я смеялся. Но если мы с тобой будем только смеяться, то не поймём сути. Как ты думаешь, почему тётка Васёна рекомендовала тебе пробиваться в денщики? Один дядя — в жандармы, другой — в тюремные надзиратели?

— Не знаю, — пожимая плечами, откровенно ответил я.

— А вот почему, — серьёзно продолжал Николай Петрович. — Она голодает: день живёт на хлебе, а два — на воде. И поэтому думает, как хорошо живётся денщику: хоть и не готовый стол, но каждый день что-нибудь да лям-лям с тарелок. И сыт! Мало того, что сам сыт, ещё матери трёшницу прислал! Поэтому и завидует твой дядя Гриша жандарму, поэтому завидует твой дядя Вася надзирателю! Проклятая жизнь! Отвратительная! — Он снова прошёлся и мечтательно заговорил: — Наступит время, я верю в это, когда мы уничтожим скверну на земле и создадим светлое, наилучшее отношение человека к человеку. Только работать надо, а не так, как Керенский, — шумит, гремит...

От города Вольска был избран в Государственную думу адвокат Керенский. Чтобы он имел имущественный ценз, местные купцы, мукомолы, зажиточные мешане купили ему шатровый дом на окраине города. Как раз в эти годы, в годы войны, Керенский стал стремительно выдвигаться на политической арене: он всё чаще и чаще с думской трибуны произносил зажигательные речи и многим, особенно, конечно, молодёжи, кружил головы.

— Вредный трескун, — сказал о нём однажды Николай Петрович.

Несмотря на всё моё уважение к Николаю Петровичу, мне не верилось, что Керенский — «вредный трескун»: уж очень он, на первый взгляд, произносил резкие речи, и по тому времени, казалось нам, весьма революционные. Это понятно. Мы, замкнувшись в кружок, не общались с передовыми рабочими, не знали трудов Маркса, Энгельса, Ленина. Мы много читали, но читали больше всё такие книги, модные: Фореля «Половой вопрос», Отто Вейнингера «Пол и характер», Ницше «По ту сторону добра и зла», Шопенгауэра, Спенсера, Ренана. Любили мы Уитмена, Тагора, Верхарна, увлекались Эдгаром По, даже Бодлером, а перед Гейне преклонялись, как преклонялись перед Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Горьким. Но до науки мы не добирались и добираться по-настоящему ещё не могли.

— Он к какой партии-то принадлежит, Керенский? — спросил я Николая Петровича.

— Энас.

— Что это значит?

— Народный социалист, — ответил Николай Петрович.

— Ох, это здорово звучит! — с юношеским задором проговорил я.

— Иное здорово звучит, да плохо кончается.

— Николай Петрович, а партия социалистов-революционеров? Ведь они-то боевики? — спросил я.

Николай Петрович промолчал и только при следующей встрече сказал:

— Ты, Фёдор, — чужеродное существо для социалистов-революционеров.

— Почему? У них же на знамени написано: «Земля и воля».

Он иронически улыбнулся.

— На знамени — да, а в кармане — шиш народу.

Тогда я рассердился.

— Вы, Николай Петрович, отругали все партии. Я не думаю, конечно, чтобы вы расхваливали кадетов во главе с Милюковым. Разругав революционные партии, вы превратились тоже в одиночку!

Николай Петрович впервые при мне, закинув голову, расхохотался и стал выкрикивать:

— Да ты, брат, моим же оружием меня же и бьёшь! Превратился в одиночку? Нет, — серьёзно проговорил он. — Придёт время, и я введу тебя в настоящую народную партию. А сейчас с товарищами прочтите-ка вот эту книгу, — и подал мне книгу, на обложке которой было написано: «Как варить мыло».

Я посмотрел на Николая Петровича — у него в глазах мелькали искорки смеха.

Я же с обидой сказал:

— Вы хотите нас превратить в мыловаров?

— Это неплохо — стать мыловаром. Но ты полистай её, полистай!

Развернул книгу. Начиналась она такими словами: «Каждый, кто захочет самостоятельно варить мыло...» Опять удивлённо смотрю на Николая Петровича, а он подгоняет:

— Листай дальше! Ещё листай! Ещё, ещё...

Перелистав страниц пятнадцать—двадцать, я вдруг натолкнулся на другое название. Наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ниже: «Коммунистический Манифест».

Николай Петрович посоветовал:

— Ты только читай эту книгу в узком кругу своих товарищей, в среде тех, кому доверяешь, как самому себе. Это тебе не Туган-Барановский, — и, дружески хлопнув меня по спине, подталкивая к двери, добавил: — Иди. Я думаю, мы вот-вот и встретимся с тобой на площади перед народом.

— Загадками со мной говорите, Николай Петрович, — с обидой произнёс я. — Не доверяете?

— Если бы не доверял, не разговаривал бы. Но тебе ещё рано всё знать. Ты вот что, разыщи-ка мне Ивана Герасимовича Толчёнова.

— А где он живёт?

— Там, на горах. — И Николай Петрович через окно показал на меловые горы, окружающие центр Вольска и усыпанные мелкими хатками. — Во-он, видишь овраг? Мне говорили, Толчёнов где-то там живёт.

Четыре ночи я бродил по горам, разыскивая Толчёнова. Николай Петрович не предупредил меня, но я уже понимал и без предупреждения, что Толчёнов — человек «засекреченный» и что в поисках его не следует кому попало разбалтывать о нём. Четыре ночи, часто нарываясь на свору собак, часто гонимый от хаток, как воришка, я лазил по крутым улицам, спускался в овраги и на пятый день, измученный, заявился к Николаю Петровичу и сказал:

— Не смог найти Толчёнова.

— А искал?

— Да, — ответил я.

— И не нашёл? — Глаза у Николая Петровича снова заиграли искорками одобряющего смеха. — Вот и хорошо.

— Что хорошо?

— Хорошо, что не нашёл.

— То есть... не понимаю?

— Его и найти невозможно.

— Почему?

— Да потому, что такого в городе Вольске не существует.

Я ещё больше был удивлён:

— Так зачем же вы, Николай Петрович, заставили меня лазить по горам?

Он не сразу ответил:

— А чтобы испытать, каков ты, и можно ли тебе поручить более серьёзное, нежели поиски несуществующего Толчёнова.

## 14

Надвигался тысяча девятьсот шестнадцатый год.

Я решил на каникулы отправиться к отцу. Но сразу выехать в Павловку не смог: надо было с ребятами дочитать «Коммунистический Манифест», который давался нам очень трудно. Мы хотя уже и имели некое понятие об экономических законах общества, но при чтении «Коммунистического Манифеста» у нас всё время складывалось такое впечатление, будто мы, выучив простые арифметические правила, сразу приступили к высшей математике. И, конечно, из «Коммунистического Манифеста» мы вынесли только самое доступное: «Рабочий класс — могильщик капитализма», «Призрак коммунизма бродит по Европе», «Основная революционная сила общества — пролетариат». Но что такое последовательный материализм — на этот вопрос популярного ответа не получили.

За два дня до рождества я побежал на базар искать возчика, который попутно мог бы меня подвезти в родное село.

На базаре, конечно, почти никого не оказалось. Я кинулся по постоянным дворам и натолкнулся на крестьянина, жителя села Шковского, расположенного от Павловки в двадцати пяти верстах. Крестьянин запросил восемьдесят копеек и сказал:

— Завтра утром раненько прибегай сюда.

И вот «завтра утром раненько» я, в шинелишке и форменной фуражке, с жёлтым башлыком на плечах, в ботинках без калош, да ещё прихватив балалайку, отправился на постоялый двор. Затемно мы выехали шагом в гору. За городом буланая лошадка охотно затрусилась домой. До Шковского было шестьдесят вёрст. Но как ни трусила лошадка, мы прибыли в село возчика только поздно ночью накануне рождества.

Переночевав, я поднялся рано утром и сказал возчику:

— Ну, давай дальше, до Павловки.

Он сурово посмотрел на меня и лениво произнёс:

— Грех. Рождество ведь христово!

Я опешил, стал уговаривать его:

— Работать никогда не грех. Бог труды любит, а ты ведь восемь гривен с меня взял.

— Двадцать копеек верну, а грех на душу брать не буду. Не поеду! Хоть режь — не поеду!

Я оделся, закинул балалайку за спину, вышел со двора и направился в сторону Павловки. Сначала шёл быстро, поскрипывая ботинками без калош. Утро было тихое, даже трубы хат не дымили: наверное, хозяйки всё праздничное приготовили ещё вчера, а сейчас в церкви. Ну да, вон где-то уже раздаётся трезвон, а где-то благовест: колокол мерно бухает и призывает православных к обедне.

Я, как козёл копытцами, мну на дороге прибитый снег и спешу, спешу. Видя перед собой далеко перевалы, думаю:

«Ещё два-три таких перевала, а там и моя родная Павловка».

Спешу и ожидаю: кто-нибудь на лошади нагонит меня. Но в поле никого нет, в поле тишина. Даже ворон и тех не видеть. А солнце уже заиграло в серебристых снежинках. Тут и там обозначаются следы зайцев, лис.

«Хоть бы зайца увидать!»

И вдруг мне стало так тоскливо, как будто я отплыл от берега очень далеко в море и у меня уже нет сил плыть обратно.

Хотел было присесть, но вспомнил правило: во время пути в поле, особенно одному, да ещё в такой шинелишке, отдыхать не положено.

И снова заспешил.

Вот уже переправился через третий перевал, а впереди снова перевал, и ещё перевал, и ещё перевал...

— Ну, там-то, за третьим — Павловка! — кричу я уверенно и прибавляю шаг.

Короток зимний день.

Солнце недавно вынырнуло, и вон оно уже покатилося на закат.

Откуда-то сорвался злой ветер, взвихрил красноватый снег, налетел на меня, откинул полы шинелишки и загудел, загудел струнами моей балаалайки.

На душе стало ещё тоскливее.

Но надежда на то, что всё-таки я скоро увижу отца и мать, — а мать я почему-то особенно полюбил после её слов: «Федярка, живым только вернись», — подбодрила меня.

Когда я подходил к Павловке, у меня заплетались окоченевшие ноги. Над селом кучились мрачные зимние сумерки, пахло жжёной соломой и киззяками.

Ввалившись в избу, я первую увидел мать.

— А-а, Федярка! Отец, Федярка пришёл, — сообщила она.

С кровати за занавеской послышался голос отца:

— Пришёл? А-а, пришёл! А у нас и поесть-то нечего.

Я шагнул вперёд, опустился на табуретку и подумал:

«Зачем меня принесло сюда? Ах да, Маруся... Надо поговорить с Марией».

Наутро пришла Мария. Я её начал спрашивать, как она живёт у Крашенинникова. Она, вместо того чтобы всё рассказать, больше плакала.

Тогда я ей сказал:

— Потерпи до весны. Весной, как только кончатся занятия в семинарии, я приеду, буду всё лето работать в поле, но тебя вырву из купеческой семьи.

Я себя уже считал революционером, хотя толком не представлял, как вы же пути революции. Одно было мне ясно, что на земле существует несправедливость: одни обжираются, другие голодают, и эту несправедливость надо устранить, и в первую очередь в деревне.

Наутро я пошёл по знакомым.

Всё село было окутано тяжким мраком: почти по всем хатам прошёл повальный брюшной тиф, а на селе не только врача, даже фельдшера не было, не говоря уже о медикаментах.

Война вырвала работников и похоронила их где-то в Мазурских болотах, оставив на селе вдов и сирот.

Жирели только кулаки и купцы.

Гусеи скупал по дешёвке скот и по дорогим ценам сплавлял его интенданству, Патифор Горелов развернулся: открыл амбары с хлебом в Вольске, Хвалынске, Самаре, Симбирске и в Нижнем Новгороде, продавая его втридорога. Купец Крашенинников и тот занялся поставками на армию.

— Для купцов и кулаков война — нажива, для народа — страшное бедствие, — вечером говорил я отцу.

Отец сумрачно молчал, слушая меня, и только под конец сказал:

— Галахам — тем шутя живётся.

Я впервые понял, почему он завидовал и завидует босякам: топор замучил его. Тяпает-тяпает он им всю жизнь и никак не выбьется из нищеты.

## 15

Зима шестнадцатого года и в Вольске была тяжёлая: на горах и в оврагах тиф косил людей, свирепствовала малярия, семьи то и дело получали извещения о гибели «на поле брани» сына или отца. Магазины пустовали.

Приутихли вольские ура-патриоты; они хоть и хорохорились, выкрикивая: «За бога и белого царя!», однако явно приуныли: на фронте шёл разгром, сотни тысяч солдат бессмысленно гибли в боях, враг наглед, в армии то тут, то там вскрывались шпионские организации, порой возглавляемые генералами и даже министрами, такими, как Сухомлинов. Среди рабочих-цементников поползли слухи, что царь пропил государство, что его жена, царица, по крови немка, помогает Вильгельму. Говорили ещё, что государством сейчас управляет проходимец Гришка Распутин.

Весной шестнадцатого года занятия в семинарии закончились к первому мая: видимо, власти боялись «волнений» в стенах семинарии, и потому нас распустили на летние каникулы, даже отменив переводные экзамены. Я, Яня Резанов, Стёпа Сисикин и ещё новый товарищ — Фёдор Шаповалов — отправились опять за Волгу.

Летом пятнадцатого года мы, чтобы заработать на зиму, прессовали за Волгой сено на армию. Но в этом году сюда нагнали военнопленных, и для нас работы не оказалось. Несколько дней мы, голодные, бродили в поисках работы. Спали под открытым небом, а наедались на вечеринках: как только узнавали, что там-то свадьба, мы врывались в гульбище, начинали петь, играть на гитаре и балалайке. И нас кормили. Но не каждый день ждёт тебя свадьба или сговор. И вот уже целую неделю мы бродили голодные. Ни работы, ни вечеринок — стало быть, и ни еды.

Однажды мы проснулись в овраге и услышали колокольный звон. Почти в один голос воскликнули:

— Эх, ребята, что это такое?

Мимо шёл старичок.

Яня Резанов кинулся к нему и в упор басовито спросил:

— Зачем, к чему звон, деда?

— У нас престольный праздник, — заявил дед, продолжая свой путь.

— Праздник! Престольный! Значит, будут гулянки... — И мы под трезвон церковных колоколов направились в село.

Справа от нас тянется высокий решётчатый забор, за забором стоят столетние дубы, берёзы, явно когда-то посаженные здесь, в степи. Через открытую калитку видим — одноэтажный, небольшой, с колоннами, белый дом. Перед домом стол, накрытый голубоватой скатертью. На столе закуски: колбасы, окорок, заливная рыба, с чем-то банки, бутылки с вином.

Около стола человек в халате и колпаке, не то официант, не то повар. Помахан зачем-то салфеткой, он раскланялся, точно кого-то приглашая, и по каменным ступенькам поднялся в дом.

Мы, не стовариваясь и даже не перемигнувшись, гуськом входим во двор. Яня берётся за один угол скатерти, Стёпа — за другой, Федя — за третий, я — за четвёртый... и всю скатерть, со всеми яствами, тарелками, вилками, с бутылками вина, выносим за калитку. Затем Яня Резанов взял два конца, положив себе на плечо, Федя Шаповалов — вторые два конца... И тем же путём, только бегом, вернулись мы в наш овраг. Здесь расстелили скатерть, налили в бокалы вина, выпили и накнулись на еду, не обращая внимания на то, что ветчина смешалась с икрой, рыба с тортом. Ели мы быстро, молча, не оглядываясь, — так едят голодные щенята.

И только когда насытились, вдруг разразились таким хохотом, от которого обычно начинаются колики. Мы представили себе, как человек в халате входит в дом и объявляет:

— Барин, стол приготовлен.

Барин обращается к гостям и тоже с умилением говорит:

— Господа, пожалуйста. Чем богаты, тем и рады.

И вот он, барин, а за ним и гости-бары спускаются по каменным ступеням и обалдевают: стол пуст, на нём даже нет скатерти.

Так и не найдя работы, мы вернулись в город. Здесь уже свирепствовал голод.

Я отправился в Павловку и два месяца проработал в поле: пахал отцовские загончики-полоски, боронил, затем вместе с нанятыми татарами жал хлеб, возил его на гумно, обмолачивал, и всё это лишь для того, чтобы отец и мать взяли Марию из купеческого дома, позволили бы ей уехать в Вольск и поступить в пятый класс гимназии.

Наконец Мария была определена в гимназию, и снова пришлось идти с подписным листом: ей нужны были средства не только на пропитание, но ещё и для уплаты пятидесяти рублей за право учения.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

#### 1

Вольск по тем временам считался крупным городом Нижнего Поволжья: по обе его стороны, на берегу Волги, раскинулись три цементных завода, в самом городе — пивоваренный завод, мукомольная мельница и «косой десяток» магазинов. Жители главным образом были мещане: ростовщики, хлеботорговцы, владельцы барж, мелких парходиков, хозяева постоянных дворов, трактиров, домов терпимости, а в большинстве обнищавшие, такие, что с первого взгляда и не поймёшь, чем же и как они живут. Одна из доходных статей — это сдача в наём комнат, углов со столом и без стола. В Вольске было много средних учебных заведений: кадетский корпус, реальное училище, женская гимназия, духовная семинария, епархиальное училище, учительская семинария. Ученики съезжались со всего Нижнего Поволжья. Одни, сыновья богачей, снимали целые квартиры, другие — отдельные комнаты, а такие, как мы, — комнату на троих, четверых. Этой доходной статьёй жили обнищавшие мещане, однако гордились:

— Мы век-ат прожили, не учамши: слава богу, по миру не ходили, в тюрьме не сидели... Во всяком случаем.

В Вольске были и купцы-миллионщики...

Самым богатым считался мануфактурщик Миньков. О нём ходили слухи, что он в молодости держал постоянный двор на бойком месте, одновременно торговал водкой «распивочно и навынос». Миньков тайком мастерски открывал бутылки: не потревожив сургучной печати, отливал водку в ведро и подливал воды. За день «набирал» ведёр пять. Ещё скрывал у себя воров, которые делились с ним наворованным. Так вначале он нажил «на ведёрках», «на ворах», затем женился на богатой вдове-купчихе, свёл её в могилу и превратился в крупного купца-мануфактурщика. Построил на главной площади двухэтажный дом, низ — под магазин, а наверху — сам с молодой женой и «выводком».

Теперь Миньков — сухонький старец, похожий на самую дешёвенькую воблу.

Второй купец — Чалов. Магазин его занимал целый квартал с огромными, зачастую пустующими складскими помещениями. У него два женатых сына. Вся семья Чаловых живёт вместе в одном доме, и мещане с издёвкой, со злобой, в то же время и с завистью говорят:



— Скоро подохнет сам-то: жадность сожрёт. Младший старшего брата и облапошит. Больно уж увёртливый: за целковый любого придушит.

Были в Вольске и обнищавшие аристократы или такие владельцы крупнейших имений, как граф Орлов-Денисов, Нессельроде, Киндяков. Впрочем, эти в городе не бывали, но ими мещане гордились так, будто были их самыми близкими родственниками:

— У нас, чай, в Вольске графы да князья, во всяком случиям.

Я не случайно повторяю выражение «во всяком случиям»: оно всегда было на устах мещан, когда те выказывали свою чопорность.

На окраине Вольска — основанный когда-то купцом Сапожниковым «Сапожниковский сад». Весной и летом в саду играл духовой оркестр, разнося по всему городу вальсы «Дунайские волны», «На сопках Маньчжурии». По вечерам в саду делали бесконечные круги барышни-гимназистки и кавалеры — ученики учебных заведений. Кружились до ошалелости, до тошноты, но кружились почти каждый вечер, кроме субботнего: грех.

Всё, что происходило в городе, было известно всем. Знали, кто кого обворовал, надул, облапошил, знали, например, и то, что владелец кондитерской Кексель «с рогами»: его жена «путается» с чувячником армянином Саркисовым, а жену Саркисова по праздникам «возит» за Волгу адвокат Студеникин...

Да, кстати, об адвокатах: в городе их было так много, что, казалось, все жители только и знают, что судятся, каждый при этом нуждаясь в защитнике и нотариальной конторе.

Купцы, именитые граждане, богатые мещане, адвокаты, врачи занимали центр города с его базарными площадями, с собором, с церквями, с городской и земской управами, с банком, адвокатскими и нотариальными конторами, с магазинами, трактирами, постоянными дворами, банями и с Татарской улицей, где по ночам у каждой двери горел красный фонарь.

Центр города лежал в котловине, полукругом защищённый голыми меловыми горами, усыпанными лачужками, похожими на курятники. Так же, даже, пожалуй, ещё гуще, там были заселены овраги, носившие такие названия, что нет никакой возможности упоминать их в повести. Сюда, в овраги, скатывались прогоревшие купцы, проворовавшиеся приказчики, пропойцы, неудачники, мелкие торгаши, мечтающие стать непременно миллионерами, и редко селились рабочие цементных заводов, когда-то вытесненные из деревни и приобретшие лачужку в овраге или на меловом лбище, жёстком и звонком, как лошадиный череп.

В поисках дешёвого угла я однажды в овраге и познакомился с мещанином Евстигнеем Чудиным. Он выдельвал из муки и сахара длинные, «с мохорками» конфеты, «сладкие свистульки» и продавал их на базаре, у пристаней, на вокзале. Когда-то он имел своё кондитерское «заведение». Теперь торгует с лотка и живёт в хатёнке, похожей на голубятню, с перекошенными стенами, с двориком — пять аршин сюда и пять туда. Внешне ничем особенным не отличается, но ноздри у него похожи на две опрокинутые трубки, потому и прозвище «Трубка».

В воскресные вечера, особенно в зимние, к нему в избушку сходились соседи, « послушать разумные слова Евстигнея Дормидонтыча».

Все чинно усаживались за стол, пили из ведёрного самовара чай, затем Евстигней, вытерев рукавом потное лицо, начинал:

— Вода, к примеру, течёт из ключа. Холодненькая. Пить захотелось, припадёшь к ней — и гожа. А ты вон из самовара... под крантик губы подставь. И взвизнешь: обожгёсси. Вот вить оно чего.

И все слушают его, разиня рот: в самом деле, из ручья попьёшь — гожа, а из-под крана кипящего самовара — обожжёшься. Верно. Как это сами-то не догадались?

А Евстигней, входя в раж, продолжал:

— Ай вон ворона. Сидит на крыше. Шугни. Фыр-р-рк — и полетела. А телегу затащи туда, толкни — шлёпнется на землю, куда колесо, куда что. Вот вить оно чего. Хоть дядю Васю сапожника спроси — это же скажет.— И Евстигней тыкал большим пальцем куда-то за своё плечо, будто там и находился авторитетнейший дядя Вася сапожник.

— Или неженатый, он что? Один? Бобыль? А женился — двое. Вот вить оно чего.

И это верно: неженатый — один, а женился — двое. Попробуй возрази.

— А-а. Вот вить оно чего... Хоть дядю Васю сапожника спроси.

Но под конец вдруг срывалась какая-нибудь остроязычная тётка и начинала перебирать «текущие события города», тогда встречали в разговор все, и у тех, кого они «костерили», вероятно, трещали косточки.

Прислушаешься, бывало, к таким беседам, присмотришься к тому, как живут мещане, и с тоской подумаешь:

«Что ж, ушёл из деревни, где «страшнее человека зверя на земле нет», и попал вот сюда... А тут люди чем лучше зверей?»

## 2

В ту последнюю ночь, когда по приказу Николая Петровича Куликова я искал на горах Толчёнова, я случайно натолкнулся на Павла Петровича Сивашёва — рабочего цементного завода.

Жители гор, сочтя меня воришкой, натравили свору собак. Я и до этого знал, что ночью на горы невооружённому ходить нельзя, поэтому из железного прута смастерил себе палку с пикой на конце. Этой палкой и отбивался от стаи. Если на меня налетала злая собака, я совал ей пику в пасть. Она с воем отбегала, уводя за собой трусливых. В последнюю ночь собаки, точно сговорившись, гнались за мной по улицам, из оврага в овраг и наконец загнали к заводскому посёлку. И здесь, как бы передав меня «законным владельцам», отстали, но «законные владельцы» так насели, что я, спасаясь от них, торкнулся в чью-то калитку и налетел на человека довольно крупного роста.

— Что? Грызут? — пробасил он, пропуская меня во двор.— Не псы, а звери. Хотя там, на горах, люди злее зверей.

В его словах послышалось что-то родственное тому, что когда-то говорил мне пастух Иван Петрович.

«Может, это и есть Толчёнов?» — мелькнуло у меня, и я, перепуганный собаками, предложил: — Пойдёмте в избу, — а войдя, ещё на пороге, спросил: — Вы не Толчёнов?

— Не-ет. Толкли меня в ступе много, но — нет. А что? — И, чуть подумав, всматриваясь в меня, он, улыбнувшись, сказал: — Садись, почаёвничаем.

В комнате Сивашёв показался уже совсем превеликого роста — вошёл в дверь и в три погибели согнулся, даже кровать, как выяснилось потом, и ту ему пришлось покупать «по особому заказу»: все коротки. А жена у него маленькая; когда они где-либо появлялись вместе, то казалось, идут гусь и цыплёнок. Но она каждые два-три года одаряла его сыновьями — точным отпечатком Павла Петровича.

Все Сивашёвы были за столом: четыре парня и пятая — мать, разливавшая чай по большим чашкам (каждая с добрую кружку).

— Мать! Гостя к нам собаки пригнали. С кокардой гость. Вижу — семинарист, только не поповский. Принимай. Толчёнова разыскивал, — почему-то подчеркнул последние слова Сивашёв и расхохотался.

Тётка Лёля, как в посёлке все звали жену Сивашёва, заметив, что муж доброжелательно мигнул, заспешила.

— Чайку, чайку отпейте, — проговорила она и, налив огромную чашку, пододвинула ко мне.

Понаслышавшись рассуждений Евстигнея Чудина, я ждал, что и в доме Сивашёва начнётся то же самое. Вот сейчас Сивашёв скажет:

— Собака, она что? За ляжку тят — и кровь. А воробей? Как ни дразни его, всё одно не укусит. Вот вить оно чего. Хоть дядю Васю сапожника спроси...

Но Сивашёв заговорил иначе:

— Что удивлённо глядишь? Мала хоромина наша? Ничего. В одной песне такие слова поются: «Мир — хижинам, война — дворцам». Слышал? Нет? Ну, придёт время — услышишь.

— Паша, а это зачем — война дворцам? — спросила тётя Лёля, а сыновья все враз покосились на отца крупными серыми глазами, как бы говоря: «Ты это к чему — откровенность такая?»

Так же подумал и я:

«Что это он? Сразу быка за рога? Не провокатор ли?»

А он продолжал:

— Их положено воевать, дворцы: нами сделаны, а заняты бездельниками.

— Загадками говоришь, отец. Миньков, к примеру, разве бездельник? — видимо, намеренно возразила тётя Лёля.

— А ты, мать, прикинь: заработаешь своими руками столько, сколько Миньков наворовал?

— У кого же это Миньков наворовал? — не унималась тётя Лёля.

— Мы работаем, ценность миру даём, а они, Миньковы, цап-царап у нас. Что, семинарист, не эдак?

— Эдак, — ответил я и с той горячностью, какая свойственна человеку в юные годы, забыв об опасности, начал развивать теорию о том, как определённый слой людей, захватив орудия производства, превратился в класс эксплуататоров, затем принялся объяснять, что такое капитал, прибавочная стоимость, товар, продукт, деньги, рынок. Говорил горячо, страстно, постукивая кулаком по столу и, как сейчас припоминаю, путал нещадно.

Сивашёв и тётя Лёля слушали меня с напряжённым вниманием, но, видимо, с трудом воспринимая, а сынки, так те просто повалились на кровати и заснули.

Под утро, прервав мою запальчивую речь, Сивашёв сказал:

— Ну и наворотил ты, семинарист. Разобраться — неделю хватит, а то и месяц. Айда на завод, ежели спать не хочешь.

Я, конечно, хотел спать, но, подумав, что всю ночь отнял у Сивашёвых своими разговорами, застыдилась и дал согласие отправиться на завод...

На заре, дымя высокими черногубыми трубами, завод весь содрогался и, окутанный белой пылью, походил на мукомола. От карьера — горы, где ломали мел, — бежали воздушные вагонетки, повизгивая и воя, а откуда-то со стороны полз скрипучий стон: это работали круглые вертящиеся печи, в которых обжигался клинкер — материал для выработки цемента. Я завод уже знал: в прошлые каникулы мы больше месяца грузили на баржу цемент в бочках, а в свободные часы осматривали завод. Тогда нас не пустили только в дизельное отделение.

Сивашёв как раз и ввёл меня в светлое, чистое помещение, где стояли два дизеля, напоминающие гигантских, в чёрных панцырях, черепахах. Они-то и вращали печи, где обжигался клинкер, гнали вагонетки с мелом, мололи клинкер — двигали всем заводом, одновременно освещая его электрическим светом.

— Десять тысяч лошадиных сил, — с гордостью отметил Сивашёв, став тут сразу другим — собранным, сосредоточенным.

Десять тысяч лошадиных сил!

А у нас в Павловке не больше трёх тысяч лошадей, да ведь за ними и ходят три тысячи человек, а тут трое: инженер, Сивашёв — его помощник — и один чернорабочий.

— Что? Смотришь, удивляешься и думаешь: «Вот бы в деревню таких лошадок!» А? — спросил Сивашёв, куда-то подливая масло, что-то подвинчивая.

— Да, — ответил я. — Вот бы.

— Вот бы да как бы. А куда их денешь? В соху, что ль, впряжёшь или в плужок двухлемешный? Для дизеля и конь должен быть стальной: сразу полдесятины захватил — и паши. Такого коня нет на земле, а ежели появится, то он все полоски у мужиков поломаёт: не примут такого коня.

— Примут. Дай только, — возразил я, и хотя сам знал не хуже Сивашёва, как пропитан мужик чувством собственности, но почему-то обиделся на слова Сивашёва.

— Они в пятом году имения барские растащили, пожгли — и в кусты, а ты говоришь — только дай коня такого... и позволят полоски поломать. Нет, собственностью прогнали.

— Такие, как мой отец, не прогнали, — резко возразил я. — А одни-то вы тоже ничего не сделаете с этими... хозяйчиками.

— Ти-и-иш! Разошёлся! — угрожающе прошипел Сивашёв.

Я подумал:

«Что это он? Дома сразу стал со мной откровенным, а тут шипит».

— Язык-то оторвут, — тихо произнёс Сивашёв и направился к двери, в которую входил румянощёкий паренёк с белобрысыми бровями, с тонким, длинноватым носом.

— Ты что, Леонид? — спросил Сивашёв.

— Да дядь Паш... — начал тот и перешёл на шёпот.

— Толчёнова? Сказал, разыщи? Ишь ты, — удивлённо произнёс Сивашёв и искоса посмотрел на меня, затем опять к пареньку: — И ты, стало быть, не нашёл его, Толчёнова?

— Нет. Все горы излазил — нет. Только на одного налетел, он меня палкой, да какой — с пикой на конце. В ногу вот — пропорол.

— Не такой ли палкой-то? — проговорил Сивашёв, показывая глазами на мою железную палку.

— Этакой, — согласился паренёк. — А он что? Кто это?

— Будущий поп: видишь, кокарда на нём.

Я вначале с обидой подумал: «К чему это он меня попом-то окрестил?» — но тут же у меня забились другая мысль: «Значит, и этого пареньку Николай Петрович послал разыскивать Толчёнова. Значит, вон почему доверился мне Сивашёв: я ему проболтался о Толчёнове. Значит, Николай Петрович бывает и на заводе. Значит, он в какой-то партии». Словом, у меня в голове все «значит» закружились, как рой пчёл.

Впоследствии Сивашёв стал моим руководителем в практических делах, но в то время я, оскорблённый его резким суждением о крестьянах, не смог с ним завязать тесной дружбы и потому отошёл от него... и заколесил «по дорогам жизни, как непутёвый».

### 3

Перед февральскими событиями семнадцатого года в Вольске наступило такое тревожное затишье, какое бывает в природе перед бурей. До этого «видные» мещане собирались в скверике над Волгой, около своей управы. Обычно они грудились за круглым столом под липой, нахлобучив на головы широкооколышные, с лакированными козырьками картузы, какие вышли из моды, поди-ка, лет пятьдесят тому назад. Но «отцы города»

носили картузы и старомодные поддёвки со сборками на поясище. Уткнув бороды в стол, обсуждали политические события. А тут вдруг приумолкли и приуныли мещане. Адвокаты, захватившие видные места в земской и городской управах, любители поговорить, тоже почему-то смолкли. Что происходило в то время на заводах, я не знал. Но в городе повсюду рыскала полиция, тайные ищейки (их весь город знал), вынюхивая крамолу.

И вдруг тишина прорвалась...

В Питере, в доме князя Юсупова, убили Гришку Распутина. Об этом громогласно и с подробностями заговорили в газетах. Писали не только о том, как был убит Распутин, но и о той циничной роли, какую он играл в семье царя.

Газеты читались всюду, обсуждались и по-разному будоражили умы. Страстные споры поднялись и в стенах семинарии.

Воспитанники Вольской учительской семинарии, как официально именовались они, были люди разные.

Вот Федя Шаповалов — сын вдовы, бедняк, но какой-то странный: то он самый ярый революционер, то вдруг собирается идти добровольцем на фронт. Однажды так накалился, что «патриоты» из числа преподавателей семинарии собрали ему средства на дорогу, восхваляли на каждом перекрёстке, даже в местной газетке опубликовали его портрет. Мы резко оборвали знакомство с Федей. Но, к нашей радости, он сам вдруг во всеуслышание заявил: «Не пойду я на фронт» — и вернул полученные деньги.

Когда началась гражданская война, Федя вступил в ряды Красной гвардии и в самарских степях был сражён пулей колчаковцев...

Но были в учительской семинарии и лизоблюды-прислужники.

Вот, например, Александр Булыгин. Чистоплотенький, всегда опрятенький — ни соринки на нём. Кисти рук у него тонкие, вялые, напоминающие крысиные лапки. Ему каждую неделю из дому шлют посылки. Обычно, когда к нам приходили посылки, что случалось весьма редко (только Яне Резанову мать по-прежнему слала сухари), мы немедленно всей компанией поехали присланное. Булыгин же посылку тайл: вытаскивал баночку с маслом, отрезал тонкий ломоть сдобного хлеба, перочинным ножиком старательно и ровненько намазывал масло на хлеб, затем так осторожно откусывал, словно боялся — вдруг о масло сломает зубы. Прodelывал он всё это тоже как-то по-крысиному: в одиночку, озираясь и в тёмном углу.

Он с первого же класса стал у попа незаменимым помощником: зажигал в церкви свечи, подавал попу кадило, обходил ряды гимназисток с тарелочкой. Он попытался было заглянуть к нам в ряды, но мы ему дали таких «копеек», что он зарёкся показываться с тарелкой среди нас.

Булыгин тесно сдружился со студентом Алимовым. Это был красивый юноша с мягким, воркующим голосом, с приятной улыбкой. Когда у нас в городе появлялся Керенский, Алимов непременно вился около него. Мы ничего не замечали за Алимовым, а только потому, что с ним водится Булыгин, чуждались его. После Февральской революции выяснилось, что Алимов был провокатором...

Неподалёку от учительской семинарии находилась маленькая харчевня. Её содержал бывший воспитанник семинарии Лоскутов, человек, лицом похожий на луну: ничего не поймёшь по этому лицу — весело или горестно владельцу. К нему в харчевню мы заходили почти ежедневно и, конечно, даже не предполагали, что он торгует главным образом не сосисками, а человеческими душами — тоже служил в полиции. Каждый из нас брал порцию горячих сосисок, садился в круг за стол, и тут начинались споры. Лоскутов в спор никогда не вмешивался: облокотившись на прилавок, он пустыми глазами смотрел в нашу сторону.

И вдруг скрылся Алимов.  
 И вдруг скрылся Лоскутов.  
 И вдруг на обычных постах перестала появляться полиция.  
 Что бы это могло значить?  
 Встретив меня на улице, Николай Петрович, вскинув руку вверх, как бы приветствуя кого-то, прокричал:  
 — Ну, Фёдор, наступает!  
 — Что наступает, Николай Петрович?  
 — То, чего ждал народ. Большевики оказались правы.  
 Я до этого времени ничего не слышал ни о большевиках, ни о меньшевиках. Николай Петрович ни разу не говорил со мной о них.  
 — А это кто — большевики?  
 — Ленин, — одним словом ответил он.

## 4

Вот и долгожданный день.  
 Весь город высыпал на улицу, захватил площади, и полились речи, радостные слёзы. Мы, семинаристы-кружковцы, декламируя Уитмена:

Бей! Бей, барабан!  
 Труби, труба, труби:  
 Идёт Революция! —

тоже влились в ряды демонстрантов.

Казалось, наступил какой-то общенародный праздник: все газеты, особенно кадетские, воспевали революцию. Наши местные адвокаты кричали, захлёбываясь: «Теперь всё расцветёт!» Вслед за ними и за газетами повторяли, как попугаи, эти речи и мы, семинаристы.

В Вольске вышла новая газета, название которой я не помню. Она была подписана так: редактор, автор и издатель всех статей Николай Сутырин. Статьи и даже стихи противоречили друг другу, но газету горожане брали нарасхват.

Порой мы недоуменно пожимали плечами: почему даже купцы Миньков и Чалов хвалят революцию и ставят своему покровителю Микуле рублёвые свечи?

Я бы, конечно, мог посоветоваться с Николаем Петровичем, но его дня за четыре до этого срочно куда-то вызвали, и он мне только шепнул:

— Еду, Фёдор, в Питер. Когда вернусь и вернусь ли, не знаю. При случае напишу тебе. Ты потеснее свяжись с Сивашёвым, Павлом Петровичем... с рабочим цементного завода.

— Я уже связался и развязался: зло он говорит о крестьянах.

— Ничего, обомнётся. Ты ему втолкуй, что только в союзе с беднейшим крестьянством рабочий класс победит. А бои ещё предстоят грозные.

Я тогда впервые не послушался Николая Петровича, не связался с Сивашёвым и потому поплыл по бурной реке, как щепка.

Меня сразу же втянуло во всеобщий головокружительный водоворот. Началось с того, что мы с Федей Шаповаловым ворвались в семинарию и с криком: «Труби, труба, труби: идёт Революция!» — сорвали учеников с занятий в актовом зале и там палками в клочья разнесли огромные портреты царя и царицы.

В зале водворилась минутная мёртвая тишина. Эту тишину разрезал злой, визгливый голос появившегося Гавриловского:

— Господа! За это понесёте наказание!

Он был неумён — угроза взорвала большинство семинаристов, и на голосу директора посыпалось убийственное:

— Полиции донесёшь!

— Хлюпик!

Кто-то даже крикнул:

— Он давно там служит на задних лапках!

Мне показалось, что крикнул Александр Булыгин. Да, вон он, в самом дальнем углу, тянется на цыпочках, и по его лицу текут слёзы.

Я шепнул Феде Шаповалову:

— Гляди-ка, Сашка плачет?

Тот, усмехаясь, шёпотом же ответил:

— Поплачешь. Теперь некому будет в церкви пятки лизать.

...Лет через десять мы узнали, что Булыгин вместе с Алимовым служил в полиции как провокатор.

Время летело буйно и стремительно. Вот и майские дни зазолотились над Волгой, распустились листья на деревьях, зацвели сады. Митинги не прекращались. Они шли то в городской, то в земской, то в мещанской управе, то в городском саду. Шли они ежедневно: казалось, ораторы как начали в первый день революции, так до сих пор и продолжают свои речи. Одни страстно, со слезами на глазах, приветствовали революцию, другие утверждали: «Дело надо делать. Дело!» Третьи призывали к «войне до победного конца», четвёртые требовали отнять у Турции Дарданеллы, пятые возражали: «На кой чёрт нам Дарданеллы!»

В Вольске появился некто Кликушин. Он объявил себя большевиком и всюду выступал на митингах, призывая:

— Фабрики, заводы — рабочим! Землю — крестьянам, банки — государству! Только подождём народного голоса — Учредительного собрания.

Мы бы пошли, пожалуй, за Кликушиным. Но он то и дело проносился улицей, сидя в тарантасе рядом с генералом, и это нас, молодёжь, оттолкнуло от него.

Мы говорили:

— В самом деле, какой же это большевик, если вместе с генералом пьёт и ест, да ещё по городу раскатывает.

«Земля и воля» — таков был лозунг партии социалистов-революционеров.

Мы у себя на кружке обсудили лозунг эсеров и решили понести его в народ.

Покинув стены учительской семинарии, мы разбились, отправляясь каждый в свой уезд, и на некоторое время потеряли связь друг с другом.

Я, конечно, тоже ратовал за Учредительное собрание, за то, чтобы «на законном» Учредительном собрании был обсуждён вопрос, кому и как передать землю. Мне, тогда ещё наивному юноше, казалось, что Учредительное собрание — святое место, где всенародные нужды будут полностью удовлетворены. С этими мыслями я отправился по деревням и сёлам Вольского и Хвалынского уездов, вполне уверенный, что теперь-то я несу крестьянам доподлинную правду и что они «хлынут» за мной, как за Гарибальди.

Выступал я обычно на базарах, на ярмарках. Взойдусь на крышу какой-нибудь лавчонки, криками «Граждане, сюда!» приостановлю торг и начинаю произносить страстные речи. На первом плане, конечно, «разоблачение семьи Николая Кровавого». Затем — призыв ждать Учредительного собрания, не допускать беспорядков, не отбирать самовольно землю у помещиков.

Люди слушали меня, но вскоре я подметил, что большинство со вниманием слушало меня, когда я доказывал, что Николай Второй по крови больше немец, чем русский, и весьма мрачно, когда убеждал, что до Учредительного собрания крестьянам не следует захватывать землю у помещиков.

Через пять или шесть таких митингов я увидел, что в конце речи мне аплодируют только прилично одетые, то есть купцы, помещики, их детки, приказчики, а крестьяне провожают меня молча.

Задумался.

Почему же так?

Темны ещё? Не просвещены?.. Не понимают того, что я на их стороне и горой стою за их благо? Конечно, землю у помещиков и кулаков надо отобрать и передать крестьянам. Но порядок должен быть. Порядок! Вот соберётся Учредительное собрание — и тогда... А пока малость надо пообождать, этого требует порядок — вот чего не хотят понять крестьяне.

Однажды в селе Безобразовке с парадного крыльца огромной больницы я снова выступил перед собравшимися крестьянами. Кончив речь, увидел, как несколько человек, переглянувшись, выделились из толпы и подходят ко мне. Они в поношенном военном обмундировании, у одного нет руки.

«Вот эти поддержат меня», — уверенно подумал я.

Один подошёл ко мне вплотную и в упор сказал:

— Вот что, голубь сизокрылый. Говоришь: «Жди Учредительного собрания!» А мы землю уже забрали да засеяли. Выходит, ты говоришь: хлеб убирать подожди? Учредительное, дескать, собрание рассудит? Кому в рот, а кому по шее — так?

От крестьян понеслось в мой адрес:

— Да он сам помещик!

Я покраснел так, что у меня загорелись уши, и выкрикнул:

— Нет! Я сын крестьянина-бедняка из села Павловки. Рядом с вами, семь вёрст.

Фронтвик, который вступил со мной в разговор, сказал громко:

— Значит, выродок: проданся.

Наступила такая тишина, что было слышно, как на крыше больницы воркуют голуби.

Я растерянно молчал. В эти минуты я впервые понял по-настоящему, чего хочет народ, чего ждут крестьяне.

— Взяли землю у помещика? — спросил я.

— Взяли,— хором ответили крестьяне.

— И очень даже хорошо! Берите не только землю. Берите леса, забирайте барские хоромы — и в шею всех этих объедал!

С этого момента во мне совершился крутой перелом, и я, выступая на митингах, уже знал, что говорить народу:

— Берите землю и сбрасывайте со своей шеи помещиков, как дохлых осенних мух.

## 5

Весь май, июнь семнадцатого года я провёл на митингах в деревнях и сёлах Вольского и Хвалынского уездов.

Когда же возвратился в Вольск, мне сообщили, что меня разыскивает Декатов — руководитель местной организации эсеров, недавно вернувшийся с каторги, где он вместе с женой пробыл больше десяти лет, и поэтому многим, в том числе и мне, казавшийся «мучеником за народ».

«Как же,— идя к нему, с трепетом рассуждал я,— ведь на пятнадцать лет был царём сослан на каторгу. Он обязательно одобрит мои выступления... и научит, что делать дальше. Нет Николая Петровича... будет теперь Декатов»,— в этом, в последнем, я был абсолютно убеждён.

Декатов — небольшого роста, лицо ширококонькое, а нос такой крошечный, что кажется, его вовсе нет. Вместо ушей торчат какие-то хрящики. Рядом с ним сидит его жена, чем-то похожая на Декатова.

«Люди страдали на каторге за дело народа»,— подумал я и, глядя на них сияющими глазами, отрекомендовался.



Услышав мою фамилию, Декатов вскинул на меня глаза, чуть подождал, затем маленький рот его открылся:

— Так это вы — господин Панфёров? Помещик Безобразов прислал нам письмо. В селе Безобразовке и в других сёлах вы, выступая от имени нашей партии, призывали крестьян к погромам! — На последнем слове он подчёркнуто повысил голос.

Я, чуточку ошарашенный, отступил от стола и сказал:

— Я призывал народ гнать помещиков, забирать у них земли, леса и хоромы. Разве это противоречит вашей программе?

Декатова сверкнула глазами и со скоростью пулемётной очереди выпалила:

— Вот таких проходимцев наберём в партию — и затопчем сами же себя!

Этими словами она как бы ударила меня по лицу.

Декатов некоторое время молчал, затем сказал:

— Нам придётся вас исключить из партии, и я, как руководитель партии, требую от вас — немедленно верните билет.

— Какой билет? — недоуменно спросил я.

— Партийный билет.

— А вы мне его и не давали. Я ведь только примкнул к вашей партии и сейчас вижу — зря поступил.

— Значит, вы провокатор! — взвизгнул он. — Выступаете от имени партии, официально не состоя в её рядах!

— Я так выступал потому, что считал вашу партию доподлинно народной, а вы, выходит, брехуны и обманщики. — И, не поклонившись, пошёл к двери.

Декатов крикнул вдогонку:

— Мы ещё с вами встретимся!

Я повернулся и ответил:

— Встретимся! Но я вам не советую со мной встречаться.

*(Окончание следует)*



---

---

ЛЮБОВЬ КАБО

★

## В ТРУДНОМ ПОХОДЕ

*Повесть*

1

**К** доске вызвали Евгения Соколова. Ненужный жест, которым Женя, поднявшись, поправляя у пояса тёмную спортивную куртку, и слабая улыбка на добром юношеском лице — всё красноречиво взывало: «Помогите! Ну, влип, братцы...» Девятый «Б» встревоженно зашелестел вслед ему страницами; кто-то предупредительно окликнул паренька, сидящего перед самым учительским столом:

— Мирзоянц!..

Алик Мирзоянц, худенький, угловатый, как подросток, подмигнув в ответ, с готовностью устремился на помощь.

— Фёдор Иванович, а о чём вы будете спрашивать, — с неподдельнейшим интересом обратился он к учителю, — о том, как Пётр в семисотом году осадил Нарву, так?

Женя быстро и весело взглянул на товарища.

— Это было в тысяча семисотом году, — медленно и не слишком уверенно начал он. — Пётр Первый, который давно уже задумал «прорубить окно в Европу», осадил со своими войсками шведскую крепость Нарву...

— Фёдор Иванович! — Алик Мирзоянц так трогателен сейчас в этой своей неподдельной заинтересованности. — Это когда Карл Двенадцатый высадился в Пярну, так? И встал перед русским лагерем?..

— Карл Двенадцатый, шведский король, — продолжает Женя, — один из лучших полководцев своего времени, неожиданно высаживается в Пярну и появляется перед русским лагерем...

— Здорово! — серьёзно говорит Алик. — Фёдор Иванович, только как же это может быть? Тут написано, что Пётр Первый доверяет командование герцогу де Крои, а сам уезжает...

— Мирза, Алька, — толкают его сзади. — Тут написано — уезжает для укрепления границы, ты спроси...

— Ну да, для укрепления Новгорода и Пскова. Я же и говорю — быть того не может...

Задумчиво, почти вдохновенно Женька ведёт плавный рассказ:

— Пётр Первый, передав командование одному из иностранцев, которых много тогда было на русской службе...

Учитель — за глаза ребята зовут его «Феодором Иоанновичем» за робкую, виноватую улыбку и болезненную неуверенность в себе, — учитель нервно постукивает карандашиком и морщится:

— Мирзоянц!

— Пожалуйста, — обижается Алик, — могу и не спрашивать, если вы не позволяете. Учителя всегда велят, чтоб спрашивали, если что-нибудь непонятно, а вы...

— Что-нибудь непонятно, мальчики? — Семнадцатая школа, в которой учатся Женя Соколов и его товарищи, — так называемая раздельная, мужская школа. — Что непонятно?

— Да нет, зачем же? Если вы не позволяете...

— Ты что-то хотел спросить, Мирзоянц?

— Нет, что там! Я только одного не понимаю: почему всё-таки шведы победили? Тут написано: русские очень мужественно дрались, особенно семёновцы, преображенцы. Хотя вооружение не то, конечно. Ну, и измена.

— Несмотря на мужество и выдержку петровских солдат, — продолжает, между тем, Соколов, — особенно семёновцев и преображенцев...

— Довольно, — нерешительно говорит учитель. — Этот вопрос ты, какжется, знаешь...

Женя невозмутимо соглашается:

— Ещё бы!

— Вопрос по повторению: Ледовое побоище.

— А про Петра не нужно больше?

— Больше не нужно.

— Жаль. Я только разошёлся, по правде сказать...

Страницы учебников опять тревожно зашелестели, опять кто-то крикнул сзади: «Мирзоянц!» Женя сделал едва заметный успокоительный жест: ничего!

— Ледовое побоище было в тысяча двести... Ну, это, впрочем, неважно, в каком году, — в тринадцатом веке. Немецкие псы-рыцари рассчитывали одним ударом, этой своей знаменитой «свиньёй», прорвать оборону русских. Александр Невский смешал их, разбил, обратил в бегство. Лёд проламывался под ними, когда они бежали, — всё. «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет», — это Александр Невский сказал. Всё!

Небрежно подбоченившись, Женя выжидает. В классе, словно так и полагается, разгорается весёлое обсуждение:

— Четыре!

— Пять!

— Ну, на пять он не отвечал всё-таки. Четыре!

— Пять! Всё сказал, честное слово...

Учитель, помедлив, ставит в журнал «четыре». Женя, заглядывая через его плечо, оскорблённо поднимает брови:

— Фёдор Иванович, а почему только «четыре»? Я всё сказал.

— Нахал! — восхищается класс. — Нахал Женька!.. Фёдор Иванович, поставьте ему в табель «три» по дисциплине...

— Возьмите у него сумку, отправьте его домой...

— Пусть родителей приведёт, Фёдор Иванович!..

— Ну, Сокол!..

— Не понимаю, — холодно пожимает Женька плечами. — Чему вы радуетесь? Человеку ни за что ни про что «четыре» ставят...

Класс изнеможённо стонет. Алик Мирзоянц откровенно хохочет, катая по парте растрёпанную кудрявую голову. Сидящие у двери, посмеиваясь, встают, потягиваются, хлопают крышками парт. Изумлённому учителю добродушно поясняют:

— Фёдор Иванович, звонок...

Так начался для Жени сегодняшний день — очень неплохо начался. Потом был немецкий — на немецком его не спрашивали. Потом, на математике, Женя получил «пять».

Есть предметы — и предметы. Таковы его, Женькины, взгляды на жизнь. По математике, например, он никогда не позволил бы себе халтурить. «Ребята в основном идут в технические вузы, — говаривала обычно Лидия Фёдоровна. — Что-что, а математику они обязаны знать...» Что-что, а математику ребята знали. Тоже не все, конечно...

Лидию Фёдоровну ученики уважали и боялись. Она ещё шла по коридору, коренастая, с волевым крестьянским лицом, с большой сумкой, не закрывавшейся от ученических тетрадей, а дежурный уже с криком «Атас!» спешил от дверей, на ходу поправляя у доски влажную тряпку. Лидия Фёдоровна на миг останавливалась в дверях, оглядывая, всё ли в порядке, — класс шумно вставал, задерживая дыхание. «Здравствуйте...» Класс шумно выдыхал: «Здрасьт». — «Садитесь».

А потом ученики медленно погружались в глубокое море вычислений и доказательств — и тишина смыкалась над ними, как на взаправдашнем дне морском, и только голос Лидии Фёдоровны время от времени возвращал их к жизни; она царила над классом со своими поддёрнутыми рукавами, измазанными мелом, с пятнами скупого румянца на широком лице. Каждая решённая в классе задача, каждая доказанная теорема была прежде всего её личной победой; неизменно торжествуя, Лидия Фёдоровна шла от задачи к задаче, от урока к уроку. Ребята чуть подсмеивались над этим её победоносным видом, но говорили с гордостью: «Такого математика ни в одной школе нет...»

Говорят, что у Лидии Фёдоровны суровый, властный характер, что другим учителям с ней трудно приходится, — ребят всё это не касается, ребятам это даже удобно. Если класс почему-нибудь не успел приготовить домашнее задание, Абрам Фальцатый, у которого это лучше всех получается, устремляет на Лидию Фёдоровну невинные, небесной голубизны глаза.

— Лидия Фёдоровна, когда же мы могли? Нас вчера продержали в Дарвиновском музее дотемна...

— Мне до этого никакого дела нет, — отрезает Лидия Фёдоровна, но двоек не ставит, а на перемене слышно, как шумит в учительской: — Кого мы готовим — зоологов? Мальчики все как один идут в технические вузы... — И молоденькая учительница биологии теряется перед её натиском и оправдывается, как девочка.

Вот у этой-то Лидии Фёдоровны Женька и получил сегодня «пять». На суровом лице Лидии Фёдоровны промелькнуло что-то очень похожее на одобрение, она неохотно сказала: «Золотая голова...»

«Золотая голова», — невольно повторял про себя Женька, отсиживая после уроков на семинаре комсorghов; Женька был комсorghом своего девятого «Б» — не слишком плохим комсorghом, не самым хорошим. «А у Жени Соколова золотая голова, — на все лады повторял он и позднее, поднимаясь к себе домой на шестой этаж. — Очень хорошая, между прочим, голова у девятиклассника Евгения Соколова...»

С ним происходило то, что частенько бывает с такими, как он, очень молодыми людьми, — неожиданная похвала сразу подняла его в собственных глазах. Захотелось сделать что-то и в самом деле достойное — начать, например, какую-то новую, деятельную, целеустремлённую жизнь; начать эту так называемую «новую жизнь» хотелось Женьке не впервые. «Вот сейчас поем — и сразу же пойду в читальню», — думал он.

По истории сегодня он здорово отвечал, конечно, приятно было вспомнить, как весь класс катался от хохота, а он, Женька, даже не улыбнулся. Впрочем, не очень приятно. Не то чтобы было стыдно перед Феодором Иоанновичем, стыдно не было: если учитель позволяет, чтобы у него на шее сидели, значит сидеть у него на шее — самое что ни на есть законное занятие. Но толковый, деятельный девятиклассник Евгений Соколов мог бы ответить историю и без всякой подсказки. О Петре не знает! Вот сейчас он пойдёт в читальню и прочтёт всё, что там есть о Петре. И вообще, с сегодняшнего дня будет читать не только учебники, не только по программе. Очень приятно это — знать что-нибудь на совесть, по-настоящему, не для учителя, не для отметки — так, для себя лично...

Мамы дома не было. На столе стояли, прикрытые салфеткой котлеты

с картошкой. Холодную картошку Женя презрительно отодвинул, котлеты похватал так, не подогретые, без хлеба. С набитым ртом нетерпеливо полез в сумку, с которой ходил в школу, — настоящую полевую сумку, оставшуюся ещё от отца. Начать новую жизнь следовало, пожалуй, прежде всего с сочинения.

Сочинение было задано ещё три недели назад, и уже три недели Женя Соколов собирался пойти в читальню и спросить литературу по теме, но всё что-нибудь мешало: то зачитался книжкой о советской разведке, то передавали матч «ЦДСА» — «Динамо», то надо было срочно сдавать чертежи. Срок подачи сочинения всё приближался и приближался. На уроках литературы ребята всё чаще вспоминали о нём и поднимали время от времени дружный шум:

— Алина Андреевна, мы не успеем к десятому, у нас не одна литература...

И Женя шумел вместе со всеми: «У нас не одна литература, мы не успеем», — но, как и все его товарищи, правым себя не чувствовал. У Алины Андреевны, конечно, свои слабости, свои недостатки — Женя Соколов знал их лучше, чем кто-нибудь другой, так как жил с ней в одной квартире, но всё-таки Алина Андреевна не такая, как все. Хотя бы это сочинение — в девяти классах учителя дают сочинения по «Обломову», по «Грозе», а они пишут, на зависть всем соседним школам, о том, каким должен быть молодой советский человек. Алина Андреевна Звонкова что-то такое делает в Академии педагогических наук, и это сочинение ей нужно, так все ребята говорят, для работы над кандидатской диссертацией. Дело даже не в диссертации, не в сроках в конце концов — не впервые писать сочинение в последний вечер, — но если бы один раз, один только раз не спешить, не халтурить, как хорошо мог бы Женя на эту тему написать!..

В дверь негромко постучали. Ясно, кто так стучится, — Валя Звонкова. Володя Никитин, лучший Женякин дружок, сегодня сказал: «Девочки из шестнадцатой школы нас к себе на вечер зовут. Там ничего, интересные девочки есть, интереснее твоей Вали...» Вот никогда не думал — интересная Валя или нет? И почему «твоей»? И при чём тут шестнадцатая школа — шестнадцатая до сих пор совсем с другой мужской школой дружила... Володя отвечал на это значительно: «У них там, кажется, переориентировка!» Любит Володька всякие такие слова!..

Валя Звонкова была ровесницей Жени, они росли вместе. Когда-то играли в «дочки-матери» на сундуке в коридоре. Встречались по утрам у общего умывальника: Валя выходила умываться в детском лифчике, к которому были пристёгнуты немудрёные чулочки. На время войны они расстались. Откуда-то из-под Барнаула вернулась худенькая длинноногая девчонка в пионерском галстуке, с улыбающимся круглым лицом, чуть тронутым веснушками. Сколько лет назад это было — шесть, восемь? Даже смешно думать о том, интересная Валька или нет. Черты лица у неё правильные, только очень мягкие, и очень мягкая, тихая улыбка. Волосы красивые. Волосы красивые, это верно, — вон какая коса неизвестно когда выросла, лежит на затылке пушистым узлом. Валя очень добрая, такая же добрая, как и её мать. Впрочем, нет, не совсем такая же. Валька тихая-тихая, а что-то в ней есть: она умеет и замкнуться, и промолчать при случае, и посмотреть как-то особенно, с холодком. Алина Андреевна этого совсем не умеет. И, конечно, Валя никогда не заплачет — Женя это достоверно знает, — а Алину Андреевну ничего не стоит довести до слёз.

— Тётя Оля не пришла? — спросила, заходя в комнату, Валя.

Ну, мама в это время никогда не возвращается, Валя это и сама знает. Женя вместо ответа выразительно посмотрел на часы: с занятым человеком говоришь, это понимать надо...

— Я к вам за утигом,— пояснила Валя, но, вместо того чтоб взять утиг, села на краешек дивана, теребя чёрный передник.— Женья, ты уходишь куда-нибудь?

— В читальню.

— Сочинение писать? Мама сказала, что, наверное, придётся отложить срок сочинения,— очень, говорит, сложная тема, надо дать возможность мальчикам хорошо подготовиться...

Отложат срок? Тем лучше. Всё равно он сегодня пойдёт в читальню, он уж собрался...

— Я сегодня «пять» по математике получил,— небрежно сказал Женья.

— Правда? А меня сегодня не спрашивали. Слушай, Женья...

— Да?

— Нет, ладно, ничего...

— А что такое?

— Ничего, ладно...

— Ты всегда так, — обиделся Женья.— Говоришь: «друзья, друзья», а сама не договариваешь...

Валя подняла лицо.

— А мы с тобой друзья, да?

— Конечно!

— Ох, я дура такая,— вздохнула Валя, но заметно повеселела.— Ничего, ты не обращай внимания. Знаешь, меня сегодня Туся Огарышева спрашивает: «С каким это тебя мальчиком встречают?» Это про тебя. Я говорю: «Это Женья Соколов, сосед мой». А она говорит: «Очень интересный мальчик, ты в него, наверное, здорово влюблена»...

— А ты бы сказала «очень»...

— Что ты! Я ничего не сказала.

— Кто эта Туся?

— Ты приходи к нам на вечер шестого, я тебя познакомлю. Придёшь?

— Не знаю,— пожал плечами Женья. В этот момент он твёрдо знал, что на вечер придёт.

— Приходи,— повторила Валя.— У нас Туська такая разборчивая, я даже удивилась, что ты ей поправился. Женья?

— Да?

— Нет, ничего. Ты приходи, ладно?

— Посмотрю ещё. Только я ведь танцевать не умею.

— Научить тебя?

— Что ж, научи...

«В читальню!» — подумал он. И тут же успокоил себя: «Успеется! И вообще, что важнее? Вечер шестого, а сочинение всё равно отложат. А о Петре Первом меня вообще уже не спросят, так что...»

— Постой,— поспешно сказал Женья,— я сейчас патефон заведу.

Патефон заиграл «Три поросёнка». Валя деловито взяла Женьку за талию.

— Ты меня слушай, я тебя буду, как кавалер, водить. Слушай же!

Женья одной рукой охватил худенькие плечики Вали. Она смутилась, лицо у неё стало отчуждённым и строгим, не таким, как всегда.

— Смешно,— сказал Женья.— У тебя от волос пахнет чем-то...

— Глупости, ничем не пахнет.

— Пахнет! Знаешь чем? Сеном.

— Ах ты, неуклюжий! — воскликнула Валя.— Ну, слушайся же меня, легче, легче... Ой!

— Прости, пожалуйста,— сконфуженно пробормотал Женья.

Занятие это было бессмысленное, конечно,— под хрипение и хохот дурацкой пластинки, охватив друг друга, топтаться посреди комнаты, — но ничего, приятное. Поглядел бы кто-нибудь на это со стороны!

— Теперь ты меня води,— запыхавшись, сказала Валя и, убирая локтем со лба пушистую прядь, впервые за всё время доверчиво и прямо взглянула в глаза Женьке. Он подумал, что она всё-таки хорошенькая, что бы там ни говорил Володя Никитин, и так и повёл её, настойчиво думая об этом.

— Ну, быстрее же!— с отчаянием воскликнула Валя.— Знаешь, ты неспособный очень...

— Неверно,— возразил Женья.— Мне сегодня Лидия Фёдоровна сказала, что у меня голова хорошая...

— Голова — не ноги!

Весёлый голос спросил из-за портьеры, от входной двери:

— Сын мой дома?

— Мама пришла,— сказал Женья и выпустил Валю.

Валя, мучительно покраснев, бросилась из комнаты, еле слышно проворотив на ходу:

— Здравствуйте, тётя Оля!

Ольга Сергеевна с сомнением спросила:

— Что тут было у вас?

— Ничего.

— Ну, как ничего? Ковёр сбит, беспорядок...

— Это я танцевать учился.

— Танцевать?

Так он и знал: мама смеётся. Как это обычно у неё бывает — и смеётся и сердится, всё сразу.

— Котлеты ел опять холодные? Слушай, это — безобразие. К картошке даже не притронулся...

— Мамочка!

— И хлеба не купил. Танцор!

— Мамочка, я сейчас! Да не трогай ты стульев, я сам сейчас всё уберу...

— Свинёнок ты!..

Очень любил это Женька в своей маме: сердиться она совсем не умела. Женька с гордостью думал: ни у кого такой мамы нет. У всех товарищей матери какие-то слишком уж правильные и скучные, а моя — молодая, весёлая и всё понимает...

— За уроки и не принимался,— укоризненно встретила она Женьку, когда тот вернулся с хлебом.

— Так завтра же — всё утро...

— Мы это по-немецки в школе учили когда-то,— вздохнула Ольга Сергеевна. — «Морген, морген, нур ниht хойте...»

— Мало уроков, мамочка...

Вечер шёл незаметно. Мама шила, а Женька читал «Огонёк», который она принесла с работы, и решал кроссворд, потому что надо же когда-нибудь и отдохнуть человеку. Заходила ещё раз Валя, взяла утюг. Мама примирительно спросила:

— Ну, как, способный он к танцам?

— Ужасный! — искренне воскликнула Валя и опять покраснела.

— У тебя тоже завтра всё утро для уроков? — перекусывая нитку, спросила Ольга Сергеевна.

— Так мало же уроков,— удивилась Валя.

Мама бросила шитьё на колени и расхохоталась. Женька снисходительно усмехнулся: смеётся, как девчонка.

— Ты, мама, несерьёзный человек...

Ольга Сергеевна, переводя дух, охотно согласилась:

— Слава богу!

А когда Женька лёг в постель, он вдруг неожиданно для себя подумал, что жизнь его вовсе не так хороша, как ему кажется, и что чего-то

очень важного в ней не хватает. И уснул Женька с твёрдым намерением завтра — ну, уж завтра-то наверняка! — начать жить как-то совсем по-новому, совсем иначе!..

## 2

С самого начала этого учебного года в школу, в которой учился Женька Соколов, был назначен новый директор, Анатолий Лукич Чечевичный.

Новый директор учителям не очень понравился. Был он подтянут, сухопар, с несоразмерно крупными, даже при высоком его росте, руками и ногами, с вытянутым лицом, постное выражение которого странно противоречило упругой молодой походке и сдержанным, сильным движениям. Тонкие дужки его очков как-то особенно плотно прилегали к выпирающим, крепким скулам — без очков это унылое, невыразительное, словно однажды и навсегда, на все случаи жизни отлитое лицо просто невозможно было представить. Что-то было же в Анатолии Лукиче, если педагогическую карьеру, как все знали, начал он совсем недавно, несколько лет руководил семилеткой где-то в районе сельскохозяйственной выставки, а теперь прислан был сюда, в одну из центральных школ столицы, для укрепления учительского коллектива, как с первых же слов заявила Варвара Павловна Чулкова, старший инспектор роно. Она лично привезла Анатолия Лукича на первый в году августовский педсовет, как бы подчёркивая этим жестом, что новый директор всем предыдущим не чета, недаром и находится под личным её, Варвары Павловны, покровительством.

Кое-кто из учителей встретил прибытие Чулковой льстивым шумком; она непреклонно шла под этот шумок в президиум, прямая, плоская, мужеподобная, в мальчиковых полуботинках и с неизменным чёрным галстуком, с жиденьким перманентом, который ничего решительно во внешности её не менял, со снисходительным выражением очень недоброго лица: «Вижу. Всё вижу и цену, от нас ничего не скроется...» Анатолий Лукич двигался за ней, деликатно умеряя шаг и покачивая на ходу длинным, узким затылком; вид у него был такой, словно больше всего он боится наступить Варваре Павловне на пятки.

Как выяснилось сразу же, Варвара Павловна пришла сюда, чтоб обвинять и нападать. Оказывается, коллектив семнадцатой школы недопустимо снизил требования к учащимся. Был такой верзила Богодомский, который после окончания школы скандально провалился на приёмных испытаниях в вуз. То простейшее соображение, что, кроме Богодомского, было ещё сорок восемь выпускников и подготовка некоторых из них была на приёмных испытаниях в вузы особо отмечена, — это соображение не имело в глазах Варвары Павловны ни малейшей цены. Всё хорошее вообще возбуждало в ней подозрительную насторожённость; знает она этих так называемых хороших учителей — у них всегда можно найти что-нибудь, если очень постараться. Кстати, известно ли в школе, что роно снизило оценки двух сочинений, представленных на соискание медали?..

— Из девятнадцати! — крикнула Алина Андреевна.

— Всё равно! — сухо парировала Варвара Павловна. — Алину Андреевну очень уважают у нас в районе, но нельзя не признать, что человек она либеральный и, как бы это мягче сказать...

— Скажите — недобросовестный!..

Варвара Павловна не сказала так лишь из крайнего снисхождения к Алине Андреевне — об этом свидетельствовал её холодный молчаливый взгляд. У Алины Андреевны покраснел кончик носа, глаза округлились и, наполняясь слезами, обиженно заморгали, волосы, выбившись из причёски, повисли прядями вдоль круглых щёк. Защищаться Алина Андреевна



не умела, недаром дочь, ласкаясь к ней в добрые минуты, называла её «клушечкой-дорогушечкой» — что-то от честной домашней «клушечки-дорогушечки» оставалось в Алине Андреевне и тогда, когда она заседала в педагогическом совете.

Между тем должной требовательности не было, оказывается, и у Лидии Фёдоровны. Лидия Фёдоровна попробовала возражать тут же, с места, — она никогда не стеснялась сказать всё, что думала, кто бы там ни был перед ней, начальство или не начальство, — Анатолий Лукич постучал карандашиком по графину.

— Я вам слова не давал!..

Тогда Лидия Фёдоровна сама себя превзошла: шумно собрала с парты какие-то тетради, которыми не спеша занималась, запихнула их в тяжёлую, никогда не закрывающуюся сумку — из тех, с которыми женщины ходят на рынок и по магазинам, — и, подхватив сумку, двинулась с педсовета.

— Сил нет всё это слушать!..

И хоть в коллективе не любили в ней эту несдержанность человека, знающего, что ему многое позволено, на этот раз её проводили сочувственными взглядами.

— Видите! — значительно сказала Варвара Павловна.

Уход Лидии Фёдоровны ничего не изменил, только речь о недостатке требовательности к учащимся сменилась речью о недостатке требовательности внутри коллектива. Варвара Павловна была довольна, она так и сказала. По крайней мере Анатолий Лукич мог получить полное представление, что пахать ему придётся по нетронутой целине.

В общем, всё это было очень неприятно. Борис Борисович Лапшинский пришёл на педсовет, радостно возбуждённый предстоящей встречей с товарищами после долгой летней разлуки, сияя улыбкой, широко известной в районе. Белый воротник, не без кокетства выпущенный поверх пиджака, подчёркивал его курортный загар, глаза оживлённо блестели; волосы, которые он, борясь с одолевающей плешью, каждую весну сбрасывал, проросли к осени мягкой щетинкой. Сейчас, слушая Варвару Павловну, Борис Борисович погас, нахмурился — надо было собраться с мыслями, сосредоточиться на том, о чём здесь сейчас говорилось, выступить самому, как-то возражать, конечно..

Никто не знал о том, как трудно давалась Борису Борисовичу обычная его принципиальность и прямота. Человек общительный и лёгкий, понимающий толк во всяких жизненных удовольствиях и добрые отношения с людьми почитающий основным из них — с людьми вообще, как выше него стоящими, так и стоящими ниже, — человек от природы очень мягкий, он всегда с большим душевным усилием понуждал себя делать то, чего требовала его совесть. Вот и сейчас он весь подобрался внутренне, готовый к такому очередному усилию, не столько задетый и оскорблённый несправедливыми обвинениями, сколько подавленный необходимостью в сложившихся обстоятельствах взвалить на себя ответственность, кому-то наговорить неприятностей — и отстаивать, всё-таки отстаивать до конца то, что он считает правильным и нужным.

Новый директор неожиданно во многом его предупредил. Анатолий Лукич сказал, собственно, то же, что намеревался сказать и Лапшинский, только очень бережно и тактично: огульное обвинение всего коллектива в целом не кажется ему правильным, и он позволит себе в этом с уважаемой Варварой Павловной не согласиться. Он убеждён, что здесь, в коллективе, есть силы, способные поддержать директора, есть, как он слышал, здоровая парторганизация, есть такие учителя, как Румянцева, Лапшинский, Федяев, работа которых в районе высоко оценена. Взяв со стола четверо сложенный газетный лист, заговорил о том, о чём много в ту пору писали газеты, — о предельщиках. Есть и в школе и среди учи-

телей такие, что ещё не перестроились, работают по старинке,— теперь всё будет иначе.

Новый директор всячески подчёркивал, что говорит он не от себя лично, но по воле партии, по велению долга, по трезвому голосу рассудка — не более и не менее того. Говорил он вещи совершенно справедливые, ни в ком не вызывавшие основательных возражений,— в подобном подчёркивании не было, казалось бы, ни малейшей нужды. Такова уж, видно, была обычная его манера: и вытянутое лицо, и унылая поза с круто, почти под прямым углом согнутой шеей, и побелевшие от напряжения пальцы, которыми Анатолий Лукич вминал в крышку стола газетный лист, — всё красноречиво свидетельствовало, что, как ответственное, как должностное лицо, Анатолий Лукич не считает возможным ни говорить, ни даже помыслить иначе.

Физик Давид Наумович тихо тронул Лапшинского локтем.

— Жестковато стелет. Как, Борис?

— Всё правильно, — рассеянно ответил Лапшинский. — Мы тут, прямо надо сказать, разблагодуществовались маленько, отвыкли от твёрдой руки...

— Как ты сказал? — Давид Наумович быстро взглянул на него. — Разблагодуществовались? Хе-хе...

Живот его затрясся от сдержанного смеха — и в самом деле благодушного. Борис Борисович улыбнулся: очень он любил, как старый Давид смеялся — всегда неожиданно и обессилевая от смеха.

Анатолию Лукичу это неуместное оживление, видимо, не понравилось.

— Может, парторг школы хочет что-либо сказать?

Лапшинский нехотя двинулся к столу. Учительница начальных классов, Зиночка, торопливо закивала ему, всем своим видом показывая, с какой готовностью и восторгом собираются его слушать. Ничего особенного он, впрочем, и не собирался говорить. О том, что Анатолий Лукич прав. О том, что до сих пор в коллективе семнадцатой школы одни работали, другие, как это часто бывает, отсиживались у товарищей за спиной... Говорил он без гнева — гнева Лапшинский, кажется, никогда в жизни не испытывал, — но с нарастающим раздражением.

— Нужно бы, между прочим, пересмотреть нагрузку кое-кого из учителей. У Людмилы Ивановны, например, около шестидесяти часов, насколько мне известно. Должно это отразиться на её работе? Конечно, должно...

— О перегрузке надо было думать в конце того года, — отрезала Варвара Павловна. — Вы тут с вашим бывшим директором навертели...

— Нагрузку утверждало роно, — напомнил Лапшинский.

Людмила Ивановна, особа немолодая и грузная, с отёчным лицом и узкими, весело блестящими глазками любительницы покушать и посудачить вволю, воспользовавшись паузой, поднялась, возбуждённо заговорила о том, что нагрузка у неё большая, конечно, но надо же принять во внимание... А вот у Серафимы Сергеевны ничуть не меньшая нагрузка, и тут уж, обратите внимание, ничего во внимание не надо принимать. Вскочила и Серафима Сергеевна, началась перебранка.

Вот оно — то самое, о чём всё время думал Лапшинский. В коллективе есть люди разные — есть и такие, как Людмила Ивановна, как та же Серафима Сергеевна. Очень хорошо, что пришёл наконец требовательный, волевой руководитель, — впрочем, именно этого щепетильный Борис Борисович вслух не сказал, — школьная парторганизация, безусловно, во всём такого руководителя поддержит. Анатолий Лукич в знак признательности склонился в коротком, подчёркнутом полупоклоне, на лице Варвары Павловны было по-прежнему написано только одно: «Не таковские! Нас пустыми словами не проведёшь...»

А когда Борис Борисович вернулся на место, Зиночка, придвинувшись к нему, с обычной своей дружеской непринуждённостью взяла его под руку.

— Ой, Борька,— зашептала она.— Как мне что-то неуютно стало...

Борис Борисович невесело усмехнулся: «Разблагодуетствовались, честное слово, отвыкли от жёсткой руки...»

## 3

На улице за каждым углом, где-нибудь в кино, на вечере, в парке, в городском трамвае или пригородной электричке, где взрослые скуучливо подрёмывают или читают газеты,— юность везде тревожно и нетерпеливо ждёт каких-то необыкновенных, всю жизнь определяющих встреч. В самом деле, может, это и есть судьба — та застенчивая девушка в читальне, с которой ты так и не посмел разговориться?.. Или совсем другая — бойкая, смешливая, с которой ты переглядывался в кино перед началом сеанса,— ты обязательно познакомился бы с нею, если б не стеснялся её подруг. Или, может, вовсе не эти две, а вон та, что идёт навстречу, щурясь от солнца и рассеянно улыбаясь,— если бы набраться смелости, побежать за нею, остановить!.. Нужно ли говорить, что чувствует семнадцатилетний юноша, наделённый мало-мальски воображением, собираясь на вечер в женскую школу? Юноша, о котором ученица этой школы, какая-то незнакомая ему Туся Огарышева, сказала, что он интересный...

Накануне Женька впервые брился и сейчас ревниво и озабоченно трогал гладкие, как у ребёнка, щёки: жалуются же мужчины, что у них уже на следующее утро после бритья прорастает жёсткая, упрямая щетина! Жене ещё, увы, не на что было жаловаться. И складка губ не была у него достаточно волевой и энергичной, и подбородок был совсем как у пацана — округлым и мягким. Вот только открытый лоб и глубоко посаженные светлые глаза уже сейчас кое-что обещали, во взгляде, честное же слово, было какое-то значительное выражение, особенно если так вот откинуть голову и слегка прищуриться: настоящие мужские стальные, беспощадные глаза! Женья добросовестно морщил лицо, сдвигал брови и разглядывал себя под всевозможными углами зрения, чтобы в этом убедиться. Потом, совершенно неожиданно и без всякой связи с происходящим, каким-то странным, сдавленным голосом сказал: «Я очень тебя люблю» — кого, почему вдруг? Он невольно оглянулся и сам засмеялся: тоже, высказался! Никого он ещё не любил.

Ровно в семь часов девятиклассники семнадцатой школы со своими классными руководителями — без классных руководителей Анатолий Лукич ни за что бы их не пустил — чинно поднимались в зал соседней, шестнадцатой школы. Хозяйки вечера, девочки, радостно возбуждённые и поэтому особенно привлекательные, с этими своими бантиками, передниками и лукавыми улыбочками, при встрече на лестнице поспешно сторонились и смущённо переменивались. В зале сидели так, как и всегда садились в недоброй памяти раздельной школе,— мальчики отдельно, девочки отдельно. У Женьки были здесь свои заботы: он упорно искал ту, которая назвала его интересным,— он не сомневался, что узнает её с первого же взгляда. Но девочки все были, как одна: как-то особенно беспокойны, и преувеличенно громко вскрикивали, и шептались, и, лукаво оглядываясь на мальчишек, то и дело прыскали в ладошки — вид у них был такой, словно они очень удачно одурачили собственных гостей.

Женьку внезапно словно кто в грудь толкнул: вот она! Она сидела впереди, чуть наискосок от него. Лицо у неё было свежее и розовое, чёрный бант за ухом не столько поддерживал рыжеватые выющиеся косы, сколько украшал хорошенькую, кокетливую головку. Девочка эта тормозила подруг, что-то со смехом шептала им, оглядываясь на Женьку,

подруги, смеясь, отбивались: «Туська, уйди, противная!» Ну, конечно, вот она, Туся Огарышева!

Теперь Женька уже не мог отвести от неё взгляда — по сравнению с Тусей все девочки казались некрасивыми, угловатыми, серенькими. Женька всё разглядел, хотя даже под ножом не осмелился бы в этом признаться: что фигурка у Туси стройная, сложившаяся, совсем как у взрослой девушки, — тонкая талия, высокая грудь; может, поэтому и обычный передник сидит на ней как-то особенно ловко. Движения легче и мягче, чем у остальных девочек, губы полные, нежные, очень красивые, и весёлые, откровенные, ласковые глаза. Глаза эти, смущая Женьку, спрашивали издали: «Что смотришь — хорошая я, да?» «Очень, — отвечал хмурый, затаённый, взволнованный Женькин взгляд. — Очень хорошая, только я вовсе и не думаю смотреть на тебя. Нет, не знаю...»

На сцене что-то происходило: выходили какие-то девочки, читали стихи, чёрненькая девчурка с сердитым, энергичным лицом долго толкала клавиши рояля. Женька рассеянно вспоминал всё, что читал или слышал на эту страшно важную тему: только ли кажется ему или и в самом деле бывает такая вот мгновенная, с первого взгляда любовь?

Володя Никитин насмешливо заглянул товарищу в лицо, спросил удовлетворённо, так, словно всё, что здесь происходило, зависело прежде всего от него:

— Что смотришь — красивая?

— Ничего.

— Ничего! До чёрта красивая, ничего ты не понимаешь. Это Туська Огарышева из девятого «А», я тут всех девчонок наперечёт знаю.

Женька обеими руками стиснул скамейку, на которой сидел: кто-то сказал «Огарышева», Туся встала, движением головы забрасывая назад косы и, как это делают все девочки, одёргивая и ошипывая сзади платье, пошла к сцене. Это было уже чересчур, ей не нужно было петь. Вот сейчас она возьмёт неверную ноту или ещё что-нибудь случится — и Женька попросту умрёт от стыда, хотя его всё это, казалось бы, и не касается.

Но ничего страшного не случилось: она спела, и ей хлоппали. Не бог знает как, — той чёрненькой, Тане Кузнецовой, хлопали больше. Туся улыбалась и ещё пела, не заставляя себя долго просить. Это, пожалуй, больше всего покоряло в ней: простодушная готовность к новой и новой радости и торжествующее, откровенное, какое бывает только в очень ранней молодости, любованье собой.

Теперь юноши, все, сколько их было в зале, смотрели только на оживлённое успехом, тщеславное Тусино личико. Женька мельком взглянул на притихшего товарища: Володя Никитин, обычно самоуверенный и насмешливый, смотрел на Тусю каким-то странным взглядом, покорным и ребяческим, чуть приоткрыв рот, таким Женька Володю никогда не видел. Неожиданная неприязнь шевельнулась у Женьки в душе, он отвернулся.

Тусе опять захлопали, на этот раз сильнее. Она сделала что-то вроде книксена в сторону сидящих рядом учительниц и прыгнула со сцены. Посмотрит или нет? Вот и всё, посмотрела...

Состояние Женьки вернее всего было бы передать одним словом: смятение. Он чувствовал только одно: что вступает в какую-то новую полосу своей жизни, волнующую и тревожную, и совсем не лёгкую, — ему надо было ещё освоиться с этим.

Мальчиков попросили помочь раздвинуть скамьи. Таня Кузнецова опять села к роялю, ударила по клавишам. Через пустое пространство, образовавшееся посередине, скользящей походкой, покачивая гибкой спиной, метнулась Женькин одноклассник, Жора Корецкий, — на вечерах Жора не знал себе равных. Небрежно, почти не глядя, протянул Тусе руки — обидно было смотреть на выражение готовности в этих ласковых, сияющих Тусиных глазах.

Неподалёку от Женьки и Алика, прижавшихся к подоконнику, группка учительниц доброжелательно следила за танцующими.

— Какой интересный мальчик, смотрите, пожалуйста! И как уверенно держится, совсем взрослый.

— Какие у вас, оказывается, ребята есть, Алина Андреевна!

«Что она скажет?» — насторожился Женька. Ну конечно, что Алина Андреевна могла сказать, когда дело касалось её драгоценных деток! Она ответила:

— Да, это очень воспитанный мальчик, из культурной семьи. Но такой шалопай, если б вы знали, ужасно...

Жора Корецкий — воспитанный мальчик! Сволочь он. Типичный пошляк, достаточно поглядеть на эту его длинную смазливую физиономию с подобранными височками.

— И как танцует!

«Именно — как танцует! — непримиримо думал Женька. — Знаем мы, как он в других местах откальвает. Воспитанный мальчик — только и умеет задом вертеть. Мальчик!»

Гости продолжали нерешительно подпирать стены; девочки малопомалу стали выходить в круг, деловито и независимо выводя друг друга. Алина Андреевна с упрёком обернулась к своим питомцам.

— Что же вы! Кавалеры...

Алик мрачно пробурчал:

— Мы в кавалеры не нанимались.

— Надо бы пойти, — не трогаясь с места и не отрывая глаз от чёрного банта, мелькающего в толпе, тихо сказал Женька. — Неудобно так стоять, глупо.

— Ну и иди.

От стены отделился Володя Никитин, небрежной развалочкой, с полным сознанием своего превосходства подошёл к какой-то высокой блондинке с суховатым, совсем не юным лицом, та спокойно, не глядя на него, закинула ему руку на плечо.

— Надо идти, — ещё раз сказал Женька.

Вчера они опять танцевали с Вале́й, и на этот раз Валя осталась довольна своим учеником. «Вот теперь потанцуем с тобой», — с удовольствием повторяла она. Сейчас Валя словно вовсе забыла о своём намерении: мученически возилась в углу над дурацким листом картона, налаживала какой-то никому не нужный аттракцион. Владик Пелевин, тоже Женькин товарищ, суетился рядом, желая помочь и, видимо, отчаянно мешая; Валя сердилась и смеялась, отталкивая Владика, и, знакомым Женьке жестом убирая локтем волосы со лба, время от времени издали взглядывала на Женьку, так, как и обычно на него смотрела, — доверчиво и дружелюбно. Вале, наверное, очень хотелось, чтоб он подошёл и помог ей, — Женька отчётливо понимал это, но не трогался с места.

Учительницы суетливо подвинулись. Тяжело переваливаясь, подошла невысокая, очень полная пожилая женщина, суровая и властная, с орденом Ленина на жакете, — Глафира Григорьевна Волкова, о которой много писали в те годы в газетах, директор шестнадцатой школы, заслуженный учитель и депутат. Опустившись на стул рядом с Алиной Андреевной, она снисходительно обратилась к госте:

— Вы, говорят, работаете над диссертацией?

Алина Андреевна оживилась: да, да, материал у неё в основном собран, предварительные намётки есть, дело за творческим отпуском, который ей обещали. Алина Андреевна давно мечтала посоветоваться с Глафирой Григорьевной о своей диссертации, у Глафиры Григорьевны такие знания, такой опыт, её указания особенно ценны.

— Какова же тема? — истерпеливо перебила Глафира Григорьевна, движением головы подтверждая, что кос-какой опыт у неё действительно

имеется. Женя опять насторожился, но хорошо не расслышал: какое-то воспитание в условиях раздельного обучения.

— Какое воспитание? — толкнул он Алика.

— Половое.

— Не может быть!

— Честное слово!

— Ты зря испугался — это не о том...

— О том самом!

Глафира Григорьевна медленно, словно взвешивая все «за» и «против», склонила голову: тема интересная.

— Подобные вечера дают вам прекрасный материал, не правда ли?

— О, ещё бы!

Глафира Григорьевна оглянулась на прислушивающихся с безразличным видом мальчишек.

— Это что же — ваши кавалеры? — В шестнадцатой женской школе на мальчиков, видимо, давно не смотрели иначе, чем на кавалеров. — Почему они не танцуют?

— Ничего не могу поделать, — огорчённо сказала Алина Андреевна.

— Нехорошо. — Глафира Григорьевна покачала головой.

— В самом деле, нехорошо, — прошептал Женька.

— Ну, почему я обязан танцевать, почему? — затосковал Мирзоянц. — Дался я им... Сокол, пойдём домой, а?

— Что ты! — даже испугался Женька.

Музыка умолкла. Девочки, проходя мимо Глафиры Григорьевны, затихали, скромно теребили передники. Кое-кого она останавливала, смущая или ободряя снисходительной шуткой.

— Очень милы! — восхищалась Алина Андреевна. — Эти воротнички, косички — так всё красиво, женственно...

— Ничего красивого не вижу! — строптиво фыркнул Алик. — Жабы. Сокол, пойдём домой!

Женька не слышал — к Глафире Григорьевне подходила Туся.

— Как вам нравятся наша красавица? — обратилась Глафира Григорьевна к Алине Андреевне. Она так и сказала: «Наша красавица». Женька нахмурился тревожно и недоуменно.

Туся, потупив глаза, молча позволяла любоваться собою, сдержанная радость была во всём её существе, она всё не выпускала руки самодовольно улыбающегося Жоры. Потом взгляд её невольно скользнул в сторону Женьки, она застыдилась, рванулась.

— Очаровательна! — сказала Алина Андреевна.

Глафира Григорьевна согласилась:

— Кошечка. Ветер у неё в голове, вот что! — Она тут же резко окликнула: — Кулакова!

Одна из девочек нерешительно приблизилась. Глафира Григорьевна раздражённо зашептала что-то, указывая на её ноги: «Чулки, чулки...» Кулакова была в шёлковых чулках. «Немедленно ступай переоденься». Девочка, вся красная, пристыжённая, убежала. Глафира Григорьевна вновь обернулась к своей собеседнице:

— Неплохой материал для вас.

— Жабы! — с силой повторил Алик.

Сердце вдруг ошутимо толкнулось у Женьки в груди: Валя, смеясь, подтаскивала к нему за руку упирающуюся Тусю.

— Вот, я обещала познакомить. Туся Огарышева. Женя Соколов.

— Очень приятно.

Валя, ласково улыбувшись Жене, заторопилась к своему картону. «Вот она я какая! — опять сказали Женьке весёлые, откровенные Тусины глаза. — Нравлюсь я тебе?» И Женькин взгляд снова отвечал ей, на этот раз настойчивее и определённое: «Очень. Очень!»

Раздались звуки старого, смутно знакомого вальса. Туся, приподнимая локти, предложила: «Пойдём?» — и Женьке на какой-то миг стало страшно, что он мог бы и не уметь танцевать и тогда всё рухнуло бы. Он несмело взял Тусю за талию, и она легко отступила перед ним, послушная любому его движению, уступчивая, понятливая.

— Ты очень хорошо танцуешь,— сказала она.

Женька искренне удивился:

— Нет, что ты!

Он тут же сбился с ритма, засмеялся, взглянул Тусе в лицо и надолго замолчал: её губы были, оказывается, совсем близко.

Музыка неожиданно умолкла, Туся поторопилась отнять свою руку. Отходя к стенке, спросила через плечо:

— Ты совсем не умеешь разговаривать?

— Почему? Умею. Мы ещё будем танцевать с тобой, хорошо?

— Если умеешь разговаривать — будем...

Он очень был благодарен ей за то, что она такая, как есть, за то, что они встретились, за то, что он счастлив. Женя сказал искренне и почувствовал, что краснеет:

— Спасибо.

Туся взглянула на него тепло и удивлённо.

— Какой ты...

Они уже не расставались.

— Почему тебя зовут Туся? — спрашивал он.— Такого имени нет.

— Есть, Меня Наташей зовут, а мама зовёт Натуся, Туся. Тебе нравится?

— Натуся — нравится.— И опять засмеялся без причины, глядя ей прямо в лицо счастливыми, немного испуганными глазами.

— А в школе нашей тебе нравится?

— Очень!

— Что ты! У нас ужасно. Не школа, а женский монастырь.

— Вам в шёлковых чулках нельзя ходить?

— В шёлковых чулках! Девочки после каникул в носках пришли — их Глафира домой отослала, говорит, неприлично. В носках — неприлично. Придумывают неизвестно что...

— Её Алик Мирзоянц, знаешь, как назвал? Жаба.

— Жаба? Вот здорово! Кто это Мирзоянц?

— Вон — у окна стоит.

— Лохматый этот? Ну, он неинтересный совсем и держится так...

— Он самый умный из наших ребят, если хочешь знать.

— Может быть.

— За внешностью он не следит, это верно, но зато это такой человек...— Женя замолчал, подыскивая слова.— Он товарищ хороший.

— Может быть,— рассеянно согласилась Туся и вдруг засмеялась.— За внешностью не следит, а усы отпускает! Тоже — нравится хочет!

Женя слегка стиснул ей руку.

— Злюка!

Трудно сказать, чего было больше в этом жесте,— пожалуй, всё-таки восхищения. Туся неожиданно спросила:

— Ты с Валею дружишь?

— Ну, как тебе сказать? Она соседка моя по квартире.— И, не сознавая, что одно за другим совершает уже второе предательство, поспешил прибавить: — Я ещё ни с одной девочкой по-настоящему не дружил.

— Будто?

Музыка опять умолкла. Они шли к стенке, и Женя вдруг увидел несчастное Валино лицо. Туся небрежно спросила, наматывая на палец прядь рыжеватых волос:

— По-твоему, она интересная?

— Кто?

— Валя.

— Не знаю. У неё волосы красивые.

Туся засмеялась.

— Это в какой-то чеховской пьесе есть: если говорят, что у женщины красивые глаза или красивые волосы, это значит, что она некрасива.

— Как этого мальчика фамилия? — заинтересовалась между тем Глафира Григорьевна. — Этого, что с Огарышевой всё время? Это ведь, кажется, из вашего класса?

— Мой, — с удовольствием сказала Алина Андреевна: Женю Соколова она особенно любила.

— Простоват немного.

— Нет, что вы!

— Конечно, простоват. Смотрите, как улыбается, — телёночек. А нашей Огарышевой пальца в рот не клади.

— Что вы говорите!

— Ничего, интересный мальчик. Не то что этот ваш, лохматый... — Алик Мирзоянц и Глафира Григорьевна, ни словом не обменявшись, решительно невзлюбили друг друга. Глафира Григорьевна тяжело поднялась: пора, между прочим, дорогим гостям и честь знать.

В тесном коридоре между гардеробом и выходной дверью к Женьке подошла Валя.

— Пойдём домой?

Глаза её смотрели уже не весело, а тревожно, небрежная интонация не вышла, голос дрогнул. Женька раздражённо ответил:

— Иди сама, я ещё задержусь...

При этом он подумал: «Соседка и соседка, в самом-то деле! Решила, что у неё какие-то там особенные права...» Ничего подобного Валя не решала, конечно, и Женька знал это.

Валя ушла торопливо, не оглянувшись. Туся всё мешкала в гардеробе. Подошёл Володя в как-то особенно щегольски надвинутой на одну бровь полувоенной фуражке, развязно спросил:

— Ждёшь свою? А ты молодец, смотри-ка, вцепился, как клещ.

Женя предложил — частью от смущения, частью для того, чтоб помешать Володе ещё что-нибудь в этом роде сказать:

— Хочешь, пойдём вместе? Погуляем, проводим...

Он тут же испугался: что, если Володька и в самом деле увяжется? Володя, словно поняв его, усмехнулся, доверительно взял Женьку за пуговицу.

— Я вообще-то в другом месте закидываю. Блондиночку видел? Сам понимаешь...

Ничего Женька сам не понимал. Не в словах, конечно, — слова всё были простые, понятные, — а в этой двусмысленной интонации, в интимном Володином подмигивании. Чуть холодея от смутного предчувствия, спросил против воли брезгливо:

— Что ты в ней нашёл? Она старая какая-то...

— Вот-вот! От своей Туськи ты ничего не добьёшься, я Туську знаю, а эта зато...

— Не добьюсь — чего?

Володя, отступая, погрозил пальцем.

— Ладно, ладно.

Женя, оскорблённый гораздо больше, чем сам успел это понять, срываясь с голоса, убеждённо сказал:

— Дурак ты!

Володька поспешил к выходу за своей длинноногой блондинкой, издеваясь и гримасничая, словно не замечая Женькиного несчастного лица. Кто-то тронул Женьку за рукав: Туся.



Как много, оказывается, необходимо сказать! Что советские шахматисты, наверное, опять одержат победу — Смыслов, например, поехал в Стокгольм в блистательной форме. Что самая интересная наука, конечно, физика; Алик Мирзоянц — тот просто помещан на расщеплении атомного ядра. Что хорошо бы, безусловно, стать учёным, но для этого надо долго учиться, а Женьке не терпится зарабатывать — мама молчит, конечно, а тянет, тянет, отец у Женьки под Вязьмой пропал, погиб, наверное, — Женька просто не знает, как поступить. Что самый хороший художник, между прочим, Рембрандт — любит Туся Рембрандта? Какие, например, мировые пятки у блудного сына! Что кинокартины сейчас пошли скучные — Туся согласна? — краски там хорошие, а жизнь изображена парадная, невзаправдашная, такую жизнь разве только в кино и увидишь. А вообще-то самое главное — иметь в жизни цель, Женя её совсем не имеет. То есть имеет, конечно; быть очень нужным человеком, полезным родине — так? — но конкретно, конкретно... Конкретно она у него каждый день другая. И воли нет. У Туси есть воля? У Женьки нет, Женька её только собирается воспитывать...

Туся умненько помалкивала. Лицо её, насколько можно было различить в свете уличных фонарей, было внимательно и серьёзно, ресницы насторожённо опущены, редкий, медленный взгляд, устремлённый на Женьку, поощрял его и вознаграждал. Её интересовали и Смыслов, и Рембрандт, и то, что Алик помещан на атомном ядре, и то, что кинокартины теперь, оказывается, какие-то не такие... Она была само внимание, сама чуткость, — этого частенько бывает совершенно достаточно для содержательной и оживлённой беседы.

Уже на Тусиной лестнице, у самой её двери, Женька вспомнил:

— А эта ваша, как её, Глафира, сказала, что ты красавица.

Туся медленно, с вызовом повела глазами:

— А что?

— Ничего. Если она говорит — она всё-таки учитель — значит правда...

Туся хотела сделать безразличное лицо, но не выдержала и засмеялась. И Женька, благодарный, тоже засмеялся. Туся сказала:

— Знаешь, какой она учитель? Ты Чарскую читал?

— Нет, я прочту. А что там?

— Можешь не читать. В школе у нас был?

— Был.

— Вот и всё. Можешь не читать.

Очень не хотелось расставаться. И не хотелось отпускать руки друг друга. Только надо как-то так не отпускать руки, чтоб казалось, что ты совсем уже и отпустил, но вот забыл — и держишь... И хорошо, чтоб подольше никто не щёл.

Гулко хлопнула вниз, в парадном, дверь. Туся шепнула, приближая губы к Женькиному лицу, — простенькое, обыденное словцо прозвучало в её устах свежо, значительно, радостно, она и спрашивала и утверждала одновременно:

— Женя, до свидания, да?

— Конечно!

#### 4

Анатолий Лукич приказал по всем классам провести беседы о настоящей большевистской принципиальности. «Надо подчинить всю воспитательную работу единому плану, — сказал он при этом. — Время партизанщины и анархизма прошло, товарищи...»

Очередное мероприятие было продумано Анатолием Лукичом до мелочей: беседы о принципиальности, приспособленные к возрасту учащихся, проходят по всем классам — от первого до десятого — в точно указан-

ные директором сроки; лучшие из выступлений выносятся на общешкольный заключительный диспут. Это ли не организационный размах: все учащиеся вверенной Анатолию Лукичу школы, все тысяча семьсот восемь человек — и не искушённые в подобных делах первоклашки и многое повидавшие десятиклассники, — все они от такого-то до такого-то числа говорят между собой на тему о настоящей большевистской принципиальности!

Анатолий Лукич был прежде всего работника, это чувствовали все: он требовал от других, но требовал и от себя. Не проснувшиеся толком нянечки ещё мыли школьные лестницы и коридоры, а Анатолий Лукич, подтянутый и бодрый, уже стоял на сквозняке во входных дверях, и ученики, завидев его, поспешно сдёргивали шапки и затихали. Он стоял здесь до звонка, стоял и после звонка, молча указывая запыхавшимся мальчишкам и растерявшимся преподавателям на стенные часы. Потом, легко шагая через ступеньку, весь учебный день ходил по четырёхэтажному зданию школы: во время уроков чутко прислушивался к тишине и внезапно появлялся там, где тишина, по его мнению, вот-вот должна была оборваться, на переменах отважно углублялся в прокуренные уборные и в самые дремучие коридоры, где старшие ребята азартно и деловито тискали друг друга вдоль стен, а младшие падали прямо под ноги со счастливым шепелявым визгом. То и дело кого-нибудь — самого красного и взъерошенного — он вёл к себе в кабинет, отечески придерживая рукой; никогда не улыбавшееся, бесстрастное лицо его при этом не выражало даже упрёка. В приёмные часы, назначенные отдельно для учителей, отдельно для учеников, отдельно для родителей, Анатолий Лукич сидел у себя в кабинете, нелюбезный и чуткий, взыскательный без нажима и предупредительный без суеты. Он никогда не раздражался, не горячился, не повышал голоса — быть на него за что-нибудь в претензии было решительно невозможно. Учителя, измученные двумя с половиной сменами, шли наконец домой к горячему ужину, к своим семьям, а из кабинета директора, словно укоряя их, доносился ровный, методичный стук пишущей машинки: это Анатолий Лукич, засиживаясь за полночь, собственно-ручно приводил в порядок запущенные канцелярские дела.

И Лапшинский, чувствовавший к новому директору непонятную, но упорную неприязнь, решительно ни в чём не мог к нему придраться. Против чего он мог возражать? Против жёсткой дисциплины, введённой Чечевичным в преподавательском коллективе, против вот этого единого плана работы? Лапшинский любил своё дело, увлекался сам, увлекал на уроке учеников, улыбаясь им так же охотно и открыто, как улыбался на перемене своим товарищам по работе. «Вот ведь как набаловался, — думал он о себе, глядя, как уныло и неутомимо, с педантичностью выверенного во всех частях механизма, работает Анатолий Лукич. — Мне бы всё с симпатичными людьми работать, с такой душевной теплотой, с весёлой шуткой. Нет, ты попробовал бы хоть раз так, из чувства долга, поработать, а не для собственного удовольствия, чёрт тебя побери совсем...» Борис Борисович чувствовал, что сам он, неплохой, в сущности, человек, для нового директора никакой решительно ценности не представляет — лишь в той мере, в какой будет правильным или неправильным его поведение как парторга, в какой будет организующим или нет, установочным или нет каждое его очередное выступление. «По крайней мере, деловой, принципиальный подход к людям, — одёргивал себя Лапшинский. — Отчего же меня коробит, как чёрта при крестном знамении?» А сомнения продолжали его тревожить. Борис Борисович, как и все в коллективе, довольно быстро убедился, что реагирует Анатолий Лукич, в конечном счёте, только на недостатки, всё же положительное в работе, всякое самоотверженное усилие, всякую ценную инициативу принимает, как должное, как нечто само собой разумеющееся. Борис Борисович иногда советовал

ему: надо бы, Анатолий Лукич, поощрить того-то или того-то... Анатолий Лукич охотно соглашался и, вызвав к себе двух-трёх молодых учителей, проводил с ними беседу поощрительного характера, — самому-то Борису Борисовичу от этого не было легче! Ему было отказано в невинной радости чувствовать удовлетворённость честно прожитым днём, он должен был изо дня в день разделять с директором его подозрительную настоятельность, его аскетическую, суровую ответственность за судьбу коллектива — эта ответственность не знала выходных, не видела светлых минут, она была серой и жёсткой, как шинельное сукно.

Короче говоря, Анатолий Лукич, сам о том не помышляя, овладел едва ли не всеми мыслями Лапшинского, стал тем внутренним собеседником, с которым Лапшинский вёл постоянную и безрезультатную полемику по всем вопросам, касающимся школьной жизни. Внешняя полемика потому и не возникала между ними, что внутренняя пока не вела ни к чему. Вот, например, диспут, задуманный в масштабах целой школы, — кто знает, может быть, Анатолий Лукич и прав? До сих пор, как сам же Борис Борисович говорил на педсовете, одни работали, другие отсиживались у товарищей за спиной. Подобный диспут, может быть, всех подтянет.

Примерно так распоряжение Анатолия Лукича приняли и все остальные учителя: что-то новое, мы этого ещё не встречали, надо поучиться, поглядеть. Историк Фёдор Иванович, стараясь ничего не пропустить из сказанного директором, озабоченно морщился.

— Обговорить, значит, надо с учащимися эту тему?

Алину Андреевну с сообщением о диспуте в классе, в котором она была классным руководителем, в её девятом «Б», встретили недоуменно и весело.

— Сначала в классе, потом на общешкольном диспуте повторять — к чему это?

Алина Андреевна сочла необходимым поддержать авторитет директора.

— Что ж такого? Лучшие выступления полезно всем послушать.

— Да мы послушаем, — торопливо заверили её ребята. — Вы, Алина Андреевна, не волнуйтесь.

— И выступить надо.

— И выступим, — весело согласился Володя Никитин. — Что нам, трудно, что ли? Правда, ребята?

Алина Андреевна улыбалась, вспоминая этот разговор: очень она любила своих мальчишек! Иногда ей трудно бывало с ними, иногда она плакала даже, уязвлённая их леностью или нечестностью, но не могла же она не чувствовать этого их добродушного отношения к себе: «Вы, главное, не волнуйтесь...»

«Они очень сердечные ребята», — оправдывалась она, когда кто-либо падал на класс, оправдывалась так, словно обижали её лично.

И, может быть, потому, что вопрос о её творческом отпуске был почти решён и дело было только за достойной заменой, которую ей обещали, Алина Андреевна с особенной любовью думала о них сейчас, проверяя домашние сочинения. Даже то, что сочинения Абрама Фальцатого, Кирилла Порываева и Владика Пелевина были похожи одно на другое и явно списаны из одного и того же источника, даже это не могло омрачить её к ним отношения. Разве не прелесть, например, тот же Владик Пелевин, очень красивый паренёк, живой, увлекающийся, переменчивый, как майское солнышко! То огорчённый чем-нибудь: остановившийся, безнадёжный взгляд, трагический излом бровей — всё в нём в такие минуты даже не говорит, а взывает, что дело тут, братцы, нешуточное, жизнь уже кончилась, вся, и по меньшей мере бестактны всякие там уговоры.

То — ещё и получаса не прошло — оживлённый, счастливый, и, поблёскивая ласковыми глазами, уже беззаветно хохочет и при этом откидывается назад, и мужественно подбоченивается, и похлопывает товарищей по плечу, совсем так, как делает это один любимый им актёр в какой-то шекспировской роли. Владик всегда немножко играет, он и мечтает быть актёром. Ребёнок он ещё, вот кто, красивый, здоровый ребёнок — самый рослый из одноклассников и самый ребячливый, — с этой своей непосредственностью и беспечностью, с благодарным смехом по любому поводу, даже с этим лёгким наигрышем во всём.

А сочинение этот красивый ребёнок всё-таки списал... Так же, как и малоспособный, застенчивый, неловкий Кирилл Порываев, как и суетливый, вечно занятый и озабоченный Абрам. Этот и теперь, наверное, будет ссылаться на перегрузку и клясться — он секретарь школьной комсомольской организации, учиться ему некогда абсолютно. Алина Андреевна совсем было поставила «два» под всеми тремя сочинениями, потом подумала, вспомнила, что с классом доживает последние дни или, во всяком случае, месяцы, что ничего уже, в сущности, не в силах изменить и что вообще не в первый раз ей читать сочинения списанные, — и нерешительно вывела три тройки. Странно всё-таки...

Странно: она думала, что тема заинтересует их больше — «Облик молодого советского человека!» — всех так или иначе затронет, заставит высказаться до конца. А они или списывают, или пишут так, как Лёня Лицкевич.

Лёня Лицкевич, малоподвижный, склонный к полноте юноша, с замедленными, мягкими движениями, с неизменной мягкой улыбкой, был одним из самых благополучных её питомцев: доброжелательным, ровным, легко отказывающимся ради книжки от всяких других, сомнительных с его точки зрения благ. Никогда и никому не доставлял он хлопот: готовить уроки аккуратно и в срок было для него так же естественно и просто, как для других их не готовить, и слушать учителя во время занятий доставляло ему такое же удовольствие, как для других его не слушать. Товарищи Лёню любили, может быть, потому, что всё, что ни делал Лёня, делал он, абсолютно равнодушный к чьему бы то ни было мнению, по глубочайшему убеждению, что именно так поступать — единственно правильно и нужно. Класс мог хоть на головах ходить — Лёня, чтоб не терять зря времени, углублялся в какую-нибудь книжку, изредка обводя товарищей рассеянным, мечтательным взглядом, никому не мешая и сам не испытывая никаких решительно неудобств. Сочинение у него было, как всегда, хорошо продуманное, логичное, но, не в пример всем его прошлым работам, сдержанное и сухое. Право же о «лишних людях» или о гоголевских помещиках Лёня писал куда убедительнее и ярче! Здесь же, обманув ожидания Алины Андреевны, он так и не пошёл дальше общеизвестных примеров, неуловимо обогнув все те места, где мог проявить хоть какую-нибудь самобытность.

Против обыкновения сдержанным оказался и другой юноша, Юрий Шнырёв. Со своими узкими, насмешливыми, вьедливыми глазами, загоравшимися от удовольствия всякий раз, как удавалось насмерть заспорить собеседника или чем-нибудь его поддеть, с белобрысыми, вздрагивающими волосами — подобная причёска, торчащая над лбом, как петушиный хвост, называлась в классе почему-то «политическим зачёсом», — Юрка Шнырёв был человеком совсем другого склада: легко загорающимся, шумным, перескакивающим с предмета на предмет, словно гонимое ветром пламя. А сочинение его на этот раз было прилизанным, гладким и — ни одной своей мысли, ни одного своего примера! Почему? Алина Андреевна вздохнула и поставила Юре, так же как и Лёне Лицкевичу, «четыре»: от обоих она ждала значительно большего.

Над сочинением Алика Мирзоянца она долго медлила, с сомнением перечитывая его снова и снова. Этот, по крайней мере, говорил всё, что думал! «Из нас воспитывают обывателей и эгоистов,— твёрдым, размашистым почерком писал Алик.— Девочки совсем мешанки, а мы немногим лучше их, честное слово. Чего мы хотим? Мы ничего не успеваем захотеть по-настоящему, нам всё достаётся готовеньким, разжёванным, как Обломову...» Вот и Обломова зачем-то припутал! Додумался: из советской молодёжи, оказывается, воспитывают обывателей!.. Две ошибки, грязь, поля исписаны, плана нет... Алина Андреевна вспомнила, как Анатолий Лукич, потирая колени, говорил: «Пришёл конец партизанщине и анархизму...» Поставила «три», потом зачеркнула, потом, подумав, снова поставила «три». В самом деле, ещё прочтёт кто-нибудь, что Алик Мирзоянец пишет на тему «Облик молодого советского человека»!

Сочинение Соколова. Что-то очень хорошее есть в этом мальчике: открытое, чистое лицо, обаятельное сочетание юношеской взыскательности и прямоты с душевной мягкостью. Валечкин приятель.

— Валя,— обернулась она к дочери,— хочешь прочесть Женино сочинение?

— Я, мамочка, читала.

— Тебе понравилось?

Валя ответила не сразу:

— Очень.

— Хорошее сочинение,— согласилась Алина Андреевна.— Неуклюже только кое-где, наивно...

— Мама, но он же сам писал!

— Володя Никитин тоже сам, а ты посмотри, какие у него мысли!

— Какие у Володьки могут быть особенные мысли? Просто он воображала.

— Нет, ты не знаешь, он умница.

Сочинение Володи Никитина единственное по-настоящему понравилось Алине Андреевне. «Советский юноша,— писал, например, Володя,— привыкает видеть в девушке прежде всего друга, товарища по совместной борьбе. Не безотчётное, стихийное чувство Ромео и Джульетты, Фархада и Ширин, Дон-Жуана и донны Анны — нет! Не слепое, инстинктивное влечение лежит в основе нашей любви — она всегда определяется общностью взглядов, беспредельной преданностью нашей советской молодёжи одной великой цели...» «Вот она, юность! — восхищённо думала Алина Андреевна.— Благородство чувств, чистота — и всё настежь, всё на виду. Очень хорошо!» Она с удовольствием поставила под сочинением «пять», потом подумала и выписала на отдельную карточку особенно полюбившееся место: его хорошо можно было использовать в работе над диссертацией.

— Очень интересное сочинение написал Володя Никитин,— говорила она ученикам.— Самое лучшее в классе. Думаю, что Володя не откажется по своему сочинению подготовить выступление для общешкольного диспута, говорит он хорошо, гладко.

Женька нетерпеливо затормозил вернувшегося на место товарища.

— А ну, покажи сочинение!

Володя снисходительно засмеялся.

— Что тут интересного?

— Не скромничай, дай!

Тогда, после вечера в шестнадцатой школе, друзья целый день не разговаривали. Женька сохранял страдальчески-неприступный вид — не мог же он заговорить первый после того, что случилось. Тем более он был благодарен Володе, когда тот после уроков подошёл к нему и, глядя прямо в глаза, сказал:

— Неужёли из-за девчонок поссоримся, а, Сокол?

— Нет, конечно.— Женька с готовностью пожал протянутую руку.— Только, знаешь, ты всё-таки зря тогда...

Володя, отмахиваясь, перебил его: «Ладно уж...» — таким тоном, словно пресекал все возможные с Женькиной стороны извинения, словно великодушно его прощал. Так только Володька умел, честное слово,— не мог же он, в самом деле, не чувствовать себя виноватым! Потом, всё с тем же подчёркнутым великодушием, осторожно предложил:

— Хочешь, совсем не будем говорить на эту тему?

Женька даже растерялся: не будем говорить? Почему?

— Если ты во всём этом не разбираешься...

Женька промолчал. Последних слов он будто вовсе не слышал: слишком многое торжествующе колыхнулось у него в душе. Это он-то не разбирается — после того вечера!..

Сейчас, читая Володино сочинение, Женька то и дело восклицал: «Здорово! Вот здорово!» Сочинение Володи ему и в самом деле нравилось. Володя ждал, терпеливо улыбаясь.

— Я тебе свои стихи покажу когда-нибудь,— посулил он.— Вот они, кажется, правда неплохие, а это...

— Ты и стихи пишешь? Володька, здорово!

Потом Женька вдруг нахмурился.

— Я что-то не всё у тебя понимаю, слушай... Вот здесь: «...не слепое влечение, как у Ромео и Джульетты...»

— Что тут не понимать?

— А как же?

— Послушай,— лицо Володи погасло, глаза холодно сощурились,— мы ведь, кажется, договорились с тобой — не понимаешь, ну и не суйся.

— Не понимаю, зачем писать, чего не думаешь. За язык тебя тянут?

— А ну, дай сюда сочинение! — решительно потребовал Володя.— «Не понимаю, не понимаю!» Может, это вовсе не у меня написано, а у Ключанского.

— У какого ещё Ключанского?

— Брошюра есть такая: Ключанский. «Облик молодого человека Сталинской эпохи». У какого!

— Иди ты к чёрту! — с досадой сказал Женька.

Нет, ничего не получалось у них с Володей после двухлетней разлуки. Они были когда-то друзьями... Значит что-нибудь это слово «друзья»?

С Володей Никитиным они и в четвёртом, и в пятом, и в шестом классе сидели за одной партой. Большелобый, круглоголовый Володя был в ту пору самым большим драчуном и выдумщиком, дружить с ним было весело. Он мог, например, заложить копейку в сосок надутой футбольной камеры и забросить эту камеру куда-нибудь за шкаф, в дальний угол класса. Посреди урока внезапно раздавались пронзительные жалобные звуки, ребята катались по партам и изнывали от удовольствия, Володька оставался невозмутимым. Урок срывался, конечно. Как никто другой, Володя умел в самый разгар занятий вывести из строя электропроводку на целом этаже, изобретал какие-то удивительные прозвища учителям и виртуозно подражал интонации директора. Когда же дело доходило до серьёзного разбирательства и неприятности угрожали всему классу, Володя всегда выходил вперёд и смело брал вину на себя — получалось это у него всегда как-то особенно эффектно. Его вели в кабинет директора, вызывали родителей, исключали из школы на два дня или на две недели. В класс он возвращался чуть побледневший, но с обычным незабываемым видом. Товарищи встречали его, как героя: Володька был молодец, мировой парень, дружить с ним было не только весело, но и лестно.

До седьмого класса Володя Никитин и Женья Соколов вместе мечтали

уйти в Нахимовское училище,— родители не пускали. Володька не стеснялся комментариями: его родители, оказывается, вообще были не то чтобы отсталыми, но... В седьмом классе он вдруг решил, что морская служба — буза, десятилетка — буза, и, поспорив с родителями, куда-то уехал из Москвы, в какое-то специальное, военное училище — «засекреченное», как он объяснил умирающим от зависти мальчишкам.

Вернулся он совсем недавно, уже в девятый класс,— в кительке со споротыми погонами и в полувоенной фуражке, коренастый, плотный, как-то очень раздавшийся в ширину, с круглыми плечами и круглой, наголо остриженной головой,— вернулся и сразу же сел рядом со старым своим «корешом», с Женькой. Из училища, как он рассказывал, ему пришлось уйти, потому что стала развиваться близорукость: очкастых там, как известно, не держат, это же понятно почему, а читать Никитину приходилось в очках. Но вообще-то он был доволен — это училище, как выяснилось, тоже буза порядочная...

Что-то очень раздражало Женьку в этом новом Володе, он только не мог определить, что именно,— то ли неизвестно где усвоенная развязная, покровительственная манера, то ли этот дурацкий тон, когда Володя заводил речь о девочках или о каких-то там выпивках, чёрт знает о чём,— все эти разговоры Женька искренне считал трепотнёй и пижонством. Может, просто два года разлуки не прошли для Женьки даром, и он научился сколько-нибудь критически относиться к своему другу. Женька склонен был скорее себя упрекнуть в неуживчивости и в любых иных грехах: Володька по-прежнему был одним из самых интересных ребят в классе, прекрасным товарищем и во всех отношениях своим человеком — детские впечатления, как известно, оседают наиболее прочно.

Женька мог как угодно часто задумываться о своём друге с честным намерением разобраться во всём, что ему в нём нравилось и что не нравилось,— Володька это словно бы вовсе не касалось. Всем Женькиным сомнениям противостоял открытый взгляд Володи, беспечный и насмешливый. «Вот он я — весь, как есть,— казалось, говорил этот взгляд.— А ты всё выдумываешь, братец, всё выдумываешь...»

В самом деле, что особенного в том, что Володя списал сочинение? Многие списывают. Вот и Владик Пелевин списал, а отношение Женьки к нему каким было, таким и осталось: простым, доброжелательным и не слишком серьёзным — серьёзно к Владiku в классе никто не относится. А чем плох Владик? Владик пишет: «Советская молодёжь всегда готова на подвиг» — и в самом деле готов на подвиг, очень просто может совершить подвиг, Женька за это голову на отсечение даст. Так вот, ни о чём не задумываясь, беззаботно — Владик всегда такой! — возьмёт да и совершит: ринется, например, всем своим крупным и детским телом на амбразуру вражеского дота. И любой из ребят совершит, Женька за них ручается,— Юрка, Лёня... А Володька? Нет, наверное, и Володька, если уж очень надо будет, совершит подвиг, пожертвует собой, как только Володя умеет — эффектно, красиво, с вызовом. Шёл же он когда-то в шестом классе один за всех в кабинет директора! Но вот Владик пишет: «Девушка — друг и товарищ»,— и для Владика действительно все добрые товарищи и друзья — девочки, ребята. А для Володьки? Володька опять так вот покрутит пальцем перед носом: «Ладно, ладно... Знаем, мол, все эти так называемые прекрасные чувства...» Женька вновь, при одном только воспоминании о том разговоре, зубы стискивает от обиды.

И никто ничего не знает, никто! Никто ни о чём не думает. Володя Никитин — именно Володя Никитин, а не кто-нибудь другой, потому что Володя Никитин лучше всех говорит в классе,— Володя будет выступать на диспуте о большой, настоящей, большевистской принципиальности!..

Они выходят из класса и молчат. Одновременно получают в гардеробе пальто и шапки и не обмениваются ни словом. Вместе выходят из школы. Володя не отстаёт ни на шаг, тем более что идти им нужно в одном направлении, — в последнее время он относится к Женьке бережно, терпеливо и снисходительно, как к тяжело заблажившему ребёнку. Женьку это немножко трогает, чаще возмущает.

Мелкий дождь словно не падает, а висит в воздухе, тротуары блестят, отражая расплывающиеся, пронизанные радужными иглами огни фонарей. Блестят проходящие с лёгким шелестом машины, крыши, плащи, сумки пешеходов. Друзья идут молча, подняв воротники, поёживаясь от сырости. Потом Володя останавливается и обычным своим открытым жестом протягивает руку — они дошли до Володиного подъезда. Глаза у Володи смеются, и Женьке, когда он смотрит в эти глаза, в который раз кажется, что он просто мелочный, нелепый идиот со всеми своими переживаниями. Упрямо ожесточаясь, он говорит неожиданно для себя:

— Знаешь, какой ты? Ты — как твой дом!

О, дом, в котором живёт Володя, это особенный дом! Он занимает едва ли не полквартила, густо населённый и совсем-совсем старый. В доме провисшие потолки, длинные тёмные коридоры с выщербленными половицами, глубокие пещеры коммунальных кухонь с глухо, словно из бани, доносящимися оттуда раздражёнными женскими голосами. Над асфальтированным колодцем двора нависли уродливые пожарные лестницы, во двор выходят пропахшие кошками и помойными вёдрами так называемые чёрные ходы и крошечные оконца, кое-где заткнутые тряпками или забитые фанерой. Но зато со стороны улицы дом этот прикрыт светлой, нарядной облицовкой — он должен гармонировать с построенными рядом действительно хорошими домами — и с первого взгляда решительно ничем от этих новых домов не отличается: между украшенными лепкой балконами вьётся красивый орнамент, по вечерам вдоль фасада загораются неоновые вывески, по праздникам во время иллюминации от глянцевого цоколя до крыши взбегают гирлянда зелёных и красных огней.

— Ты — как твой дом, — убеждённо повторяет Женька.

Володя равнодушно, словно всё это не к нему относится, скользит взглядом по нарядному фасаду.

— У наших соседей на днях сортир обвалился, — говорит он.

— Видишь!

Очень смешно это у Женьки вышло. В самом деле, что «видишь»? Оба невольно расхохотались.

— Подожди! — умоляюще воскликнул Женька. — Да подожди ты!

— Ну?

— Ты ведь на диспуте будешь о принципиальности говорить...

Володька пренебрежительно пожал плечами.

— Успокойся, я ещё, может, и не буду.

Женя не очень уверенно сказал:

— А я буду, наверное.

— О ком?

— Обо всех. О тебе, обо мне.

Володя насмешливо согласился:

— Говори, говори, твоя обязанность такая.

Ах, вот как — обязанность! Женька оскорблённо рванул. Рядом шёл, в глаза сочувственно глядя, хороший товарищ из себя корчил, а сам... А сам ничего, ну ничего не понимает!

Он непременно будет говорить, и тем хуже, если такова действительно его обязанность. Тем хуже, потому что в искренность его, наверное, никто не поверит, а он никогда ещё не думал честнее.



Может быть, это с каждым человеком бывает? Живёт, живёт — потом вдруг задумается, оглянется назад и видит, что совсем он не тот, каким был ещё недавно: как будто на ступеньку выше поднялся. И характер у него другой, раньше характера словно бы вовсе не было, и отношение к людям иное, правильное — раньше дурак дураком ходил, и чувство такой весомости, такой полноты собственного существования, как будто сознательная, взрослая жизнь только теперь начинается. По-настоящему взрослая.

С чего всё началось? Раньше Женька плыл себе по течению, иногда учился, чаще не учился, иногда готов был за полночь сидеть над интересной книгой или над сложной задачей, иногда целыми неделями дурил, халтурил, ни за что не брался. Ни о чём не думал — вот как Жорка Корецкий. И так же, как Жорка Корецкий, всем был доволен.

У каждого душа созревает по-своему и в свой час — Женька ещё не знал этого. В самом деле, это у всех так бывает или он, Женька, какой-то особенный, не такой, как все? Какой он? Женька даже дневник завёл — никогда раньше не сказал бы, что может вести дневник. На первой странице написал: «Прошу не трогать». Потом подумал: «Кому же и трогать, кроме мамы, а мама чужого дневника читать всё равно не будет, только обидится на эту надпись», — первую страницу вырвал. На обложке вывел — любовно, как признание, твёрдо, как клятву, — «Т. О.».

Неожиданно заполнились вечера, когда идти некуда, а мамы почему-нибудь нет дома. Тикает будильник — днём его не слышно. Горит одна только настольная лампа. Перед развёрнутыми страницами дневника стоит фотография в простенькой рамке — величайшая семейная драгоценность! — мама прильнула к плечу молодого военного. Военный без погон, с кубиками в нашитых петлицах. Папа. У папы упрямая морщинка меж бровей, взгляд, устремлённый на Женьку, чист, требователен и очень серьёзен.

Когда-то Женька смотрел на эту фотографию горестным, остановившимся взглядом ребёнка, потрясённого непоправимой бедой; сейчас он невольно ищет в отцовских глазах ответа.

«Рядом шёл, всё время был рядом, товарищем прикидывался, — недолго делится он. — А потом взял и сказал: обязанность твоя такая... Что же он тогда понимает, а ещё друг...»

«Плохой друг».

«Друг, папа!»

«А теперь я должен готовить комсомольское собрание, — записывает Женька позднее. — Доклад поручил сделать Абраму — Абрам по части всяких общественных поручений человек безотказный. Доклад-то он сделает, только всю эту неделю будет у меня и у Алика уроки списывать, иначе, он говорит, ему готовиться к докладу времени нет. Разве это по комсомольски? Принципиально, да?»

«А сам, сам ты каков? — придирчиво спрашивает отцовский взгляд. — Думай, сынок, хорошо думай».

«Ни о чём думать не могу! — страстно протестует Женька. — Очень люблю её, просто очень. Мы сегодня опять ходили с ней и говорили, говорили обо всём — она необыкновенная...»

«Я очень любил твою маму, да», — грустно, серьёзно отзываются отцовские глаза.

Наконец наступило и собрание, к которому так мучительно готовился Женька. Началось оно буднично, как начинались многие собрания до него. Доклад о принципиальности делал Абрам Фальцатый. Заглаживая назад мягкие волосы, то и дело похлопывая себя по карманам, нащупывая то авторучку в одном из них, то комсомольский билет в другом,

Абрам скучливо и добросовестно говорил по данному вопросу всё, что может сказать средних способностей и не бог знает какого оригинального ума человек.

— Вам нравится, Алина Андреевна? — тихо осведомился сидящий за председателя Женья.

Алина Андреевна насторожилась:

— Хорошо как будто подготовился?

— Да, он три дня из читальни не вылезал.

— Видишь! А почему ты спрашиваешь — тебе не нравится?

— Нет.

— Почему?

— Сам не знаю.

Не нравился Женьке доклад всё потому же: говорит о принципиальности, а у самого этой комсомольской принципиальности на волос нет. Абраму весело похлопали. Женька сердито сказал:

— Хлопают, потому что кончил,— и, вместо того чтобы вести собрание, первый поднял руку.— Алина Андреевна, я хочу спросить: что же такое принципиальность? Верность человека своим убеждениям, так?

— Так.

— Во всё, что бы он ни делал?

— Во всё.

— Может принципиальный человек — только если он в самом деле принципиальный — говорить одно, а делать другое?

— Если в самом деле принципиальный — не может, конечно.

— Ну и всё. Больше я ничего не хочу сказать...— И вдруг горячо, взволнованно заговорил: — Что же тут Абрам говорил: советская молодёжь идейная, советская молодёжь принципиальная, советская молодёжь такая и такая... Повторяем, как попки! Мы советская молодёжь или нет?

— Женья!

— Ну, конечно,— Алина Андреевна, вы подождите! — советская мы молодёжь или нет? Советская? А почему же тогда мы говорим одно, а делаем другое? Почему? О том, что мы комсомольцы, вспоминаем тогда, когда надо взносы платить, да и то сколько за нами тот же Абрам ходит, уговаривает. Комсомольцы! Пионервожатые работают? Нет! Стенгазета не выходит, радиоузел молчит, культпоходы намечали — так эти культпоходы на бумаге и остались. Уроки все одинаково сдувают друг у друга — и комсомольцы и некомсомольцы. Говорим о принципиальности! Вон Абрам — первый списывает, если на то пошло! Он перед докладом одной рукой из Ленина выписки делал, а другой...

Абрам, оскорблённый в лучших чувствах, растерянно заморгал.

— А сам? — с откровенной враждебностью спросил со своего места Володя.

— Я о себе говорю?

— Знаешь, стоит иногда и о себе сказать — так, для приличия.

— А «для приличия» я могу сказать, пожалуйста, что комсорг я фиговый, гнать меня надо. Фиговый, потому что ничем не лучше вас.

— Ого!

— А что? — Женья самолюбиво поднял брови.— Должен я быть лучше вас или не должен, если я комсорг?

— Правильно! — азартно выкрикнул Юрка Шнырёв. Глаза у Юрки заблестели, вздыбленные волосы задрожали — любил человек всякое такое необычное слово.— Правильно, Сокол, дави!

— Неправильно! Сам филонит на истории, смотреть противно.

Юрка даже задохнулся от негодования:

— Ха! Кому это там смотреть противно?

Женья жестом остановил товарища.

— Ну, филоню, а что? — холодно осведомился он. — Хорошо это? Плохо! Я об этом и говорю.

— Он об этом же и говорит! Лопухи!

— Сокол, не задавайся, за это морду бьют.

Женя с покрывшимся пятнами лицом переждал поднявшийся шум. А вот сейчас он будет говорить дальше. Всё равно он делает так, как считает единственно правильным, даже если никто и не поймёт, что при этом у него на душе.

— И добро бы ещё молчали, — продолжал он, когда тишина кое-как восстановилась. — Ну ладно, плохие комсомольцы, так пусть бы уже помалкивали. Нет, они ещё пыль в глаза пускают!

— Вот как!

— Володька, дай сюда своё сочинение!

— Я его не взял сегодня.

— Ты с ним не расстаёшься, взял! Ладно, я и так помню. «Комсомольца отличает высокая требовательность к себе Павки Корчагина и безукоризненная честность Зои Космодемьянской...» Писал ты это в своём сочинении? Я хорошо помню, писал! Хоть бы уж Зою в покое оставил! Она погибла, а Володя Никитин про неё из книжки списывает!

— Сокол!

— Списывает о том, что комсомольца отличает высокая честность! Нет, вы вдумайтесь — списывает о честности! Ну, пусть я халтурщик, лодырь, не знаю кто, пусть комсорг липовый! А до этого даже я не дойду — до этой вот двойной бухгалтерии!

— Сокол, слишком!

— Ничего не слишком, здорово!

А Женька, помедлив, прибавил невразумительную, никем не понятую фразу:

— Живёт в доме с фасадом, вот!..

Он взволнованно присматривался, кто его поддерживает. Ну, Юрка, во-первых, того, наверное, даже в коридоре слышно. Крупно жестикуюлируя, Юрка горячо доказывает окружающим: «Сокол? Сокол очень правильно говорит и по-товарищески, кто там сомневается в этом, он к Володьке, если хотите знать, лучше нас всех относится. Заладили одно: «Сам такой же!» — он об этом и говорит!» Вокруг Юрки, как всегда, как-то особенно шумно и возбуждённо. Кто ещё поддерживает? Алик, конечно, ведь Алик умница! Алик сияет, вертится, что-то пытается говорить, на лице его попеременно отображается восторг, негодование, готовность броситься на помощь, болезненное сочувствие, страстный протест. Лёня Лицкевич тихо улыбается от удовольствия, совсем как кошка, у которой за ухом чешут, даже книжку не читает, как обычно на собраниях, отложил её в сторону — значит согласен с Женькой, значит проняло! Владик Пелевин, что-то соболезнующе нашёптывая Абраму, весело подмигивает Женьке — разве Женька не говорил всегда, что Владик — мировой парень! Большинству Женькино выступление явно нравится. Женька удовлетворённо заканчивает:

— А мы о принципиальности говорим... Говорим, говорим — противно!

Алина Андреевна, покраснев от волнения и переводя взгляд с одного лица на другое, растерянно улыбалась. Во всём, что происходило, она успела отчётливо уловить одно: Володя Никитин списал сочинение, а она поставила за это сочинение «пять». Алина Андреевна спросила:

— Володя, ты в самом деле списал сочинение?

Никитин криво усмехнулся.

— Списал, Алина Андреевна.

— И то место насчёт любви тоже?

— Какое? Там, где про Фархада и Ширин? Нет, это всё я сам насочинял. А что, плохо?

— Я не говорю, что плохо...

Жора Корецкий запротестовал из своего угла:

— Веди, Сокол, собрание. У нас о принципиальности разговор, а не о сочинениях. Так до ночи не кончим.

Мирзоянц деловито обернулся к нему.

— «Расскажи, о чём тоскует саксофон?»

— Дай мне слово! — решительно поднялся Володя. Лицо у него сейчас было мужественное, сосредоточенное, как у человека, который многое понял и многое пережил, но не считает возможным по всяким соображениям занимать присутствующих своими интимными переживаниями. — В самом деле, говорим, говорим... Прежде всего лично у вас, Алина Андреевна, прошу прощения тысячу раз за то, что всё так нескладно получилось. Во-вторых... Во-вторых, я считаю, ребята, что Женька совершенно прав. Да, да. Он немножко скотина, — Володя примирительно улыбнулся, — но всё-таки он совершенно прав. В самом деле, мы очень много говорим, ребята, всяких хороших слов. Тихо! — Он предупреждающе поднял руку. — Очень много говорим и ничего не делаем. Мне думается, нам надо хорошо обсудить, что мы возьмём на себя, а не трепать зря языками. Так? Что, Шнырёв, шумишь? Так? Правильно я говорю?

Юрка Шнырёв громко глотнул воздух, весь его изумлённый вид говорил: «Ну и чёрт этот Володька, вот ведь умеет повернуть!» Всё, кончилась Юркина поддержка! Владик Пелевин, быстро взглянув на Женьку, вдруг расхохотался, и Женька отчётливо представил себе, какой у него сейчас растерянный, дурацкий вид.

Никитин красиво и уверенно повернулся к Женьке.

— Так я понимаю твою основную мысль, Сокол?

Женька молчал, ему вдруг всё стало глубоко безразлично. Честное слово, ради этого не стоило столько переживать... Маленький Бесёнок — в классе Юрку Бесова никто не звал иначе отчасти потому, что один Юрка в классе уже был, отчасти потому, что он и впрямь напоминал бесёнка своим несдержанным язычком и остренькой, подвижной физиономией, — Бесёнок лукаво посочувствовал:

— О храбрый Сокол, в борьбе с врагами истёк ты кровью...

Добродушный детский голосок Бесёнка всех развеселил. Женька заставил себя улыбнуться:

— В самом деле, давайте до чего-то конкретного договариваться. Так, Алина Андреевна?

Какие могут быть в таких случаях решения? Не халтурить, не списывать, помогать отстающим — в чём ещё может выразиться их сознательность и принципиальность? Скучно, скучно... И не то. Женька хорошо чувствует, что это не то, а что именно «то» — понятия не имеет. Будут они выполнять свои решения? И не подумают, завтра же всё пойдёт, как было. Володя торжественно возглашает: «Бес, записывай в протокол!» Володя первый и не поинтересуется завтра, где лежит этот протокол и что в нём записано.

— Очень хорошо выступал Женя Соколов, — говорит, между тем, Алина Андреевна. — На общем диспуте будут выступать Абрам Фальцатый, Володя Никитин, Соколов Женя...

— Только не я!

Алина Андреевна пугается.

— Женя, что ты? Почему? Совсем же готовое выступление! Полно, не подводи класса.

А когда уже расходились, к расстроенному Женьке подошёл Володя и сказал как-то особенно небрежно:

— Другом своим я тебя, между прочим, не считаю больше, можешь принять к сведению.

— Почему? — сурово, осуждающе спросил Женька.

— Так. Дурак ты. Ничего не понимаешь, а лезешь.

— Что же тут понимать?

Володя сдержался, круто отвернулся.

— Ну ладно.

## 6

На следующий день Володя отсел от Женьки, переменялся местами с Аликом Мирзоянцем. Когда его спрашивали, почему он так сделал, отвечал с беспечным хохотком:

— Не сошлись характерами...

Женька исподлобья поглядывал на него. Неужели Володе действительно безразлично, что так всё получилось между ними? Женька не мог ни о чём другом думать: Володька мог быть каким угодно — он не смел быть равнодушным к нему, к Женьке, они же дружили всё-таки!..

Алик, словно понимая его, даже не заговаривал о том, почему вместо первой очутился на последней парте. Все уроки что-то вычислял на тетрадных обложках, азартно трепля свою шевелюру, а на шестом, на физике, с отчаянием швырнул карандаш и сказал:

— Ничего не выходит. Может, в слова сразимся? Хотя ты теперь ужас какой принципиальный!

Женька искренне удивился:

— При чём это здесь?

Выбрали слово «героизм». Алик предупредил:

— Слова только выше трёх букв придумывать, иначе не играю. Начинаете всякие «ром», «мор» писать — скучно.

Женька углубился в работу: «горе», «море», «ремиз»... И застрял — больше ничего не получалось. Алик, кажется, тоже застрял. Ага, «мозг!» «Мероз», «роиз» — глупость какая-то... «Морг»!

— Соколов!

Женя вышел к доске, он даже вопроса не слышал. Давид Наумович с ожиданием глядел на него, покойно откинувшись на стуле и сложив на животе пухлые руки: в Соколове он всегда был уверен. Сбоку шептали: «Наименьшее количество химического элемента, которое входит в состав молекул...»

Женя, потупившись, сказал:

— Я не выучил урока, Давид Наумович.

Давид Наумович с явной досадой повернулся к журналу. Жора ехидно выкрикнул:

— Принципиальный!

Женька гневно вскинул голову: да, принципиальный! Кто в этом смеет сомневаться — Жора?

— Если можно, я к следующему разу выучу, Давид Наумович.

— А что случилось? Вы нездоровы были, что?

Глаза Алика взывали издали: «Скажи, что болен...» Женька сказал:

— Уважительных причин у меня нет. А к следующему разу я выучу, слово даю.

— К следующему разу! — ворчливо отозвался Давид Наумович.

Алик порывисто поднялся.

— Разрешите задать вопрос?

— Вопрос? — Перо, так и не донесённое до журнала, застыло в воздухе. — Какой вопрос?

— Давид Наумович, разрешите?

Алик уже шёл к доске.

— В седьмом классе мы говорили, что атом состоит из ядра и электронов. Но атомное ядро тоже сложно, оно в свою очередь состоит из протонов — положительно заряжённых частиц — и так называемых нейтронов...

«Вопрос» Алика превратился в довольно длинное сообщение. Алик увлёкся и, казалось, совсем забыл, зачем вышел к доске, — на те немногие вопросы, которые в ходе рассуждений у него возникали, он сам же и отвечал, то и дело оборачиваясь к учителю за подтверждением своих догадок. Давид Наумович, приятно удивлённый и, видимо, сам увлечённый, забывший не только о Женьке и о Женькиной так и не поставленной двойке, но и о сорока пяти минутах урока, ревниво следил за постукивающим по доске мелом.

— Не так, — досадливо морщится он. — Расщепить ядро — это и значит извлечь энергию, связывающую протоны.

— Энергию, которая во много раз превосходит электростатические силы! — с готовностью подхватывает Алик. — Алиханов и Алиханян в своих работах доказали, что...

— Алик, подожди, — искренне заинтересованные, умоляют ребята. — Какие электростатические силы?

— Электростатические силы, которые... Давид Наумович, а вот это я не понимаю, смотрите...

Какой-то вопрос у Алика, оказывается, действительно есть, и касается он проблем сугубо практических, связанных с расщеплением атомного ядра. Давид Наумович отвечает так, как отвечают собеседнику, понимающему с полуслова, — не дорисовывая чертежей и не давая себе труда закончить фразу. Алик торопливо, с сияющими глазами кивает головой.

— Пойдите, — спохватывается наконец учитель, — откуда вы всё это знаете?

— Вы же мне сами литературу рекомендовали. Забыли?

— И вы всю прочли?

— Я, кроме вашего списка, ещё Шпольского пробовал читать — ну, не всё понял.

— Ещё бы!

— Там, Давид Наумович, дифференциалы, интегралы всякие.

— Давид Наумович, — молит класс, — пусть Мирза про атомную бомбу ещё расскажет, интересно...

— Алька, какой у неё вес?

— Почему её на парашютах сбрасывают?

— Довольно! — решительно говорит Давид Наумович. — Тема урока — «Линейное расширение тел»...

Алик пошёл было на место, остановился.

— Давид Наумович! Если бы кружок организовать физический — доклады читать о новейших достижениях...

— Кто там будет работать, в кружке? Это ведь говорится только.

— Что вы, Давид Наумович!

— Интересно!

— Все пойдём!

— Пойдёте вы! Тема урока, повторяю, — «Линейное расширение тел»...

Словно и не вызывали Женьку! Алик удовлетворённо вернулся на место.

— А ты гений, оказывается, — тут же с раскаянием зашептал Женька. — Я, понимаешь, расстроился вчера... Алька, а почему ядро нейтронами бомбардируют?

— Это же просто! Хочешь, приходи ко мне, я тебе всё объясню!

— Иметь дело с такими маленькими частицами...

— Ты ко мне приходи!

Женька у Мирзоянцев никогда раньше не был. Жили они в первом этаже большого дома, в помещении, которое раньше предназначалось под склад или под магазин, а потом было наскоро приспособлено под коммунальную квартиру. За тонкой перегородкой шелестела и невнятно переговаривалась чья-то чужая семья, в огромных окнах, за пожелтевшими газетами, заслоняющими улицу, мелькали тени прохожих. Обстановка была более чем скромная — это даже Женька, по-мальчишески невнимательный к бытовым мелочам, заметил сразу. Старенькая портiera, предназначенная когда-то для более низкой двери, не доставала до полу, на столе лежала чистая заштопанная скатёрка, голые стены были украшены небольшим самодельным ковриком, висящим над узкой железной койкой, множество книг громоздилось на единственном шкафу, на стульях, прямо на полу. На полу же были свалены и сокровища Алика Мирзоянца — Алик был немножко электротехником, немножко радиолобителем. Сам Алик показался Женьке каким-то необычным — может, потому, что вышел навстречу гостю не в вельветовой куртке, в которой Алика привыкли видеть в школе, а в светлой, не очень свежей рубашке, ворот которой он конфузливо придерживал рукой: на вороте не хватало пуговиц. Дома Алик был как-то мягче, проще и, что особенно удивило Женьку, застенчивее.

— А это вот сестрёнка моя, — с интонацией, так же незнакомой Женьке, сказал Алик и кивнул головой на девушку, открывшую Женьке входную дверь. В полутьме коммунального коридора Женька не обратил на неё никакого внимания, сейчас он разглядел смешные бантики за ушами, живые, горячие, как у брата, глаза и доверчивое, смыслёное личико, при внимательном взгляде на которое Женьке сразу стало беспричинно весело и легко.

— Её Катей зовут, — серьёзно пояснил Алик.

Он явно не знал, что делать с гостем дальше, куда его сажать и о чём с ним с первых же слов разговаривать.

— Ты не смотри, что у нас беспорядок, — оправдывался он, по-прежнему придерживая ворот рубашки. — Катьке трудно всё-таки. Ей и с уроками надо успеть и по хозяйству — она просто разрывается. И учится поэтому неважно...

— Не надо об этом, — тихо попросила Катя.

— Я же ничего плохого не говорю! Знаешь, Сокол, не дождусь я, когда зарабатывать начну. Мы бы с соседкой нашей договорились, чтоб она стирала, готовила. Этой стрекозе всё-таки учиться надо.

— А мамы у вас нет? — спросил Женька и вдруг похолодел, пронзанный внезапным воспоминанием: когда-то давно — Женя только что вернулся из эвакуации — учительница привела за плечо заплаканного, нахоленного мальчишку и посадила с ним рядом. Женя с любопытством смотрел на нового товарища, у которого, как сказала учительница, только вчера умерла мама, — но это ведь и был Алик! Он всё забыл — это же и был Алик! Женя почувствовал, что краснеет.

— У нас мама от рака умерла, — просто сказала Катя. — Давно уж...

— Нет, ты подумай, — вдруг горячо заговорил Алик, — с этим же примириться нельзя! Медицина так далеко шагнула, правда? Вот в газетах писали — оживили кого-то... Говорили, пересадку конечностей производят... Колоссальные вещи делают, а от рака средство найти не могут -- это ужас такой! — Алик болезненно сморщился.

Катя деловито встала.

— Пойду чайник поставлю.

— Не надо! — испугался Женька. — Что вы, чаю я никогда не пил?

— Надо!

— Пусть идёт, — успокоил Алик. — Ей же это, понимаешь, приятно — показать, какая она хозяйка хорошая. Вот гостей принимает, как в порядочных домах. Сокол, а ты с мамой живёшь, да?

— С мамой. У меня отец без вести пропал.

— Это я слышал, впрочем. Мало мы друг о друге знаем, верно?

— Выходит, что верно.

— Кто в кого влюблён — это знаем, конечно. А вот таких вещей — что у кого дома, кто как живёт, — этого не знаем. А ведь это самое главное, нет?

Женька подумал о Тусе и промолчал. О том, что важнее, у него на сегодняшний день было своё особое мнение.

Алик засмеялся.

— Ты представляешь — вдруг бы мой папа женился на твоей маме, и жили бы мы одной семьёй...

— Что ты! Моя мама не хочет замуж...

— Это ты не знаешь! Все женщины хотят замуж.

— Моя не хочет...

Впрочем, идея так или иначе породниться с Мирзоянцами Женьке понравилась, он с удовольствием подхватил шутку:

— И была бы мне твоя Катька сестрой. Мировая девчонка, честное слово!

— Она, между прочим, правда, хорошая, — серьёзно согласился Алик. — Жаль — маленькая...

— А что?

Алик, прищурившись, критически оглядел Женьку.

— Мне что-то сегодня всех женить хочется...

— Это не меня ли?

Оба расхохотались. Появление Кати с её невинной мордочкой и бантиками за ушами развеселило друзей ещё больше. Катя нерешительно остановилась в дверях.

— Вы что?

— Ничего!

— Чумовые какие-то...

Пили чай с сахаром и белым хлебом. Женька, которому мама всегда припасала к чаю конфет, или баночку варенья, или кусок домашнего пирога, решил бы, что так пить чай, пожалуй, бессмысленно и попросту невкусно, но вид Катьки, важничающей за столом, неизменно приводил его в хорошее настроение. К тому же и проблема за чаем решалась немаловажная.

Алику было ясно одно — он высказал это с присущей ему категоричностью, — ясно было, что футбольный кубок завоюет команда, в знак преданности которой он носил на куртке красный, перечёркнутый белой полосой ромб. Алик отнюдь не являлся членом добровольного спортивного общества «Спартак» — достаточно было, что он за него болел. Это уже давало ему основание со всей категоричностью утверждать, что спартаковцы — мощь, сила, что в финальной встрече они, безусловно, «дадут прикурить» своим соперникам.

Женька снисходительно посмеивался. Женька твёрдо знал, как и каждый здравомыслящий человек, конечно, что в «Спартаке» собрались одни лаптёжники и что вообще ни одна команда, кроме армейской, играть не умеет. Это же всё было и ребёнку ясно... Алик выразил Женьке тонкое соболезнование: в «Спартаке» был незаурядный центр нападения, всеми признанный корифей, только Женьке с его умственной отсталостью было простительно не знать об этом. Женька холодно отверг соболезнование. Никита Симонян, если уж говорить начистоту, — никакой не корифей, сам



Алик мог бы это признать, если б был в состоянии мыслить сколько-нибудь объективно и честно, — никакой не корифей, а типичный лаптёжник, ничем не лучше всей остальной команды...

В самый разгар страстей пришёл Мирзоянц-старший. Ещё раздеваясь, он пояснил молодому человеку, которого не имел чести знать, что спорить бесполезно, что Никита Симонян, конечно, корифей, так же как певица Гоар Гаспарян в своём роде, артист Папазян — в своём, физик Алиханян — кто ещё?.. Он, Геро Мирзоянц, удивляется смельчаку, который берётся спорить с его сыном на такие темы. По тону, которым всё это было сказано, и по счастливым, благодарным взглядам смешливой Катюшки без труда можно было понять, что Алику в этом доме недёшево обходится его увлечения. Алик торопливо прошептал:

— Ладно, потом поговорим. При них разве поспоришь?

Женька между тем придирчиво приглядывался к Мирзоянцу-старшему. Мысль о том, что этот человек, которого Женька, встретясь он с ним на улице, беспощадно причислил бы к категории «жалконьких» — а «жалконьких» людей Женька терпеть не мог, — что этот маленький седеющий человек с сутуловатой спиной, слабыми руками и невесёлым, ироничным лицом хотя бы в шутку мог быть предназначен в мужья его молодой, красивой, такой необыкновенной маме, — самая мысль об этом показалась ему неприятной, и на миг что-то недоброе шевельнулось у него в душе против Алика. Только на миг. Алик, давно забывший о злополучном входе, с голой смуглой грудью, с раскрасневшимся от спора оживлённым лицом, представляя Женьку отцу, смотрел на товарища так преданно и любовно — камень бы дрогнул под этим сияющим взглядом!

— Вроде бы я вас никогда не видел? — спросил Мирзоянц, маленькой, как у женщины, рукой пожимая Женькину руку.

Женька неожиданно для себя сказал:

— Я теперь надоем — часто буду бывать...

— Сокол, правда?

Алик порывисто стиснул Женьке локоть. Катюшка — эту больше всех здесь спрашивали! — захлопала в ладоши и вприпрыжку кинулась из комнаты разогреть обед для отца. Женька неловко предложил:

— Может, приступим?

— Ох, давай, — отозвался Алик таким тоном, словно вся его жизнь была лишь приготовлением к этой минуте. — Ты садись...

— Я ничего не понимаю, — со вздохом пожаловался Женька. — Ты говорил, что масса электрона в тысячу восемьсот раз меньше массы протона и находится страшно далеко от ядра...

— Колоссально далеко!

— Видишь! Что же тогда материя — пустота? В атоме преобладает пустота, так? В двух атомах — пустота, во многих — опять пустота... Ничего я не понимаю!..

Алик соболезнующе покачал головой.

— Видишь ли, придётся тебе совершенно отрешиться от привычных представлений. Электроны эти крутятся с колоссальной скоростью, колоссально! Фактически в каждой данной точке в каждый данный момент находится один электрон...

— Но если их всего пять!

— Всё равно!

— Ничего я не понимаю...

— А ты сделай усилие, иначе нельзя... Ты привык к ньютоновской механике, так?

— Ну?

— А есть ещё волновая, квантовая механика...

— Ещё и такая есть...

— Что, сел мой сынок на любимого конька? — помешивая ложкой в супе, посочувствовал гостю Мирзоянц. Смотрел он при этом на сына странным, напряжённым взглядом, в котором была и усталая, грустная покорность, и признание своей неумелости, бессилия от чего бы то ни было защитить, и очень много той любви, которая часто светится в глазах не отцов, нет, а многодетных и старых женщин, — любви, вечно встревоженной, невесёлой и суеверной.

Женька, не поднимая головы, рассеянно отмахнулся; придвигаясь ближе к Алику, требовательно сказал:

— Рассказывай...

## 7

Когда Анатолий Лукич появился в дверях зала вместе с двумя представителями — а представителями в школе называют всех посторонних средних лет и выше, независимо от того, представляют они собой что-нибудь или ничего не представляют, — когда Анатолий Лукич появился в дверях зала, человек пять-шесть ребят, стараясь производить возможно больше шума, с грохотом расставляли там стулья и лавки. Анатолий Лукич подозвал Абрама Фальцатого.

— Это все?

Чистые, небесной голубизны глаза Абрама выразили участие.

— Все. Вы не волнуйтесь, Анатолий Лукич, они ещё подойдут.

— Чёрт знает что!

— Они подойдут ещё. Рано назначили — сегодня финальная встреча на кубок.

— Вот, извольте, — обернулся Чечевичный к своим спутникам, — финальная встреча на какой-то там кубок.

Один из представителей, невысокий и плечистый блондин с насмешливым, рассеянно скольльзящим взглядом, корреспондент, как выяснилось, одной из центральных газет, интересующейся между прочим и вопросами воспитания молодёжи, приметно оживился.

— Да, да, ещё бы! Вы за кого болеете, товарищ Чечевичный?

— За сегодняшний диспут, — неумело улыбнулся Анатолий Лукич. — Пройдёмте пока ко мне в кабинет.

Когда Анатолий Лукич вторично появился в дверях зала, всё уже было в порядке. Впереди в белых рубашках и отглаженных пионерских галстуках сидели наиболее красноречивые граждане из младших классов, удостоенные чести присутствовать на диспуте старшеклассников. Старшеклассники, взлетая по лестнице, один за другим появлялись в дверях, оживлённо рассказывали, как «законно», то есть очень здорово, где-то там, у трибун, обошли милицию и как «железно», то есть опять-таки очень здорово, играл центр нападения одной из команд. Анатолий Лукич провёл гостей к сцене, предложил Абраму:

— Начинай.

— Девочки должны прийти, Анатолий Лукич.

— Ждём девочек, — пояснил гостям Чечевичный.

Наконец явились и девочки, скромненько расселись в первых рядах. Абрам вышел с бумажкой.

— Предлагаю в президиум...

Разместился и президиум — на сцене, декорированной красной скатертью из пионерской комнаты и цветами из биологического кабинета. Розовое лицо Абрама опять поднялось над столом.

— Слово имеет...

Вышел независимый, от младенческой поры привыкший к выступлениям пионерчик, с удовольствием зачитал вытверженными фразами:

— Пионер должен быть всегда и во всём примером... У нас есть ещё такие ребята, которые не понимают... Надо всю нашу работу... Мы берём на себя обязательства... Наше пионерское слово...

Он был миловиден и свеж, голосишко у него был звонкий — ему с удовольствием похлопали. Кто-то восхитился вслух:

— Вот чешет!

Абрам скучливым голосом продолжал своё:

— Слово имеет...

На сцену поднялся Володя Никитин, самоуверенно взглянул в сторону девочек.

— Что такое настоящая принципиальность? Это верность человека своим убеждениям в каждый момент его жизни, в каждом его слове... Молодой человек нашей эпохи... Комсомолец должен... Комсомольца отличает... Высокая требовательность к себе Павла Корчагина и безукоризненная честность Зои...

Второй из представителей, Марцышевская, полная, пожилая женщина, то ли из городского отдела народного образования, то ли даже из министерства. — никто, кроме Анатолия Лукича, этого не знал толком, — слушала, то и дело значительно склоняя голову, одобрительно и задумчиво поглядывая в сторону Чечевичного. Выступление Никитина ей, видимо, нравилось. Корреспондент, не поднимая глаз, что-то торопливо писал.

— Наша дружба, — продолжал с удовольствием Володя, — требовательна и принципиальна, она предполагает нетерпимость к недостаткам и постоянную готовность прийти на помощь...

— Очень хорошо! — медленно склонила голову Марцышевская.

— Наша любовь... — Володя на какой-то миг замялся, потом, чуть улыбнувшись, продолжал: — Это не слепое влечение Ромео и Джульетты, Фархада и Ширин, нет! Она основана на общности идей, всё на той же принципиальности... Наша молодёжь все свои силы...

Анатолий Лукич, переглянувшись с Марцышевской, обернулся к Алине Андреевне.

— Очень хорошо подготовили ученика...

Алина Андреевна, не отводя от Володи любовно блестящего взгляда, кивнула головой: ещё бы! Она уже искренне забыла всё, что ей лично довелось пережить с Володиным сочинением: Володя цитировал его сейчас так свободно и непринуждённо, так кстати! Корреспондент, быстро записывая, усмехнулся:

— И о любви говорит, скажите, пожалуйста!.. Как он учится?

— Очень хорошо. Он у нас и стихи пишет...

— И стихи? Прекрасно! Не парень, а готовый очерк...

— Да, не правда ли?

Володе долго хлопали. Корреспондент подозвал его к себе.

— Вы, говорят, и стихи пишете?

Володя скромно улыбнулся.

— Плохие...

Впрочем, свои стихи, каковы бы они ни были, Володя постоянно носил с собой, — он тут же вручил их корреспонденту. Корреспондент, пряча в карман тетрадку, тонко, как сообщнику, улыбнулся Володе: я, дескать, и сам понимаю, что стихи не бог знает какие, — ничего не поделаешь, служба, брат...

Вышел семиклассник, исподлобья глядя в зал, неохотно начал:

— Николай Островский родился в 1904 году в селе Вилия, Волынской губернии...

Звонкий девичий голос перебил поднявшегося Абрама:

— Мне можно сказать?

Абрам растерянно оглянулся на Анатолия Лукича: по списку значился Толька Толкачёв из десятого «Б». Заскучавший было корреспондент с весёлым оживлением поглядел на других членов президиума.

— Я думаю — почему же?..

— Да, да, конечно, — торопливо согласился Анатолий Лукич.

Абрам радостно оповестил:

— Слово имеет Таня Кузнецова из шестнадцатой школы. Пожалуйста! Девочки задвигались, заволновались. Мальчики в задних рядах, разогнувшись, заинтересованно отложили в сторону учебники и книжки.

Та самая чёрненькая энергичная девочка, что играла на вечере в женской школе, встала на сцене, теребя передник. По её лицу видно было, что она чувствует себя сейчас очень решительной и смелой.

— Я хочу сказать... Мальчики никогда ни о чём не разговаривают с нами, они считают, что мы глупее. А мы не глупее. Они думают, что за нами можно только ухаживать — да, да! Пусть они сами скажут. Пусть они ответят на вопрос: может, по их мнению, быть настоящая дружба между мальчиком и девочкой или нет? Как они думают — пусть ответят...

— А ты как думаешь? — улыбаясь своему вопросу, поинтересовалась Марцышевская.

Таня покраснела.

— Я думаю — да!

Смущённо махнув рукой, она соскочила со сцены. Кто-то захопал. Кто-то из девочек крикнул: «Молодец Танюшка!» Володя, посмеиваясь, предложил:

— Давайте поговорим на эту тему...

Анатолий Лукич неодобрительно нахмурился.

— Фальцатый, веди собрание.

— Диспут, а не собрание, — ревниво поправила Алина Андреевна.

— Всё равно.

Абрам дал слово Толкачёву. Оживившаяся было аудитория опять погасла, те, кто предусмотрительно сел сзади, вновь склонились над книжками, девочки попробовали было протестовать, раза два шумнули и тоже затихли. В президиум пришла записка: «Абрам, скорей закругляй. Танцы будут?» Абрам, поймав в толпе напряжённый, спрашивающий взгляд, весело кивнул головой: для танцев всё было готово.

Корреспондент, который, между тем, вовсе перестал записывать и сидел с видом человека, сделавшего всё, что от него требовалось, и сделавшего, кажется, неплохо, беспокойно подвигавшись, заглянул в список Абрама.

— Много там ещё? Ой-ой...

Абрам виновато улыбнулся: «Они быстро...»

— Слово имеет Поленов из девятого «В»...

— Слово имеет Бутурлов из шестого «А»...

— Слово имеет...

Анатолий Лукич был доволен — поскольку, конечно, он вообще чем-нибудь и в какой-нибудь мере мог быть довольным. Сдержанное торжество светилось в сухих чертах его худого, вытянутого лица. Всё шло как по-писаному, деловито, чётко — школе было чем гордиться. Прекрасно организованный диспут достойно венчал работу целой четверти — Анатолий Лукич счёл своим долгом коротко напомнить об этом гостям. Он не дал собственной оценки происходящему, конечно, нет, он именно напомнил о целеустремлённости всей работы в течение четверти, об организационном размахе. Марцышевская тут же отозвалась, что всё это, безусловно, очень ценный опыт, и даже что-то записала на отдельной бумажке, а корреспондент — он единственный чем-то смущал Анатолия Лукича, — корреспондент так ничего и не записал, только, рисуя какие-то квадратики, равнодушно покивал головой: «Конечно, конечно...» В конце концов в школьной работе есть своя специфика, чего ещё можно ждать от чужого, в сущности, человека, от представителя печати!

— Слово имеет Соколов, класс девятый «Б»...

Женя вышел к краю сцены.

— Мы очень много говорим о качествах молодого советского человека, повторяем одно и то же, а сами...

Слова, которых тогда, в классе, Женька, подхваченный ветерком негодования и страсти, не слышал вовсе, теперь отчётливо звучали в его ушах, равнодушные, вялые, словно чужие. Не мог он так говорить! Женька замолчал. Не будет он так говорить, пусть о нём что угодно думают, не будет!..

Незнакомый мужчина рядом с Алиной Андреевной, подняв голову от блокнота, с ожиданием и внезапно вспыхнувшим интересом смотрит прямо в лицо Женьке. И Алина Андреевна смотрит. И Володька смотрит — вон, из рядов! — смотрит насторожённо, хмуро. Бойтся... Может не бояться — им ещё спорить и спорить, но не здесь, не напоказ, не для всех этих чужих людей в президиуме, которым неизвестно зачем всё это нужно. Спокойные, весёлые глаза девочек кажутся Женьке насмешливыми, где-то там, в рядах, сияет оживлённое лицо Туси. Он даже смотреть не будет в её сторону, потому что она, конечно, смеётся над ним и осуждает его, а ему ещё никогда в жизни не было хуже...

Пауза затянулась. Даже самые увлечённые в задних рядах подняли головы с недоумевающим, отсутствующим видом.

— Вон они даже на диспуте о принципиальности книжки читают, — зло сказал вздрог Женька. — Принципиальные комсомольцы!.. — И, махнув рукой, пошёл на место. — А, не могу я!..

В зале насмешливо захлопали. Кто-то восторженно крикнул:

— Сказанул!

— Это возмутительно! — двинул стулом Анатолий Лукич, и Марцышевская согласилась с ним взглядом: «Возмутительно!» — Неужели нельзя было получше подготовить ученика?

— Но он прекрасно выступил в классе, — виновато оправдывалась Алина Андреевна.

— Представляю! Вы мне потом расскажете, как вы вообще готовили учащихся...

— Кто ещё будет выступать? — взывал между тем Абрам. Список его кончился.

Володя, повеселевший, развязный, делал Абраму издали знаки: «Кончай волынку, хотим танцевать...»

— Заключительное слово, — объявил Абрам, — скажет директор школы Анатолий Лукич Чечевичный.

Анатолий Лукич и не сомневался, что теперь наконец-то корреспондент опять вернётся к своим обязанностям; осторожно скосив глаза, он увидел, что корреспондент и не думает к ним возвращаться — о чём-то перешёптывается с Алиной Андреевной, поглядывая на отчуждённо сидящего в рядах Соколова. Это Анатолия Лукича несколько обескуражило, но в конце концов работал он не напоказ, не для печати, и на сегодняшнем диспуте у него были свои обязанности. Каждый молодой человек, каждый учащийся должен был уйти с этого диспута до конца убеждённый в том, что вся наша молодёжь успешно воспитывается в духе большевистской принципиальности, и ответственность за это лежала на нём, на Чечевичном. И Анатолий Лукич говорил, говорил обстоятельно, долго, и говорил всё вещи бесспорные, и не его вина была, если ребята слушали невнимательно, перешёптывались, выражали откровенное нетерпение. Не его, потому что не он воспитывал их до сих пор, а воспитательная работа при его предшественниках была в этой школе, как известна, поставлена из рук вон плохо. Всё это и было написано на лице Анатолия Лукича, пока он выступал: «Я ваш директор, видите, и говорю вам вещи, которые вам необходимо знать, — вы же ведёте себя недопустимо. Я выдержан и терпелив с вами — вы, конечно, ещё не в состоянии этого

оценить, — но выдержан и терпелив я только потому, что не вас виню в подобном поведении...»

— Диспут считаю закрытым! — весело объявил наконец Абрам.

Тут же зашипел репродуктор, ребята с восторгом кинулись сдвигать к стенам стулья и скамьи. Начались танцы. Анатолий Лукич предупредительно поспешил к гостям.

— Очень вам благодарна, очень! — громко заговорила, протягивая ему навстречу руку, Марцьшевская. — Мы получили большое удовольствие, не правда ли? — Корреспондент рассеянно согласился. — Если бы такие мероприятия почаще проводились по школам!..

Из школы вывалились толпой. Туся, с наслаждением вдыхая свежий, холодный воздух, капризно сказала:

— Мальчики, вы домой идти собираетесь? Идёмте гулять.

Володя, подхватывая её под руку, весело закричал:

— Гулять, гулять!..

Шумно двинулись от школьных ворот. Туся спохватилась:

— Женя, а ты? Почему ты не идёшь? Идём же!

Жмущихся друг к другу, сцепившихся под руку девочек обступили ребята. Кто-то тоненько запевал:

А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер,  
Весёлый ветер, весёлый ветер...

— Старая песня, — нетерпеливо морщилась Таня. — Давайте другое споем... Что-нибудь хорошее-хорошее...

— Тебе наш диспут понравился? — спросил Женя у Туси.

— Ничего, паршивенько, — засмеялась Туся. — Ты почему такой сердитый? Потому что засыпался, да?

— Я не засыпался.

— Ты, Туся, ничего в наших делах не понимаешь, — наставительно сказал Володя. — С кем ты шутишь, с Соколом? Сокол не любит, когда шутят.

— Я просто не люблю, когда говорят не то, что думают.

— Это кто же говорит не то, что думает? — с вызовом спросил Володя.

Женя промолчал. Промолчал потому, что Володя держал Тусю под руку, — это мешало Жене говорить. Володя, словно поняв его, выпустил руку Туси и, обойдя её со спины, пошёл между ней и Женей.

— Нет, погоди, — сказал он. — Мне это в конце концов надоело. Почему ты решил, что человек должен обязательно говорить то, что он думает?

— Вопрос!

— Да, почему?

— Потому, что ты сам сегодня полчаса распинался: человек должен быть принципиальным и честным...

— Правильно. Стойте, вы меня на крик не берите, я не таковский. Говорил, ну и что?

— А сам?

— Что «а сам»? Ну, что? Молчишь? Вот уж верно — повторяете, как попки. Человек должен всегда говорить то, что нужно, а не то, что он думает. До того, что он думает, если уж на то пошло, никому дела нет!

— Как это дела нет? — возмутилась Таня. — Как это нет дела? Но ведь от того, что ты на самом деле думаешь, зависит, как ты поведёшь себя в решительный момент.

— Это в какой же, позволь тебя спросить, решительный момент?

— Ну, вот как во время войны, например.

— Уж эта мне девичья романтика! Пойди дождись в нашей жизни этих решительных моментов. И вообще, ни при чём это здесь. Человек должен всегда и делать и говорить то, что нужно, а до того, что я думаю или чувствую при этом, — до этого никому нет дела.

— Скажите!

— Нет дела! Вот, например, я инженер.. подождите. Предположим, очень хороший инженер. И предположим, строю я в горах электростанцию. Хорошо это? Нужно людям?

— Ну?

— Я спрашиваю, нужно это людям?

— Нужно.

— А мне, между прочим, наплевать на людей, я для себя её строю. Ну да, для себя — мне за эту электростанцию Сталинскую премию дадут.

— Не дадут!

— Дадут, не бойся — я такую построю, что дадут!

— Спорить здоров этот Володька! — восхитился Юрка Шнырёв.— Или так: ты поднимаешь полк в атаку, полк идёт и побеждает — да, Володька? А тебе только и надо было — звёздочку на грудь!

— Конечно!

— Нет, не так что-то, — даже огорчился Юрка. — Чтò-то не так. Ты подожди, я ещё буду думать..

— Сколько ни думай...

— Володя, — негромко сказала Валя, — а ты что, электростанцию один будешь строить? Или, может быть, не один?

— Ну, не один, а что?

— Ничего. И в атаку, между прочим, пойдёшь не один?

— И в атаку пойду не один, а что такого?

Валя только пожала плечами. Что-то очень расстроило её сегодня вечером — может быть, то, что произошло с Женькой? Она была молчалива, грустна, сосредоточенна, спорить с Володей ей не хотелось.

— Правильно! — воскликнул Юрка и восторженно сдвинул шапку на лоб.— Никитин, сознайся, вот голова у девчонки!..

— Ничего особенного не вижу!

— Человек — существо общественное, — вступилась и Таня. Сказала она это назидательно, спокойно, но вдруг возмущилась: — То есть как это не видишь? Права Валя! Из нас, между прочим, не только инженеров готовят или там не знаю кого — мы будем с людьми жить, в обществе, из нас должны хорошие коммунисты быть.

— А почему ты думаешь, что из меня будет хуже коммунист, чем из тебя, курочка?

— Володька, стыдно!

— Я же говорила: они с девочками ни о чём говорить не хотят. Извинись!

— Извиняюсь. Ну, чего вы стоите и кричите, милиционер смотрит. Я же сказал: извиняюсь.

— Давайте разберёмся, в самом деле, — весело предложила Туся. — Володя выступил — я уж не знаю, искренне или не искренне, не в этом дело — и наговорил много правильных вещей, так? А Женька ничего не сказал, ведь верно, ребята? Кто из них больше пользы принёс?

— Женька!

— Нет, конечно же, Володя.

— Постой, — горячо вступился Женя. — Тебе много пользы принесло Володино выступление?

— Ну, мне! — засмеялась Туся. — Я вообще легкомысленная девчонка, что ты, не знаешь? — И примирительно тронула Женьку за рукав.— Мальчики, мы так и будем спорить, да? Петь хочется.

— А мне понравилось выступление Сокола, — решительно заявил вдруг Алик. — По крайней мере, ни одного слова не сказал!

— Вот это да!

Над Аликом засмеялись, затормошили его. Он удивлённо оправдывался:

— Нет, я серьёзно говорю! Ни одного слова!

— Алик, ты с ума сошёл!

— А что? Мне сто двадцать два раза скажи: «Да здравствует принципиальность» — я самым беспринципным человеком стану!

— Давайте петь! — решительно потребовала Туся, хватая под руки Алика и Женю и со смехом увлекая их за собой. — Один уж договорился, давайте!

Вдоль улицы Горького спускались по мостовой, не по тротуару, сцепившись под руки, привлекая внимание прохожих.

Нас улица шумом встречала,  
Шумела в бульварах листва...

Мальчишки застенчиво и неумело вторили смелым девичьим голосам:

Мы идём, мы поём,  
Мы проходим по проспектам и садам...

При переходе через Охотный ряд пришлось разбиться; огибая спешащих из метро прохожих, со смехом цепляясь друг за друга, миновали гостиницу. На Красной площади замедлили шаг, притихли, прислушиваясь к торжественному безмолвию кремлёвских стен, к треску алого полотнища в вечернем небе. Куранты нежно, осторожно, словно напоминая о чём-то, отзвонили три четверти, потом одиннадцать. Очень не хотелось уходить.

Не сговариваясь, спустились на набережную, долго глядели в медленную, по-осеннему тяжёлую воду. Потом опять обернулись к кремлёвским стенам. Кремль сейчас был, как корабль на рейде, — с редкими огнями, величавый, безмолвный и, так же как корабль, словно ненадолго остановившийся в сильном движении, весь точно заряжённый им, словно вновь готовый двинуться в долгий суровый путь.

— Монету я видел недавно, — негромко заговорил вдруг Женя. — Понять было невозможно — то ли три копейки, то ли пять: всё стёрлось...

— К чему это ты?

— Так. Я думаю: вот и слова стираются, если их без души, по любому поводу употреблять.

— Опять в мой огород камешек? — добродушно спросил Володя.

— Не знаю. Нет. Такие хорошие вещи на свете есть, а мы их портим, портим...



Уже все знали, что на диспуте присутствовал корреспондент от центральной газеты, и с нетерпением ждали статьи, которая вот-вот должна была появиться.

— А что он может написать? — удивлялись некоторые. — Он совсем и не слушал, если на то пошло. Сидел позёвывал...

— Нет, ничего, — считал необходимым вступаться за корреспондента Абрам. — Когда что-нибудь интересное было, он слушал.

— Что там было интересного!

Статья, между тем, всё не появлялась; появилась она тогда, когда её и ждать перестали, — уже в конце второй четверти. Новость принёс Юрка Шнырёв:



— Ребята, внимание! Слушайте, про нас с вами написано!

Юрка был рождён для сенсаций, у него даже кончики ушей горели. Чести читать статью он никому не мог уступить, конечно, тем более, что газета уже была у него в руках. В класс дёрнулись было восьмиклассники:

— Девятые, эй! На втором этаже ваших бьют!

Но даже это не произвело обычного действия: никто не сорвался с места с неистовым гиком. Юрку поторопили:

— Шнырь, читай! Ладно, с этим со всем мы потом разберёмся...

Впрочем, для порядка и острастки на второй этаж был тут же командирован Саша Саламатин — мускулатура Саши Саламатина была известна не только в школе, но и далеко за её пределами. Саламатин вышел из класса, покачивая на ходу широченными плечами и многообещающе улыбаясь.

— Слушайте! — забираясь с ногами на парту, начал Юрка. — «В школьном зале, освещённом десятками ярких огней, один за другим появляются сияющие, жизнерадостные юноши...»

— Мы, значит.

— Мы!

— «Сияющие, жизнерадостные» — смотри, пожалуйста!..

— «На трибуну выходит один из них — подтянутый, широкоплечий, с вдумчивыми, пытливыми глазами...» О господи!..

— Это кто же?

— Володька!

— «Наша дружба, — говорит он, — предполагает требовательность друг к другу и постоянную готовность помочь. Наша любовь...»

— Ладно, знаем...

— «Шум аплодисментов покрывает его слова. Володе Никитину удалось с предельной силой высказать то, что волнует молодую аудиторию...» Сокол, чувствуешь? Те самые монетки стёршиеся...

Женя молча кивнул головой. На лице его была и видимая безучастность, и интерес, и брезгливая странная усмешка. Владик Пелевин, склонный всё происходящее принимать скорее как весёлый, не часто случавшийся анекдот, человек неистребимо легкомысленный, картинно подбоченившись, подмигнул Никитину.

— Вот, Володька, какой ты умный, оказывается!

— Смеётся...

Юрка поднял руку.

— Стойте! «Звонко и искренне звучат в притихшем зале взволнованные стихи...»

— Что?

— Какие ещё стихи?

Владик расхохотался.

— Это ты читал стихи, Володька? А ну, ну?..

И я бы погиб за народное дело,  
Как Юрий Смирнов, как Матросов, Гастелло,  
И пусть бы, как молния, оборвалась  
Та жизнь, что даётся один только раз...

Алик Мирзоянц серьёзно спросил:

— Это твои стихи, да, Никитин?

— Чьи же?

— А чёрт их знает! Всё может быть.

Володя небрежно пояснил:

— Приведены, так сказать, для пользы дела.

— Хорошенькая польза!

Юрка, почёсывая в затылке, озадаченно вглядывался в чёрным по белому написанные слова: «Звонко и искренне звучат в притихшем зале взволнованные стихи». Его подтолкнули.

— Ты дальше читай.

— «Таня Кузнецова выступает от имени гостей. Она говорит о том, что юношей и девушек должна объединять большая принципиальная дружба».

— Танька же не о том говорила! — опять засмеялся Владик. — Сокол, ты куда?

Алик сочувственным взглядом проводил отошедшего к окну Соколова.

— Один сошёл. Дальше!

— «Комсомольцы вспоминают на этом вечере и славную жизнь Николая Островского и светлый подвиг молодогвардейцев... По их задумчивым лицам, по взволнованным взглядам видно, что они... Выступления учеников, один за другим поднимающихся на трибуну, звучат, как клятва — клятва в верности тем принципам, которые...» Сокол, зря ты ушёл — тут так и сыплется, так и сыплется...

— Смотрите, обо всех есть, а о Женьке ни слова!

— Материал не выигрышный, — усмехнулся Володя.

— «Слово берёт Анатолий Лукич Чечевичный, директор школы, душа и инициатор этого вечера...»

— Как, как?

— «Душа и инициатор этого вечера» — почувствуйте! Да не смейтесь вы! «С вниманием и волнением слушают ученики слова о том, как воспитывается наша молодёжь...»

— Враньё! — восторгается Владик. — «С вниманием и волнением!» Я, например, ни слова не слышал, я книжку читал...

— А что ж, он тебе так и напишет: выступает директор школы, так сказать, душа и инициатор, а Пелевин во время его речи книжку читает?

— А что? — хохочет Владик. — Зато правда.

— Кто это там правды захотел? — оборачивается от окна Женья. — Ты, Владька? Нет, вы мне скажите, кому это всё нужно, кому... — и вдруг ругается. Ругается неумело, как-то особенно старательно, глаза у него при этом злые и несчастные — и все затихают, один Володя криво усмехается.

Юрка Шнырёв, трясая газетой, подступает вдруг к Никитину — белобрысые волосы его вздрагивают, узкие въедливые глаза полны весёлой ярости.

— А тебе не противно, да? Совсем не противно? Тебе это нравится?

— Успокойся, не нравится.

— Рассказывай! Ты смотри, какой ты там — подтянутый, широкоплечий, выражаешь неизвестно что с предельной силой...

— Не пойму, завидуешь ты, что ли?

— Завидую? Я? — Юрка даже расхохотался. — Я сам — подожди — жизнерадостный, сияющий, идейный — вот какой!..

— Им поверить, — подхватил Алик («им» — это, очевидно, значило «газетчикам»), — так везде одно и то же: в Ереване то же, что и в Сталинабаде, на Кубани так же, как и в Москве. Честное слово, никуда ехать не хочется. Зачем? Везде одно и то же...

— Я, ребята, берусь такие статьи не сходя с места писать.

— Одной левой!

— А что? Можно...

— Нет, вы скажите, — настойчиво продолжал Женька. — Вы мне скажите только одно: чему я теперь верить должен?

Что же до Анатолия Лукича, то он был приятно изумлён: корреспондент, который на диспуте относился ко всему с холодком и плохо скрытой

иронией, разобрался во всём, оказывается, доброжелательно и с большим знанием дела. Интересно, ознакомилась ли уже Варвара Павловна с сегодняшней статьёй? «Директор школы Чечевичный, душа и инициатор этого вечера...» Работники министерства, сам министр читают газеты!..

Во всяком случае, на педсовет, посвящённый предварительным итогам полугодия, статья эта попала как нельзя более кстати.

— Сегодняшнее выступление центральной печати, — очень скромно и с большим достоинством начал Анатолий Лукич, — свидетельствует о том, что уровень воспитательной работы у нас поднялся по сравнению с прошлым годом. Я очень сожалею, что некоторые учителя не сочли необходимым присутствовать на заключительном диспуте, — они имели бы возможность заглянуть, что называется, в души наших мальчишек... — Слово «мальчишки» не вырвалось у Анатолия Лукича случайно, оно совершенно достаточно выражало тёплое, отеческое отношение директора к вверенным ему ученикам.

В рядах осторожно шелестели газетами. Директор поглядывал на читающих с терпеливым упреком. Ознакомиться со статьёй должны были все, конечно, — в конце концов на чём, как не на положительных примерах, прикажете ему воспитывать коллектив!..

— У нас много ещё в работе казённости, формализма, — продолжал он. Борьба с формализмом была, что называется, «коньком» Анатолия Лукича, о формализме он говорил не впервые. — Педагоги работают без огонька, без вдохновения. — Вот и так называемого огонька он давно и безуспешно от преподавателей добивался. — Некоторые классные руководители не потрудились даже проверить заранее выступления своих учеников. Сидит Марцышевская, сидит представитель центральной печати, а я должен, как мальчишка, краснеть из-за вашей, Алина Андреевна, небрежности...

— Я полагала, что диспут...

— Дискутировать вам никто не запрещал по классам, если вам так уж непременно надо дискутировать. Я же предупредил: на заключительный диспут выносятся лучшие выступления. Лучшие!

— Но Женя Соколов очень хорошо выступал...

— Видите! — Анатолий Лукич безнадёжно развёл руками.

В таких условиях приходится ему работать! Смушал его и Лапшинский. Анатолию Лукичу он всё меньше нравился: неглупый, но, кажется, очень уклончивый человек; с ним никогда не чувствуешь себя до конца спокойным. Или Таисья Васильевна Румянцова, старейший учитель школы, — говорят, она ещё Борю Лапшинского, когда тот был малышом, учила четырём арифметическим действиям и написанию букв, — тоже член партии, что для Анатолия Лукича особенно важно. Сидит рядом с Лапшинским, покусывая дужку очков, поглядывает на Анатолия Лукича этим своим умненьким старушечьим взглядом: «Эка ты, батенька мой, куда хватил...» Попробовал бы кто-нибудь другой поруководить на его месте, если свои же товарищи коммунисты ни в чём его до конца не поддерживают, не берегут директорского авторитета!

Очень много надо ещё работать с людьми, очень много! Вот, например, Зинаида Алексеевна, или, как все её называют, Зиночка, не даёт себе труда хотя бы только вид сделать, что слушает директора, — с рассеянным, улыбающимся лицом пишет какую-то записку на оторванном клочке той самой газеты. Лидия Фёдоровна, стараясь не слишком шуметь, заворачивает в газету с той самой статьёй ученические тетради. Ответственности с ним, с Анатолием Лукичом, никто не разделит — нелёгкой ответственности за почти двухтысячный коллектив. Он сам должен всё учесть, всё взвесить, за всем лично проследить. Не требуя признательности, не ожидая награды..

— Всю работу с учащимися во втором полугодии надо будет, так же как и в первом, подчинить разработке одной, общей для всей школы темы — этот метод, как видите, себя оправдал. Оправдал! — настойчиво повторяет он, специально для Румянцевой и Лапшинского: очень они не нравятся ему сегодня. — Темой этой я мыслю себе следующую...

Анатолий Лукич, сдёрнув очки, заглянул в блокнот. Без очков лицо его казалось пустым, незначительным, незащищённые глаза жалобно мигали.

— Вот, пожалуйста: «Нет предела силе человеческой, если эта сила — коллектив». По некоторым школам, говорят, эта тема разрабатывалась уже, и разрабатывалась с большим успехом. «В чём сила коллектива» — так мы могли бы её коротко сформулировать...

Фёдор Иванович, сидевший ближе всех к директору, старательно записал: «В чём сила коллектива», озабоченно переспросил:

— Обговорить, значит, надо с учащимися эту тему?

## 9

В это время Виктор Васильевич Ушаков, речь о котором ещё не началась, так как он не учитель семнадцатой школы, не ученик её, а человек, вовсе со школой не связанный, военный, то ли капитан, то ли даже майор, лет этак тридцати семи от роду. — Виктор Васильевич Ушаков смотрел в это время кинокартину в одном из небольших, мало кому известных рабочих клубов.

Виктор Васильевич попал в клуб случайно: его заинтересовала слабо освещённая афиша при входе; заграничный фильм, о котором она оповещала, недавно прошумел по всем экранам столицы. В тесном, переполненном зрительном зале было, как это и всегда бывает на последних сеансах, жарко и душно; в задних рядах обращала на себя внимание большая группа молодёжи, человек до двадцати, — юноши в как-то особенно небрежно надвинутых на глаза или сбитых на затылок шапках и совсем ещё мальчишки, принятые среди них, как равные, и, очевидно, польщённые этим. Все они шумно пересаживались, стуча откидными сиденьями, переключались из ряда в ряд, вели себя так, словно в кино, кроме них, никого не было. «Эх, не дадут слушать», — с досадой оглядываясь на них, подумал Виктор Васильевич.

Опасения оказались напрасными: молодёжь утихла, едва погасили свет, только кто-то рядом с Виктором Васильевичем упорно потрескивал семечками. Потом и этот треск прекратился. Виктор Васильевич покосился на соседа: мальчишка лет четырнадцати с приклеившейся к губе подсолнечной лузгой не сводил расширенных глаз с экрана.

На экране разворачивалась простая, трогающая душу история: американский солдат, вернувшийся на родину после войны, долго искал честных способов существования, искал — и не находил их. Он был отзывчив и молод, жизнь по сути дела только ещё начиналась для него — и нелегко было ему приняться в конце концов за презренное ремесло гангстера. Тяжело было смотреть, как он, ещё сопротивляющийся и уже обречённый, двигался к нравственной гибели, к преступлению, к своему концу. Виктор Васильевич опять покосился на соседа: мальчишка возбуждённо задвигался — вот оно! Первая засада, первая ночная схватка с полицейскими — удар! Один из полицейских был убит, убит молниеносно, намётанным ударом под ключицу.

— Вот это класс! — воскликнул сзади восхищённый молодой голос.

Кто-то удовлетворённо крикнул:

— Молодцы, здорово! Верно, Малек?

Мальчишка рядом с Виктором Васильевичем, не сводя глаз с экрана, благодарно пробормотал:

— Здорово!..

Вокруг сидели так, словно ничего особенного не происходит, захваченные тем, что делалось на экране. Виктор Васильевич и смотрел и не смотрел на экран, ему хотелось сейчас только одного — чтобы картина скорее кончилась. Ещё удар!

— Р-раз! — опять возбуждённо воскликнули сзади. — Ещё раз! Знай наших!..

Кое-кто в публике зашикал, оглядываясь.

На экране пела женщина, сердечком складывая губы, с красивой непринуждённостью прохаживаясь меж ресторанных столиков. Мальчишка рядом произнёс громко, отчётливо, ни к кому не обращаясь:

— Красивая, б...

— О господи, — возмутилась пожилая соседка Виктора Васильевича. — Это что ж, хулиганство какое!..

— Ты, милый, помалкивай, — мирно посоветовал Виктор Васильевич.

Мальчишка повёл на него чёрным равнодушным взглядом, промолчал.

Теперь Виктор Васильевич мог смотреть только на этого мальчишку. Мальчишка как мальчишка: клок волос падает из-под небрежно надвинутой ушанки на смуглый лоб, короткий нос, пухлые губы, мягкие, округлые очертания — всё это родное, ребячье. И что-то болезненно вызывающее, едва заметно надрывное во всём облике. О чём он думает? Тени бегают по обращённому к экрану лицу. Вот глаза заблестели, оживились — так и есть, драка! Пьяная, бутылками... Вот поскуцнел, равнодушно шмыгнул носом — любовное объяснение, буза... Весёлое циническое замечание сзади вновь заставило его оживиться:

— Ну, и... Сама вешается!..

— Перестаньте ругаться, что за хулиганство! — возмутился спутник женщины, сидевшей рядом с Виктором Васильевичем.

Сзади пригрозили:

— Прикрой нюхалку, эй, кто там! Малек, двинь ему!..

Мальчишка опять равнодушно и вызывающе повёл глазом.

Потом схватились две шайки гангстеров: пьяная возня между столиками, отчаянная перестрелка, удачливые убийства, следующие одно за другим, предсмертные корчи... Молодёжь сзади пришла в крайнее возбуждение — уже даже выкриков не раздавалось, только стон наслаждения иногда. Последних кадров — распостёртого на ступенях умирающего героя — они уже смотреть не пожелали. Драки и убийства кончились, остальное их не интересовало — трагическое одиночество героя, так подчёркнутое в последней сцене, его полная душевная опустошённость. Молодёжь, не дожидаясь конца, двинулась к выходу, стуча сиденьями, хохоча и наваливаясь друг на друга.

— Подожди, — сказал Виктор Васильевич и задержал за рукав своего соседа. — Ты учишься где-нибудь? Где?

Мальчишка, весело и недоуменно взглянув на Виктора Васильевича, вырвал руку.

— Иди ты...

Виктор Васильевич ещё раз увидел их всех уже в переулке: они столпились у выхода всё с тем же болезненно разболтанным видом, обшаривая прохожих наглыми, вызывающими взглядами. Картина взволновала их, как дразнит зверёнышей запах свежей крови, у них даже ноздри раздувались в нетерпеливом предчувствии драки, скандала. Зрители шли мимо или равнодушно, спокойно, занятые своими делами и своим разговором, или торопливо, опустив глаза, — то ли потому, что тяжело было смотреть на этих ребят, то ли потому, что опасно было с ними связываться.

Виктор Васильевич вышел из переулка на улицу. Там спешили к метро запоздавшие прохожие, посвечивали зелёными огоньками такси, величаво, словно корабли, проплывали ярко освещённые полупустые троллейбусы.

За деревьями сквера виднелось залитое огнями высотное здание, упирающееся в розовое московское небо. Оставшееся сзади казалось кошмаром, от этого хотелось отмахнуться, забыть как можно скорее — и этого мальчишку с подсолнечной лузгой на пухлой ребяческой губе, равнодушно и просто произносящего площадные слова, и этих его товарищей, отвратительных и жалких. И он ведь тоже прошёл, опустив глаза, стараясь не глядеть лишний раз в их истерически возбуждённые лица, — как он-то посмел пройти мимо, он, Виктор Васильевич Ушаков, член партии, в прошлом преподаватель? Он ничего тут не может поделать? А кто же тогда может?

Виктор Васильевич сидел в сквере, ссутулившись, выкуривая одну папиросу за другой. Да, когда-то он был преподавателем, очень давно, ещё до войны кончил педагогический институт, известный по всему Союзу. За плечами осталось короткое и шумное время занятий в высоких, с двойным светом аудиториях, койка в студенческом общежитии, с утра до вечера гомонящем, как птичник, комсомольские собрания и субботники, ночные беседы, зачёты, самозабвенная влюблённость и влюблённая дружба — беззаботная и романтическая юность человека, выросшего между двумя войнами. Всё это осталось позади. За плечами остались и первые два года работы в школе в далёком алтайском городке, забываемое счастье первого ребячьего доверия, благородство и прямота его волей формирующихся человеческих отношений, впервые испытанное чувство своей острой необходимости людям. Он и в войну вошёл прямо со школьного вечера, с выпускного вечера, на котором много было самодельной браги и ярких горных цветов, и юноши неуклюже обнимали его и пили с ним за дружбу — на много ли тогда он был старше своих учеников! — и выпускницы, осмелев, поглядывали на молодого учителя кокетливо, почти влюблённо. Жизнь разломилась надвое, вот и всё — это ведь так просто, в сущности.

Если бы кто-нибудь сказал Виктору Васильевичу, что он несчастлив, он или засмеялся бы совершенно искренне, или рассердился бы. Несчастье он ненавидел и органически его не принимал. Он несчастлив? Виктор Васильевич только бы с тем и согласился, пожалуй, что жизнь — не его личная, а вообще жизнь — непростая, очень непростая, дьявольски непростая штука. И не война расколола его жизнь надвое, нет, — в войну даже острее стало это чувство глубокой правоты во всём, что приходилось делать, чувство своей необходимости людям — то, без чего Виктор Васильевич уже не мыслил счастья.

Ещё студентом он полюбил девушку, неверную, постоянно ускользающую. Он был привязчивым двадцатилетним юношей, неловким и чистым в выражении своих чувств, — многое требовалось для того, чтобы заставить и его попробовать поискать наконец, нет ли других пристаней и другого счастья. Отчаянные поиски решили его судьбу: боясь его окончательно потерять, та, единственная, согласилась выйти за него замуж. Мог ли он думать в эти первые месяцы взаимного изумления и маленьких, но таких значительных в совместной жизни открытий, — мог ли он думать о том, что плоха та любовь, которая вырастает из ревности? В том же алтайском городке, в котором так удачно началась его преподавательская работа, родилась крохотная девчурка.

...Жизнь разломилась несколько позже, тогда, когда в простой одежде солдата он оторвался от мирной и тёплой, пахнувшей телёночком детской постельки, от обманчивых женских рук, в последний раз обвинившихся вокруг его шеи. Уже много месяцев спустя, на фронте, из письма, в котором не нашлось ни одного мало-мальски тёплого, дружеского слова, он узнал, что ребёнок умер от воспаления лёгких, а жена — жена не хотела бы больше считать себя его женой; она, к сожалению, полюбила другого.

Когда Виктору Васильевичу после войны предложено было остаться в армии, он безразлично согласился: не всё ли равно! Лишь бы не возвращаться к заботам о самом себе, о своей еде, своей одежде, о своей дальнейшей судьбе. Несчастье Виктор Васильевич презирал, но и счастья, по его мнению, тоже не существовало. Не было счастья. Не было и быть не могло потому, что не было и быть не могло любви. Потому что женщины все одинаковы — или это война всех их так испортила? — женщины откровенно, расчётливо ловят мужчин. Иной он уже не умел воспринимать жизнь: он судил по своему опыту. Как хотел бы он думать иначе!

Счастья не было. А вот хорошо устоявшийся оптимизм сильного и душевно здорового человека — это было. Были страстность, живой интерес ко всему выходящему за пределы только собственного существования, было чувство ответственности, наконец. И было навсегда определившееся желание вторую половину своей жизни прожить с не меньшим сознанием своей необходимости людям, своей внутренней значимости и правоты. Именно потому, что всё это было, он и сидел, ссутулившись, на пустынном сквере и, выкуривая одну папиросу за другой, взвешивал все обстоятельства своего бытия. Он уже твёрдо знал, что пойдёт туда, где сейчас, по его глубококому убеждению, было всего труднее.

Не то чтобы он никогда раньше не сталкивался с этой вот искалеченной молодёжью, которой некому по-настоящему заняться. Сталкивался, конечно. Но ведь и всё в жизни так: ведь и вода превращается в пар не сразу — греется, греется и всё остаётся водой, пока не начинает закипать наконец...

Так или иначе, через несколько дней после этих вот одиноких размышлений в сквере Виктор Васильевич явился в один из районных отделов народного образования и, привычно козырнув, предстал перед плоской особой неопределённого возраста, с жидким перманентом и обидчиво поджатými губами.

На Варвару Павловну — это была она, конечно, — посетитель с первого взгляда произвёл впечатление благоприятное: волевое лицо, мужественная складка на жёстких щеках. Именно такой преподаватель и нужен в мужскую школу — мечта каждого путного директора, её инспекторская мечта.

— Что же вы к шапочному разбору явились? — просматривая его документы, в обычной своей не слишком дружелюбной манере спросила она. — Приходят, видите ли, в середине года...

Рассказывать, как всё это случилось, Виктору Васильевичу почему-то не захотелось. Сухая информация о том, что он давно уже подумывал о возвращении к своей специальности, но что просьбу его удовлетворили только теперь, и отдалённо не напоминала тех страстных и, судя по результатам, очень убедительных доводов, которые Ушаков только вчера приводил своему армейскому начальству.

Впрочем, что-то он попытался разъяснить: «Понимаете, коммунизм, по-моему, — это прежде всего люди...» — но тут же осекся. Варвара Павловна взглянула на него коротко и неодобрительно: она спрашивала о действительных причинах — всё, что можно по данному поводу сказать, она и без Ушакова знала...

— Вы, небось, и школьную-то программу забыли?

С этим Виктор Васильевич позволил себе не согласиться.

— Чему-то меня всё-таки учили, — словно извиняясь за то, что вынужден упорствовать, улыбнулся он.

Улыбка этого странного посетителя Варваре Павловне не понравилась: она приоткрывала какие-то несимпатичные Варваре Павловне душевные глубины. Что-то в этом посетителе настораживало её.

— Вам, кажется, повезло, — сама удивляясь своей нерешительности, сказала она. — Учительница мужской семнадцатой школы давно уже

просит об отпуске. Она работает над диссертацией. — Последнее было сказано с таким неодобрением, словно речь шла о заведомо предосудительных вещах — об игре в карты, например. — Класс у неё распушен, разболтан..

К слову сказать, Варвара Павловна не только никогда не была в этом распушенном классе — она и понятия не имела, в каком именно классе Алина Андреевна была классным руководителем: в девятом «Б», или в девятом «В», или в шестом «Ж», например. Что из того! Подобные заявления Варваре Павловне никакого труда не стоили — она делала их так же уверенно и безапелляционно, как исследователь сообщает результаты многолетних трудов.

Трудный класс! Собеседник Варвары Павловны невольно приосанился, и в глазах его снова мелькнуло то самое выражение, которое и заставляло Варвару Павловну насторожиться: она решительно отказывалась этого человека понимать.

— Меня очень устроил бы этот ваш трудный класс, — явно некстати опять улыбнулся он. — Думаю, что школьную программу — даже если я что-нибудь действительно забыл — вспомнить будет не так уж трудно..

Варвара Павловна медленно сняла телефонную трубку.

— Анатолий Лукич? Говорит Чулкова. Да, я. Звонкова у вас ещё работает? Посылаю к вам нового работника на её место. Прямо из армии, бывший фронтовик, — Варвара Павловна покосилась на Виктора Васильевича, — орденосец. Поможет вам навести порядок. — Последнее явно было адресовано Виктору Васильевичу и сопровождалось выразительным взглядом. — Звонковой можете оформить отпуск — за её счёт, конечно. Оставьте в штате, да. Не стоит благодарности..

Виктор Васильевич вышел на улицу с чувством радостного подъёма.

«Ну, мы ж с тобой теперь поборемся, ничего! Я тебе, черноглазой. теперь дам жизни...»

Тот самый мальчишка с подсолнечной лузгой на губе всё ещё стоял перед его глазами.

## 10

Женька хорошо помнил тот день, когда десятилетним мальчиком вступал в пионеры. Торжественное обещание он и его товарищи давали в Музее Ленина, в большой, высокой комнате, украшенной множеством знамен, с пышной клумбой в одном конце её, далеко, прямо против Женьки, — там, среди белых и розовых цветов, лежала посмертная маска Владимира Ильича.

Женя стоял в строю беспокойно. Ему казалось очень важным всё время видеть лицо Ильича, но цветы мешали, и Женя то и дело поднимался на носки, цепляясь за плечи товарищей. «Я, юный пионер СССР...» Притихший, взволнованный, затаив дыхание, смотрел он, как руки вожакого шевелятся у самой его груди, завязывая и расправляя пионерский галстук.

— К борьбе за рабочее дело — будьте готовы!

Ликующе взметнулась тонкая Женькина рука: всегда готов! Смотрел он при этом не на вожакого — упрямо смотрел прямо перед собой, на розовые цветы и тяжёлые венки, за которыми, спокойное и недвижимое, скрывалось запрокинутое ленинское лицо.

Какой это был замечательный день! Мама стояла в дверях, в толпе других родителей, и издали улыбалась Женьке, и что-то дрожало, дрожало в её лице, словно мама собиралась заплакать. А потом они долго ходили вдвоём по улицам, смотрели на Москву-реку, сидели на парапете — то есть это Женя сидел, а мама стояла рядом, придерживая его, — и мама рассказывала, как она тоже когда-то давала торжественное обещание в заводском клубе, и как она ездила в какую-то «ударку» искать



место для пионерлагеря, и как мальчишки однажды подбросили ужа к девочкам в палатку, и песни пели у костра, и в походы ходили, и как папа презирал её в то время, просто ужасно презирал, потому что она боялась темноты и не умела плавать. Женя тихо улыбался. Очень ему нравилось это: что и папа и мама тоже были когда-то пионерами!..

Какое это счастье, что родился он не в Америке, не в Греции, например, а в Советском Союзе! Родился именно там, где и хотел бы родиться. Случайность, счастливый жребий — и вот он, пожалуйста, в стране, где произошла первая социалистическая революция в мире. В самой лучшей, в самой справедливой стране. Какие здесь артисты, лётчики, спортсмены! Какой народ самоотверженный — это Женька тоже мало-помалу научился понимать. Он и в комсомол пошёл потому, что хотел как можно больше пользы принести своему народу. Это не фраза была для него — он не представлял себе другого пути, другой жизни. Зачем же сейчас, кому это нужно было — гасить, гасить, гасить его душу!..

Так или приблизительно так думал Женька все эти дни, когда, уже на каникулах, его позвали в коридор к телефону.

— Женя, здравствуй! — раздался радостный Тусин голос. — А я читала статью о вашей школе. Как здорово!

— Что «здорово»? — переспросил Женька, невольно улыбаясь. Свежий, тёплый Тусин голос всегда казался ему необъяснимым чудом.

— Хорошо написано, просто классически. Всё, как на самом деле...

— Что ты? — удивился Женя. — Ты ведь знаешь, там ни слова правды.

И опять улыбнулся, потому что Туся заговорила горячо, быстро, и он представлял себе, как она сейчас крутит провод и как шевелятся её губы. Он почти ничего не слышал — они слишком давно не виделись с Тусей.

— Правда или неправда — всё это неважно, — горячо уверяла Туся. — Кому в конце концов до этого дело! Дядя Лёша говорит, между прочим, что Женькин директор заработает себе капиталец на этом...

— Какой капиталец?

— Ну, не деньги, конечно. Чудак ты!

Женя перебил:

— Тусенька, с Новым годом!

Туся, как он и ожидал, засмеялась, заахала — в самом деле, они в новом, в пятьдесят втором году ещё не встречались... Они сегодня же должны увидеться, так?

...Вечер был мягкий, тёплый; влажный снег то переставал идти, то снова падал, касался лица, таял на губах. С этими снежинками в выбившихся из-под шапочки волосах, в перемежающемся свете праздничных витрин и ёлочных огней, оживлённая, раздумывавшаяся на свежем воздухе, Туся казалась очень хорошенькой; Женька, искоса поглядывая на неё, молчал от полноты чувств. Туся жалобно сказала:

— Меня толкают и скользко...

— Что ты, не очень скользко.

— Возьми меня под руку.

«Ну и дурак!» — подумал Женька.

Туся деловито поправила его руку.

— Под руку ходить не умеет!

Она сразу стала такой родной и близкой, гораздо ближе, чем была, и, совсем как взрослая женщина, чуть приваливаясь к Женьке, запрокидывала смеющееся, нежное лицо. Женя, плохо слушая, что она говорит, благодарно и осторожно гладил мех на её рукаве. Кажется, никогда в жизни не был он так покоен и счастлив.

Туся вдруг остановилась и совсем по-девчоночьи приснула в ва-режку.

— Смотри, Жора!

Жора Корецкий стоял недалеко от коктейль-холла в группе таких же, как он, молодых людей, равнодушно и развязно разглядывая прохожих. Завидев Женьку и Тусю, он подошёл к ним нарочито небрежной, развинченной походкой, словно через силу волоча ноги. На нём была мягкая шляпа с небрежно приспущенными на одну бровь полями, пальто в талию, яркий клетчатый шарф.

— Бон суар, — сказал Жора и сделал вид, что хочет поцеловать у Туси руку.

— Ты с ума сошёл! — воскликнула Туся и ткнула его мокрой варежкой в нос.

Женька холодно рассматривал Жору.

— Что это ты в шляпе?

— Вас она волнует? Напрасно. Мой папá одалживает мне её для вечерних выходов. По-моему, она мне даже идёт, нет? Стиль элганс. Мы, насколько я понимаю, сейчас на капикулах — и вуаля, пардон, мерси бьен...

— Что ты ломаешься? — брезгливо спросил Женя.

Из толпы стоящих у коктейль-холла молодых людей со смехом окликнули Жору.

Жора понимающе подмигнул.

— Не похищаем ли вместе в кок, Наталі? Наши мальчики очарованы вами.

— Пойдём дальше, — тихо попросила Туся.

Женя, плечом оттесняя Жору, негромко, угрожающе повторил:

— Что ты ломаешься?

— Пардон! — Жора, отступая, приподнял шляпу. — Пардон, я всё понимаю. Не смею спрашивать, где вы закончите сегодняшний вечер...

— Выбирай выражения, ты!

— Пардон, пардон! Секунданта можешь прислать поутру в будуар моей любовницы...

Туся с силой потянула Женьку.

— Пойдём же!

Прогулка была испорчена. Женька говорил только о том, какой гад этот Жорка, а ещё комсомолец, и что напрасно он не набил этому сволочному стилиаге морду. Туся, незаметно прижимаясь к нему и заглядывая ему в глаза, лукаво его убеждала:

— Это же и потом не поздно сделать, правда? А сегодня такой хороший вечер, Женя, послушай...

Потом они увидели спускающуюся навстречу компанию: Володю Никитина, Юрку, Таню Кузнецову, ещё каких-то девочек. Туся решительно схватила Женьку за руку.

— Бежим!

Они свернули в ближайший подъезд, прижались, замерли там. Посмеиваясь, проводили взглядом шумную компанию. Очень ловко это получилось, и можно было наконец забыть Жору Корецкого. Туся, развесявшись, потянула Женьку за собой.

— Гулять, гулять...

А совсем поздно, уже за полночь, они стояли в Тусином подъезде, не решаясь расстаться, и, улыбаясь, глядели в глаза друг другу, словно ожидая чего-то. Потом Туся легонько вздохнула и на миг прижалась лицом к жёсткому Женькиному рукаву:

— Чудак, чудак...

Сегодня она этому чудаку всё скажет. Что он просто невозможный. Она в него влюбилась, как... Честное слово, кажется, влюбилась, а он

словно ничего не замечает. Сегодня у Туси день рождения, и по одному этому ей многое позволено.

Туся покорно вертит подбородком, пока мама примётывает к платью воротничок — к новому платью, которое мама специально сшила Тусе к этому дню: Валерия Николаевна всегда всё шьёт сама и себе и дочери. Её надушенные, в перстнях, руки двигаются у самого Тусиного лица — руки грубоватые, несмотря на все притирания, с плохо гнущимися пальцами и широкими, ярко накрашенными ногтями. Именно потому, что пальцы у мамы толстые, она и кольца предпочитает большие, массивные. У неё их три. Первое подарил ей папа — простое гладкое обручальное кольцо. От папы в доме только и осталось, что это кольцо да разве ещё квартира, переписанная на мамино имя. Второе мама привезла с Рижского взморья, дутое, с чернью; кто-то сказал маме, что такие кольца как раз входят в моду, и поэтому мама с этим кольцом не расстанется. Третье кольцо Туся ненавидит, но с этим кольцом мама тоже не расстанется — кольцо безвкусной отделки, с крупным рубином в цвет мамино маникюра. Подарил его маме дядя Лёша.

Дядя Лёша появился в их доме давно, ещё до войны, когда папа взял себе длительную командировку на Север, или, кажется, ещё раньше, — в Тусиной памяти все эти события вовсе не сохранились. Где-то у него есть другая семья; дядя Лёша часто обижается, что его сыновья невнимательны к нему, не звонят, не заходят, — стали, слава богу, взрослыми и словно бы вовсе знать не желают своего отца. Живёт он здесь. Сюда, на адрес Огарышевых, приносят дяде Лёше пухлые рукописи и пакеты из Общества по распространению политических и научных знаний, из множества редакций, из Дома учёных, сюда поднимается, задыхаясь, старенький курьер из дяди-Лёшиного издательства — дядя Лёша любит называть себя простым издательским работником, «обыкновенной канцелярской крысой». Здесь, наконец, стоит громадный письменный стол с постоянно лежащими наготове листами писчей бумаги и с массивным чернильным прибором — без этого стола дядю Лёшу попросту невозможно себе представить.

Когда дядя Лёша садится к письменному столу, оттопыривая нижнюю губу и посапывая крупным пористым носом, всё замирает в доме, и вид у дяди Лёши становится такой неприступный, такой важный, словно на него в данную минуту возложена ответственность за всю русскую литературу, — впрочем, он в этом, кажется, и в самом деле убеждён. Не потому ли и пребывает дядя Лёша постоянно в состоянии раздражения и подозрительной насторожённости — отвечать за всю русскую литературу в целом, как известно, дело нелёгкое! — и каждая критическая статья словно вливает в него новые силы: вот-вот, об этом давно уже следовало говорить! После какого-нибудь особенно жаркого собрания, на котором дядя Лёша громче всех кричал «безобразие» и «долой», кричал так, что никто из сидящих в президиуме не мог бы уже усомниться в неподдельном его негодовании, — после каждого такого собрания дядя Лёша возвращается домой с двумя-тремя своими приятелями, деятельно возбуждённый и исполненный ярости: достоинство литератора, достоинство члена партии, достоинство русского человека, наконец, — всё в нём задето и глубоко оскорблено. Он не ребёнок, он и сам может легко дать всему политическую оценку. Этот, например, о котором сегодня больше всего говорилось, он и пишет-то — вы заметьте! — всё о прошлом, о прошлом, ни одного произведения о сегодняшнем дне! Случайность? Бросьте, никаких случайностей нет, учите, так сказать, диалектику. И защитники нашлись у него не случайно — да-да! — сразу же нашлись... Всё это, знаете, неизжитая групповщина...

О чём только не говорилось за столом у Огарышевых: о том, что должно пойти в печать и что не должно, что и почему вовсе не увидит света,

чем вызвано очередное правительственное постановление и кто особенно влиятелен сейчас в руководящих кругах. И всё, о чём здесь говорилось, словно бы имело второй, значительно более важный смысл — смысл, который собеседниками молчаливо подразумевался.

Развязные молодые люди, которым дядя Лёша покровительствовал, — покровительствовать дядя Лёша любил и делал это не без душевного щегольства, — известных писателей называли Сашкой, Костей, а то и просто «стариком»; все писатели, если верить присутствующим, были или запойные пьяницы, или непроходимые развратники — оставалось только удивляться, когда они успевают писать свои книги. У дяди Лёши, говорил ли он о делающем стремительную карьеру молодом литераторе, накладывал ли себе на тарелку сёмги, комментировал ли доклад секретаря правления, сохранялось то самое выражение самодовольства и прожжённой практичности, какое бывало и у мамы, когда она обмеряла принесённый заказчицей материал.

Тусю мало смущало, что нигде — ни на библиотечных полках, ни в газетах, которые она бегло просматривала, перед тем как завернуть школьный завтрак или туфли, — не встречала она имён тех, кто перебивал у них в доме; по словам дяди Лёши, каждый из его гостей, тем не менее, что-то такое значил в своём роде и что-то такое обещал. В конце концов не у каждой девочки, согласитесь, дома совершенно точно знают, кто в этом году получит Сталинскую премию, а кто и почему её не получит. Нравилось Тусе и то, что мужчины, выпив, с удовольствием останавливали на ней взгляд; она капризно надувала губы, когда Валерия Николаевна, спохватившись, отсылала её спать или готовить уроки. Нравился ей и дядя Ляля — так представился ей однажды тоже что-то в своём роде обещающий немолодой сценарист: нравилось, что он называет себя Тусиным поклонником, приносит ей конфеты и цветы, смотрит на неё почтительно и восхищённо. Нравилось, что все замечают этот его интерес к Тусе и легонько посмеиваются над дядей Лялей, нравилось, как дядя Ляля насторожённо прислушивается и замолкает, когда Тусе звонят мальчишки, нравился собственный голос в полутёмной передней, у телефона, — какой-то особенно радостный, смеющийся и небрежный. Словом, не нравилось Тусе в собственном доме только одно: сам дядя Лёша. «Что ты в нём нашла?» — не раз спрашивала она у матери.

Сейчас, пока мать примётывала ей воротничок, Туся, покорно вертя подбородком, завела речь всё о том же:

— Спит вечно, как бегемот, хоть бы ты его останавливала...

Валерия Николаевна тихонько усмехнулась собственным мыслям.

— Ничего ты не понимаешь. Он очень интересный мужчина...

— Господи, интересный! И потом — у него дети какие-то, жена...

— Жена у него некультурная женщина, что ты говоришь! — Она примирительно добавила: — Вот кончишь десятый класс, дядя Лёша устроит тебя, куда ты хочешь, — во ВГИК, в Институт международных отношений, за границу поедешь. У него такие связи...

— Очень я ему нужна!

Мать легонько вздыхала:

— Ничего, я ему тоже немало сделала...

В передней позвонили. В дверь вошёл преждевременно обрюзгший и располневший человек с чисто выбритым лицом, на котором словно навсегда застыло озабоченное и в то же время беспечное выражение, какое бывает у человека, опаздывающего на маскарад или на увеселительную прогулку.

— Здравствуйте, Тусенька, ангел мой, пожалуйста ручку, сердечно поздравляю вас. — С этими набегающими одно на другое словами он, несмотря на Тусино лёгкое сопротивление, поднёс к губам её руку, и она,

слегка покраснев, смотрела, как дядя Ляля это делает: руку ей целовали впервые в жизни. — У меня тут одна вещица завалилась в кармане, как раз, понимаете, для Тусенькиной шейки...

Он достал из кармана небольшой футляр — на чёрном бархате лежал гранатовый кулон с золотой цепочкой. Туся испуганно посмотрела на мать.

— Я не возьму, это очень дорого.

— Бог знает, что вы делаете, — испугалась и Валерия Николаевна. — Такие дорогие подарки!

— Для Тусеньки, — значительно сказал дядя Ляля, — для милого моего ангела Тусеньки мне ничего не жалко. Разрешите, я и надену...

— Нет, уж я сама надену. — Валерия Николаевна сухо отстранила его и тут же воскликнула: — И на вишнёвое платье — как хорошо! Доця, посмотри, какая ты у меня красавица...

Туся и сама знала, что она красавица, поэтому иначе, как с гримасой неудовольствия, в зеркало не смотрелась. Дядя Ляля, заглядывая в зеркало из-за её плеча, осторожно сказал:

— В старину, я слышал, за это целовали добрых дядюшек...

— Не жирно ли?

— Туся! — Впрочем, невежливость дочери была совершенно извинительна, Валерия Николаевна подчеркнула это улыбкой. — В самом деле, Леонид Константинович...

В передней опять раздался звонок.

— Ах, мама, скорее отстегни, — заторопилась Туся. — Скорее, это ребята...

— Видите! — значительно сказала Валерия Николаевна — Бог знает, что придумали, школьнице — и такие подарки...

В передней, между тем, уже шумели ребята. Не успела раздеться одна партия, снова раздался звонок.

— Пойдёмте, не будем мешать детям, — предложила гостю Валерия Николаевна.

Женя до сих пор ни разу не был у Туси. Богатство квартиры Огарышевых его ошеломило, в подобных квартирах Женя ещё никогда не бывал. Большие, высокие комнаты, паркет, переливающаяся голубыми и зелёными огоньками люстра, рога над дверью столовой, тёмные картины в золочёных рамах, старинный буфет с выставленным напоказ хрусталём и фарфором. Женя невольно оглянулся на своего друга. На Алика, как это ни странно, великолепие Тусиной квартиры не произвело, казалось, ни малейшего впечатления, он влюблённо и, видимо, надолго прильнул к единственной вещи, его заинтересовавшей, — к радиоприёмнику в углу столовой.

Гости один за другим заходили в столовую и, как это часто бывает в компании, где многие между собой незнакомы, старались быть поближе к хозяйке, наперебой предлагая ей свои услуги. Туся, подвывая поверх нового платья кокетливый передник, послала из кухни и расставляла по столу закуски, всем улыбалась и всех подбадривала, весело покрикивая на помогающего ей Женьку, словно подчёркивая тем самым, что он среди всех присутствующих самое ей близкое и самое доверенное лицо. Женька нимало не был польщён этим отличием, Женька страдал.

Настроение у него померкло с той самой минуты, как он увидел в передней Огарышевых Жору Корецкого. Жора помогал раздеваться каким-то незнакомым Женьке и, как с первого же взгляда показалось ему, несимпатичным девушкам, а в столовой прошёл прямо к радиоле с таким непринуждённым и уверенным видом, что можно было не сомневаться: кто-кто, а он в этих комнатах не впервые. И Женя, держа в од-

ной руке миску с салатом, а в другой — селёдочницу, говорил Тусе на кухне ревниво и недоуменно:

— Как ты его могла позвать, не понимаю! Нет, я просто понять не могу, как ты могла его позвать!

Туся в свою очередь недоумевала:

— А почему бы и нет, Женя? Он так хорошо танцует. И потом, ты только не говори никому, в него очень влюблена такая — ну, ты заметил, наверное, — такая хорошенькая, Аллочка...

— Кто эта Аллочка?

— Аллочка кто? — Туся глядела с упрёком. — Аллочка — моя подруга. Женя, я не понимаю, я же позвала твоих друзей...

— А Жора — твой друг, да?

— Что ты! Я его терпеть не могу. — Туся примирительно улыбнулась. — Женя, идём, ты не сердись, пожалуйста...

Что-то в этом разговоре Тусе очень понравилось: Женя требует от неё отчёта, как... Ну, как муж всё равно. Ах, она его ужасно любит, такого чудака, просто ужасно...

— Мама, познакомься, это Женя Соколов, ты знаешь...

Женя стоял в передней перед какими-то двумя стареющими пижонами — мысленно он их иначе не называл — и полной дамой в ботиках и чернобурке. Если погасить у Туси радостные её глаза и представить себе Тусю несколько полнее, и выше, и старше, конечно, и отнять у Туси самое привлекательное, что в ней есть, это вот выражение доверчивой готовности, а заменить его каким-то другим, вовсе не симпатичным выражением, — это и была бы Валерия Николаевна. Валерия Николаевна скользнула по Женке равнодушным взглядом.

— Туся, вы не очень засиживайтесь...

— Бокалы под вино можно взять?

— Возьми. Хрусталия не бери, возьми внизу, попроще. Счастливо вам веселиться, дети...

В столовой танцевали фокстрот Жора и, очевидно, Аллочка — танцевали, как-то особенно выворачивая конечности и вихляя плечами. Володька, интимно облокотившись на спинку стула той самой суховатой блондинки, глядел на танцующих взглядом всё на свете вкусившего человека. Юрка Шнырёв, который, как и некоторые другие ребята, неприкаянно слонялся из угла в угол, подошёл к Женке.

— Ты не знаешь, почему нет наших девчонок? Какие-то выдры чужие...

— А почему я должен знать? — неискренне удивился Женка.

— И Туська, как на грех, куда-то пропала...

Без особой надобности Женя вновь отворил дверь в переднюю. Валерия Николаевна с одним из своих спутников уже вышла на лестницу, оставив полуоткрытой наружную дверь. Второй, тот, что пониже, ещё стоял, удерживая Тусину руку, и, глядя на Тусю белёсыми глазами, с нагловатым смешком приговаривал: «Это за подарочек, за подарочек, а как же?» Туся растерянным, слабым жестом потирала щёку. Вся эта сцена в какой-то момент с необычайной яркостью запечатлелась в сознании Женки, он отпрянул было, но мужчина уже выпустил руку Туси и с приветственным жестом весело крикнул в дверях:

— До завтра, ангельчик!..

Наружная дверь захлопнулась. Туся, всё так же потирая щёку, медленно обернулась к Женке.

— А, ты здесь?

— Уйду я, — мрачно сказал Женя.

— Почему? Девочки, я сейчас, — кивнула она выглянувшем из столовой подругам. — Почему, Женя?

— Кто этот пижон?

— Ох, ты ревнуешь! — вдруг засмеялась Туся, засмеялась так искренне, так весело, что Женька невольно смягчился. — Это к такому-то? Признайся, что ревнуешь. Женя, чудак ты, если б ты знал...

— Что — если б я знал? — недоверчиво улыбаясь, спросил Женя.

— Я не могу сейчас, потом... Потом, потом! — Туся, взглянув в Женькино лицо, совсем развеселилась, схватила его за руку. — Хочешь посмотреть, что мне подарили? Я сейчас, девочки...

И тем же жестом, что и тогда, на улице Горького, с силой повлекла его за собой, куда-то в глубину коридора.

— Вот моя комната!

— У тебя своя комната есть? — всё ещё улыбаясь и осматриваясь, удивлялся Женя. — Вот счастливая! А мы с мамой живём в одной, так неудобно...

Комната была небольшая, тесно заставленная широкой деревянной кроватью, объёмистым комодом, трельяжем, крошечным столиком для занятий. На низком диване, среди множества украшенных бисером и кружевами подушечек, сидели нарядная кукла в розовом платье и большая плюшевая обезьяна.

— Ну, что ты на них смотришь? Это так, ещё мои ляльки остались, — нетерпеливо потянула Туся Женьку. — Ты смотри-ка сюда...

Женька продолжал удивлённо рассматривать дорогие безделушки и новёхонькую мебель.

— А ты говорила, что твоя мама портниха...

— Портнихи бывают разные, — возразила Туся. — И потом, не всегда она была портнихой! — Туся тут же перебила себя: — А что ты думаешь, знаешь, как это выгодно — быть портнихой!.. К моей маме самые фасонные дамы ходят... Мама говорит, что на дяди-Лёшину зарплату мы давно ноги бы протянули, если бы не она. Что ты думаешь! У меня мама в войну вовсе, знаешь, как устроилась? — Туся значительно округлила глаза. — Директором магазина скупки-продажи! Представляешь? Самая война, а у нас всё, что ни пожелаешь, было — хлеб белый, масло...

Наверное, у Женьки был совсем глупый, недоумевающий вид, потому что Туся со смехом легонько оттолкнула его.

— Не понимаешь ты! Лучше смотри-ка сюда...

Ничего он не понимал, действительно. Смотрел, каким неподдельным торжеством сияло Тусино лицо, как шевелились её губы, и не понимал ни слова.

— Ну, смотри же сюда! — настойчиво повторила она, что-то придерживая на груди и всем телом поворачиваясь к Женьке.

— Что это — брошка?

— Кулон. Это, между прочим, очень шикарная вещь считается...

— Тоже от мамы?

— Нет, что ты! Это мне дядя Ляля подарил. Ну, этот...

И вдруг, в какую-то долю секунды, Туся поняла, что произошло что-то непоправимое, и, глядя в побледневшее Женькино лицо, побледнела тоже.

— Это тебе этот пижон подарил, да?

Туся смотрела на него невинными глазами беззащитной девочки.

— Женя!..

Женя быстрым движением схватил свой подарок — он стоял на Тусином столике среди таких же других, — маленький, скромный флакон цветочных духов. Каким жалким казался себе Женя в эту минуту!

— Женя, это старый наш знакомый, дядя Ляля. Понимаешь, мамин поклонник...

— Он и целовал тебя сейчас, как мамин поклонник? Что я, не видел? За этот вот подарок!

— Женя!

— Ах, зачем, зачем ты так! — вне себя воскликнул Женя и вдруг с силой швырнул свой подарок об пол. Флакон не разбился, покатился под диван. Туся смотрела на Женьку, прижав к губам руки. — И этот Жорка, эти все стилиаги, и эти все твои разговоры, зачем ты...

— Женя, гранаты не очень дорогие, — чуть не плача, говорила Туся, словно торопясь хоть чем-нибудь его утешить. — Женечка, это совсем не дорогие камни считаются, если хочешь знать. Женя!

Женя уже не слушал. Он не помнил, как очутился на улице.

— Дрянь, дрянь, — шептал он дрожащими губами. — Какая дрянь...

С жестоким наслаждением повторял он самые оскорбительные для девушки слова. Подумать только: он её за руку не смел взять, так любит, а её целует всякий, кому не лень, за какой-то там камень. Дрянь какая! Небось, разбирается, ничего, какие камни дорогие, какие не очень! Чужая, чужая... Слёзы застилали Женьке глаза: с таким торжествующим видом говорит вдруг о белом хлебе! Она о белом хлебе, а папа погиб!.. Мать её белый хлеб и масло добывала для своей доченьки в самое тяжёлое время, в самую войну, а папа погиб!.. Как она могла, нет, как она могла — с таким торжествующим, победоносным видом... Она, видно, совсем чужая... Она даже и не представляет себе, наверное, что это значит, когда папа погиб!..

Собственно, никаких связанных мыслей у него не было — только эта сияющая Туся перед глазами, этот её торжествующий, самодовольный тон: «Очень шикарная вещь считается...» Шикарная вещь! Его папа и мама — они вовсе таких слов не знали. Мама Женькина всё бьётся, бьётся от зарплаты до зарплаты, ходит зиму и лето в одном пальтишке... Чужая Туся. Совсем чужая... Только притворялась всё это время, что своя, что всё понимает, любит. Так вот схватила за руку, засмеялась, повлекла за собой: «Женя, чудак ты, если б ты знал...»

Каким-то чудом он всё-таки добрался до дому — дорогу Женька не разбирает. Мама уже спала. Стараясь ступать возможно тише, расстелил свою постель на диване, разделся, лёг. А когда накрылся одеялом с головой, когда тишина сомкнулась над ним, Женька почувствовал, что со всем этим словно с глазу на глаз остался — никуда не уйдёшь, не спрячешься! — со всем злом, со всей несправедливостью и ложью, с этой своей обидой, со всем, что только есть плохого в жизни...

— Женя, что ты? — раздался сонный голос матери. — Что с тобой, Женя?

Скрипнула кровать, по шороху Женька понял: мама ощупью ищет туфли. Вот — будет искать туфли, когда сыну её так плохо... Мягкая рука легла на его ходуном ходящие плечи. Женя, давясь рыданиями, стряхнул эту руку.

— Что с тобой, Женя?

— Ничего.

— Мальчик, что с тобой? Я с ума сойду...

— Ничего, ну! Говорю же... Дай полотенце!..

Стыдливо высморкался, накрепко вытер глаза, сокрушённо вздохнул. По голосу понял — мама улыбается.

— Что-нибудь случилось?

Вот — она уже улыбается... Женька непримиримо отвернулся к стене: ничего не случилось. Разве взрослые что-нибудь понимают, даже в собственных детях? Взрослые так хорошо защищены от всего, а Женька — Женьке попросту жить невозможно!..



## И

В класс влетел Абрам Фальцатый, делая страшные глаза.

— Ребята, Алина Андреевна ушла!

— Куда?

— Что значит «куда»? Совсем. Вместо неё мужчина пришёл какой-то...

— Сокол, что же ты молчишь? Вы же соседи...

Женька развёл руками.

— Не знал, честное слово.

— Ничего уже не замечаешь, кроме своей Тусеньки?

Алик, который был в курсе всех Женькиных дел и вот уже неделя как поклялся мысленно, что будет презирать Тусю до конца дней своих, страстно зашептал Женьке на ухо:

— Слушай, двинуть ему как следует, а? Что, в самом деле, лезет каждый...

Ребята, стуча крышками парт, дружно встали. В класс вошёл своей сильной, упругой походкой Анатолий Лукич, за ним, с журналом в руках, в новёхоньком, с иголки, костюме, робко и в то же время весело поглядывая на ребят, — новый преподаватель.

Событие было немаловажным. Требовалось как можно скорее разобраться в насущнейшем вопросе: отнести нового учителя к разряду таких, как Феодор Иоаннович, и сразу же с непринуждённой готовностью сесть ему на шею или уважительно причислить его к лику «настоящих», то есть вздохнуть, покориться своей участи и добросовестно долбить русскую литературу, которую никто из ребят до сих пор за настоящий предмет не считал. Анатолий Лукич сухо вато представил:

— Виктор Васильевич Ушаков, новый словесник и ваш классный руководитель. Желаю успешной работы.

Помедлил, оглядывая ребят подозрительным, придиричивым взглядом. Заставил Алика Мирзоянца застегнуть пуговку на вороте, а Юрке Шнырёву три раза холодно сказал: «не разговаривай», и каждый раз Юрка с удовольствием вскакивал и с весёлой издёвкой смотрел на него, подрагивая светлыми, по-петушиному торчащими волосами. Наконец ушёл, как бы говоря всем своим замкнутым, подчёркнуто бесстрастным видом: «Я вам дисциплину обеспечил, как видите, дальше пеняйте на себя...»

Не успела за директором закрыться дверь, Юрка Шнырёв поднял руку.

— Вы не тот Ушаков, который словарь?

Виктор Васильевич, открывая журнал, ответил в тон ему, так же деловито и озабоченно:

— Нет, не тот.

Вопросы так и посыпались: «Вы вместо Алины Андреевны будете, так? А куда Алина Андреевна ушла? А почему вы с планочкой — вы на фронте были? А где именно на фронте? Хорошо бы послушать фронтовые эпизоды какие-нибудь... А за кого вы болеете — за «Спартак» или за «Динамо?»»

Виктор Васильевич сказал:

— Перейдём к очередному материалу...

Ребята вздохнули, зашелестели страницами учебников. Виктор Васильевич сам поморщился от этой первой сказанной им фразы. «Очередной материал» — и это применительно к Чернышевскому!

— Соколов!

Фамилию он назвал первую попавшуюся. Худощавый юноша в тёмной спортивной курточке вышел к доске несколько развязно и в то же время стеснённо.

— Лопухов и Кирсанов, как и Вера Павловна, — обыкновенные новые люди...

Романа «Что делать?» Женька не читал; начал — показалось неинтересно. В разговоре с ребятами пренебрежительно отзывался о романе: «Публицистика! Человеком Чернышевский был хорошим, конечно, а книжку написал так себе...» Но учебник Женька знал назубок.

— ...Лопухову и Кирсанову также не свойственно молитвенное отношение к природе, но они умеют и любоваться ею. Они, так же как и Базаров, занимаются опытной стороной науки, но...

Виктор Васильевич оглядывал притихший класс. Он испытывал что-то похожее на разочарование: стремился, если так можно сказать, на передовую, а попал к тридцати благополучным мальчикам из культурных, вполне благоустроенных семейств. Открытые, умные лица. Разные, интересные... С ними будет, наверное, хорошо работать, он даже наверняка полюбит их — и всё-таки не то, не то... Вот, например, этот, который отвечает, — немножко, видимо, самолюбив, немножко упрям, а вообще выражение лица такое прямое, такое чистое — хоть садись и рисуй с него плакат о счастливой советской юности... Виктор Васильевич спохватился, сделал над собой усилие, вслушался в гладкий, словно по рельсам катящийся ответ:

— ...Облегчая жизнь других людей, они не лишают себя этим радостей жизни, не приносят себя в жертву. «Жертва — сапоги всмятку», — говорят эти люди. Лопухову нелегко даётся уход со сцены, но он решается на него с лёгким сердцем...

Что-то такое было в этом ответе, что заставило Виктора Васильевича насторожиться.

— Постой, что это значит «уход со сцены»?

Женька некоторое время смотрит на учителя озадаченно, потом догадывается:

— Это он от Веры Павловны ушёл...

— Слушай, ты роман читал?

Женька удивлённо поднимает брови:

— А что?

— Читал ты роман?

— Нет.

— Эх, сказал бы, что читал! — искренне огорчается Владик Пелевин.

— Так его никто не читал! — кричит Алик Мирзоянц, кричит явно для того только, чтобы было побольше шума.

— Стойте, кто читал?

Вяло поднялись две руки. Читали, оказывается, Бес и, конечно, Лёня Лицкевич. Абрам Фальцатый неуверенно говорит:

— Я — отрывки.

— Быть того не может! — Виктор Васильевич начал волноваться, он почти умолял. — Слушайте, это вы говорите, чтобы товарища выгородить, или серьёзно?

— Нас так учили! — высунулся Бесёнок.

Виктор Васильевич двинул стулом.

— Не врите!

Класс на минуту притих, потом раздались возмущённые голоса:

— Мы и не врём!

— Всегда так отвечали — и хорошо считалось.

— А что ж, по-вашему, мы всю литературу должны читать? У нас не одна литература...

— Там вон сколько страниц!

— Хитры!

— Это кто сказал?

Поднялся здоровый парень с могучими плечами и короткой шеей.

— Ну, я...

— Постой немного.

— Постояю, недорого стóбит...

В классе одобрительно засмеялись. Виктор Васильевич согнулся над журналом. На роман «Что делать?» затрачено — раз, два, четыре... — десять программных часов, осталось только итоги подвести.

— Четвёртый сон Веры Павловны. Корецкий!

Молодой человек с подстриженными височками, со снисходительным выражением удлинённой смазливой физиономии неторопливо вылез из-за парты.

— Первого, второго и третьего сна вы у меня не спрашивайте, не знаю, — явно заискивая то ли перед учителем, то ли перед аудиторией, улыбнулся он.

— Да нет, что уж там...

— В четвёртом сне Веры Павловны Чернышевский показывает нам будущее общество... — Жора замаялся, подыскивая нужное слово, потом сказал доверительно, интимно, как достойному собеседнику, который всё, несомненно, поймёт: — этакую, знаете ли, идиллию...

Виктор Васильевич почувствовал, что бледнеет.

— То есть как это — идиллию?

Волнение его передалось и классу.

— Виктор Васильевич, вы не обращайте на него внимания. Он у нас вообще глупый — Корецкий!

— Идиот! «Идиллию»...

— Пижон чёртов!

— Кто-нибудь хочет его поправить? — Виктор Васильевич сделал быстрый жест. — Поправь, пожалуйста...

Поднятый Виктором Васильевичем Кирилл Порываев долго молчал, ковыряя крышку парты. Потом сказал:

— Ну, какая ж это «идиллия»...

— А что это? Ты поправь, поправь...

Кирилл, не отвечая, ниже опустил голову. Кое-кто из ребят поднял руку.

— Подождите, — сдержанно сказал Виктор Васильевич. — Ты, Корецкий, садись. И ты садись. И ты, — кивнул он Саше Саламатину. — Скажите, а как вы вообще представляете себе коммунизм?

— У нас же литература...

— Ну и что?

— Ничего. Так как-то...

— Что же такое коммунизм? — как-то даже задумчиво повторил Виктор Васильевич и кивнул в сторону круглоголового, большелобого паренька в кительке со споротыми погонами, глядящего на него с первой парты умненько, со спокойным ожиданием. Володя Никитин вскочил.

— Каждый работает по способностям, получает по потребностям. — Потом, почувствовав, что короткий заученный ответ этого учителя не удовлетворил, с готовностью зачастил: — Это такой строй, который предполагает изобилие продуктов на базе колоссально развитой техники и удовлетворение всех потребностей человека, максимальных его потребностей, с каждым днём растущих...

— И всё?

— А что же ещё?

Встал Лёня Лицкевич со своей доброй улыбкой и мягкими белыми руками — на руки его Виктор Васильевич почему-то прежде всего обратил внимание.

— Исчезнет разница между трудом умственным и трудом физическим. Виктор Васильевич поправил:

— Почти исчезнет. А как это, кстати, понять?

На этот вопрос ребята ответили более или менее толково. Они только удивились: почему «почти»? Виктор Васильевич объяснил.

— Что ж, давайте об этом и поговорим, — сказал он. — Что касается удовлетворения всех потребностей человека — это вы хорошо усвоили...

Ребята засмеялись.

— Ещё бы!

Виктор Васильевич погасил вспыхнувшее было оживление:

— А вот как насчёт первой половины формулы — как вы это понимаете? — И обратился к Корецкому: — Совсем не работать?

Жора пожал плечами. Он терпеть не мог шума из-за пустяков.

— Почему? Работать, конечно. По возможности...

— Ну, сколько ж это?

— Часа три. А сколько?

— А как вы думаете?

— Да так и есть, Виктор Васильевич. А сколько?

Смуглый лохматый мальчишка, Алик Мирзоянц, чуть не вываливался из-за парты.

— Дайте мне сказать, что вы всё Корецкого спрашиваете?

— Да так и есть, — оживился Владик Пелевин. — Часа три, а как же? Механизация. Подошёл к автомату — чик! — вот и всё. Чистенько. Часа три поработал, а потом гуляй себе — в клуб, или в кружок, или на лекцию...

— Потом — учиться! — выкрикнул Алик и опустил руку.

— Ну, и сколько учиться? — настойчиво спросил Виктор Васильевич.

Алика предупредили:

— Ещё часа три!

— Правильная жизнь! — с загоревшимися глазами говорил Владик, поворачиваясь сильными плечами в узкой парте. — Всё автоматически: обед готовится, булки прямо на стол подаются. Уроки надо готовить — подошёл к автомату, чик!..

— Мяч на футболе, — вдруг расхохотался Юрка Шнырёв, — мяч на футболе тоже автоматически будет передвигаться. Нажмёшь кнопку — чик! — в воротах...

Ребята, смеясь, фантазировали наперебой. И Виктор Васильевич, который давно уже был не у учительского стола, а меж рядов, в центре класса, — Виктор Васильевич тоже смеялся: шутку он, видно, понимал и любил. Неожиданно он спросил, весело и недоуменно:

— Нет, вы в самом деле думаете, что вас для такой вот идиотской жизни готовят?

— Почему «идиотской»? — насторожились ребята.

— А как же? Три часа поработал, три часа так себе, на утешение родителям, поучился, а остальное время лежи себе, булки с конвейера подбирай. Так?

— Ну, не совсем так...

— А как же?

Ребята молчали. Виктор Васильевич неожиданно для себя сказал:

— А ну, положите руки на парты!

Недоуменно переглядываясь, ребята подчинились. Виктор Васильевич внимательно обвёл класс серьёзным, недобрым взглядом, значительно и грустно покачал головой.

— Руки строителей коммунизма...

Ребята конфузливо убрали руки: вот не думали, что так это всё обернётся... Руки нерабочие, что и говорить, хвастаться особенно нечем. Ещё и летний загар, как назло, сошёл...

— Я вот думаю: как вы на производство пойдёте — такие вот ижди-венцы?..

Неприятное слово «иждивенцы» ребята пропустили мимо ушей, их удивило другое: почему на производство?

— А почему бы и нет?

— А учиться?

— Кто ж вам учиться запретит? Будете и учиться. Вы же сами говорите: не будет существенной разницы между трудом умственным и трудом физическим...

Лица ребят самолюбиво замкнулись: ну, это как сказать! Не знаю, дескать, как для кого, а для себя лично я эту разницу очень даже вижу... Виктор Васильевич помедлил: в конце концов он не прощается с ними сегодня, не последний день их видит — им ещё вместе жить и жить...

— И всё-таки коммунизм — это прежде всего труд, — медленно, настойчиво сказал он, — Прежде всего. Потому что — можете вы жить без труда? Я не могу, между прочим...

— Это мы понимаем...

— Понимаете вы! Вы вот усилие боитесь сделать — книжку прочесть. А книжка хорошая, честная. Книжку большой человек писал...

Виктор Васильевич вдруг ясно представил себе Чернышевского: в круглой шапке и арестантском халате, с бледными руками, спокойно сложенными на коленях, с этими его усталыми, близорукими, умными глазами. Ему вдруг стало так вот, по-человечески, обидно за Чернышевского, он сказал с сердцем:

— Странички считают! Человек ради них такую жизнь прожил, на смерть, на каторгу шёл. И писал-то он, между прочим, о вашем счастье, понимаете, о вашем, о вас думал, о вас и писал, — вы уж сделайте одолжение, прочтите...

Ребята растерянно молчали — никогда они не слышали, чтобы о литературе можно было заговорить так, как о чём-то глубоко личном. Юрка Шнырёв осторожно — то ли стараясь, чтобы Виктор Васильевич не видел, то ли боясь неверным движением спугнуть затянувшуюся тишину, — показывал соседям ликующе загнутый вверх большой палец: дескать, силён учитель! Кто проникнет в истоки мальчишеской симпатии? Даже эта вот угловатая непримиримость Ушакова нравилась ребятам — может быть, прежде всего она. Даже эта его недобрая ирония. Виктор Васильевич, словно вовсе не замечая производимого впечатления, задумчиво прищурившись, продолжал:

— Вы вспомните, как Чернышевский писал: «Жертв не спрашивается, лишений не требуется — их не нужно. Желайте быть счастливыми — только, только это желание нужно». Может, если бы мы не знали биографии Чернышевского, слова эти не так и звучали бы для нас, правда?..

Кажется, эта мысль только сейчас впервые пришла ему в голову. Виктор Васильевич спохватился:

— Нашёл, с кем говорить, вы же романа не читали! В общем, так: роман «Что делать?» будем заново изучать. В следующий раз спрошу содержание его, каждую мелочь...

— Ну и хваточка у вас, — когда уже выходили из класса, доверительно сказал Володя. — Этак мы скоро ноги протянем...

— Не протянешь, выдержишь — ты вон какой!..

— Да мне что, собственно! Я-то как раз роман читал, не весь, правда...

— Что ж ты руку не поднял?

Володя снисходительно посмеялся извечной учительской наивности.

— Мы, Виктор Васильевич, вообще — как бы это вам лучше объяснить? — мы ведь со всячинкой...

— Что ты говоришь? — изумился Виктор Васильевич. — Вот никогда бы не подумал!..

Женька за каникулы пристрастился ходить на лыжах: изучил все лыжные просеки в Сокольниках и в Останкинском парке, с трудом освоил знаменитый трамплин возле строящегося здания университета. Больше всего любил он наметить заранее маршрут и уезжать далеко за город с компасом и картой — уезжать до глубокой темноты, до последнего пригородного поезда, почти на сутки. К сожалению, Алик на такие прогулки Женьке вытащить не удавалось: Алик совсем помешался на атомном ядре и все каникулы не вылезал из читальни. Женька отказывался понимать друга: ему жаль было каждого погожего и не слишком погожего дня, жизнь казалась Женьке бесплодно уходящей, если он не успевал заручиться вовремя покладистой, ко многому готовой компанией.

Прекрасного товарища неожиданно нашёл он в лице Юрки Шнырёва. Юрка мечтал стать геологом, был удивительно лёгок на подъём и с головы до ног начинён романтикой дальних странствий, трудных поисков и утомительных переходов. К тому же у него оказались бабушка и тётя где-то недалеко от Немчиновки — это было совсем удобно. Можно было забежать к ним прямо с поезда, забросить, как Юрка выражался, «шмотки» и уходить куда глаза глядят на весь короткий, неяркий зимний день. Иногда с мальчиками увязывались Валя и Таня. Женька относился к этому неодобрительно: без девочек можно уходить смелее и дальше, они боятся заблудиться в темноте, визжат и шлёпаются на крутых спусках. Но Юрка был явно неравнодушен к Тане — даже интересно, что можно найти в такой колючей, строптивой девчонке, как Таня? И Женьке волей-неволей приходилось смиряться.

Очень хорошо это — идти и идти по бесконечной мгlistой подмосковной равнине, мерно выносить вперёд одно, другое плечо или с размаху отталкиваться сразу двумя палками, радостно чувствуя свою силу, лёгкость, точность каждого своего движения; хорошо в безмолвном зимнем лесу сбивать палкой снег с мохнатых ветвей и кричать во всю силу лёгких, кричать так просто, лишь бы крикнуть, и чутко слушать, как отзовется шёпотом задумчивое, осторожное эхо. Очень хорошо, пригнувшись, задыхаясь от снежной пыли, стремительно скользить вниз, чертя палками снег, чтобы притормозить и развернуться, и снова идти, снова мерно выносить вперёд правую, левую ногу, правую, левую... Нет мыслей, прочь отступает неотвязная тоска по Тусе, жизнь кажется ясной, несложной...

Очень хорошо! Хорошо подъезжать откуда-то со стороны околицы к тёмному дому с масляно светящимся оконцем кухни и, отшучиваясь от беснующейся собачонки, отряхивать друг друга мокрыми, обледелыми рукавицами. А в жарко натопленной кухне две тихие, улыбающиеся женщины будут угощать душистой, рассыпчатой картошкой — и тебе немножко неловко, потому что кто ты им, в сущности, этим милым, гостеприимным хозяйкам, но ты не в силах оторвать глаз от дымящегося чугунка, и вот уже катаешь картофелину с ладони на ладонь, дуя на пальцы, и чистишь, и разламываешь её, и посыпаешь крупной, зернистой солью: дома почему-то никогда не бывает ни такой картошки, ни такой вот крупной сероватой соли. Девчонки тянут с блюдецек чай, и Танька, как всегда, умничает, пригнувшись к самому столу, а Валя смешно захлёбывается и торопливо смахивает со лба мешающую прядь. Юрка сидит убогатворённый, со своими торчащими волосами и оттопыренными ушами; залоснившись от тепла, прыщавая его физиономия принимает не свойственное ей обычно выражение сытости и самодовольства.

Женька посочувствовал как-то, разглядывая несвежую Юркину кожу: — Сделал бы ты что-нибудь с лицом, а? В самом деле, цветёшь, как майская вишня.

— Говорят, пройдёт, когда женюсь,— чудаки! — ответил Юрка. — Попробуй женись сначала — с такой вот рожей.

— Ты только на Таньке не женись — вы с ней друг друга на смерть заспорите.

Юрка стыдливо признался:

— Я вообще-то в Тусю влюблён.

Туся! Плохо было Женькино дело: не мог он всё это время не думать о ней...

Прочёл после каникул — после того урока — «Что делать?» Чернышевского. Вот, оказывается, что: Лопухов уходит от Веры Павловны, когда узнаёт, что она любит другого. Уходит сам, симулирует самоубийство — тогда, к сожалению, иначе нельзя было, — уезжает в Америку, чтобы не мешать. В Америке борется за освобождение негров. Какие в самом деле замечательные были люди: прямые, благородные!.. А Женька всё думает одно: с кем сейчас Туся — с Володей Никитиным, с Юркой? С пижоном в шляпе? Ничего он про неё не знает! С тех самых пор не знает, как выскочил, словно ошпаренный, из её дома. Подумаешь, мать у неё какая-то не такая, поклонники... Володька говорит, у каждой порядочной девочки есть поклонники, это всё в порядке вещей, и чем она красивее, тем больше. В самом деле, при чём тут Туся? Виктор Васильевич приводил на уроке слова Чернышевского: «Хочу послужить одной». Очень просто. Женька, видно, не может так — послужить одной, душа у Женьки жалкая, маленькая, себялюбивая, сморщенная, как груша из компота.

...И всё это неверно. Всё неверно. Верно одно: Женьке очень хочется подержать Тусю за руку, заглянуть ей в глаза. Ему видеть её хочется, он её целую вечность не видел!..

Однажды вечером, когда Женька мучился над чертежом, в комнату заглянула Валя и со знакомой Женьке отчётливостью, с какой она говорила или делала то, что ей было особенно неприятно, передала, что Туся Огарышева просила Женьку сегодня же ей позвонить — всё! — и что Тусе это зачем-то очень нужно, Валя не знает зачем...

«Кончу чертёж и пойду, — озлобленно подумал Женька. — Нужно! Так вот и побегу, как же, стоит пальчиком поманить... Ещё и геометрию сделаю...»

Потом он отложил в сторону рейсфедер и угольник, наскоро оделся и, мыча от презрения к себе, как от зубной боли, поплёлся в сквер к автомату: звонить из общего коридора, по которому то и дело проходила Валя, он почему-то на этот раз не решился.

Голос Туси звучал жалобно:

— Мне очень нужно тебя видеть...

— Пожалуйста, можно увидеться, — как бы нехотя согласился Женька. — Когда ты хочешь?

У него сердце сжалось, пока она медлила с ответом: вдруг она скажет «послезавтра», «завтра». Туся сказала: «Сейчас...»

Он ждал её тут же, у автомата, поколачивая ногами. Возникая где-то на высоте четвёртого этажа, сыпал и сыпал реденький московский снежок. Зажглись часы на углу напротив, одна за другой загорались витрины. Крошечные москвичи, неуклюже переваливаясь, озабоченно возили саночки, ковыряли снег лопатками у самых Женькиных ног.

Туся подошла медленно, глядя на Женьку снизу вверх трогательным, беззащитным взглядом. Женька сдержанно сказал:

— Ну, здравствуй...

Она сама взяла его под руку и повела куда-то в безлюдные переулки: объяснение, как видно, предстояло нешуточное. Женька так внезапно прервал их дружбу, а Туся ведь очень одинока, очень, Женька ещё не знает всего. Девочки её не понимают, завидуют ей — «ты не знаешь ещё

наших девочек, не знаешь, какая у нас школа...» — ей совсем не с кем дружить, она так была благодарна Жене...

— Это тебе-то не с кем дружить? — усомнился Женька. — Вокруг тебя столько народу всегда — не пропихнёшься.

— Женья... — Туся глядела с упрёком. — Какие же это друзья, это так, ты же не знаешь...

Туся безошибочно находила пути к Женькиному сердцу: ах, если бы он помог ей стать по-настоящему хорошей! Туся и сама знает, что она плохая — конечно, плохая! — а какой иной она может быть возле такой матери!..

Женька страдал, слушая Тусю: сколько она пережила, видимо, с того вечера, если так говорит о собственной матери! Жадюга, эгоистка, хищница — положим, Женька не мог не согласиться со всем этим. И, оказывается, Валерия Николаевна только и думает о том, как бы отделаться от дочери, как бы её за кого-нибудь пристроить, хоть за того же дядю Лялю — «ну, за того самого, помнишь?» Ещё бы Женька не помнил! Дядя Ляля очень приличный сценарист, между прочим, у него положение, деньги, а разве им что-нибудь ещё нужно?..

«Им» — это, несомненно, значило дяде Лёше и маме. Ни дядя Лёша, ни Валерия Николаевна даже словом не заикались ещё о замужестве Туси, но самой Тусе казалось, что так интереснее. Она и сама верила всему, что говорила, глаза её смотрели на Женьку робко и как-то особенно правдиво. Вот какая она несчастная! А дядя Лёша! Дядя Лёша всё воспитывает её, всё не даёт ей покоя: и комсомолка она плохая, и ученица неважная, и то она должна, и это должна — чего он лезет, он ей и не отец вовсе. И вообще плевать ему на Тусю, так, показать только хочет неизвестно кому, какой он сознательный и высокоидейный. И почему-то только Туся что-то должна, только Туся, — сами они никогда ничего не должны, между прочим...

Последнее Тусю особенно обижало: сами, небось, ничего не должны, живут в собственное удовольствие! Теперь она говорила по-настоящему искренне, даже голос её дрожал: никогда ещё ей не было так себя жалко! Это они только для Туси всякие слова находят...

Они давно уже стояли у какой-то обледенелой, похожей на сталактит водосточной трубы, и Женья молчал, перебирая длинную бахрому белого Тусиного платка. Кое-чего он не понимал, кое-что понимал слишком даже хорошо, но во всяком случае сочувствовал Тусе всем сердцем. Но так как он ничем не выражал этого, а только упрямо, бестолково молчал, Туся закрыла варежкой лицо и, прижавшись лбом к трубе, жалобно заплакала. Этого выдержать Женька уже не мог.

— Перестань, — беспомощно топчась около неё и дёргая её за плечо, просил он. — Ну, перестань, пройдёт кто-нибудь, что ты, как маленькая...

Туся заплакала тише, но безнадежнее. Тогда Женька с силой отогнул её руку и, сам не понимая, как это случилось, поцеловал прохладную, солёную щеку.

— Видишь! — вовсе некстати сказал он. — Есть о чём плакать...

Плакать Тусе уже не хотелось, она раза два всхлинула, затихая. Она немножко рассердилась на него за то, что он тут же решил вытирать ей слёзы своими перчатками, — перчатки были жёсткие и, конечно, грязные, — но дипломатически не подала и виду: очень всё-таки милый мальчик этот Женья, недаром ей пришлось даже поплакать ради него. И когда они вышли из переулочка на ярко освещённую улицу, лукавые глаза Туси уже искрились и смеялись, и Женья, заглядывая в эти глаза, — а он только это и делал, — мог убедиться в том, как много значит для неё его дружба...

Домой он вернулся поздно. Мама уже спала, на столе, прикрытый полотенцем, стыл ужин. «Чертёж надо всё-таки кончить, — писала мама на



клочке газеты. — Поставь будильник на шесть». «Милая мама, — с искренней благодарностью подумал Женька. — Такой мамы ни у кого нет, моя всё понимает...» В шесть часов Женька, конечно, так и не встал: не до чертежа ему было!

На следующий вечер Туся была занята, ездила с мамой к каким-то знакомым, а заниматься после вчерашнего чем бы то ни было представлялось решительно невозможным. Чтобы убить пустой, невыносимо длинный вечер, Женька предложил Вале пойти на новую, только что вышедшую на все киноэкраны картину.

Картина обоим не понравилась. Валя на обратном пути начала было говорить, почему именно ей не понравилось, — Женька даже не заметил, что высказывает Валя и его собственные мысли, которые он в другое время сам с удовольствием бы развил. Неожиданно он спросил:

— Слушай, как ты относишься к Тусе?

Спросил он не потому, что его очень интересовало отношение Вали к Тусе, но потому прежде всего, что ни о чём, кроме Туси, не был в состоянии говорить. Валя молчала. Валя упорно глядела себе под ноги, и никогда ещё Женька не видел у неё такого грустного и отчуждённого лица. Он спросил настойчивее:

— Нравится она тебе?

Теперь ему это уже всерьёз надо было знать: он вдруг подумал, что Валька — очень хороший товарищ и умнее её он ещё не встречал девочки.

Валя неохотно сказала:

— Зачем это, Женя? Ты с ней дружишь, ну и дружи, если тебе приятно, а мне она...

— А тебе она не нравится?

— Нет.

Валя виновато вздохнула и быстро взглянула на Женьку. Женька нетерпеливо стиснул ей руку.

— Почему?

Валя, страдая, выдернула руку.

— Женя...

— Но я же не знаю, — наполовину искренне, наполовину с вызовом продолжал Женька. — Я же ничего про неё не знаю! Учимся мы не вместе...

— Я не виновата, что мы не учимся вместе.

— Что я знаю? Я не знаю, хороший она человек или нет, честная она или нечестная, как она учится, с кем дружит — ничего я не знаю! Знаю, как она танцует, — всё! Как с ребятами кокетничает, как смеётся, как... — с усилием он прибавил: — как целуется...

— Ну и знай на здоровье! — как-то неестественно воскликнула вдруг Валя и, наклонив голову, быстро пошла вперёд.

Смутно чувствуя, что сделал что-то очень нехорошее и от этого больше ожесточаясь, Женька в несколько шагов нагнал её.

— А ещё говорила, что мы друзья. Выходит, с девочками нельзя дружить, так?

— Ничего я не знаю, оставь меня.

— Вы ей просто завидуете, вот и всё.

Валя быстро обернулась, слёзы высохли у неё на глазах, в голосе слышалось презрение:

— Это она тебе сказала?

— Зачем! Я это и сам вижу. Она из всех ваших девочек самая красивая. В неё половина нашей школы влюблена, если хочешь знать.

— Красота — не главное...

— Главное! Это некрасивые девочки, вроде Татьяны, выдумывают разные теории.

- Таня — очень хорошая девочка.
- Я и не говорю, что плохая.
- Женя, оставь меня!
- Пожалуйста...

Он повернулся и пошёл, отчётливо чувствуя себя скотом и не имея сил вернуться. Валя хотела было крикнуть ему вслед: «Иди, целуйся со своей Тусей», но не смогла — спазма сдавила ей горло. Она едва говорила:

- К своей Тусе...
- Конечно!..

Если б он оглянулся и увидел, как она, маленькая, поникшая, уходит вдоль железной ограды сквера, где её легко может сшибить нагоняющий со спины трамвай, идёт, покусывая мокрую рукавичку, повторяя с судорожными вздохами «мамочка, мама», если б он оглянулся, то, конечно, не выдержал бы и всё-таки побежал бы вслед. Женька не оглядывался. Замешавшись в толпу, он шёл совсем в другую сторону, упрямо разжигая свой гнев против всех, кто не желает считаться с тем, какие у его Туси ласковые, лёгкие руки, какие милые смеющиеся губы, переменчивые глаза. С тем, что вчера его — впервые в жизни! — поцеловала девушка...

А в это время Алина Андреевна, не слыша сдержанных рыданий дочери и этих её стонов, наслаждаясь тем, что ни мужа, ни Вали нет дома и никто ей не помешает, заканчивала вчерне вступительную часть к своей диссертации — главу о преимуществах отдельного обучения перед совместным. Тема диссертации была актуальной, в академических кругах многие это одобрительно отмечали.

### 13

Женя Соколов и оглянуться не успел, как, по образному школьному выражению, «оброс двойками». Двойка стояла по черчению — впрочем, по черчению весь класс имел двойки, кроме Лёни Лицкевича и Кириллы Порываева, малоразговорчивого, очень скромного паренька, обнаружившего к черчению неожиданное пристрастие. Двойка стояла по немецкому языку, потому что немецкого языка Женька, провожая Тусю с катка, не успел приготовить. Двойка стояла по любимой им математике — за отказ, потому что Женька в этот день получил от Туси записку с двумя крошечными, неразборчивыми буквами, приписанными в самом конце: «ц. т.», и ни о чём другом, кроме того, что значили эти буквы, в этот день не мог уже думать. О тройках нечего и говорить. Хуже всего, что всё это было не у него одного, — весь класс словно с цепи сорвался: на уроках дурил, отказывался, грубил учителям, а Женька Соколов был комсоргом класса.

Хорошо, он был слабый, безвольный, неорганизованный человек — так честил себя Женька в своём дневнике, но отвечать за класс должен был он, а не кто-нибудь другой, какое-то чувство ответственности у него всё-таки было! Он мог, конечно, встать и сказать: «Переизберите меня, ребята, комсорг я никуда не годный». Он заранее представлял себе, как все будут веселиться и улюлюкать. Плохой комсорг — нашёл на что сослаться! Будь хорошим...

Не мог он быть хорошим! Быть хорошим комсоргом — это значило прежде всего ровно работать изо дня в день и ни на что не отвлекаться, встречаться с Тусей лишь по субботам, сидеть в читальне, как Алик Мирзоянц, исполнять распорядок дня, как Лёня Лицкевич, — у Женьки даже скулы сводило при одной только мысли о распорядке дня. И к Виктору Васильевичу не имело смысла обращаться. Виктор Васильевич скажет

то же, что сказал бы всякий здравомыслящий человек: «Сделай сначала с собой что-нибудь...»

Виктор Васильевич, между тем, тоже переживал нелёгкие дни. В учительской подошёл к нему робкий на вид человек и, вложив в его руку свою, немощную и вялую, соболезнующе покачал головой.

— Фёдор Иванович Мнушкин, с вашего разрешения. Историк. Очень способные мальчики в вашем классе, вы знаете, очень. Но — лоботрясы...

Подоспевшая Людмила Ивановна, учительница географии, выразила своё мнение с грубоватой определённой:

— Разбойники. И нахалы.

В припухших глазах её светилось, тем не менее, удовольствие: отношения Людмилы Ивановны с этими «разбойниками», на которых она обычно иступлённо кричала и стучала указкой, самоё её, видимо, совершенно удовлетворяли.

Молоденькая учительница немецкого языка расстраивалась, отмахиваясь от Виктора Васильевича скомканным носовым платком.

— Не учат они иностранный язык! В этом классе учат только математику — вы сами увидите...

Лидия Фёдоровна уверяла обратное. Лидия Фёдоровна встретила Виктора Васильевича одобрительно, но одобрение это напоминало угрозу:

— Вот хорошо! Алина Андреевна слишком увлекалась домашними сочинениями — за счёт других предметов, конечно. У нас занимаются только литературой, естествознанием, ну, немецким языком — математика у нас в школе, как это ни странно, в загоне.

Виктор Васильевич вежливо ей поддакивал, глядя в её широкое крестьянское лицо, и невесело думал: «Как же! Загонишь тебя — ты вон какая ядрёная...»

Что он должен был делать с классом? Пробирать их, стыдить? Для этого они были слишком взрослые. Говорить о прогулах, о двойках? Они слушали скучливо, ко всему, видимо, притерпевшись; с такими лицами ждут поезда где-нибудь на глухом полустанке. Один Володя Никитин, не желая унывать, оборачивался назад с весёлой усмешкой: «Сознайтесь, негодяи, быстро!..» Всё это было досадное мельчание, тоска, повторение в тысячный раз одного и того же. В самом деле, что он должен был делать? Напоминать о комсомольском долге? Он мог испепелить себя у них на глазах — они и слушали и не слушали, и соглашались и не соглашались, слова его попросту шли мимо их сознания — так просеивается зерно между пальцами.

Он обратился со своими сомнениями к Анатолию Лукичу. Анатолий Лукич выслушал его внимательно и терпеливо, зачем-то потрагивая лежащие перед ним «Иван III — государь всея Руси» и «Северную Аврору», — у Чечевичного теперь постоянно лежали на столе нарядные книжки новинки: очевидно, Анатолий Лукич личным примером пытался приохотить учителей к вдумчивой работе над собой. Анатолий Лукич очень пытался понять Ушакова, очень, и какой-нибудь совсем уж не зависящей от воли его и желания была та причина, по которой он его всё-таки не понял. Очевидно, не понял: Анатолий Лукич порекомендовал Ушакову сходить на классный час к заслуженной учительнице Румянцевой и молодому историку Федяеву — оба они прекрасно работали в своих классах.

Таисья Васильевна Румянцева охотно продемонстрировала своё мастерство с тем скромным, горделивым достоинством, с каким хозяйка в былое время показывала сотканые ею холсты; Федяев сначала смутился, испугался даже, но, едва обратился к своим ребятам, искренне забыл о посетителе. Виктор Васильевич позавидовал тому, как доверчиво и жадно слушают Таисью Васильевну её невинные питомцы с их тёплыми стриженными головёнками и трогательными шейками в чистых воротничках, восхитился той интонацией, которую нащёл со своими сорванцами

Федяев, — деловитой, доверительно-интимной и в то же время не допускающей ни малейшего возражения, испытал от обоих посещений большое удовольствие и большую радость за товарищей. Что из того? Таисья Васильевна руководила вторым, а Федяев — шестым классом...

Обращался он и к Лапшинскому, с которым за короткое время довольно близко сошёлся. Борис Борисович понимающе поморщился в ответ, но посоветовать что-нибудь не решился: он и сам болел тем же самым. «Слышишь, Виктор, — попросил он, — если придумаешь что-нибудь, скажи и мне — мне это тоже нужно...» Борис Борисович тоже руководил одним из девяти классов.

Виктор Васильевич пришёл к ним с тем же, с чем и ушёл. И сидели они перед ним всё так же: Юрка Шнырёв, всем своим видом выражающий постоянную готовность к отпору, Жёня Соколов с его прямым и добрым взглядом, спокойно выжидающий Лёня Лицкевич... Владик Пелевин и Алик Мирзоянц на задней парте подозрительно далеко отодвинулись друг от друга.

— Никитин!

Володя неторопливо меняет свою великолепную позу на неизмеримо менее совершенную: никому не мешал человек, попросту учителям угодить невозможно...

— Мирзоянц и Пелевин, уберите шахматы!

Алик торопливо делает невинные глаза, но Владик уже гремит шахматами, уважительно бормоча: «Глазастый...»

— Фальцатый, закрой книгу.

— Я, Виктор Васильевич...

— Закрой!

Ну, вот они готовы и с преувеличенным вниманием, терпеливо ждут очередной проработки. Что он им скажет? Что Генка Борисов и Владик не учатся, а халтурят, что у Саши Саламатина вторая двойка по химии, а Шнырёв три урока истории прогулял? Мелочи! Вся школьная жизнь из мелочей...

— Комсомольцы вы или не комсомольцы?

Так он и знал! Скучливая поволока в глазах, равнодушный вид людей, заранее ко всему готовых, — ну, комсомольцы...

Виктор Васильевич сдержался, помолчал.

— Шёл я недавно по коридору, — совершенно другим голосом, словно только что войдя в класс, начал он. — Вдруг слышу — кричит Людмила Ивановна. Нехорошо — как бы это вам сказать? — слишком громко кричит, сильные слова употребляет: «лодыри», «болваны»...

Ребята настожились, на лицах их появился неподдельный интерес: «Критика преподавателей — это что-то новое!» Кто-то вздохнул.

— Она всегда так кричит, поверите...

— Очень мне стало больно, — словно ничего не замечая, продолжал Виктор Васильевич. — Жалко стало Людмилу Ивановну — всё-таки она пожилой человек, сердечница, не стоило бы её до этого доводить. Очень обидно стало за тех, кого она называет «болванами», очень обидно!

— Виктор Васильевич, она всегда так кричит, серьёзно.

— Давид Наумович тоже иногда стучит кулаком.

— Нет, он ничего. А вот Людмила Ивановна здорово кричит, это вам кто угодно скажет. И всегда какие-то такие слова выбирает.

— Лидия Фёдоровна на днях Жорку кретином назвала!

— Неверно. Она сказала: кретинизм какой-то.

— Не всё равно?

— Жорка сам виноват: сдувает без толку, не думает над тем, что пишет.

— А ругаться она имеет право, да?

Виктор Васильевич поднял руку.

— Потом я заглянул в класс — мне очень хотелось узнать, в чём, собственно, дело, — и увидел Юру Шнырёва и Гену Борисова...

Юрка развеселился.

— Верно, было дело!

Генка Борисов, добродушный, медлительный здоровяк, снисходительно усмехнулся: было...

— И мне несколько уже не было обидно за ребят. Я, и не спрашивая, в чём дело, уже знал, что Людмила Ивановна права.

— Как это — права?

— Виктор Васильевич, как это — права? — Юрка даже подскочил, мотнув головой и часто моргая. — Что ж я, по-вашему, болван, да?

— Не знаю. То есть я знаю, что не болван, конечно... Не в этом дело...

Юрка примирительно пробормотал:

— Вы сами смеётесь.

— Виктор Васильевич, а в самом деле, — Володя решил поднять вопрос на принципиальную высоту, — в самом деле: как это у нас не считаются с достоинством человека?

— Люди мы или не люди?

— Унижать нас будут...

— А никто вас, между прочим, и не унижает. — Виктор Васильевич пожал плечами. — Вы сами себя унижаете.

— Виктор Васильевич!

— Что «Виктор Васильевич»? Спыхватились! Если у людей нет уважения к себе, от кого они смеют требовать уважения?

Нет уважения к себе? Как бы не так, себя-то они уважали! Именно это выражали сейчас их лица.

— Вы уважаете себя? Соколов, например. Получает одну, другую двойку, стоит у доски... — Виктор Васильевич чуть не сказал «дурак дураком», но сдержался. Женька, чуть побледнев, встал. — От кого он может требовать уважения к себе? Сделай честно своё дело — тогда и требуй, я так понимаю.

Женька молчал. Виктор Васильевич с внезапно шевельнувшейся теплотой спросил:

— Скажешь, я тоже тебя сейчас оскорбил?

— Нет, чем же?

— А ведь Женя — способный, умный парень, честный человек. Человек, которого, безусловно, можно было бы по-настоящему уважать.

Владик Пелевин завистливо вздохнул.

— Меня бы так ругали!

— И Пелевина есть за что уважать, и Шнырёва, например, и каждого из вас — что из того? Кто и откуда должен знать, что вы хорошие, умные ребята? Из чего это следует? О каждом человеке судят прежде всего по его поступкам.

— Это верно, положим...

Женя негромко сказал:

— И всё равно... я не хочу, чтоб на меня кричали.

— Всё? И больше ничего ты не имеешь сказать?

— Что же?

— Прав я?

— Правы, конечно. Я давно думаю, что меня надо переизбрать...

Кто-то засмеялся:

— Вы его не слушайте, Виктор Васильевич, это у него вроде кори!

— Детская болезнь!

Виктор Васильевич безнадежно махнул рукой.

— Не понимаете вы меня!

— Понимаем.

— И не поймёте, между прочим. До тех пор, видно, не поймёте, пока не начнёте по-настоящему работать. Пока сами не почувствуете, без всякой подсказки со стороны, что труд — это действительно и есть счастье.

Женя не выдержал:

— А любовь?

— И любовь. — Виктор Васильевич помедлил, мысленно взвешивая это новое соображение, потом повторил: — И любовь, конечно. Но судить о вас будут прежде всего по труду — везде, куда бы вы ни попали. Раньше людей встречали по одежке, теперь, видите ли, по труду — социализм...

— Мы понимаем.

— Ничего вы не понимаете. Мне, например, очень хотелось бы вас уважать. Очень! А я не могу. Не могу уважать лодырей, халтурщиков — душа не позволяет. Не могу уважать людей нечестных. Вы могли бы? Я не могу. Я ведь представляю, как вы рассуждаете: это всё, дескать, временно, это я так, а вот потом, в будущем, в каких-то совсем иных обстоятельствах — вот тут-то я себя покажу, я, дескать, чудес понаделаю, если очень-то пожелаю. Так? Никаких особенных обстоятельств не будет! Вот что будет, это я вам твёрдо гарантирую: будни. Такие же, как сейчас. От вас зависит сделать их радостными, значительными, даже героическими в какой-то мере, или всю жизнь, изо дня в день, тянуть такую вот тягостную волюнку. Ну, понимаете что-нибудь? Мне же хочется, чтоб вам хорошо было, чудаки вы...

— Виктор Васильевич, мы понимаем. Разве мы сами не хотим?

— Ну и что же?

— Не получается почему-то.

Виктор Васильевич мог быть доволен: на этот раз его, безусловно, слушали, больше того — принимали. И всё-таки, когда прозвенел звонок, ребята, так же как и всегда, облегчённо вздохнули, с удовольствием разминаясь, хлопая крышками парт, шумно собирая книги.

— Сокол, подожди!

— Генка, стой, нам по дороге!

— Вот и поговорили, — выходя из класса, общинчески улыбнулся Володя. Он никогда не упускал возможности поделиться с Виктором Васильевичем своими соображениями по любому поводу и каждый раз с таким видом, словно говорил: «Мы-то с вами, Виктор Васильевич, взрослые люди...»

И Виктор Васильевич, очень довольный тем впечатлением, которое он произвёл, с беспощадной ясностью вдруг увидел, что ничего он, собственно, не добился и никакого длительного впечатления не произвёл, и что разве только чуть больше будут уважать его ребята за то, что говорил он с ними искренне, от души, а не просто «патефонил», и что завтра же всё пойдёт, как было. И ещё одно встало перед ним — на этот раз со всей несомненностью: оружие учителя — слово, а они давно уж привыкли ко всем хорошим словам, и верят и не верят им, и давно уж равнодушны к ним, и не он виноват в этом.

#### 14

Виктор Васильевич был человеком впечатлительным и страстным и, вероятно, поэтому кое-что преувеличивал иногда. Возможно, преувеличивал, потому что уже на следующий день после уроков подошли к нему Женя Соколов и Алик Мирзоянц и нерешительно спросили:

— Виктор Васильевич, вы очень заняты сейчас? Нам хотелось бы поговорить с вами.

Вместе вышли на улицу. Разговор с молчаливого одобрения своего друга вёл в основном Женя. Алик, то спускаясь с узкого тротуарчика на мостовую, то снова поднимаясь, сбоку следил за выражением лица Вик-

тора Васильевича своими горячими, насторожёнными глазами. Виктор Васильевич не прерывал Женю и ничем себя не выдавал: шёл, опустив глаза на обледенелый, едва присыпанный песком тротуар, молча уступал дорогу встречным и только изредка взглядывал на Женю коротко и серьёзно.

А Женя, широко размахивая полевой сумкой, рассказывал о том, что вчера после собрания они долго говорили с Аликом и решили, что всё очень плохо. Очень плохо, Виктор Васильевич. Потому что какие они, между нами говоря, комсомольцы? Вот раньше были комсомольцы — это да! Комсомольцы когда-то Днепротрест строили, Магнитку, город Комсомольск в тайге. Воевали, как Юрий Смирнов, как Матросов. Что ж они, книжек не читают, не знают, что такое комсомол? Как переживали когда-то, когда в комсомол вступали, — вот, думали, теперь-то настоящая жизнь и начнётся, теперь всё будет иначе! А в жизни ничего не изменилось. Посмотришь на комсомольцев — ничем они остальных ребят не лучше, только на собраниях всякие хорошие слова говорят. Женька о себе скажет: сначала, когда только приняли в комсомол, стыдно было работать кое-как, потом попробовал — ничего, можно. Можно! Только вот радости от этого никакой, как-то совсем себя не уважаешь. И так это всё надоело!

Они уже сидели на скамейке, в сквере: Женька посередине, Алик и Виктор Васильевич по бокам. Виктор Васильевич сказал:

— Застегни пальто, Алик.

Алик молча поёжился — не о чем говорить, пальто всё равно холодное, старое. Женька задумчиво усмехнулся.

— У него пуговицы нет.

— Я сам часто думаю, ребята, — Виктор Васильевич заговорил искренне, недоуменно, как бы от них же ожидая совета. — Что, в самом деле, делается у вас с комсомолом? Понимаете, был я когда-то в институте, потом в армии, во многих местах был и везде чувствовал: комсомол — это сила! Понимаете — сила! А сейчас вот пришёл в школу и не чувствую этого. Почему? С тех самых пор, как в вашу школу пришёл.

— Это, Виктор Васильевич, не только у нас. Кого ни послушай, во всех школах одно и то же.

— Но почему?

В самом деле, почему? Ребята задумались.

— Может быть, в людях дело? Хотя бы у нас: какой из Абрама руководитель? Бегаёт, суетится, мечется, всё старается сам сделать, а силёнок не хватает. Конечно, ему же ещё и учиться надо!

— Правда, Виктор Васильевич, совсем не авторитетная организация стала.

— И знаете, чего ещё нет? — сказал Виктор Васильевич. — Такого вот духа комсомольского.

Женька невесело усмехнулся.

— Я и не знаю, какой он бывает, этот комсомольский дух.

Виктор Васильевич легонько вздохнул:

— А я знаю...

Кто-кто, а Виктор Васильевич это знал. В двадцатые годы Артек не всем был доступен, конечно. Не было ещё разросшихся детских парков и разрисованных лучшими художниками дворцов. Не было телевизоров чуть не в каждой квартире. Не в этом даже и дело! Пусть будут роскошные пионерские комнаты в школах-новостройках и помпезные новогодние ёлки, пусть будут дворцы и телевизоры — пусть всё это будет! Но в юности романтика нужна, как воздух, — не утрачена ли она вовсе, эта романтика? Не подменили ли чиновники, скучные, неумелые, старательно воспитанные за последние годы, как огня боящиеся ответственности и смешанных юношеских коллективов, не оттеснили ли они от ребят вожака-друга, первого среди равных, самого смелого, самого справедливого, самого не-

утомимого? Того жизнерадостного, толкового парня в пионерском галстуке, Шурку, или Лёшу, или Максима, в которого были когда-то влюблены все ребята прилегающего к школе района. В самом деле: с полной походной выкладкой теперь с ребятами не пройдишь — представитель роно даст вожатому строгий выговор; дальше чем на пять — или на сколько там? — километров от лагеря не отойди; в поле не поработай, на земле не переночуй — что за преступное пренебрежение драгоценным ребячьим здоровьем! А Витьке Ушакову и его товарищам когда-то костры коптели весёлые, усталые лица, походные котомки оттягивали назад плечи — чудное время было! Однажды, например, в военную игру играли — безлунной ночью, в Крыму, надо было разведать, где у противника знамя, бесшумно подползти к нему, выкрасть под носом у дозорных. Утром, уже на свету, зубами вытаскивали колючки из распухших ладоней, слёзы выступали от боли. Рассказать всё это какому-нибудь деятелю из министерства — ничего не поймёт. Не поймёт, даже если и сам был когда-нибудь пионером. Ночами вскакивали по тревоге. В колхозах работали — в том же Крыму, например, на табаке... С каким презрением относились ко всяким маленьким сынкам, что не умели пол помыть, заплату на собственных трусы поставить, разжечь костёр одной спичкой. К тем, кто на прополке табака берёт себя, отползал в сторонку, под шелковицу, в тень. А комсомол!..

Уж и не вспомнишь, зачем собирали какие-то мешки по квартирам. Писали плакаты для заводского клуба. На заводе много бывали: целый месяц, помнится, работали в механическом цехе на простейших станках — практика какая-то была, что ли? Там же, на заводе, почему-то и в комсомол принимали. Весь свой район школьники знали тогда, как свои пять пальцев: где какое предприятие, где что производят. Вместе со всей страной за режим экономии боролись, обучали грамоте женщин в окраинных рабочих бараках, свозили на салазках утильсырьё чуть ли не через всю Москву. Очень чувствовали, чем страна жила, и барских ручек, таких, как у вас, ни у кого тогда не было, вы уж не обижайтесь.

— Мы не обижаемся, что вы!

Десятилетку, помнится, кончали в тот самый год, когда везде говорилось: и в печати, и в лозунгах, и по радио, что человек — это величайшая ценность. Песню пели на выпускном вечере: «Мы всё добудем, поймём и откроем...» У постовых милиционеров на улице спрашивали всякую чепуху, которую и без них знали: очень нравилось, что милиционеры козыряют в ответ, тогда это только что введено было. Дух замирал от гордости: граждане! Хозяева своей страны, её труженики...

Большое это искушение — рассказывать о своём, когда тебя слушают так завистливо и жадно. Виктор Васильевич спохватился:

— Что будем делать, ребята?

Алик подтолкнул Женьку. Тот сказал:

— Надо бы с ребятами поговорить.

— Я же говорил вчера.

— Не так.

— Как же?

Женька пожал плечами — он не знал. Виктор Васильевич уныло сказал:

— Ну, и я не знаю.

Кто это придумал, что воспитатель должен быть непременно уверенным в себе, всегда всё знающим, непогрешимым? Алик и Женя смотрели на задумавшегося Виктора Васильевича всё с тем же горячим ожиданием, с надеждой: они не усомнились в нём ни на минуту.

Нельзя — он внезапно понял это! — даже в хорошем коллективе нельзя подходить ко всем с одинаковой меркой. Он так хорошо знал это



в армии, почему же он здесь об этом забыл? Одной мерки для всех нет и быть не может, и не с этих вот общих обращений к классу надо было начинать: то, что противостояло ему до этих пор, ещё и не было коллективом...

Уже нащупывая какое-то решение, Виктор Васильевич осторожно спросил:

— А что, ребята, это вы одни так вот думаете?

— Что вы! — Женька даже испугался. — Виктор Васильевич, мы же не лучше всех!

— Не лучше?

— Нет, конечно!

— Может, тогда так и сделаем: соберём всех этих ребят, поговорим по душам.

— Актив собрать?

— Ну почему непременно актив? Соберите тех ребят, у которых, как и у вас, на душе накопело.

— Остальные, боюсь, обидятся.

— А зачем говорить остальным?

Алик так и загорелся:

— Колоссально! Тайно соберёмся, да? И так, знаете, начистоту, по-настоящему поговорим — в классе со всеми ведь не поговоришь начистоту. Ух, мне это нравится — мы им теперь дадим по мозгам!

Так и созрела идея: собрать у кого-нибудь на квартире лучших ребят и, по энергичному выражению Алика, «дать по мозгам» откровенным, начистоту разговором. Почему на квартире? Ну, как Виктор Васильевич не понимает — чтоб не было этой доски, парт, звонков за стенкой, этак сроду не разговоришься... А остальные ещё успеют узнать.

Стали думать, кого позвать: конечно, Лёню Лицкевича, Юрку, Владика Пелевина... Бесёнок — этот не дорос ещё до серьёзного разговора. Виктор Васильевич подсказал:

— Абрама...

Ребята переглянулись без всякого энтузиазма.

— Надо, конечно, — вяло согласился Женька.

— Он же секретарь, насколько я понимаю.

— Он нас и так поддержит. Знаете, он такой: ни рыба, ни мясо.

— И после этого вы на комсомол жалуетесь!

— А кого же ещё выбирать? Он у нас с седьмого класса в комитете — как-никак, опыт. Да мы позовём Абрама...

— А Никитина позовёте?

Установилось тяжёлое молчание. Женька медленно сказал:

— Вот так вопрос!

— А что?

— Я бы Володьку ни за что не позвал, хоть мы с ним и товарищи были. Так ведь другие ребята будут кричать.

— Позовём! — категорически решил Алик. — И Абрама позовём, хуже не будет.

Виктор Васильевич напомнил: хорошо продумайте, что будете говорить. Если разговор этот не получится — дальше ещё труднее будет.

Ребята вдруг испугались:

— А вы разве не придёте?

— Нет. Зачем?

Так Виктор Васильевич неожиданно узнал, что его очень уважают в классе и без него никак нельзя и что никакому душевному разговору он, конечно же, помешать не может, наоборот...

Виктор Васильевич даже огорчился:

— За что уважать? Я же ничего ещё не сделал...

— Так уж пришлось, — сдержанно объяснил Алик.

Собрались у Жени Соколова. Трудно было понять: то ли для дела он всех их созвал, то ли просто так пригласил в гости. По-домашнему уютно: круглый, застеленный чистой скатертью стол, мягкий диван под чехлом, ковёр на полу, кровать Ольги Сергеевны за жёлтенькой ширмой. В стороне, у письменного стола с неяркой настольной лампой, бочком пристроился Виктор Васильевич, такой же, как и все, стеснительный и прихитрый. Женя предложил:

— Может, чаю поставить? Я тогда хоть за сушками сбегаю, а то к чаю ничего нет.

— Что ты, не надо чая. — Виктор Васильевич кивнул на фотографию, стоящую на столе. — Это кто — отец твой?

— Да, с мамой.

Ну, этого можно было бы не говорить: сразу видно, что Женькина мама. Открытое, светлое лицо с таким же, как у Жени, прямым и мягким взглядом. Пушистые волосы собраны за ушами. Очень милое лицо. Прижалась к плечу сурового на вид, совсем молодого военного — таким уходил на фронт когда-то Женин отец. Такой она была, когда его провожала...

Какая она сейчас? Согнулась от горя, ожесточилась?

Виктор Васильевич тихо посоветовал Жене:

— Начинайте...

Женька заговорил сбивчиво и убеждённо: плохие мы комсомольцы! Пустые, безыдейные, совсем выродились. Что мы делаем, чем интересуемся? Пользы никакой не приносим, у самих удовлетворённости нет — разве не так? Раньше школьники чем только не занимались, а сейчас нам говорят одно: учитесь. Даже с этим справиться как следует не можем. Уважать себя не за что, правильно Виктор Васильевич тогда говорил. Не знаю, как вы, а я всё думаю, думаю о том собрании: нельзя жить, если не за что себя уважать...

Ребята слушали, не шелохнувшись. Ждали чего-то в этом роде, и всё-таки это было неожиданно. Юрка Шнырёв насупился, глядя в одну точку, по губам Володи Никитина скользила задумчивая усмешка. Женька кончил, и все некоторое время молчали, наконец Володя поднял руку.

— Пусть Виктор Васильевич меня извинит, я хочу знать: это Виктор Васильевич Сокола накачал или это Женька всё сам придумал?

— Вот видите! — Женька в отчаянии двинул стулом.

Но за Женьку вступились. Произошло то, на что Виктор Васильевич и надеялся: молодые, неиспорченные ребята, здоровые, полные сил, — не могли же они сами не чувствовать смутной неудовлетворённости от кажущегося растраченного впустую дня... Володьку одёрнули:

— Опять начинаешь? Хватит!

— Сокол дело говорит!

Может быть, это необычная обстановка действовала? Разве раньше они не слышали точно таких же слов? Им искренне казалось, что не слышали. Таких? Нет, таких не слышали. Лёня Лицкевич поднял было руку, Женька нетерпеливо мотнул головой: что здесь, собрание? Здесь разговор не такой, как всегда, здесь разговор по душам.

Лёня заговорил с обычной своей мягкой, извиняющейся улыбкой, которую так любили ребята, — улыбкой, вызванной исключительно симпатией к собеседникам, ничего весёлого Лёня и не собирался сказать.

— Я часто думаю, ребята: для чего мы живём?..

Очень он хорошо это сказал, ребята даже переглянулись. А Лёня вспомнил тот урок по литературе: нам же действительно при коммунизме жить, это не пустые слова. Поставлена перед нами историей какая-то задача? Поставлена. Всё лучшее, что они слышали и знают, всё связано со словом «коммунизм» — за коммунизм уж столько народу погибло! А вот теперь всё упёрлось в них — правда, ребята? В их поколе-

ние, в учеников девятого «Б» класса... Что ж, другие делали, а они теперь портить будут?..

— Я серьёзно говорю...

Все и так видели, что Лёня говорит серьёзно. И Владик Пелевин говорил серьёзно, только Владик был человеком совсем иного склада.

— Кто из меня растёт? — так и рванулся он с места. — Сволочь. Вы не смейтесь — сами вы многим лучше? Лёнька, например. То есть сам-то он очень хороший, конечно, но что он для других делает? Ничего! Какой-нибудь несознательный прохвост типа Владки Пелевина на его глазах школу будет в щепки разносить — скажет ему что-нибудь Лёничка? Ничего не скажет! Лёничке до Владечки никакого дела нет. Или Юрка Шнырёв. Юрка, может, самый умный у нас в классе. Мы ведь сегодня по душам говорим, так? Я и говорю, что очень Шныря уважаю. А Юрке только бы поддеть кого-нибудь, ехидничает без толку. Он ведь сколько сделать может — вы ещё не знаете!.. Володька — ну, этот, по-моему, самый вредный, я вам сейчас скажу почему...

Разговор по душам явно получался, даже Володе Никитину было не до шуток, самолюбиво замкнувшееся лицо его покрылось пятнами. Алик, так горячо желавший «долбануть по мозгам», сейчас молчаливо ёрзал в дальнем углу и получал живейшее удовольствие — именно об этом свидетельствовал его затаённый сияющий взгляд.

Юрка Шнырёв неожиданно стукнул ладонью по столу.

— Хватит трепаться, всё ясно. Давайте думать, как будем коллектив спасать. — Почувствовав, что от него ещё чего-то ждут, он охотно добавил: — Потому что согласны вы без коллектива жить? Я — нет. Вы тоже не хотите, я знаю.

— Может, Виктор Васильевич что-нибудь скажет?

В самом деле, ведь Виктор Васильевич здесь! Что они могут предложить сами? Выговора объявлять за прогулы, отстающим помогать? Всё это видано-перевидано, в зубах навязло. Стоило ли здесь так вот открывать душу, чтоб до этого договориться, — как и на обыкновенном классном собрании, таком же, как и десятки других, за теми же партами, перед той же классной доской!

Виктор Васильевич не готовил заранее речи, просто он твёрдо знал одно: коллектива «вообще» нет и быть не может. Это понятно?

Это было понятно.

Нет коллектива «вообще» — коллектив создаётся вокруг какого-нибудь общего дела, общей задачи. Есть у них такая задача? Есть! Она кажется им прозаической, скучной, но дело ведь в данном случае не в самой этой задаче — задача, как говорится, «не виновата», — дело в отношении к ней...

Поняли! Они всё понимают, умницы, до них не доходит лишь казённое, умерщвлённое слово. Дело не только в фактах, дело и в отношении к ним... Вот сейчас он скажет самое страшное: дело в конечном счёте в отношении к этим так называемым мелочам — к плохим отметкам, прогулам, мелким нарушениям дисциплины. Дело не в двойке или, предположим, в тройке — дело в том, что человек не работает так, как мог бы работать. Очень важная это задача: научить каждого работать добросовестно, честно — это ведь для человека на всю жизнь. Ни один учитель этому не научит — научит только требовательный коллектив. А задача — задача это важная, на всю жизнь! Нужно показать каждому: вот какие у тебя способности, ты, может, и сам о них не подозревал; вот что ты сумеешь, если захочешь. Не можешь чего-нибудь? Можешь! Приучить каждого к тому, что очень это дорогая и ответственная штука — собственная жизнь, нельзя её так вот, день за днём, впустую растрчивать...

Приняли и это! Всё и до конца поняли: этих «мелочей» не обойдёшь — с них всё начнётся, ими и кончится. На чём в конце концов характер вос-

питывается? Именно на этих мелочах. Что без них останется — пустая болтовня? Болтунов среди собравшихся не было, достаточно было на эти решительные лица взглянуть.

Предложения так и посыпались. Что делать конкретно? Списывать не давать — это прежде всего. Пусть каждый сам работает. Сашка Саламатин? Сашка своих ещё ни разу не бил. Учебники с собой в школу не брать, незачем — учебники только дома нужны. Как вы не понимаете, Виктор Васильевич, учебники — это страховка. Пусть никакой страховки не будет: ни подсказок, ни списывания, ни возможности так вот, не готовясь, одним глазком в учебник заглянуть. Уроки готовить все...

— Опять не понимаете? — Лицо у Алика соболезнающее: эти ему учителя!

— Вот у нас, например, с Соколом кооперация: часть уроков он готовит, часть — я, очень неплохо получается. Потом списываем друг у друга...

На уроках сидеть хорошо. Что делать с историей? На истории просто невозможно хорошо сидеть, хоть бы «Тишайшего» поскорее забрали!.. Впрочем, решено-подписано, какой бы учитель ни был — историю знать нужно. Сидим! Друг другу будем помогать. Ещё что? Генка Борисов неожиданно сказал:

— В школе не курить!

Все обомлели, потом расхохотались: молчал, молчал — высказался! Генка добродушно пояснил:

— А то младшие пацаны с нас пример берут — непорядок...

Ребята пришли в восторг. Если уж Генка, самый яростный курильщик, предлагает не курить — значит дело будет! Всё, ребята, с завтрашнего дня начинаем учиться!..

В дверь опасно заглянула Ольга Сергеевна. Виктор Васильевич с протянутой рукой поспешил к ней навстречу.

— Извините, пожалуйста, наше вторжение...

Они познакомились тут же, в тесном, отделённом от остальной комнаты портьерой и заваленном ребячьими пальто пространстве. Ольга Сергеевна, потирая раскрасневшиеся с мороза щёки, медленно сказала:

— Вот вы какой! Мне Женя много о вас рассказывал.

Оба неловко улыбались. Виктор Васильевич мысленно повторил: «Вот вы какая!..»

— Никогда не поверил бы, что у вас уже взрослый сын.

— Какой же он взрослый!

Они молчали и улыбались. Потом Ольга Сергеевна как-то неуверенно сказала:

— Я, пожалуй, пока к соседке пойду.

— Только не сердитесь на нас!

— Что вы! За что же сердиться?

— Не сердитесь, мы уже скоро.

Женя оглянулся на тихо вошедшего в комнату, неизвестно чему улыбающегося Виктора Васильевича.

— Кто там — мама?

Он тут же забыл о своём вопросе. Ребята увлечённо говорили: навалимся на класс, всех скрутим, такую диктатуру объявим — «они» и не пошевеливаются. И пусть никто не знает о нашем сговоре — так убедительнее будет. Чтобы не было всех этих пустых разговоров: кто вы такие, да почему вам всех больше нужно.. Виктор Васильевич, правда?

Глаза у них нетерпеливо блестели, они главного не говорили: так было похоже на какую-то ещё никому не известную захватывающую, увлекательную игру. Очень трудную, очень серьёзную — и всё-таки игру. Разве это так плохо? Виктор Васильевич с удовольствием в неё включился, у Виктора Васильевича тоже блестели глаза.

— Правильно! И кто бы из наших что ни сказал в классе — на пользу дела, конечно! — все остальные пусть за него тут же, как один, встают, стенкой.

— Законно!

— Представляете, как всё это убедительно получится, если никто не будет оговоре ничего знать? Хватит, мол, не хотим жить по-старому, не хотим — и всё, надоело!

Володя Никитин вдруг сказал, прищурившись, в упор глядя на Женю:

— Значит, стоять будем друг за друга, так?

— Ну, так.

— А как же мы с тобой? Сокол, слушай, давай мириться, ну, давай!

Красивым, широким жестом протянул Женке через стол руку. Женка с готовностью пожал её, пытаясь сдержать против воли расплывающуюся улыбку.

— Мы же не ссорились...

Ребята притихли, кто-то восторженно крикнул:

— Вот молодец Володька!

Сияющее лицо Володи выражало откровенное торжество: вот и всё, а то про него словно бы вовсе забыли!

Толпой пошли провожать Виктора Васильевича до дома: очень не хотелось расходиться. Виктор Васильевич озабоченно морщился.

— Загорелись, вспыхнули, теперь вас и не удержишь. Через несколько дней погаснете, боюсь.

Юрка Шнырёв, стараясь идти с ним в ногу и то и дело сбиваясь, поглядывал на учителя хитренько и влюблённо.

— Виктор Васильевич, это подначка!

Влади́к Пелевин, ликующий, возбуждённый, махал руками.

— Вы же смогли до сорока лет в настоящих человеках продержаться, а мы не сможем?

— Ты подожди, мне всё-таки не сорок, мне меньше.

— Всё равно! А мы не сможем? Мы, по-вашему, не люди, да?

## 15

Алину Андреевну срочно вызвали в шестнадцатую школу. «Вот», — сказала Валя и, раскрыв ученический табель на той странице, на которой был записан вызов, с подчёркнуто независимым видом села в стороне. И что-то было в этой её независимой позе такое, что у Алины Андреевны защемило сердце.

— Что-нибудь случилось, Вавочка?

Валя пожалла худенькими плечами.

— Ничего не случилось. Просто наша Глафира видела, как мы с Женкой выходили из кино, а теперь всё время ко мне придирается.

— Ну, придирается! Ты, наверное, не учишь...

— Историю, мама? — с упрёком воскликнула Валя. Историю она любила.

Если поверить Вале, всё, что случилось сегодня, не стоило выеденного яйца: Валя задала на уроке какой-то вопрос, разгорелся страшный спор, очень интересный (по тому, как у Вали оживлённо заблестели глаза, Алина Андреевна без труда догадалась, что дочь её наговорила дерзостей и вообще чувствовала себя в этом споре героиней), учительница неизвестно на что рассердилась, нажаловалась Глафире Григорьевне — всё!

— Всё?

— Всё.

— Ты, наверное, вела себя недостаточно скромно?

Валя возмущённо дёрнулась.

— Ах, мама, ты такая стала...

Опять то же! Алина Андреевна расстроено умолкла. Дома она всегда виновата в чём-то. В чём? Её вечно в чём-то обвиняют.

Муж в последнее время слушал её с непонятной кротостью и грустью. Мягко говорил: «Тебе бы, Аленька, надо на время уйти из школы — отойти, осмотреться, право...» Алине Андреевне чудился в его словах скрытый упрёк, она возмущалась чуть не до слёз, спорила. Семён Михайлович стоял на своём: «Что тут обидного? Это, если хочешь знать, в любой специальности полезно. Сколько времени можно работать без перерыва — десять, пятнадцать лет?» Очень обрадовался, когда Алине Андреевне предоставили наконец отпуск. «Вот теперь моя учёная супруга всё спокойно обдумает на досуге. Мне, признаться, кое-что кажется спорным в твоей диссертации, особенно вступительная часть. Смеею надеяться, что раздельное обучение — лишь досадный эпизод в истории нашей школы...»

«Досадный эпизод»!.. Он же экономист, что он во всём этом понимает! «Ты не знаешь школы, — терпеливо возражала Алина Андреевна. — А вот послушал бы ты старшего методиста Владимира Афанасьевича или Глафиру Григорьевну. Или Петра Ильича, например...» Глубоко эрудированный в вопросах педагогики и педантичный Пётр Ильич был научным руководителем Алины Андреевны и наибольшим для неё авторитетом. «Вы там как хотите с этим Петром Ильичём, а только мне нашу Вавку жалко...» Алине Андреевне хотелось плакать после таких разговоров. При чём здесь её Вавочка, ну, при чём?..

Валя, или, по-домашнему, Вавка, всегда была послушной, ласковой девочкой, доверчивой и угловатой. Она обожала отца, нежно любила мать. В последнее время Алина Андреевна всё чаще стала замечать в дочери не свойственную ей раньше несдержанность и скрытность. Валя раздражённо говорила матери: «Ты, мама, такая стала...» Какая — такая? «Ты ничего не понимаешь».

Ну, не смешно ли? Что женщина сорока с лишним лет не может понять в собственном ребёнке? Валя замечала растерянный, несчастный взгляд матери, подкрадывалась к ней сзади, обвивала руками её шею: «Клужечка-дорогущечка, добренькая-добренькая, моя-моя...» У Алины Андреевны оттаивало сердце, ей уже не казалось, что дочь отходит дальше и дальше...

А Вале всё это время жилось непросто. Валя придирчиво изучала себя в зеркале: под глазами веснушки, щёки от этого какие-то жёлто-красные, глаза при каштановых волосах должны быть голубые или серые — они у неё карие, как назло. Любить такую не за что, и Женька её, конечно же, никогда не полюбит — так и будет вздыхать по своей дорогой Тусеньке!..

Если б это был кто-нибудь другой, другая девушка, не Туся! Туська лживая, дрянная — её никто не любит в классе. К учителям подлизывается. На днях девочки проводили вопросник во время урока биологии: «Кто твой идеал?» Туся Огарышева написала: «Мой идеал — с лицом Евгения Самойлова, с душой Овода» — дура какая, все потом смеялись на перемене! Только и есть, что хорошенькая фигурка и красивое личико, из-за которого она много о себе воображает. Собирается быть киноактрисой — тоже, если подумать, не от большого ума: таланта у Туськи сроду не было. Римма говорит, что для кино талант и не обязателен, важно иметь фотогеничную внешность. А Таня уверяет, что главное — талант; вот её любимая артистка, Макарова, — не та Макарова, которая Тамара, её, впрочем, Таня тоже очень любит, а другая, младшая, — эта другая Макарова совсем не красивая, а кто об этом думает, когда она играет? Просто изумительно играет! И ещё Таня говорит, что слишком много звонят о Туськиной красоте, а в женщине вовсе не красота главное, главное —

хорошая душа.. Валя согласна с ней. Валя с каждым Таниным словом согласна — наверное, из-за этих проклятых веснушек!..

В общем, личная жизнь не удалась. Всё равно это не мешает Вале осуществить свою мечту: стать образованным, всесторонне развитым человеком. Кем она будет, историком? Она будет очень хорошим историком. Слава ей нужна? Валя не знает, что такое слава. Но зато она твёрдо знает, что о именно будет делать и что отвечать, когда через много лет, уже известная, сильная, самостоятельная, встретит невзначай Женю Соколова. Женька к тому времени уже, конечно, женится на Тусе. Как он будет переживать, бедный...

Таков примерно был строй Валиных мыслей и чувств, когда Глафира Григорьевна в раздражении потребовала к себе её маму или её отца.

Глафира Григорьевна считалась опытным, прекрасно знающим своё дело учителем, слава о ней шла далеко за пределы района, её портреты изредка мелькали на страницах центральных газет. Её постоянно вызывали то в МК, то в министерство, первый секретарь райкома консультировался с ней по всем молодёжным вопросам. Поговаривали — справедливо или нет, кто знает? — что это именно с неё снят знаменитый фильм об учительнице; сама Глафира Григорьевна по этому поводу справок никаких не давала, только многозначительно усмехалась в ответ. И никто из тех, кто вызывал её к себе и советовался с нею, из тех, кому она непререкаемо и авторитетно высказывала своё суждение по разнообразнейшим школьным вопросам, — никто даже и не подозревал, что Глафира Григорьевна была последним человеком — последним! — из всех, к кому следовало бы им обратиться.

Есть два типа учителей: для одних каждый новый день ставит новые и новые проблемы, для других проблем вообще не существует, они раз и навсегда решены. Она ведь очень опасная, эта педагогическая профессия, очень!..

В самом деле, учитель и в двадцать пять лет, едва со студенческой скамьи, и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят — он всё учитель, не ученик, он всё учит и учит. Сначала он неуверен и робок и с уважением приглядывается к более опытным, к старшим товарищам и пытается найти что-то своё, проложить свои пути. Потом уверен в себе и уже не присматривается к другим, теперь к нему самому присматриваются, и то, чего добился он сам, может показаться ему единственно правильным и непогрешимым, и он опять учит, учит не только учеников, но и тех, кто менее опытен и знающ. И он уже привыкает — может привыкнуть! — к тому, что такой, как есть, он заслуживает безоговорочного уважения и вправе требовать его, и что люди вокруг смотрят на него, как на своего учителя, и прислушиваются к каждому его слову, и что самому ему уже некуда идти дальше, нечего искать. Читатель легко согласится, конечно: дело тут даже не в профессии — дело, как везде и всегда, прежде всего в людях. Большая душевная свежесть, неутраченное молодое беспокойство требуются для того, чтобы противостоять тому чувству самодовольства и той ограниченности, которые так часто развиваются в педагогической среде.

И какая расцветает нетерпимость к критике! Посмотрите на такую Глафиру Григорьевну, или Людмилу Ивановну, или Степаниду Петровну — посмотрите, как она сидит на какой-нибудь конференции или педсовете! Дорогие мои товарищи, беспокойные, самоотверженные, милые люди — учителя! Это не о вас речь, поверьте, это речь об общей нашей знакомой, о Глафире Григорьевне или Степаниде Петровне, как там её зовут? Мы её с вами все одинаково не любим. Посмотрите, как она сидит, — величаво, невозмутимо, ничто её не взволнует, не заденет за живое, все вопросы для неё, как уже было сказано, раз и навсегда решены, на все

случаи жизни есть готовый рецепт. Она преобразится лишь тогда, когда будет названо её имя. Как, её лично, её, Степаниду Петровну, задели? Тут-то всё и начнётся! И да будет всем известно, что у Степаниды Петровны работа идёт чистенько, недаром сколько-то там лет назад сам заведующий роно работу Степаниды Петровны отмечал, ещё покойный NN был тогда заведующим роно, а уж он-то работу учителей знал, не чета нынешним. И если уж Степанида Петровна нехороша, если уж она кому-то поперёк дороги встала... И такая пойдёт критика, такой разнос, что только диву даёшься, как могла Степанида Петровна до сих пор терпеть подобные недостатки — до тех пор терпеть, пока её по имени не назвали!..

Сделайте Степаниду Петровну, или Людмилу Ивановну, или, лучше, самую волевою и властолюбивую из них, Глафиру Григорьевну, — сделайте такую Глафиру Григорьевну директором школы, поставьте в условия современного единоначалия, то есть дайте ей возможность делать то, что она считает нужным, воздайте ей почёт, заговорите о ней на всех перекрёстках... Глафира Григорьевна не потерпит никаких возражений, любыми средствами удалит беспокойных и неугодных, окружит себя по возможности людьми льстивыми и заранее на всё согласными, заставит весь коллектив по ниточке ходить, выровняет его, как газончик: у Глафиры Григорьевны школа поставлена — комар носа не подточит!..

И будут разыгрываться ученические комсомольские собрания и опытно-показательные пионерские сборы по заранее заготовленным шпаргалкам, и будут девчонки обливаться слезами по углам из-за вплетённой в волосы ленточки непредусмотренного Глафирой Григорьевной цвета, и иностранных делегатов будут встречать уже в подъезде ангелоподобные существа в белоснежных фартучках, и будут специально, напоказ, оформленные классы и дежурные букеты в дежурных вазах, и образцовые методические кабинеты с пожелтевшими методразработками в нарядных обложках. И главными людьми в школе, то есть людьми, для которых всё это делается, станут не эти вот вымуштрованные пай-девочки со смиренно опущенными глазёнками, а совсем посторонние люди, так называемые представители, те, от кого зависит нести дальше и дальше славу о Глафире Григорьевне, о лучшей в районе школе Глафиры Григорьевны, о лучшей в столице школе Глафиры Григорьевны, о системе Глафиры Григорьевны... Какая там «система»!..

Выпускники сорок девятого года не похожи на выпускников сорок седьмого, а выпускники пятьдесят первого — на выпускников сорок девятого, — каждый учитель это знает; они очень различны, эти сменяющиеся в школе поколения. Поговорите с учителями — они скажут, что в последние годы работать в школе становится всё труднее и труднее. Жизнь идёт, тревожит, напоминает о себе, ставит новые и новые задачи, кто-то должен же их решать — для Глафиры Григорьевны проблем этих не существует! Оттого-то она и стала такой, в этом-то всё и дело: не существует проблем!

Она на виду, её вызывают, с нею советуются: может быть, практика раздельного обучения себя не оправдала, может, стоило бы слить школы? Ни за что! Глафире Григорьевне не хватало только этих топочущих по лестницам развязных и грубых мальчишек... Её спрашивают: может быть, что-либо надо изменить в системе воспитания советской молодёжи, может, она в чём-либо недостаточна, эта система? Изменить? Ничего не надо менять! Зачем? Наша молодёжь, как известно, лучшая в мире...

К ней приходят студенты-практиканты, она охотно поучает их и ничему не учится сама, а ведь эти юноши и девушки только что сошли со школьной скамьи, их тоже небезынтересно послушать. Приходят молодые учителя, Глафира Григорьевна привычно и властно включает их в раз навсегда установленный порядок, раздражаясь, если норовистая лошадь



выбивается из общей упряжки. Приходят новые и новые ученики, приходят родители, газетчики, работники милиции, старые выпускники... Жизнь плещет в стены школы, проникает в самые заповедные её уголки, а на пороге стоит вот такой, словно в землю вкопанный, идол, органически неспособный двинуться ни на шаг, ни на четверть шага, — стоит и свет застит и заслоняет вход в школу своей импозантной фигурой!..

Глафира Григорьевна предъявила Алине Андреевне жёсткий счёт: дочь её нагрубил учительнице по истории, сказала, что та не читала Ключевского, ещё что-то; и вообще девочка стала рассеянна, ленива, резка, часто отказывается на уроках.

Алина Андреевна робко возразила:

— Мне казалось, она много работает в последнее время, особенно по истории — может быть, в ущерб другим предметам? Очень много читает, ходит в Историческую библиотеку...

— Пусть меньше шляется по библиотекам. — Глафира Григорьевна выбором выражений себя не стесняла и мнения свои выражала жёстко и определённо. — Программы, слава богу, сокращены, всё необходимое изложено в учебнике, им вовсе незачем куда-то ходить. Это всё предлог, неужели вы сами не понимаете, вы, мать? Они свидания назначают вместо всех этих библиотек...

— Моя Валя — честная девочка...

— Они все честные девочки. Она со своим возлюбленным расхаживает по кино, а вы...

— Но у неё нет возлюбленного!

— Это вы так думаете. Есть.

— Может, вы её видали с Женей Соколовым? Это наш сосед по квартире, очень порядочный мальчик.

— Ну, если вы сами поощряете! — Возражения раздражили Глафиру Григорьевну, она встала. — Вы сами преподаватель, вы должны понять, что роман этот надо немедленно пресечь, подобного поведения школа не потерпит. Если б ещё это не сказывалось на учёбе!..

Алина Андреевна поняла, что разговор окончен, и вышла. Как это и всегда с нею бывало, лучшие возражения пришли ей в голову уже на улице. Зачем Валя будет назначать какие-то там свидания мальчику, с которыми она и так живёт в одном коридоре? Программы сокращены... Программы, между прочим, на то и сократили, чтоб школьники могли изучать материал углублённо — ходить на лекции, в музей, больше читать... Нет, как можно так не доверять детям! Её девочка...

Её девочка сидела дома почти в той же позе, в какой Алина Андреевна её оставила, глядя куда-то в угол покрасневшими злыми глазами.

— Но ведь ничего же не случилось, Вавочка.

Валя молча потянула носом. Мама ничего не знает, и знать ей не надо: очень многое случилось. Приходил Женя, попросил лекало — ну, это предлог был, Женька не очень и скрывал, что это просто предлог, — пришёл мириться и правильно сделал, давно пора. Валя обрадовалась, тут же выложила ему все свои дела и переживания — их за время ссоры накопилось немало. Рассказала, что очень увлеклась лекциями в МГУ, — Женька с загоревшимися глазами подтвердил, что это очень интересно, конечно.

— Ты одна туда ходишь?

— Иногда с Таней. Одна.

— Вот молодец, я так ни за что не смог бы, мне всегда компания нужна...

Тут она совсем раскисла — вспомнить невозможно! — и предложила ему в это воскресенье пойти вместе, будет лекция о Леонардо да Винчи. Женька помялся и отказался всё-таки, даже не стал объяснять почему,

только посмотрел на неё тем самым, уже знакомым Вале взглядом, жалостливым и упрямым. Очень стыдно было вспомнить этот взгляд и то, как она обрадовалась и всё сразу выложила, как первая к нему полезла... «А что ж ты думала, — горько издевалась над собой Валя, — если он пришёл к тебе мириться, так он с Тусенькой своей встречаться не будет? Будет! Обрадовалась... Он вот и воскресенье с нею проведёт, а ты сиди себе с носом, иди на скучную, никому не нужную лекцию... — Самая мысль о лекции Вале сразу стала неприятна. — Женька-то молодец, Женька дружбу правильно понимает, а ты только врешь, врешь всему свету, Женьке врешь, что хочешь с ним дружить, а сама попросту влюблена в него, влюблена как кошка...»

Не глядя на мать, Валя холодно спросила:

— Ну, что тебе наговорила эта старая дева?

— Валя!

— Говорила, что мы только о мальчишках думаем, а не учимся, так?

Алина Андреевна почувствовала, что краснеет.

— Она не говорила этого.

— Как же, не говорила! Что я, не знаю? И чтоб мы по библиотекам не бегали, чтоб дома сидели пайньками, да? Она об этом только и может говорить. Пошлячка она, вот кто!

— Валя...

— Конечно, пошлячка, а кто же? Ух, как я её ненавижу!.. Старая дева, неудачница... Я, наверное, тоже такая буду: злая, скверная старая дева...

Алина Андреевна долго не могла заснуть в эту ночь. Вставала, зажигала свет, вновь, подперев кулаками виски, склонялась над своей диссертацией. Никакой она не учёный, просто «клушечка-дорогущечка», как называет её Вавка, — ни в одном положении своей диссертации не уверена, ни один тезис не смеет отстаивать до конца. Пишет об успехах раздельной школы, о новом шаге вперёд — кто не знает, что мы всё время идём вперёд, от успеха к успеху, что бы там у нас ни случилось... А вот её девочка оскорблена, девочке её плохо!.. Ссылки на опыт Глафиры Григорьевны: «В шестнадцатой школе столицы... Такой воспитатель, как Волкова...» Вот какой это, оказывается, воспитатель! «Заслуженная учительница республики, орденоносец, депутат...» Все эти страницы придётся переписать заново. «Не безрассудное влечение, как у Ромео и Джульетты, Фархада и Ширин...» А это откуда? Это из сочинения Володи Никитина, любимого её ученика!..

Валя что-то пробормотала во сне, заворочалась, Алина Андреевна поспешно потушила лампу. Уже лёжа в постели, грустно думала своё: сколько она души положила на таких, как Володя Никитин, на всех этих мальчиков, сколько, бывало, плакала из-за них. А никто за все эти месяцы так и не вспомнил о ней ни разу. Никто не зашёл — к Соколовым-то они заходят, Алина Андреевна не раз слышала их голоса в коридоре, всё надеялась: «А это наконец ко мне». При нечаянной встрече отчуждённо здороваются, смущаются, не знают, о чём говорить. Забежал однажды Лёня Лицкевич, принёс книжку, которую брал когда-то, к столу присесть отказался, на вопросы отвечал уклончиво, неохотно: «Зайдём как-нибудь, спасибо. Ничего. Спасибо большое». Она не выдержала, спросила о том, о чём поклялась себе никогда ребят не спрашивать: «Ну, каков ваш новый учитель?» Лёня впервые за весь разговор взглянул ей прямо в глаза, лицо его вспыхнуло: «Очень хороший». Ради этой вот диссертации отдали ребят — и ребят взяли. Всё надеялась: ничего, будут рядом, никуда они не уйдут. Ушли. Такой она преподаватель...

Что же всё-таки делать с Вавкой? Забрать её из этой школы, перевести в другую? Во всех школах одно и то же... .

Начать новую жизнь решено было со следующего же дня. Кто и когда лёг спать — об этом разговоров на следующее утро не было. Алик и Женя на своей задней парте переглянулись, тяжело вздохнули, оба разом выложили тетради из сумок — и расхохотались. Нелегко быть принципиальными!

В класс влетел Жора Корецкий. Суетливо расстёгивая портфель, присел рядом с Лёней Лицкевичем.

— Скорее!

Лёня, покраснев, сказал:

— Списывать не дам.

— Ты что, с ума сошёл?

Выяснить отношения было поздно, до звонка оставалось семь минут. Жора метнулся к Юрке Шнырёву.

— Давай скорее! Влепит она мне пару, как часы...

— Не дам я списывать!

— Да вы что, сдурели оба? Человек же гибнет...

— В морду хотят, — меланхолично заметил Саша Саламатин.

— Алик?

— Никогда!

— Со-олёное дело... — Жора оторопело понёс руку к затылку.

На перемене ребята кинулись искать Виктора Васильевича.

— Виктор Васильевич, ну, здорово получается!

На геометрии вызвали Сашку Саламатина. Тот, молча переминаясь с ноги на ногу, долго покачивался у доски, ожидая подсказки. Потом убеждённо сказал — представляете, вслух! — «сволочи вы все», повернулся к классу спиной, стал сам решать.

— Вылез или засыпался?

— Засыпался, Виктор Васильевич! Он формулы удвоения не знает.

— Надо помочь. Ты, Женя?

— Я ему уже предлагал. Он ругается, разговаривать не хочет. Это ничего, пройдёт...

На уроке истории Фёдор Иванович насторожённо поглядывал на необычно тихий класс, ожидая какого-нибудь подвоха. Подвоха так и не последовало. Вызванный к доске Владик Пелевин отвечал с таким знанием дела и с такой лихостью, словно сам был участником Севастопольской обороны. Кое-чего он всё-таки не знал, оправдывался почему-то не перед учителем, а перед ребятами:

— Сколько я, по-вашему, могу выучить за раз?

Давид Наумович разводил руками в учительской.

— Первый случай в истории школы! Сами шестой урок выпрашивают, говорят, что материал трудный...

— Идёте на урок?

— Что делать!..

Учеников девятого «Б» можно было сразу узнать по сияющим, торжествующим лицам; каждому встречному они заглядывали в глаза значительно и задорно. Всё, что они делали, делалось ими так отчётливо, так подчеркнуто, так в то же время непосредственно и дружно — они прежде всего играли, играли в очень нелёгкую, но увлекательную игру.

И это уже не было только игрой, это были будни. Оказывается, это не просто выдумка педагогов, но гораздо приятнее готовить уроки, чем их не готовить. И гораздо приятнее просидеть вечер над серьёзной работой, чем проштататься без цели и смысла, — это тоже не просто так, не в наказание резвому юношеству придумано. Как-то сразу начинаешь чувствовать себя человеком. Почему? Счастливым человеком — от этой постоянной подтянутости, собранности, от чувства коллектива: до сих пор о кол-

лективе только говорилось, а коллектива-то и не было. Так, оказывается, устроен каждый нормальный человек — ему всё это попросту нужно. Нужно, как ток живой крови в сердце, как воздух для лёгких!..

Алик Мирзоянц, радуясь общему подъёму, предложил осуществить старую свою мечту — организовать кружок по физике. Давид Наумович отмахивался.

— Какой там кружок! Ребята не захотят...

— Шесть человек хотят.

— Какой же это кружок!

— А как же в тринадцатой школе? — настаивал Алик. — Что у них, ребята какие-то особенные? Такие же! Там физическое общество на триста человек, а у нас...

— В самом деле, — вторил и Виктор Васильевич, — чем наши ребята хуже тамошних?..

В конце концов Давид Наумович вспылл:

— Ну, значит, учителя хуже?..

Алик непримиримо насупился.

— Выходит, что так. Есть учителя, а есть...

— А есть?..

— А есть преподаватели!..

Давид Наумович оставался неумолимым: уроки я даю? Даю. Хорошие уроки? Говорят, ничего, хорошие. Методическим объединением руковожу. Ещё что? «Он» тут указывать будет («он», наказанный за дерзость учителю, давно уже сидел, нахохлившись, в пустом классе, но Давид Наумович никак не мог успокоиться) — физическое общество на триста человек, шуточки!.. Мы всё-таки люди, а не герои, такое общество всей жизни требует...

— А в той школе герои, значит?

— Значит, герои... Вы, Виктор Васильевич, сначала поработайте с моё!

Шесть энтузиастов организовали свой собственный кружок, стали собираться по вечерам. Лёня сделал доклад о теории относительности, на меньшее он был несогласен, Алик — об атомном ядре, Абрам — о цветном телевидении, так себе, неплохой докладик. Потом увлеклись звукозаписью, решили, что без собственного магнитофона кружок не кружок и жизнь не жизнь. Пошли к Анатолию Лукичу за деньгами.

— Пустяки, только две тысячи! Зато мы ваши речи будем на плёнку записывать...

Анатолий Лукич грубой лести не поддался, денег у него и в самом деле не было. Кружковцы приуныли, несколько дней думали, откуда же всё-таки добыть «проклятые гульдены», потом Алика осенило:

— Давайте свои трупы в морг продадим, колоссально! В морге за каждого несколько сотен дадут. Ещё умрёшь или нет — неизвестно, а деньги уже сейчас на бочку...

Кружковцы, потрясённые торжественной простотой замысла, долго молчали. В школьном коридоре отчётливо слышался запах тления и сырой земли. Лёня виновато вздохнул:

— У меня, наверное, воображение слишком сильное...

Так и не решились продать свои будущие трупы: жалко стало. Кружок стыдливо свернулся — какой же уважающий себя кружок может существовать без магнитофона!

— Не физик я! — расстраивался Виктор Васильевич. — Им, чудакам, не магнитофон, им руководитель хороший нужен...

О том, как произошёл перелом в его классе, он рассказал Борису Борисовичу. Лапшинский и в своём классе сделал нечто подобное: собрал лучших ребят, поговорили по душам. Ничего не вышло! Есть, видимо, та-

кой закон — Ушаков и Лапшинский до сих пор о существовании его и не предполагали: абсолютно одинаковых случаев в педагогике нет, невозможно слепо действовать по образцам. Даже один и тот же учитель — если он, конечно, хороший, творческий учитель — к различным ученикам и отношению различно, в каждом классе находит что-то своё; каждое первое сентября словно впервые приступает к работе: новые человеческие характеры, новые отношения между людьми, неожиданные решения, нестёртые слова! Учитель всё время в плавании, всё время в долгом и трудном пути — даже самый образованный, даже самый начитанный. Какие бы выдающиеся примеры ни имел он перед глазами, ему предстоит многое добавлять к ним, многое осмысливать заново, до многого доискиваться самому! Что же говорить о разных учителях в разных классах! Одно дело — Виктор Васильевич Ушаков со своим девятым «Б», другое — девятый «А» и Борис Борисович Лапшинский...

— Ты, Борис, не очень переживай, — говорил обескураженному товарищу Ушаков. — Мои, если хочешь знать, тоже не продержатся долго...

Лапшинский криво усмехнулся — утешил, дескать.

— С чего ты взял?

— Так. Сердце вешее, всё равно как у старой бабы...

Ребята девятого «Б» ничем, казалось бы, не давали повода к подобному пессимизму: каждый новый день они по-прежнему встречали ликующе и победоносно. Пошёл уже второй месяц с их «февральского пленума», как называли они памятный разговор на Женькиной квартире, а они всё ещё держались и себе не верили! Работал даже Саша Саламатин, изо всех сил стараясь сделать вид, что ничего он не делает, так это у него всё, худо ли, хорошо, само получается. Как-то ошутимо полез вверх Кирилл Порываев, учителям объяснял смущённо: «Это не я, это Сокол — он мне помог немножечко...» И только один человек омрачал общее настроение радости и подъёма — Жора Корецкий.

Когда Жору вызывали к доске, он жалобным голосом говорил:

— Я, Нина Владимировна, плохо чувствовал себя...

— Но у вас и так две двойки! — пугалась молоденькая учительница немецкого языка.

— Что делать! Очень плохо себя чувствовал...

— Не ври, не канючь, — возмущались на перемене ребята. — Ничего не сделал — так и говори...

— Дураков нет, мальчики!

Нина Владимировна двойки не ставила, ставила «отказ». Жора самодовольно усмехался:

— Порядок!

Такова была его система: на уроках он сидел несчастный, томный, изнеможённо закатив наглые, ласковые глаза. На переменах оживлялся, веселел, показывал модные па в проходе между партами или, подражая джазу, эффектно исполнял этакое «буги-вуги», отбивая такт крышкой от парты. Когда-то это забавляло ребят, а теперь стало раздражать и возмущать, внушать чувство, очень похожее на брезгливость.

— Брось, — предупреждали они его. — Лучше брось, плохо кончится.

Жора только посмеивался. Однажды, когда он убедительно растолковывал Нине Владимировне, что ему необходимо спешить на рентген, Женька громко сказал:

— Никуда ему не надо идти, просто он урока не выучил.

Жора получил двойку. Поручили Лёне заниматься с ним. Лёня пришёл, Жора и не подумал. Потом Жора получил ещё одну двойку.

— Смотри, нарвёшься, — предупреждал его Абрам. — У тебя и так выговор вписан.

Выговор Жора получил в прошлом году за прогулы.

— Это вы умеете — выговора выносить.

— Мы и исключить можем.

— Хоть завтра же — не заплачу.

А ещё через пару дней Жора подчистил отметки в таблице.

— Эти двойки не настоящие, — разъярялся он Виктору Васильевичу, с которым мирно, рука об руку, направлялся к себе домой. — Я их из-за Соколова получил...

— Но ведь ты же тогда не болел?

— Это никого не касается. Нина Владимировна мне верит.

— И всё?

— А что же ещё?

— Никуда ты, видно, не годишься, Тарзан доморощенный, — вздохнул Виктор Васильевич. — Ничего до тебя не доходит, даже удивительно...

Жора снисходительно усмехнулся.

— Одна моя знакомая уверяет, что кое на что я гожусь, между прочим.

— Знакомая — молодая?

— Как вам сказать? Не очень. Но интересная...

— Что это значит — интересная?

Польщённый вниманием, Жора осторожно скосил глаза.

— Ну, Виктор Васильевич, это вы себе приблизительно представляете...

— Крашенные губы, крашенные ресницы, так? Капрон с чёрной пяткой?

Жора скромно заметил:

— Волосы тоже крашенные.

— Что ты говоришь! Это шикарно. Какой же сейчас модный цвет?

— Каштановый.

— Какая прелесть!..

Оба замолчали. Жора, глядя на замкнувшееся, непримиримое лицо Виктора Васильевича, попробовал объяснить:

— Виктор Васильевич, сами посудите, какие у меня могут быть общие интересы с нашими ребятами? Они же ещё дети. Дети! Играют во все эти бюро, учкомы, представляют? Страшно интересно... Один Никитин ничего парень, но и тому нравится, видно, с ними играть...

Удивительное дело: идёт рядом молодой человек, едва заметные усики у него шевелятся, он что-то говорит, а что именно говорит, о чём — ни одного слова понять невозможно. Как на киноэкране, когда внезапно пропадает звук. Кто-то уверял, кажется, что нет безнадежных случаев в педагогике. Как бы не так — есть!

— Нет, вы в самом деле ко мне идёте? — искренне удивляется Жора уже у самых своих дверей. — Виктор Васильевич, зря, не советую. Папа всё равно в министерстве, а мама...

— Что — мама?

Жора пожимает плечами. Потом говорит так, словно ищет доброжелательного совета:

— Не пойду я, а? Как у Чернышевского: разумный эгоизм. Терпеть не могу эти воспитательные мероприятия — слёзы, обмороки...

Жорин папа против ожидания оказался дома. Только что, видно, пообедавший и отяжелевший, в шляпе и с портфелем в руках, он шёл прямо на Виктора Васильевича.

— Видишь, — словно продолжая прерванный разговор, обратился он через плечо к жене, — вот и дождалась, пока из школы пришли, пожалуйста...

Виктора Васильевича он слушал, сидя на краешке дивана, придерживая на коленях тугой, добротный портфель, хмуро и неодобрительно поглядывая на собеседника. Он даже шляпы не снял, подчёркивая тем самым несвоевременность и нежелательность визита.

— Так, всё понятно! Этого я и ждал — семья виновата! Слышишь, — он обернулся к жене, — я же тебе всегда говорил: это мы с тобой виноваты...

Женщина с поблѣкшим, удлинѣнным, как у Жоры, лицом, не спуская встревоженных глаз с Виктора Васильевича, умоляюще вздохнула:

— Боже мой!..

— Старая история: кто-то там бездействует, а всё сваливают на родителей. Очень хорошо! А что должны делать, позвольте вас спросить, учителя, в чём ваша обязанность — извините, как вас? — Василий Васильевич? Что делает школьная комсомольская организация? Ведь Жора — комсомолец, насколько я понимаю...

— Плохой комсомолец.

— Ну, плохой... Заинтересуйте его! Хорошо, я согласен, — папа Корецкий сделал снисходительный жест, — согласен, что лично вы ни в чём не виноваты, вы человек новый. Но что делают другие учителя, о чём думает администрация школы? Эта ваша немка — она же, говорят, сама ничего не знает...

— Кто говорит — Жора?

— И Жора... Просто возмутительно: зачем же тогда школа? Государство доверяет вам важнейшее дело, важнейшее — воспитание детей, а вы его так это, на самотѣк пускаете? Родители виноваты...

— Может, будем говорить о вашем сыне? — кратко осведомился Виктор Васильевич.

— С ним можете делать всё, что вам заблагорассудится. — Корецкий встал в знак того, что никому не нужный этот разговор окончен. — Я вам совершенно доверяю. Заинтересуйте его, вовлеките, объявите ему выговор какой-нибудь — что у вас в таких случаях полагается? Даю вам на это полное право...

— Очень вам благодарен! — Виктор Васильевич не мог удержаться от иронии. — Могу я просить вас хотя бы не давать ему на руки больших денег? У него какие-то сомнительные знакомства, женщины...

Мать поднесла руки к вискам. Короткий, бешеный взгляд отца мог означать только одно: «Послушайте, как вас там, делайте свои дела, а чужие...»

— Денег он больше не получит. Всѣ? Что ещё? Не слишком ли много для одного раза: мальчик и нечестный, и ленивый, и ещё бог знает какой, теперь ещё эти сомнительные знакомства... Сомнительные!..

— Да, сомнительные. Вы послушайте...

Папа Корецкий больше ничего не желал слушать.

— Простите его, — с испугом глядя на захлопнувшуюся дверь, сказала мать Жоры и вдруг легко, словно принимаясь за привычное дело, заплакала. — Он просто влюблѣн в Жорочку, вы поверите? У вас ведь нет своих детей! Что теперь будет с нашим мальчиком, умоляю вас...

— Думаю, что его исключат из комсомола...

— Ах, это! — Она уголком платка аккуратно подобрала слѣзы с помятых щѣк. — Но больше ничего не будет, вы уверены?

Собрание комсомольской группы было недолгим и бурным. Жора возмущѣнно говорил:

— Ну, подчистил отметки — великое дело! А если у меня мама больная, у неё сердце... Для Женьки дело в каком-то глупейшем принципе, а тут здоровье человека...

Решение было единодушным: Жору из комсомола исключить. Воздержался один Бесѣнок: ему жаль стало Жору и его больную маму.

— Извилинок не хватает, Бесѣночек, — снисходительно упрекнул Володя Никитин.

Общее комсомольское собрание должно было состояться на следующий день, и на следующий же день, на большой перемене, стало известно, что

Бесёнок ходит из класса в класс и агитирует, чтобы голосовали против исключения Жоры.

Класс негодовал: как смеет комсомолец выступать против решения собственной группы! Бесёнок испуганно моргал, переживал, клялся, краткую, но внушительную речь Абрама о демократическом централизме выслушал почти коленопреклонённо. Мстительные чувства несколько улеглись, Бесёнку поставили «на вид», учитывая его молодость и несомненное раскаяние. Жорку решили «всё равно исключить», кто бы там за него на собрании ни заступался.

А заступники нашлись тотчас: исключение из комсомола, как известно, — дело нешуточное. На защиту Жоры поднялся прежде всего десятиклассник Серёжа Бычков. Серёжу вся школа знала: был он человеком широкой и щедрой души, немножко книжником, а в общем, милейшим парнем; его доброе лицо, несмотря на очки, было совсем ещё детским, слегка восторженным, чуть-чуть насмешливым; рассыпающиеся кудри он то и дело заглаживал назад привычным, мягким жестом. Жору Корецкого Серёжа не знал и, как он сразу же категорически заявил, знать не хотел. Серёжу интересовал исключительно принцип: кто дал право так вот сразу обижать человека?

— Почему — сразу? У него строгий выговор ещё с прошлого года.

— Это для тебя «сразу»!

Серёжу не так-то просто было сбить: человека не воспитывали, человеком не занимались, человека не окружали вниманием — недаром Серёжа иногда сам себя, посмеиваясь, называл гуманистом. Комсомольцы девятого «Б» задыхались от ярости:

— Где он, этот твой человек? Он вот даже на собрание не пришёл!

— Ах, его даже и на собрании нет! Как же вы хотите его исключать? Вот здорово! Человек, может, болен, может, переживает...

— Конечно, переживает он!

Стали выяснять, почему Жоры нет на собрании, добрались до восьмиклассника Ковригина, соседа Корецких по квартире: может, Жора и в самом деле заболел? Ковригин мрачно ответил:

— Что этому стилиаге сделается?

Оказывается, Жора вышел на собрание вместе с Ковригиным, но по дороге засомневался, свернул в сторону, махнув рукой: ему, дескать, вся эта комедия даром не нужна...

— Что же ты молчал?

— Мне больше всех надо!..

Ковригин, вообще оказался кладезем драгоценнейших сведений; делился он ими неохотно, но добросовестно. Дома Жорка — царь и бог, отказа ни в чём не знает, отчёта никому и ни в чём не даёт. Ботцнок себе, как жив, ни разу не чистил, только на домашних покрикивает: то ему не так, это не так. Над матерью издевается... Почему Ковригин раньше никому ничего не рассказывал? Ковригину больше всех надо!.. На днях Жорка в мать за какую-то малость графином запустил...

— Будет тебе! Каким графином?

— Ну, каким... Стеклянным.

Тут десятиклассники во всём блеске своего красноречия напустились на девятый «Б»: «А вы этого не знаете — почему? Ничего о человеке не узнаете толком, а уже, пожалуйста, — исключать...»

Юрка Шнырёв вскочил, заглатывая воздух от возмущения.

— А что вы о нём такого хорошего узнали?

— Почему вы за него заступаетесь? — поднялся и Женька. — Комсомолец он плохой? Плохой. Сколько мы должны его терпеть? У нас ребята в классе так стараются сейчас, он нам всю картину портит...

— Ага, он вам всю картину портит? Так бы и говорили!



— Нет же! — Женька страдальчески сморщился. — Вы что, нарочно не хотите понять? Он авторитет всей нашей комсомольской организации подрывает...

Лёня Лицкевич заговорил в обычной своей манере — до предела искренне, немножко наивно и очень убеждённо:

— Должны мы беречь авторитет комсомольской организации или нет? Возьмите вы комсомольцев и неорганизованных ребят — на что это сейчас, к примеру, похоже? На сообщающиеся сосуды, вот на что! Жидкость из одного в другой свободно переливается и всюду находится на одном уровне...

Кто-то насмешливо крикнул:

— Расфилософствовались!

Абрам смотрел на развеселившихся десятиклассников со страстной обидой. Помощи от них никакой, одна критика! Секретаря выбирают, лишь бы самим отделаться, а потом не слушают его, вон книжки читают на собрании; тот же Бычков, поднявший такой шум по поводу Корецкого, вернулся на место и уткнулся в какую-то книжку: Серёжа увлечён биологией до самозабвения, это вся школа знает, он ни одной минуты не потеряет зря.

— Почему вы не хотите нам помочь? — сказал вдруг Абрам, и что-то было в его обычно невыразительном голосе такое, что все, даже его товарищи по классу, удивлённо на него посмотрели. — Почему? Просто вам до нашей работы никакого дела нет, вот и всё. Мы, знаете, как работаем сейчас: у нас ни подсказывания, ни списывания, мы вот даже учебников в школу не носим. Нам Корецкий ужасно мешает. Чего вы добиваетесь, не понимаю, — чтоб весь наш класс перед Корецким отступил?..

Анатолий Лукич, до сих пор молча и чопорно сидевший в президиуме, насторожённо блеснул очками.

— Как ты сказал? Вы не носите учебников в школу?

— Не носим, — робко подтвердил Абрам.

— Это что же за нигилизм такой! Почему? Государство издаёт стабильные учебники, создаёт единые программы, единые требования к учащимся, а вы...

— Да мы же не против...

— Они не против! Почему вы не носите учебников в школу?

— Как вам сказать...

— В общем, игнорировать мероприятия правительства я вам категорически запрещаю! Просто слов не нахожу! Учебники надо носить в школу. Понятно?

— Понятно.

— У них нет подсказок, нет списывания — нашли чем хвастаться. До сих пор это считалось элементарной вашей обязанностью, разве нет? Разве не так? Фальцатый, я тебя спрашиваю...

Вконец растерявшийся Абрам еле слышно пролепетал:

— Конечно...

— Они авторитет комсомола спасают, пропадёт комсомол без всех этих дурацких выдумок! Учиться надо, вот что. Людей воспитывать — Корецкого, например... И извольте носить учебники в школу, есть в конце концов какие-то общие для всех правила...

Мальчишки из девятого «Б» слушали Анатолия Лукича с погасшими, вытянувшимися физиономиями: так всё было хорошо — и вдруг... Никто ничего не понимает! Виктор Васильевич сочувственно на них поглядывал.

— Разрешите мне! — Он решительно поднялся. — Думается, Анатолий Лукич не совсем понял, что происходит в нашем девятом «Б», правда, ребята? — Ребята с надеждой подняли головы. — Не понял он и на-

счёт учебников. Никто на правительственные постановления не посягает, учимся мы по тем же учебникам, что и все, мы их только в школу не считаем нужным брать, пусть уж нас извинят. — Ребята переводили вновь заблестевшие глаза с Виктора Васильевича на Анатолия Лукича: ну да, именно так, конечно! — Но если это Анатолия Лукича всё-таки смущает — пожалуйста! Пожалуйста, ведь не в этом же дело, ребята! Приносить учебники в класс мы будем, а работа наша пойдёт, как и до этого дня шла, так ведь?

Девятый «Б», весело оглядываясь на других, единодушно отозвался:

— Так!

— И от тех своих решений мы всё равно не отступим. Верно, ребята?

Виктор Васильевич даже кулаком взмахнул. Класс дружно выдохнул:

— Верно!

Анатолий Лукич, опустив глаза, неодобрительно покачал головой: что-то во всём происходящем очень ему не нравилось. Кто-то завистливо сказал:

— Что эти девятые задаются? Нам такого учителя, мы бы...

— Теперь насчёт Корецкого. Корецкий ведёт себя по отношению к коллективу вызывающе, нагло. Кто такой Корецкий? Законченный тунеядец. Если что-нибудь ещё способно ему помочь, так это очень трудная, очень суровая жизнь — и не в школе бы, не в нормальных условиях, а на каком-нибудь самом неблагоприятном, самом трудоёмком производстве. Что же вы предлагаете — вокруг таких, как Корецкий, на задних лапках ходить: милый Жорочка, не жмёт ли тебе комсомол, не тесен, не узок ли, не натирает ли ножку? Так? Может, чего доброго, нам комсомол перестроить, чтоб Жорочке в нём удобнее было? Ну, договаривайте! Устроить из комсомола что-то вроде детского санатория...

Ребята, притихнув глядели в недоброе, насмешливое лицо Виктора Васильевича.

Серёжа Бычков негромко воскликнул:

— Но Корецкого здесь нет!

— И к тому же, Корецкого здесь нет! — охотно согласился Виктор Васильевич. — Нет его здесь! Его судьба решается, а он даже прийти не соизволил, плевать он на всех нас хотел! Я помню, когда на фронте принимали в комсомол, на комсомольские собрания, случилось, надо было ползком пробираться, под огнём врага, жизнью рисковать. Рисковали. Доржили званием комсомольца, вот в чём дело. У погибших наших товарищей находили записки в нагрудных карманах: «Прошу считать меня комсомольцем». Кровью омывалось это святое право... — Голос Виктора Васильевича пресекся от ярости. — Да кто нам право дал, кто дал нам право, я спрашиваю, так унижать высокое звание комсомольца? Кто дал право? Должны мы беречь авторитет комсомола или не должны? Мы ещё сомневаться будем, не оставить ли Корецкого в комсомоле, не пожалеть ли! Жалейте! Жалейте, бог с ними, с теми, кого мы уважаем и любим... Думать не могу: Кошевой и Корецкий — в одной организации!..

За исключение Корецкого проголосовали в строгой тишине, единодушно, даже так называемые «гуманисты» задумчиво подняли руки. Перешли к обсуждению проступка Бесёнка. Десятые опять было заартачились, на этот раз удивлённо и весело:

— В самом деле, причину какую-то ввели!..

Но тут сам Бесёнок возмущился почти до слёз:

— Опять вы с нашей группой не считаетесь! Почему?

Делать нечего, уважили его, поставили ему «на вид». Ученики девятого «Б» после собрания шли по переулку, сцепившись под руки, на прохожих поглядывали торжествующе: вот, дескать, какой у нас коллектив! Попытались изобразить что-то вроде хора из «Ивана Сусанина»: «Славься ты, славься, наш русский народ...»

В райком Жора тоже не пошёл, пришлось идти Абраму одному. Из райкома Абрам вернулся расстроенный, лица на нём не было: райком решение комсомольского собрания не утвердил, Абраму ещё и попало.

— Велено,— сказал он,— Жорку дальше воспитывать...

— Да они Жорку и в глаза не видели!

— Всё равно. Воспитывайте, говорят. Комсомол — организация воспитывающая...

## 17

Вот и всё, кончились боевые денёчки! На Жорку никто не мог смотреть спокойно: тоже — комсомолец! Жора держался с таким величавым достоинством, нагло. Что бы ему ни говорили, он только брови поднимал в ответ: «ты думаешь?» или «вы думаете?» — в зависимости от того, кто к нему обращался.

Кончились, кончились боевые денёчки! Сначала на уроке отказался один, потом другой. На ежедневных пятиминутках всё чаще стали звучать взаимные упрёки:

— Больше всех кричал, а сам списываешь...

— У меня уважительная причина.

— У меня, может, тоже уважительная причина, а я...

Потом и самые эти пятиминутные летучки прекратились. На уроках истории и черчения опять стали заниматься чем бог на душу положит. Одёрнуть, возразить было некому: кто станет возражать, если у всех рыльце в пушку? Разложение распространялось неотвратимо и быстро. Четырнадцатого марта весь класс, как один человек, ушёл с сочинения по литературе.

В жизни всё совсем не так просто, как в благополучных школьных повестях. Ребята были буквально влюблены в Виктора Васильевича, правильным инстинктом молодости они угадывали в нём цельного и искреннего человека и старались ему во всём подражать, иногда смешно, совсем ещё по-детски. Он никогда не застёгивал пальто — они тоже стали ходить нараспашку, он в задумчивости покусывал ногти — они тоже усвоили эту дурную привычку. У Виктора Васильевича была на щеке глубокая складка — эта складка казалась ребятам мужественной и романтической, они изо всех сил гримасничали и до изнеможения мяли щёки, пытались создать на своих гладких, свежих физиономиях что-либо подобное. Казалось, не было для них в школе большего авторитета, чем Виктор Васильевич, и всё-таки они ушли с его урока, ушли, шкодливо озираясь и прячась от дежурных учителей в уборных и раздевалке. Так и случилось, что Виктор Васильевич опять сидел с Анатолием Лукичом в его кабинете.

Ушаков разлагал вверенный Анатолию Лукичу коллектив — это Чечевичному было совершенно ясно. Анатолий Лукич по мере сил его сплывал, а Ушаков разлагал. Ушаков потакал учащимся во всякой их дурацкой выдумке — достаточно вспомнить всю эту историю с учебниками: «Если Анатолия Лукича это смущает...» Ушаков разговаривал с учащимися в совершенно недопустимом демагогическом тоне: «А от тех своих решений мы всё равно не отступим. Верно, ребята?» У Анатолия Лукича до сих пор звучал в ушах их единодушный, ликующий ответ. Нет, Анатолий Лукич никогда и ничьей любви не искал, как некоторые, он мог поставить себе это в заслугу. Не искал любви, не искал популярности, он и с ребятами был строг, требователен, нелицеприятен. Вот цена всем этим несимпатичным приёмчикам, этому заигрыванию Ушакова с ребятами — они ушли с его же урока!..

Что-то такое было в опущенном взгляде, в уголках губ Анатолия Лукича, в этой затянувшейся паузе — Виктор Васильевич мог бы поклясться, что Чечевичный доволен. Он ещё и не знал всего!

С чего это началось? Когда Анатолий Лукич после первого того разговора озабоченно осведомился у Виктора Васильевича, помогли ли ему посещения классных собраний у Румянцевой и Федяева, Ушаков сдержанно ответил: «Спасибо, очень хорошие собрания», но в глазах его мелькнуло что-то, что заставило Анатолия Лукича насторожиться: чувство превосходства, насмешливый холодок? С тех пор этот насмешливый холодок чудился Анатолию Лукичу постоянно. Учитель упрямо выбивался куда-то в сторону, действовал по-своему, не подчинялся; он был открыт и общителен со всеми, кроме Анатолия Лукича, словно Анатолий Лукич не был его директором. Об Ушакове как-то сразу заговорили в коллективе — это Анатолия Лукича настораживало больше всего: значит, находился же кто-то, кто считал Ушакова и значительным и интересным! Он дорого бы дал, чтоб Ушаков снова пришёл к нему за советом: Анатолий Лукич чувствовал себя как-то не у дел, когда сталкивался с холодноватой вежливостью этого учителя — вежливостью, не больше!

И в классе Ушакова, в девятом «Б», Анатолию Лукичу было труднее, чем в каком-нибудь другом, — так, во всяком случае, ему казалось. Как и во взгляде Ушакова, Анатолию Лукичу чудилась здесь постоянная насмешка. Живые, смеющиеся глаза этого восточного типа, этого, как его, Набалдяна, Папазяна, развязная улыбочка круглоголового парня в кителе... Терпеть не мог Чечевичный этой неизвестно чем вызванной весёлости!. И именно здесь, в девятом «Б», Анатолий Лукич впервые услышал произнесённое драматическим шёпотом словечко «Чич», которое с тех пор стало преследовать его всюду — оно появлялось на лестничных площадках, на классных досках, на стенках в уборных, приглушённо звучало в школьных коридорах у него за спиной. Вот оно, ушаковское воспитание, — дух строптивости и этакого нигилизма!. До сих пор, однако, сам Ушаков был безупречен и неуязвим, Анатолий Лукич при всём желании не мог предъявить к нему никаких претензий. До сих пор!..

Знали бы они, в какое положение поставили своего учителя: ему нечего было отвечать! Он так дорожил этой своей безупречностью, так готовился со временем дать бой всему, что воплощалось для него в лице Чечевичного, и ему нечего было Чечевичному ответить! О чём он мог говорить? Они ушли с его же урока.

— Надеюсь, вы сделали уже какие-то выводы из сегодняшних событий?

Голос Чечевичного был решительно неспособен к каким бы то ни было краскам, но на этот раз в нём отчётливо прозвучала ирония. Виктор Васильевич удивлённо взглянул на него.

— О, ещё бы!

Начало разговора следовало признать неудачным: ирония была Анатолию Лукичу не по плечу. Он привычным жестом потрогал нарядные книжные новинки, постоянно сменяющиеся на его письменном столе, — что-то успокаивающее было в их глянцевиных обложках. Тон Чечевичного стал обычным: уныло-назидательным и сугубо официальным.

— Думается, вы неправильными методами завоёвываете себе авторитет, моя обязанность — указать вам на это... Вы противопоставляете себя другим учителям...

— Неверно!

— Жаловалась Людмила Ивановна, например. То есть как это — неверно? Ваши ребята так ей и заявили: Виктор-де Васильевич сказал, что кричать на нас вы не имеете права...

— А по-вашему, она имеет право кричать? — Лицо Виктора Васильевича выразило неподдельный интерес.

Анатолий Лукич в раздражении двинул книжки.

— Ну, знаете...

— В самом деле, Анатолий Лукич? Что мы с вами должны говорить — что она не кричит, если она кричит? Кричит, аж стены трясутся! Я думаю, каждый учитель должен беречь свой авторитет...

— А вы будете создавать свой авторитет за счёт чужого? — Анатолий Лукич сегодня положительно превзошёл себя: его голос, даже против его желания, что-то всё же выражал!

Виктор Васильевич ответил не сразу:

— Хорошо, я скажу. Я говорил ребятам, что Людмила Ивановна права, когда кричит на бездельников и нахалов.

— Только?

— Только. Людмила Ивановна, вместо того чтобы бежать жаловаться, могла бы прийти ко мне и по-товарищески выяснить пустое недоразумение. Вы, Анатолий Лукич, кажется, поощряете эту практику — чтобы учитель с каждой малостью шёл непосредственно к вам?

— Да, а как же?

— Ну и напрасно. Вот и судите: кто из нас создаёт себе авторитет за счёт чужого?..

Опять демагогия! Анатолий Лукич всё-таки был директором школы, положение его обязывало. Он сдержался.

— Как ведётся у вас подготовка к общешкольному диспуту? — спросил он, словно заново начиная разговор, деловито и в то же время как-то слишком уж между прочим: он прекрасно знал, что в девятом «Б» подготовка эта и не начата.

Виктор Васильевич легонько вздохнул.

— Я в этом не участвую.

— Вот как! Осмелюсь спросить — почему?

На этот раз Виктор Васильевич отвёл взгляд, выражение его погасшего лица стало озлобленно-упрямым и утомлённым.

— Потому что я принципиальный противник говорения ради говорения, такое дело... Подобная практика, по моему твёрдому убеждению, вредна в школе, даже преступна...

— Ого!

Виктор Васильевич быстро и зло взглянул на Чечевичного.

— А почему мы с вами, коммунисты, должны бояться говорить то, что думаем? Преступна! Я почувствовал это с первых же своих шагов в школе, а вы не чувствуете? Что мы воспитываем подобными методами, подумайте? Равнодушие к словам! А равнодушие к словам влечёт за собой и равнодушие к тому, что эти слова выражают... Это же ещё подростки, Анатолий Лукич, это не взрослые люди...

Анатолий Лукич, слабо усмехаясь, покачивал головой. Он изо всех сил пытался вспомнить то, что казалось ему сейчас наиболее важным: нет ли в анкете Ушакова чего-нибудь такого... Со стороны казалось, что он слушает внимательно, вдумчиво, кое-что принимая, кое с чем не соглашаясь.

— Чего вы хотите? — продолжал между тем Ушаков. — Во всех классах по шаблону говорить одно и то же? Но ведь нет же двух одинаковых классов! Возьмите два девятых — мой и Лапшинского, — что между ними общего? Ничего? И не знаю, как Лапшинскому, а мне в свой класс со всей этой словесностью именно сейчас нельзя и соваться. Поговорили, хватит — больше я этой роскоши позволить себе не могу...

— Что же вы предлагаете?

Виктор Васильевич опять отвернулся:

— Не знаю. Я знаю только, что в школе надо говорить немного и кстати...

Если бы он мог предложить что-либо конкретно! Он не мог. Ещё утром Лапшинский сказал ему участливо и чуть насмешливо: «Послушай, я тоже обо всём этом думаю, честное слово! Но я и ем и сплю, а

ты же на чёрта похож...» Станешь похож на чёрта!.. Надо всё-таки сделать над собой усилие, отвлечься от личной антипатии, от предубежденности, быть может: в конце концов перед ним сидит директор школы, к кому ещё учитель обязан прежде всего идти со своими сомнениями?

— Анатолий Лукич, давайте подумаем вместе...

Говорить с Анатолием Лукичем так вот, по душам, было Ушакову нелегко. Насиловать свои чувства Виктор Васильевич не привык — он старался не смотреть в лицо собеседнику. Как сделать из мальчишек девятого «Б» дружный, спаянный, целеустремлённый коллектив? «Вы согласны, Анатолий Лукич, что в этом всё дело?» С этим Анатолий Лукич был согласен.

— Воспитания вне коллектива нет, — говорил Виктор Васильевич. — Нет и быть не может — это педагогические азы. Но ведь и коллектива «вообще» тоже нет, коллектив не воспитать одними хорошими словами. В этом-то всё и дело: коллектив не воспитывается одними только словами, а у нас воспитание, будем прямо говорить, в основном словесное. Что же делать? Я безусловно шёл правильным путём, послушайте, — они зажглись, они горы могли своротить. Они продержались не так уж мало — около полутора месяцев. Что в конце концов произошло? Чего-то, может, не хватает во всей нашей системе работы, вы не думали? Есть ведь своеобразная романтика в высокой принципиальности, в суровой дружбе, в самых крайних требованиях друг к другу. Ребята очень хорошо чувствуют эту романтику, уверяю вас. Может быть, именно этой романтики в нашей работе и не хватает? Мы очень много говорим с ними о принципиальности, говорим, говорим... Но вот вам конкретный случай — с Корецким...

Анатолий Лукич терпеливо слушал, медленно покачивая своей удлиненной головой. Он только в одном месте позволил себе усмехнуться: у Чечевичного-то требовательности хватало!.. Но в общем всё было правильно. Не то, что говорил Ушаков, конечно: «словесное воспитание», «вся наша система работы» — конечно, не это! Всё шло правильно: учитель признал-таки директорский авторитет, учитель обратился к директору за советом!

— ...Что я должен делать, по-вашему, дальше?

Вот и хорошо, давно бы так, Анатолий Лукич с удовольствием ему поможет. Чечевичный уже искренне забыл, что только что мысленно рылся в анкете Ушакова, — ничего предосудительного в ней, кажется, и в самом деле не было. Всё обстояло значительно проще: Чечевичному и раньше случалось встречать не слишком скромных и вовсе не таких уж умных людей, которые выдумывали проблемы там, где давно уже никаких проблем не существовало. Подобные люди были лично Анатолию Лукичу несимпатичны и во многом проигрывали в его глазах, многое потерял в результате своей откровенности и Ушаков — сам Виктор Васильевич даже не подозревал об этом. Он стал для Анатолия Лукича как-то сразу проще, понятнее: оказалось, что Ушаков вовсе не так уж значителен и не так уверен в себе, несмотря на всю свою популярность и на этот смущавший Анатолия Лукича всё понимающий, насмешливый взгляд!..

— Но вы же ломитесь в открытую дверь! — благожелательно и снисходительно воскликнул Анатолий Лукич. Он испытывал чувство облегчения, ему трудно было это чувство скрыть. — Вот вы послушайте меня...

Чечевичный подвигался, усаживаясь удобнее. Оказывается, всё и в самом деле очень просто: надо только усилить работу с активом. Собрать хороших ребят, поговорить с ними о комсомольском долге, о комсомольской дисциплине. «Вы увидите, Виктор Васильевич, до них всё это хорошо доходит». Потом поставить этот вопрос на классном собрании. С людьми надо больше работать, с людьми!.. И не надо всяких этих вы-

думок, которыми отличается девятый «Б», пусть они хорошо учатся, большего с них пока никто и не требует. И, конечно, всю воспитательную работу в классе нужно нацелить на подготовку к диспуту «Нет предела силе человечей, если эта сила — коллектив».

— Согласитесь, — не без самодовольства заметил Анатолий Лукич, — тема словно специально для вашего класса придумана!..

Анатолий Лукич не смотрел в глаза Ушакову — он осекся бы под его взглядом.

— Жду от ваших ребят толковых, ярких выступлений на диспуте, — съёл он своим долгом ободрить неумелого учителя. Директор был доволен, даже девятый «Б» не казался ему сейчас самым несговорчивым классом. — У вас хорошие, умные мальчишки, не надо только преувеличивать трудности...

— Разрешите, Анатолий Лукич, — весь вид Ушакова выражал одно: нетерпение, — разрешите мне продумать всё, что вы сейчас сказали?

— Не надо только преувеличивать трудности, — с удозольствием повторил Анатолий Лукич. — Всё. Желаю вам успеха. И впредь прошу вас, Виктор Васильевич, докладывать мне обо всём, что вы намерены предпринять со своим классом.

## 18

Зачем они это сделали? Они и сами не знали. Как это обычно бывает: кто-то не подготовился к сочинению, кто-то предложил уйти, ушли дружно, весело, не задумываясь. Раскаяние охватило их уже на улице, но ведь не возвращаться же! Решено было всем вместе идти в кино, в буфете пили пиво, даже познакомились с какими-то смешливыми девочками в фойе, но весело не было, чувство вины не оставляло.

В класс Виктор Васильевич на следующий день вошёл в мёртвой тишине, ни на кого не глядя. Такого злого, чужого, потяжелевшего лица ребята у него никогда не видали, в лицо это трудно было смотреть. Женя Соколов, бледнее от волнения, подошёл вплотную к его столу.

— Виктор Васильевич, извините нас, мы просто не подумали...

— Убирайся! — с силой сказал Виктор Васильевич. — Даром мне не надо ваших извинений, всех этих слов...

Вот как — «убирайся»! Женя круто повернулся. Он попросил прощения — ему нелегко было просить прощения! Хватит, больше он унижаться не станет. Ребята смотрели холодно, вприщурку: ну хорошо!.. Они заранее представляли себе, как расчувствуется Виктор Васильевич, как тепло и любовно сложатся их отношения дальше. Им искренне казалось, что прости он их сейчас, и всё снова пошло бы так, как и после «февральского пленума», — Виктор Васильевич сам не захотел. Такой же далёкий, как и все, это только показалось, что он их понимает, как никто другой. Разве все «они» что-нибудь понимают?..

— Писать сочинение будем после уроков, — жёстко сказал Виктор Васильевич. — Другого времени у нас нет.

— У нас завтра математика, — пискнул было Бес. — У нас не одна литература.

Бесёнка мрачно одёрнули:

— Молчи.

Такой же, как и все, хуже всех. Из-за такого пустяка вызвал родителей на классное собрание. Сидели с одной стороны ребята, с другой — неповоротливые в узких партах родители. Родители сидели притихшие, встревоженные необычным вызовом, ребята — с таким видом, словно из былого уважения к учителю решили претерпеть операцию заведомо пустую.

Виктор Васильевич рассказал о положении дел в классе: о подъёме, потом — о кризисе. Оказывается, вовсе не потому созвано собрание, что они ушли с сочинения, — об этом Виктор Васильевич вообще не сказал ни слова, — дело в том, что они проявили себя в последнее время, как люди избалованные, безвольные, не привыкшие к трудностям, к самоограничению, не умеющие преодолевать препятствия. Слова своего не держат — это очень страшно, если человек не держит своего слова. Слушать всё это было не бог знает как приятно, но, в общем, всё было правильно, они с недавних пор думали о себе не лучше. И всё это очень серьёзно, очень, и, оказывается, самое прямое отношение имеет к их родителям, так что родители тоже не зря здесь сидят.

А Виктор Васильевич, между тем, с интересом приглядывался к родителям. Некоторых он видел впервые. Вот когда особенно чувствуешь свою ответственность за ребят: каждый из них, самый, казалось бы, незаметный в классе, кому-то из взрослых этих людей особенно, интимно дорог, кто-то любовно повторял первый его младенческий лепет и целовал пухлое, беззащитное тельце. Ты думаешь: Никитин — это целая педагогическая проблема, а Порываев — о Порываеве, кажется, нечего и сказать. Но вот сидит простая женщина в вязаном платке, смотрит прямо в лицо тебе жадными, ждущими глазами, и для неё её Кирилл дороже всех мальчиков на свете.

— Очень волевой человек ваш Кирилл, — говорит Виктор Васильевич, и глаза матери начинают часто моргать, словно от внезапного сильного света. — Вот кого есть за что уважать! Он серьёзнее всех в классе принял наши общие решения и, смотрите, за короткий срок выбился из троечников в ряды наиболее устойчивых учеников. Из Кирилла, я вижу, может вырасти человек настоящий...

Как они слушают, родители, и как слушают ребята! «Волевой человек», «человек настоящий» — если бы и о них сказали что-нибудь в этом роде!..

— Этого я, к сожалению, не могу сказать о вашем сыне, Ольга Сергеевна, — обратившись к Соколовой, мягко говорит Виктор Васильевич. — Мне думается, что при других, очень хороших задатках, при несомненной честности и искренности, например, ему не хватает именно воли...

Ольга Сергеевна смотрит на учителя детски беспомощным взглядом: взрослый сын — это слишком сложно для одинокой матери!

— Я хотела бы потом посоветоваться с вами...

Рядом с Соколовой — тоже очень молодая, тихо улыбающаяся женщина, одетая скромно и без претензий, но с тем изяществом, которое сразу бросается в глаза. Родители завидуют ей обычно — это мать Лёни Лицкевича: её сына всегда хвалят, ставят в пример. Сейчас Виктор Васильевич порицает Лёню, и по недоуменным взглядам некоторых родителей видно, что не все они понимают, за что: мальчик малоактивен, хорош только «для себя», влияния его на класс почти вовсе не чувствуется, — если бы этим ограничивались недостатки их собственных детей! Но мать Лёни, видимо, совершенно согласна с классным руководителем; она, улыбаясь, качает головой и торжествующе оглядывается на сына.

— Очень правильно! Мы с отцом часто говорим ему об этом.

— Вы сами, конечно, не такая были? — улыбается и Виктор Васильевич.

— Конечно, нет! — даже пугается мать Лёни. — Была настоящей комсомолкой...

— Боевой?

— Очень.

Удивительно, как взрослые любят вспоминать свою молодость! В глазах этой женщины в шляпке появляется что-то такое задорное, побе-



дительное — она, видите ли, была настоящей комсомолкой, а они, выходит, не настоящие, так? Их, положим, тоже ещё не знают!..

Раздражительный, тяжёлый мужчина, сидящий особняком, — отец Жоры Корецкого — решает вмешаться:

— А что они сами думают? Пусть скажут. Что думают комсомольцы? Кто у них комсорг?

Женя неохотно поднимается.

— Что говорить? Виктор Васильевич всё сказал.

— Всё правильно?

— Правильно, конечно..

— Ну, и что же вы думаете дальше делать? — Тон у Корецкого такой, какой, по его глубокому убеждению, и должен быть с молодёжью, — требовательный, непримиримый.

Женя мнётся.

— А что делать? Исправляться надо..

— Всё?

— Всё. А что же ещё? Это наше дело — как мы учимся. Мы сами заинтересованы...

— То есть как это — сами?

— Сами!

Жене очень хочется сказать всё, что он думает: что взрослые вообще любят вмешиваться не в своё дело и поднимают шумиху по пустякам. Он переминается с ноги на ногу и опускает глаза.

Но Корецкому уже некогда углубляться в данный вопрос — всё, что мог, он, слава богу, сделал. Пришёл он позже всех, а сейчас, взглянув на часы, опять торопится. Уже не глядя на Женю, прижимая к груди шляпу, он боком протискивается в проходе между партами.

— Прошу прощения, товарищи! Виктор Викторович, извините...

Виктор Васильевич коротко кивает Жене.

— Садись.

— Вот то же самое и мой Володька говорит, точь-в-точь, — откликается вдруг пожилой мужчина с круглой бритой головой и изборождённым морщинами жёстким лицом — как догадывается Виктор Васильевич, отец Володи Никитина. — То же самое говорит: это, дескать, дело моё, хочу — учусь, не хочу — не учусь... Как это, говорю, твоё дело? А я, а мать — мы здесь ни при чём, выходит? Вы, товарищ педагог, разрешите мне?

Вовсе другим представлял себе Виктор Васильевич Володиного отца — уверенным в себе, преуспевающим, красноречивым, что-то вроде Корецкого-старшего. А перед собранием стоит утомлённый большой семьёй и ежедневными заботами немолодой сутуловатый человек и, с трудом подбирая слова, с горечью и недоумением делится тем, что накопилось у него на душе.

— Живут — в былое время так буржуйские дети не жили, как они живут. Чего у них нет? Всё есть. У нас в семье их, например, пятеро, кроме Володьки, старшего-то. Сами понимаете: прокормить, одеть, обусть нелегко, я с этими сверхурочными из цеха не вылезаю. Но, говорю, всё есть. И одеты, слава богу, — перед людьми не стыдно, и с питанием мать старается. Для детей всё есть, безотказно. Коньки попросят — пожалуйста, нате коньки, лыжи — лыжи. Вот — телевизор купили на днях. Для кого, говорю, живём с матерью — для них...

— Слышали уж, — морщится Володя.

— Ещё послушаешь. Видите, так всегда. Языки хорошо подвешены стали, вот что. Нас родители в своё время держали не так, мы по крайней мере страх знали. А тут: государство для них старается, товарищи педагоги, спасибо им, стараются, мы, родители, последнее вкладываем, чтобы их поднять на ноги, а они... Стыдно вам, вот что я говорю. Стыдно!

Живёте — ну, я не знаю, кто так жил, как вы живёте, а чувства у вас никакого нет...

— Но так тоже нельзя, — заволновался вдруг отец Мирзоянца. — Не все мальчики так избалованы, согласитесь. Мой Алик, например. Не знаю, я ничего не могу про него сказать плохого: он отзывчивый, трудолюбивый, это и товарищи подтвердят...

— Папа! — страдая, воскликнул Алик.

— Может, я со своей стороны не всё умею, не всё могу. Алик растёт, ему бы сейчас жиров побольше, мяса. Башмаки, поверите, горят на нём.

Родители сочувственно улыбались, Алик закрыл лицо руками.

— Как я могу жаловаться на него? Он хороший мальчик, терпеливый...

— А я с товарищем Никитиным согласна, — отозвалась мать Лёни Лицкевича. — У нас другая семья, конечно, и заработки, очевидно, выше, и ребёнок вот он, только один. — Остановив на сыне смеющиеся глаза, она с удовольствием повторила: — Ребёнок... Я на него не жалею, но и я скажу: неправильно мы их воспитываем. В чём-то неправильно! Растут они у нас перскормленные какие-то, ничто им не дорого, ничем их не удивишь. Очень уж им легко всё достаётся, трудностей они настоящих не знают — трудности знаем мы, а не они. Вот у Никитиных — целая трагедия, я считаю. Живут то что называется в детей, прикрывают их от жизни, так? А сын... Вы посмотрите, между прочим, как он сидит...

Володя неохотно пошевелился, меняя позу. «Спорите между собой — ну. и спорьте на здоровье, — говорил весь его вид, равнодушный и заинтересованный одновременно, — по крайней мере есть что послушать, не часто случается...»

— Что будем делать, Виктор Васильевич? — воскликнула Лицкевич. — Нет, в самом деле, что будем делать? Специальные трудности для них создавать?

— Какие там специальные трудности? — возмутился Мирзоянец. — Может, вы уже хорошо живёте, не знаю, а нам хоть бы с этими управиться...

Родители поддержали его: «Вот именно!» Лицкевич оглядела всех терпеливым, почти умоляющим взглядом.

— Но ведь лучше стали жить?

— Предположим, лучше.

— А дальше ещё лучше должно стать, так? К этому идём?

— Ну, предположим.

— Вот и всё. О чём я говорю? Я говорю: чем дальше, тем воспитывать ребят почему-то становится труднее. Неужели наши дети будут расти такими самовлюблёнными эгоистами — вот вроде этого? Вы, товарищ Никитин, простите меня...

— За что же прощать, если правда! — отозвался Никитин. Замечание Лицкевич, тем не менее, всерьёз задело его, он с сердцем прикрикнул на сына: — А ты слушай, слушай, нечего нос воротить. Смотри, как отец за тебя краснеет... Я, уважаемая гражданка, так вам скажу: жалко ведь мальчишку...

— Видите — жалко!

— А вы как думали? Не знаю уж, как вас там образовывали, а моё образование, видите, вот оно всё. — Жестом неловким и в то же время нарочито подчёркнутым он протянул перед собой тёмные, заскорузлые ладони. — Я четырнадцати лет, извините, сопляком ещё на завод пошёл, чернорабочим. Так я, поверите, себя не пожалею, чтоб сына-то, сына в люди вывести, — это понимать надо!

— Это понятно!

— Понятно! — проворчал Никитин. — А то ведь, тоже сказать, сословия — они ещё при царе были, кончились...

Все почувствовали неловкость, какая всегда бывает, если в спор вносятся чересчур уж личная нота. Замолчали.

— А по-моему, тут очень интересный поднят вопрос, — поспешил Виктор Васильевич разрядить сгушающуюся атмосферу. — Я, товарищи родители, послушав вас, начинаю всерьёз коммунизма бояться... — Он улыбкой подчеркнул шутку. — В самом деле! Материальный достаток чем дальше, тем будет становиться больше, глядишь — наши ребята в школу начнут на собственных машинах ездить или на каких-нибудь там вертолётах прилетать. — Жестом остановил оживившихся было мальчишек. — Предположим, нескоро это будет, но ведь будет же! У них вот и сейчас о коммунизме представление самое иждивенческое. На всеобщее десятилетнее обучение скоро перейдём. Какой-нибудь возмужавший бездельник и не захочет учиться — мы за ним сами станем ухаживать, уговаривать его. А как будем настоящий характер воспитывать? Я не собираюсь капитулировать, не поймите меня так, я только думаю и думаю об одном: как же возрастает роль школы!..

Виктор Васильевич говорил, а сам настойчиво пытался вспомнить одно: в педагогических кругах, на студенческой скамье, в специальной печати встречал он ответ на все эти вопросы? Не встречал. Вот он стоит, учитель Ушаков, не самый глупый из учителей, не слишком неспособный, от трудных вопросов не бегаёт, не прячется — что конкретное может он сейчас родителям предложить?

Что-то, впрочем, он мог сказать им уже и сейчас — в меру собственного опыта и здравого смысла. Мог сказать, что, пока живётся вовсе не так уж беспечально и просто — сами же они об этом говорят, — стоит ли убирать с дороги детей все трудности и заботы, не лучше ли всё это с ними по-товарищески поделить? Мог сказать то же, что говорил и Анатолию Лукичу: не стоит ли быть более требовательным, более последовательным, более принципиальным по отношению к молодёжи? И в школе и дома — везде. Не стоит ли до предела раздвинуть окружающий ребят мир, — только вот как это сделать конкретно? — чтоб чувствовали, чёрт возьми, что они не одни на свете и за многое, очень за многое ещё придётся их поколению взять ответственность на себя.

Но пока он говорил всё это, ошупью подбираясь к чему-то самому главному, что для него самого было вовсе ещё не ясно, дверь медленно открылась, и, бесшумно ступая на цыпочках, с подчёркнутой скромностью, с жестами человека, который предпочёл бы остаться незамеченным, в класс вошёл Анатолий Лукич Чечевичный.

Родители, улыбаясь, задвигались, приветствуя директора школы. Анатолий Лукич, отечески придержав за плечо вскочившего было Бесёнка, опустился рядом с ним на заднюю парту.

Виктор Васильевич замолчал. Надо было закрывать собрание, дальше вести его не имело смысла.

— Что ж вы, Виктор Васильевич? — удивился Мирзоянц. — У нас тут, товарищ директор, интересный разговор — как будем воспитывать ребят для коммунизма...

— Будем воспитывать — кого? — сухо переспросил Анатолий Лукич. Спыхватился, терпеливо склонил голову. — Да, пожалуйста?

Виктор Васильевич молчал. Не мог он говорить так, как говорил только что: задумчиво, просто, непринуждённо. Он был взрослым человеком, владеющим собой, своими чувствами, но что-то в этом роде случается, видимо, и со взрослыми людьми: так, как говорил только что, он при Анатолии Лукиче говорить не мог! Ребята недоуменно переглянулись.

— Кто-нибудь хочет ещё сказать? — Виктор Васильевич заставил себя улыбнуться.

Все молчали. Анатолий Лукич выжидательно огляделся.

— Ну, если никто не хочет...

Анатолий Лукич не брал на себя смелость выступать по затронутому здесь вопросу. Без соответствующей подготовки? Конечно, нет! Его задача скромнее: ему просто хотелось бы поделиться некоторыми своими соображениями о девятом «Б» — это сейчас важнее, не правда ли? Класс распушен, разболтан. Если ничего не изменится, администрация будет вынуждена принять свои меры. Ребята одержимы всякими нигилистическими выдумками — интересно, откуда это идёт? — не носят, например, учебников в школу. Ах, носят уже? Тем лучше. Ушли даже с урока своего классного руководителя, которого все мы так уважаем...

— Что вы говорите! — воскликнула Лицкевич. — Виктор Васильевич нам об этом ничего не сказал...

— Не знаю, почему Виктор Васильевич счёл за лучшее скрыть от вас подобный факт...

Скрыть? Впрочем, здесь, сейчас, на глазах у ребят и родителей, спорить с директором Виктор Васильевич не будет. Ничего он не собирался скрывать — поступил так, как подсказывали ему такт и совесть...

Ребята переводили насторожённые, понимающие взгляды с Виктора Васильевича на Анатолия Лукича: не такие уж они глупые, в чём-то и они разбирались!.. Что-то такое было в сухой усмешке, в интонации Анатолия Лукича... Женя Соколов порывисто встал:

— Можно мне сказать? Мы уже извинялись перед Виктором Васильевичем и ещё раз просим нас извинить. Уходить с сочинения мы больше не будем...

— Только с сочинения?

Женя опустил голову. Ничего он не хотел обещать: столько хороших слов уже было сказано когда-то у него на квартире! Ребята сочувственно молчали.

— Видите! — значительно сказал Анатолий Лукич.

Володя Никитин примирительно улыбнулся.

— Мы постараемся, Виктор Васильевич!

После собрания, как это и всегда бывает, Виктора Васильевича окружили родители: каждому хотелось хоть слово ещё услышать о своём сыне. Не слишком ли утомляет ребят существующая перегрузка? Подтянулся ли мой лентяй по математике? Отец сам занимается с ним после работы. Послушайте, что за ужасы рассказывают ребята о вашем историке! А мой, как мой, Виктор Васильевич, о нём вы не сказали ни слова?.. И во всех этих взглядах, словах, улыбках упорно звучало одно: как сделать, чтоб моему мальчику было удобнее, легче, лучше, и ясно было, что мягкий материнский мирок, сколько бы и что бы ни говорилось, каким был, таким и останется во веки веков: убежищем от всяких бед и напастей. И Виктор Васильевич, отвечая на вопросы, раскланиваясь с уходящими, улыбаясь через плечи родителей ожидающим его в коридоре ребятами, упорно думал одно: как же возрастает роль школы! Новое время — новые задачи, эта мысль сегодня впервые пришла ему в голову и уже не оставляла. Совсем новые задачи — какие-то совсем новые решения...

Ни на одну минуту Виктор Васильевич не забывал, как и при каких обстоятельствах попал в школу. Помнил цинические выкрики в тёмном зале, того несчастного мальчишку с подсолнечной лузгой на губе, истерически возбуждённых ребят при выходе из кино — всё помнил. Помнил свои размышления на ночном сквере. Он только одно забыл, вернее постарался забыть раз и навсегда: своё разочарование при первом знакомстве с классом — стремился, дескать, на передовую, а попал к тридцати благополучным мальчишкам из вполне устроенных семейств. С этими «благополучными мальчишками» было не легче.

— ...Господствующая в нашей школе говорильня, — уже на партсобрании выступал Ушаков (да, да, говорильня, словесную систему воспитания Виктор Васильевич и не желал называть иначе!), — является лишь суррогатом воспитания — иногда бесполезным, зачастую преступным...

Народу на партийном собрании было немного — человек восемь — десять, одни коммунисты, и далеко не все они с тем, что говорил Виктор Васильевич, были согласны. Вот как, преступная говорильня! Лидия Фёдоровна и Людмила Ивановна, обычно не терпевшие друг друга, на этот раз молчаливо сошлись на том, что всё услышанное прежде всего шокирует их, и, пока выступал Ушаков, не сводили друг с друга недоумевающего, возмущённого взгляда. Анатолий Лукич, не поднимая глаз, сухо заметил:

— У Виктора Васильевича неприятная страсть к обобщениям.

— А вы почему-то боитесь обобщений, не так ли? — холодно прищурился Виктор Васильевич. Здесь, на партийном собрании, не было ни ребячьих, ни родительских глаз, сюда он пришёл с единственным желанием — драться. — Ну хорошо, говорильня не господствует в других школах, она есть только у нас, в семнадцатой, — вам от этого легче?

— Вы по своему классу обо всех судите?

— И по своему. Кстати, у меня как раз очень неплохие ребята.

Людмила Ивановна всплеснула руками:

— Нечего сказать — неплохие!

— Хорошие ребята — ну, и очень приятно, если хорошие, — упрямо сказал Анатолий Лукич. — В чём, собственно, дело? Вы, Борис Борисович, потом дадите мне слово...

— Мой класс... Хорошо, не буду, как вы это называете, обобщать. Что делать конкретно хотя бы с моим классом? Того, что я однажды сделал, я повторить уже не смогу — через это второй раз не проходят. Я сделал наибольшее, что можно сделать, когда имеешь дело только со словом, — по мере сил стряхнул для них пыль с каких-то очень будничных, очень прозаических, казалось бы, понятий. Пыль эта опять наслала. Они жили приподнято, даже романтично, в чистой атмосфере больших, принципиальных требований друг к другу — всё это было однажды грубо нарушено. Что делать дальше? Одними словами обойтись невозможно. Так, как сейчас, мы — хотим того или не хотим — воспитываем барчуков, эгоистов...

— Мы!

— Я, Анатолий Лукич. Я пришёл — и за два месяца их испортил. Мы равнодушие к словам воспитываем, вот что. А равнодушие к словам влечёт за собой и равнодушие к тому, что эти слова выражают.

— Что же ты прикажешь, — возмутился и Лапшинский, — вовсе ничего в школе не говорить?

— Почему? — удивился Виктор Васильевич. — Когда я сказал об этом? Я только считаю, что слова обязательно должны быть связаны с делом. И если мы говорим о принципиальности, например, то в школе должна быть создана обстановка действительной принципиальности. А если мы говорим о трудовом героизме, то мы и в самом деле должны этого трудового героизма потребовать. Я и спрашиваю: на каком деле? Вот здесь, у нас, конкретно, на каком деле? Учиться? Они учатся. Учатся, отвечают перед папой, мамой за свои отметки, а граждане они, тем не менее, плохие. И комсомольцы плохие, нечего на это глаза закрывать. Ленин, помнится, говорил комсомольцам: учитесь коммунизму, каждый день, каждый час своей жизни решайте практически ту или иную задачу общественного труда — пусть самую маленькую, самую простую. На чём конкретно должны мы здесь, в школе, воспитывать из них советских людей, именно советских? Может быть, Анатолий Лукич скажет?

Анатолий Лукич об этом и хотел сказать. Но прежде всего он не мог не выразить своего возмущения — как смеет учитель так вот дискредитировать советскую школу? (Анатолий Лукич так и сказал «дискредитировать», Людмила Ивановна воскликнула «Вот именно!» и села удобнее.) Послушать только, что он здесь наговорил: воспитание у нас в основном словесное («Словесное», — твёрдо повторил Виктор Васильевич), процветает формализм, советская педагогика докатилась — так и сказано тут было: «докатилась» — до защиты отдельного обучения, воспитываем мы барчуков, эгоистов... (Собрание молчит, Людмила Ивановна кивает головой: да, да...) Учитель, видимо, совсем забыл, что речь идёт о школе, воспитавшей Зою Космодемьянскую, молодогвардейцев...

— Должны мы считать с недостатками или нет? — страстно воскликнул Виктор Васильевич.

— Виктор Васильевич, я вам говорить не мешал...

Анатолий Лукич долгом своим считал ответить на вопрос о том, что именно надо делать. Надо поднять уровень, повисить ответственность, обязать учителей... Оказывается, разговор в этом роде уже был — совсем недавно, на одном очень ответственном совещании, — разговор о наших недостатках. Говорилось о безнадзорности, об участвовавших случаях хулиганства, о том, что интересы ребят вынесены за пределы школы. Напрасно Ушаков пытается приписать нам, что мы закрываем глаза на трудности, трудности никто не собирается скрывать! Руководящие товарищи интересовались, в чём причины наших недостатков. Анатолий Лукич взял тогда на себя смелость сказать от лица всех здесь присутствующих, от лица школьной партийной организации: это наша общая недоработка, виноваты, конечно, в первую очередь учителя. Анатолий Лукич и сейчас склонил почти под прямым углом свою длинную крепкую шею, на лице его было терпеливое, строгое выражение человека, привыкшего перед лицом вышестоящих организаций, заслуженно или незаслуженно, многое брать на себя.

Виктор Васильевич опять не выдержал:

— Слишком много говорят, что виноваты учителя. Учителя в массе своэй добросовестный народ — не так уж они виноваты.

— Что вы хотите сказать?

— То, что уже сказал. Самые лучшие учителя ничего не сделают, пока мы не изменим чего-то в самой системе нашего воспитания...

Лидия Фёдоровна насторожённо поинтересовалась:

— Это в какой же — в советской системе?

— Глупо это! — На этот раз не выдержал молодой историк Федяев. Он тут же испугался, что так грубо срезал пожилую женщину, всеми уважаемого учителя, покраснел почти до слёз, но упрямо повторил: — Нет, в самом деле, неумно. Почему вы так относитесь к каждому слову Ушакова? Я с ним совершенно согласен — разве нас так воспитывали?

Анатолий Лукич вынужден был обратить на это внимание коммунистов: умышленно или нет, — он, Чечевичный, надеется, что неумышленно, — но молодой учитель повторил здесь грубейшую ошибку Ушакова — «разве нас так воспитывали!» О чём они оба говорят — о том, что наше социалистическое общество идёт вспять, раньше было лучше, теперь хуже? Послушать только, что здесь проповедовал Ушаков!..

Таисья Васильевна, до тех пор терпеливо молчавшая, заинтересовалась:

— А что такое проповедовал тут Ушаков?

Она оторвалась от протокола, который вела, откинулась на спинку стула, сдёрнула очки.

— Что он такого страшного тут наговорил, ну-ка? Что общество наше идёт назад? Этого я от него вроде не слышала. Вы слышали, товарищи? — Лапшинский, Федяев, Зиновка — все они смотрели на Таисью

Васильевну почти влюблённо, они тоже ничего не слышали. — Что с вами, Анатолий Лукич, что это вы, голубчик мой, как нехорошо придумываете? Мы с вами, воспитатели, на месте стоим, это верно, а общество то идёт вперёд, развивается, об этом и Виктор Васильевич тут сказал. Жизнь становится лучше — и сложней, правильно это. Жизнь вон перед нами новые задачи ставит, а мы что же — отворачиваться будем, так, по-вашему, выходит? Упустили ребят-то — правильно, я это тоже всегда говорю: учим мы их много и неплохо вроде учим, а вот воспитывать забываем...

Ушаков тихо, взволнованно засмеялся.

— Таисья Васильевна...

— Что «Таисья Васильевна»? То-то и оно! Ты, Виктор Васильевич, насчёт говорильни перегнул малость. Говорильня или не говорильня — это всё-таки действительно от учителя зависит...

— Положим, не только от учителя...

— А что до того, чтоб человека с грязью смешать, — это легко, на это, я слышала, даже особые любители есть. Накинулись! Он этак в другой раз и рта не раскроет...

— Раскрою, Таисья Васильевна!

Таисья Васильевна привыкла поглядывать поверх очков, она и сейчас без очков поглядела на Виктора Васильевича этим своим смеющимся старушечьим взглядом — искоса, исподлобья.

— Вот он какой, смотри ты! Ну другой кто-нибудь, тот же Борис Борисович побоятся слово сказать.

На Лапшинского она при этих словах и не взглянула. Виктор Васильевич нетерпеливо её перебил:

— Таисья Васильевна, родненькая, что будем делать?

— А вот этого не знаю. — Таисья Васильевна задумчиво прикусила дужку очков. — Не знаю, врать не хочу. Что-то в самой системе воспитания у нас неладно, это правильно тут говорили. Видно, так вот сразу этого мы не решим, нам ещё думать и думать.

— Ну, диспут наш, как его... «Нет предела силе человеческой» — его ведь для начала можно отменить?

— Диспут-то отменить можно...

Как-то неожиданно все сошлись во мнении, что диспут отменить можно, никому он так вот, до зарезу, не нужен. Анатолий Лукич сидел молча, чопорно, опустив глаза. Анатолий Лукич знал, что не всегда следует выступить, иногда нужно и промолчать.

А ночью Виктор Васильевич писал статью. Он писал о словесном воспитании: в ребятах не воспитываются ни трудовые навыки, ни навыки общественного поведения. Одними словами невозможно создать ученический коллектив, а без коллектива и вообще воспитания нет — это педагогические азы, этого и доказывать не нужно. Очень сильна опасность в этакой пропитанной словесностью школе воспитать демагогов, фрондирующих обывателей, людей равнодушных. «А равнодушие к словам, — Виктор Васильевич повторил и это, — влечёт за собой равнодушие к тому, что эти слова выражают...»

Надписал конверт: «В «Учительскую газету». Посидел, подумал, конверт разорвал. Надписал другой: «В редакцию «Литературной газеты». Проблемы словесного воспитания «Учительскую газету» никогда всерьёз не занимали — она была перегружена материалом «более актуальным».

*(Окончание следует)*



---

---

# ЖУРНАЛИСТИКА

Е. ДРАБКИНА

★

## „СПИД-АП!“

(По страницам зарубежной печати)

**Н**изкое, угрюмое небо, затянутое облаками тумана и дыма. Домны, трубы, рыжие кирпичные стены заводов. Горы шлака, отблески плавильных печей, дома, покрытые вечным слоем сажи... Снова домны, снова трубы, снова стены заводов. Где мы? В Питтсбурге или в Руре? На севере Франции или в «Чёрной стране», как называют в Англии её почерневшие от угольной пыли промышленные районы?

Здесь всё кругом — заводы, дома, земля, лес, река и даже кладбище — принадлежит монополиям-гигантам. Имена их владык — КРУПП, КРУПП, КРУПП — или же заглавные буквы названий фирм — МИШ, МИШ, МИШ — написаны на зданиях, на заводских трубах, на бортах проносящихся мимо грузовиков, на значках, которые рабочие, идя на работу, обязаны прикалывать к борту спецовки.

Американский экономист, профессор Джон Гэмбс, называет монополии «фантастическими учреждениями»<sup>1</sup>. Их капиталы измеряются величинами с хвостами нулей. Работа, жилище, хлеб, мясо, одежда — всё, решительно всё, находится в их власти. Человек, живущий в капиталистическом мире, от колыбели до могилы чувствует их вездесущую, всепроникающую силу и даже тогда, когда умирает, не может переселиться на тот свет, не уплатив за могилу, саван и гроб «Национальному объединению похоронных бюро».

«Шестьдесят семейств» в США или «Двести семейств» во Франции ещё накануне второй мировой войны стали символом сосредоточения богатств в немногих руках. С тех пор концентрация капиталов ещё более усилилась — в Соединённых Штатах, Англии, Франции, Западной Германии всё чаще говорят о «Верхних пятнадцати», «Ведущей десятке», «Двенадцати сильнейших», которые при помощи анонимной власти банков владеют четвёртой и даже третьей частью национального богатства.

Нити банковской паутины сходятся к «Перекрёсткам миллиардов» — к узкому, похожему на ущелье Уолл-стриту, к шумному лондонскому Сити, к мрачным зданиям на улицах Ришелье и Арронг в Париже, к залитому неоновыми огнями центру Дюссельдорфа, прозванного «Читаделью миллиардов» Боннской республики. «Там существует знаменитый перекрёсток, известный под названием «Угол 300 миллиардов», — пишет о нём корреспондент швейцарской газеты. — 300 миллиардов германских марок — такова сумма годовых оборотов четырёх банков, глядя на которые кажется, что их здания следят друг за другом, ведя игру, где ставкой является народное хозяйство страны»<sup>2</sup>.

«Банк движется на банк, и золото хлещет в золото...» (Э. Верхарн). Здесь, в этом мире, правят законы борьбы не на жизнь, а на смерть. «Конкуренция для бизнеса является проблемой № 1, — говорит член совета нью-йоркской фондовой биржи Чарльз Гардинг. — Как бизнесмены мы конкурируем со всеми в целом и каждым в отдельности. Как банкиры мы дерёмся за каждый доллар со страховыми компаниями, с другими банками, со сберегательными кассами, с продавцами товаров, с торговцами дугтыми акциями, со всеми и против всех»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Saturday Review». 18. VIII. 1956.

<sup>2</sup> «La Tribune des Nations». 14. X. 1955.

<sup>3</sup> «The Commercial and Financial Chronicle». 24. XI. 1955.



Преклоняясь перед силой денег, современный капитализм научился, однако, понимать и силу идей. Господа, которые с такой цепкостью держатся за набитую золотом мошну, требуют, чтобы было покончено со славными традициями прогрессивного искусства «разгребателей грязи», показывавшего владык капиталистического мира во всей их алчности и ничтожестве. Литература, искусство обязаны позаботиться о том, чтобы отныне художественный образ бизнесмена соединял в себе творческий ум Эйнштейна с техническим гением Эдисона и даром Мидаса, прикосновение которого превращало всё кругом в чистое золото.

А пока что собственными усилиями они создают нечто вроде эпоса бизнеса. «У отца было три сына...» — так звучит традиционный зачин одной из таких притч. Старший был дурак — и отец сделал его бакалавром искусств. Средний был и так и сяк — отец определил его в чиновники. А младший был наделён умом, настойчивостью, твёрдостью, решительностью — словом, всеми талантами и добродетелями. Этого сына отец признал достойным сделаться директором завода или председателем правления банка<sup>1</sup>.

Со свалок теоретического старья вытаскиваются экономические теории времён автомобилей с подножкой и даже конных омнибусов и перекашиваются на присущий современной эпохе «динамический» лад. По одним «теориям», капитализм перестал быть дурным капитализмом. По другим — он перестал быть капитализмом вообще. Но изпод размалёванных этикеток «народных капитализмов», «сбалансированных экономик» и всяческих «мэнеджментизмов» и «стэйтизмов» вылезает всё та же «теория организованного капитализма», давно рухнувшая под ударами действительности.

Снова на свет божий извлекается миф об «американской исключительности». Подобно тому дантисту из небольшого американского городка, который установил на улице фонограф, издававший крики радости, и написал на своей вывеске: «Здесь рвут зубы в атмосфере забавы и веселья», целые армии всяческих «организаторов общественного мнения» провозглашают, что в США «почти каждый мужчина, женщина и ребёнок являются капиталистами»<sup>2</sup>. Если их послушать, то получается, будто те 20 процентов всех американских семей, которые живут, по признанию комиссии Конгресса, «на грани нищеты», голодают без страданий; что десять миллионов безработных и полубезработных благословляют систему «свободного предпринимательства»; что жертвы интенсификации труда, которая каждые шестнадцать секунд приводит к несчастному случаю и через каждые четыре минуты убивает или превращает в полного инвалида одного из американских рабочих, что эти жертвы погибают без боли.

Журнал американских банкиров провозглашает, что «никто не может больше говорить об уолл-стритовских волках, которые тащат ягнят на живодёрню»<sup>3</sup>. Однако когда один из «специалистов по социальным вопросам», Эдвард Бернэйс, во время публичного доклада в Бостоне обратился к собравшимся с патетическим обещанием рассказать, «как американский бизнес обеспечивает американский образ жизни американскому народу», из глубины зала раздался голос: «Расскажите лучше, как американский народ обеспечивает американский образ жизни американскому бизнесу»<sup>4</sup>.

Какова же реальная действительность? Чтобы увидеть её, обратимся к той отрасли промышленности, которую буржуазные экономисты называют «индустрией № 1», «сердцем», «душой», «барометром экономики». Мы имеем в виду промышленность, производящую автомобили.

## ВОЙНА НА КОЛЕСАХ

Наш разговор об автомобиле мы начнём с одного из самых трагических событий в его истории. 12 июня 1955 года во время традиционных автомобильных гонок «24 часа в Ле-Ман» серебристо-серый «мерседес» западногерманской фирмы, который вёл на скорости 250—300 километров в час французский гонщик Пьер Леверг, налетел на

<sup>1</sup> «Industrie et Organisation». Февраль. 1956.

<sup>2</sup> «Colliers». 17. VIII. 1956.

<sup>3</sup> «The Commercial and Financial Chronicle». 9. VIII. 1956.

<sup>4</sup> «Harvard Business Review». Март—апрель. 1956.

шедшую впереди него машину, подпрыгнул и, разваливаясь в воздухе на куски, взорвался среди публики, заполнившей трибуны. Восемьдесят три человека было убито на месте, многим из них снесло головы. Вся Франция, похолодев от ужаса, смотрела на экраны телевизоров, бесстрастно передававших трагические подробности катастрофы.

В первое мгновение после взрыва распорядитель подал жёлтым флагом сигнал «замедлить ход». Движение машин затормозилось. Казалось, что они вот-вот остановятся. Но вдруг, словно по мановению таинственной руки, поток машин снова пришёл в движение, и мимо продолжающих пылать остатков «мерседеса»; мимо неубранных трупов, прикрытых пропитанными кровью газетами, мимо сваленной в кучу истерзанной одежды вновь помчался вихрь голубых, зелёных, красных и серебристых метеоров.

Кому же принадлежала эта невидимая рука? Автомобильным монополиям!

Соревнования в Ле-Ман имеют не столько спортивный, сколько коммерческий интерес. Победившей на них машине обеспечен сбыт, и она поступает в производство. Поэтому администрация гонок перед угрозой огромной неустойки, которую потребовали бы от неё автомобильные фирмы в случае прекращения соревнований, дала сигнал: «Продолжать!»

Мировая капиталистическая автомобильная промышленность находится в руках небольшой горстки гигантов «миллиардного класса». Это «Большая тройка» автомобильных королей Америки — «Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер»; «Большая пятерка» ведущих английских автомобильных фирм — «Бритиш моторс», «Форд», «Воксхолл», «Стандард моторс» и «Рутз»; «Большая четвёрка» французских автомобильных компаний — «Рено», «Ситроен», «Пежо» и «Симка»; «Большая тройка» западногерманских автомобильных фирм — «Опель», «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген»; и, наконец, почти безраздельно господствующий в итальянской автомобильной промышленности «Фиат».

Анализ финансовых связей этих фирм показывает, что число магнатов мировой капиталистической автомобильной промышленности ещё меньше, чем это кажется с первого взгляда. Английский «Форд» и французский «Симка» представляют фактически филиалы Форда, так же как английский «Воксхолл» и западногерманский «Опель» находятся в руках «Дженерал моторс». В итальянском «Фиате» крупную роль играют американские капиталы, но капиталы самого «Фиата» связаны с французской и западногерманской автомобильной промышленностью. Вывоз капиталов и густое переплетение интересов — эти характерные особенности эпохи империализма — нашли в автомобильной промышленности классическое выражение.

История автомобильной промышленности капиталистического мира могла бы стать предметом своего рода эпоса.

В нём должно было бы быть рассказано о человеческом гении, воплощённом в изумительную машину, и о дельцах, сделавших из неё средство наживы; о миллионах рабочих, жизненные силы которых были унесены конвейером капиталистической эксплуатации; о стачках и локаутах, демонстрациях и расстрелах у заводских ворот, о жертвах и героях этой великой борьбы.

Имя Генри Форда Первого займёт большое место в этой саге. Ему, больше чем кому бы то ни было, капиталистическая автомобильная промышленность обязана созданием такой организации производства, при которой выкачивание прибавочной стоимости превращено в непрерывный поток, и прибыли поступают таким темпом, что, как говорит один из биографов Форда, «если бы настоящее золото вливалось этим темпом в ящик, поставленный на его плечи, он был бы раздавлен в первый же день».

Сага об автомобиле расскажет и о «модели Т», этом любимом детище Форда, — маленьком чёрном уродце, которому американский народ дал ироническое прозвище «Жестяная Лиззи», — о том, как девятнадцать лет подряд, с 1908 по 1927, с конвейеров заводов Форда сходили эти машины, похожие одна на другую, словно горошины; как Форд поверил в вечность своей «Жестяной Лиззи» и решил, что нашёл перпетуум-мобиле капиталистического производства. Но она расскажет также, как тогда, когда число «жестяных Лиззи» перевалило за четырнадцать миллионов, на их пути вдруг встал победоносный соперник «шевроле», выпущенный растущим автомобильным гигантом «Дженерал моторс», и как старый Генри должен был уступить ему дорогу.

Много песен этой саги будет посвящено битвам Форда с «Дженерал моторс», главные схватки которых ещё впереди. Сага расскажет и о самом «Дженерал моторс» — этом гиганте из гигантов современного капитализма: на его заводах работает 675 тысяч рабочих и служащих, его общий оборот за 1955 год составил 12 443 миллиона долларов, а прибыль до уплаты налогов составила 2 542 миллиона долларов, больше чем втрое превысив соответствующие цифры 1948 года<sup>1</sup>.

Создатели саги приведут рассказ вице-президента «Дженерал моторс» Пауля Гаррета, поделившегося с читателями «Уик» данными о прибылях владельцев «Дженерал моторс»: пакет в десять акций стоимостью в 100 долларов каждая, приобретённый в 1908 году, к 1955 году превратился в пакет из 5 047 акций стоимостью в 600 тысяч долларов и, кроме того, принёс его обладателю 338 472 доллара дивидендов. С тысячами долларов снят урожай более чем в 900 тысяч долларов!<sup>2</sup>

Большое место в этой саге займёт рассказ о сделках «хаш-хаш» («Hush-Hush») — «не подлежит разглашению», — заключённых «Дженерал моторс» с германскими нацистскими фирмами, о его деятельном участии в восстановлении военного потенциала гитлеровской Германии, о его роли в корейской аванюре американского империализма, а также о том, как и почему нынешнего министра обороны США, который много лет был вице-президентом «Дженерал моторс», прозвали «Чарльз Моторс Вильсон».

Американской «Большой тройке» («Дженерал моторс», «Форд» и «Крайслер») принадлежат первые три места в «Большой четвёрке» мировых автомобильных фирм. Четвёртое место в ней всего год назад уверенно занимал «Бритиш моторс». Но вдруг поперёк дороги, по которой английские машины мчались на иностранные рынки, встал автомобиль, марка которого ещё вчера была почти никому не известна: «Фольксваген».

«Это автомобиль с прошлым и будущим, — писал о нём американский еженедельник «Нэйшн». — Со времён «Жестяной Лиззи», быть может, ни одна машина не совершила такого потрясающего взлёта»<sup>3</sup>.

«Прошлое» «фольксвагена» уходит к временам фашизма, когда Гитлер задумал создать «народный автомобиль», заботясь, конечно, не о «народе», а о вермахте, заинтересованном в машинах с моторами, не перегревающимися в пустыне и не замерзающими в заполярье. Гитлер мобилизовал «Трудовой фронт» и ассигновал миллионные средства на строительство завода в Вольфсбурге, которому предназначено было стать «германским Детройтом». Завод выпустил несколько тысяч «немецких моделей Т» и был переведён на военное производство, а в 1945 году разбомблён авиацией союзников.

После перемирия Вольфсбург оказался в зоне английской оккупации. Местный комендант, полковник британской армии, предложил бывшим рабочим завода, ютившимся в бараках, выходить на работу. В 1948 году, чтобы повысить поступление оккупационных платежей, англичане решили наладить выпуск автомашин и поставили во главе завода фашистского военного преступника доктора Нордхоффа. Для этого им пришлось вычеркнуть имя Нордхоффа из чёрного списка, куда он был занесён за то, что, будучи служащим «Дженерал моторс», принимал участие в производстве грузовиков «блиц» для германской армии.

Сделавшись директором «Фольксвагена», Нордхофф построил работу завода по выработанному им методу, в котором американская «теория интенсивного предпринимательства» и «практика продажи под высоким давлением» дополнены «германизмом», ибо, заявляет Нордхофф, «Пруссия не умерла и прусский дух жив!»

В переводе на язык житейской прозы это означает такое выжимание пота, какого не знают даже американские заводы. Пользуясь полной беззащитностью разорённых войной людей, Нордхофф за короткий срок повысил выработку на человека почти в восемь раз, заставляя своих рабочих работать без ограничения времени. Когда они обратились с просьбой о сокращении рабочего дня, он заявил: «А что вы будете делать со свободным временем? Досуг создаёт условия для горестных размышлений. Мы, германцы, любим работать, и счастливы, когда работаем, и несчастны, когда бездельничаем».

<sup>1</sup> «The Worker». 4. III. 1956.

<sup>2</sup> «The Week». 4. IX. 1955.

<sup>3</sup> «The Nation». 3. XII. 1955.

«Система» доктора Нордхоффа дала результаты, которые «Нью-Йорк таймс мэгэзин» называет «феноменальными»: продукция за четыре года учетверилась, а стоимость машин оказалась ниже, чем где бы то ни было в мире. Это привело к «метеорообразному» выходу «Фольксвагена» на мировой рынок. Буквально за несколько месяцев он обогнал «Бритиш моторс» и занял место четвёртого в капиталистическом мире автомобильного гиганта. Англичане и французы стали терять свои традиционные рынки. «Фольксваген» ворвался даже на автомобильный рынок США, ввёз в 1955 году больше машин, чем все другие импортёры, и сейчас строит в США завод, который будет производить сборку моторов и машин из частей, полностью изготовленных в Германии. Это даст фирме «Фольксваген» возможность продавать свои машины по ценам, в полтора и два раза более дешёвым, чем американские.

По словам английских газет, сокращение британского экспорта под ударами германской конкуренции приняло с начала 1956 года «сенсационный характер». В январе 1956 года число британских автомашин, ввезённых в Данию, упало по сравнению с январём 1955 года с 1 327 до 56, в Швецию — с 3 325 до 802. Швейцария купила вдвое больше «фольксвагенов», чем британских автомашин. В целом же британский экспорт сократился к январю на одну треть<sup>1</sup>. С апреля 1956 года Западная Германия занимает первое место в мире по экспорту автомашин.

Конкуренция всё больше становится «проблемой № 1» для «индустрии № 1». Как писал в конце 1955 года орган крупной французской буржуазии «Юзин нувелль», «будущее автомобильной промышленности в той мере, в какой его можно различить сегодня, будет заполнено самой жестокой борьбой. Она будет вестись между различными фирмами в национальном масштабе, с одной стороны, и между гигантскими международными компаниями — с другой... В обоих случаях нас ожидает конкуренция, не знающая пощады»<sup>2</sup>.

Эти слова были сказаны тогда, когда автомобиль парил в небесах капиталистического «просперити» подобно святому, окружённому неоновым сиянием. Но за несколько месяцев «автомобильный бум» стал лишь воспоминанием!

В первых числах января 1956 года дирекция крупнейших английских автомобильных заводов «Остин» объявила о переводе заводов на сокращённую четырёхдневную неделю. «Это было ударом для Сити, да и не только для Сити», — писала одна из виднейших английских газет.

Через несколько дней из-за океана пришли сообщения, что «Форд», «Дженерал моторс» и «Крайслер» уволили 25 тысяч рабочих. За первым увольнением последовали другие. Автомобильные фирмы стали сокращать производство и время от времени полностью останавливать сборочные линии. Безработица среди автомобилестроителей непрерывно росла и к началу июня 1956 года достигла 200 тысяч человек, а несколько сот тысяч работали на неполной неделе. В это же время продолжались сокращения и в британской автопромышленности. В апреле «Стандард моторс» объявил об увольнении 2 900 человек, в июне «Бритиш моторс» — об увольнении 6 тысяч и переводе на неполную рабочую неделю подавляющего большинства остальных рабочих.

Цифры с каждым днём становятся всё более грозными. В мае 1956 года четыре крупнейших автомобильных центра США (в том числе Детройт и Флинт) были официально отнесены к районам массовой безработицы, а выпуск автомашин упал на 40 процентов по сравнению с маем 1955 года. Несмотря на это, на складах накопилось около миллиона машин и число их продолжало расти<sup>3</sup>.

Двести тысяч безработных и миллион непроданных машин могут показаться не столь уж значительными величинами для экономики, в которой хроническая полная безработица держится на уровне трёх миллионов человек, а стоимость продукции измеряется сотнями миллиардов долларов. Однако автомобильная промышленность, особенно в США, представляет собой основного потребителя для стальной, стекольной, пластмассовой, каучуковой промышленности и для ряда других отраслей. Производство и потребление автомобилей служат важнейшими показателями потребительского спроса.

<sup>1</sup> «Forward». 17. III. 1956.

<sup>2</sup> «Problèmes économiques». 20. XII. 1955.

<sup>3</sup> «March of Labor», Май. 1956, «AFL — CJO News», 26. V. 1956.

Поэтому все происходящие в ней процессы являются исходным звеном в цепной реакции, которая охватывает всю экономику США.

«Автомобильный бум» 1956 года был в огромной степени порождён спекулятивным ажиотажем автомобильных фирм, использовавших временные благоприятные условия капиталистической конъюнктуры, которые глубоко проанализированы в докладе Н. С. Хрущёва на XX съезде партии. По расчётам американских экономистов Барка и Паркера, приведённым в их статье, помещённой в органе Большого бизнеса «Форчун», потребительский спрос США был в 1955 году искусственно вздут на 6 миллиардов долларов. Это было достигнуто при помощи продажи в рассрочку. Из шестимиллиардного прироста задолженности за 1955 год на автомобили падает 4 миллиарда долларов.

Если в США спад порождён спекулятивным характером «бума», то в Англии он непосредственно обусловлен другой закономерностью монополистического капитализма — законом неравномерного развития. Общей же причиной экономического спада, как это правильно указал генеральный секретарь Международного объединения профсоюзов металлургической и машиностроительной промышленности Марсель Бра, является «несоответствие между покупательной способностью населения (вследствие недостаточной зарплаты) и высокой стоимостью машин. Такое несоответствие явилось результатом баснословных прибылей капиталистов и ограничений в международной торговле»<sup>1</sup>.

Ещё в конце прошлого года президент «Дженерал миллс» Гарри Баллес выражал уверенность, что капитализм сможет безграничное время вести свою экономику, «до предела давя на ножную педаль и выжимая из мотора максимум быстроты и дальности хода»<sup>2</sup>. Но уже тогда из среды самих капиталистов раздавались голоса, предостерегающие против опасностей такой гонки на четвёртой скорости. «Мы совершаем наш путь по экономическим магистралям не на модернизированном автомобиле — символе нашего преуспеяния,— говорил банковский деятель США Гарольд Кинг.— Нет, мы мчимся по ним на старой «модели Т», мчимся в том смысле, что ведём мотор на чрезмерной скорости... и притом на взятом в долг бензине. Больше мы этого выдержать не можем. Экономический упадок неизбежен, и он произойдёт в самом недалёком будущем»<sup>3</sup>.

Со времени этого предсказания прошло лишь несколько месяцев, и экономический спад для ряда отраслей капиталистической экономики, и в первую очередь для автомобильной промышленности, стал грозной действительностью.

Экономический спад сопровождается обострением конкурентной борьбы, гибелью мелких предприятий, концентрацией капиталов и, прежде всего, небывалым усилением эксплуатации рабочего класса.

### МАШИНА ПЛЮС ЧЕЛОВЕК

В минуте уже не шестьдесят секунд. Она делится на сто частей, на сто «стокунд».

Это новое измерение времени введено владельцами ряда заводов в капиталистическом мире потому, что при счёте на секунды рабочий работает, по их мнению, «слишком медленно»! Они требуют от него быстроты, измеряемой уже не секундами, а «стокундами».

— Быстрее, быстрее, быстрее!..

Автомобильный завод «Линкольн-Меркурий» компании «Форд» выпускает автомобили-люкс. «Уже в течение года мы работаем по одиннадцати и двенадцати часов в смену при шести-и семидневной рабочей неделе,— рассказывали летом 1955 года рабочие этого завода,— и делаем при этом до 2 500 движений в час. Условия труда у нас бесчеловечные. Хотя наш завод считается современным, в цехах стоит страшная жара, масса пыли, нет солнечного света... Воздух накалён ужасно, нормы выработки непосильно велики, рабочий день слишком длинен»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «Международное профсоюзное движение». Август 1956.

<sup>2</sup> «The Commercial and Financial Chronicle». 12. I. 1956

<sup>3</sup> Там же. 3. XI. 1955.

<sup>4</sup> «The Worker», 10. VII. 1955.

Завод мясных консервов «Жеб» (Франция). По конвейеру непрерывно подают свиные туши, через каждые шесть секунд новую свинью. «Даже ночью, во сне, я непрерывно вижу мёртвых свиней, — пишет рабочий этого завода. — Я их тащу и толкаю и делаю это всю ночь, каждые шесть секунд»<sup>1</sup>.

«У нас всё делается из-под палки, — говорит рабочий-электрик Бруклинской верфи (США). — Стоит надсмотрщик — «толкач» и торопит: скорее, скорее! Не может быть и речи о любви и интересе к работе. Нам лишь бы день окончить и убраться поскорее из этого пекла. Скорость работы настолько велика, что нередко люди падают в обморок от напряжения»<sup>2</sup>.

— Быстрее, быстрее, быстрее!..

Работа идёт непрерывным потоком... Деталь приближается... Она напротив тебя... Спешит!.. Она уже уходит... Если ты «заклинился» и пропустил её, ты получишь первое предупреждение... Подходит следующая... Торопись!.. Если ты ослабел и двигаешься недостаточно быстро, тебя ждёт второе предупреждение... Детали мчатся одна за другой... Быстрее... Ты уже не успеваешь за бегом машины... Получай третье предупреждение. Но знай, что это уже конец. Ты больше не нужен. Выкидывайся на улицу!..

— Быстрее! Speed-up! (Спид-ап!)

Эта команда, провозглашённая американскими промышленниками, облетела весь капиталистический мир и вошла во все его языки.

Как удар бича, непрерывно подхлестывает она рабочего. Чтобы выполнить её, он должен работать с неослабевающим напряжением, посильным только для молодых и здоровых. И наём рабочего на капиталистическое предприятие превращён в нечто напоминающее отбор скота для убоя.

В особой комнате, оборудованной специальными приборами, заседает комиссия по «человеческому отбору». Перед ней вереницей проходят нанимающиеся на завод рабочие. У каждого карточка, на которую заносятся результаты осмотра.

У тебя хорошие бицепсы? — 20 пунктов. Твои глаза хорошо видят? — 15 пунктов. Лёгкие достаточно развиты? — 12 пунктов. Ловкость средняя? — 3 пункта. Сильный кулак? — 8 пунктов.

Случается, что комиссия изобличает нанимающегося в попытке «подделки»: продавая себя, он попытался «смошенничать» — подкрасил виски, подрумянил щёки, впустил в глаза несколько капель атропина, чтобы придать им блеск и выглядеть моложе и бодрее.

Все «пункты», набранные рабочим, суммируются, и по итогу он относится к одному из «классов».

Неважно, кто ты — слесарь, токарь или же фрезеровщик. Важно только одно: сколько у тебя «пунктов», к какому «классу» ты отнесён. Твой «класс» соответствует «классу» одной из машин, к которой тебя и ставят. Таким путём хозяин получает для каждой операции рабочего, способного дать максимальные темпы.

Встав на указанный тебе «пост», ты перестаёшь быть квалифицированным рабочим, а становишься тем, что получило название специализированный рабочий.

Такой специализированный рабочий на бойнях в Чикаго отделяет левую заднюю ногу свиньи. Только левую, только заднюю, только свиньи. Если бы ему пришлось отделить правую или же переднюю, он не сумел бы этого сделать. Так же как специалист по правой ноге не сумел бы отделить левую.

Обучение специализированного рабочего завершается в два-три дня. Говоря точнее, его не учат, а дрессируют. Когда он овладевает несколькими требуемыми от него движениями, его «профессиональное образование» закончено. И сколько бы ему ни было лет — шестнадцать или тридцать шесть, — он обречён делать только эти несколько движений до тех пор, пока будет в силах работать или же пока предприниматель не решит, что пора вышвырнуть его за ворота.

Человек перестаёт быть самим собой. Он превращается в то, что технологический жаргон называет «Mapo-machine» («человекомашина»). Отныне все его помыслы, все его усилия направлены только на то, чтобы не отстать от несущегося рядом стального чудовища.

<sup>1</sup> «Economie et Politique». Февраль. 1955.

<sup>2</sup> «The Worker». 11. X. 1954.

— Быстрее! Быстрее! Спид-ап!

Эта безумная гонка явилась основой промышленного «бума» последних лет. Она ещё больше обострилась сейчас, когда хаотическое раздувание производства сменилось столь же хаотическим сжатием.

Выбрасывая рабочих на улицу, предприниматели в то же время усиливают «спид-ап». Одним из показателей этого может служить то, что за второй квартал 1956 года в автомобильной промышленности штата Мичиган (где находятся Детройт и другие крупные автомобильные центры США) было 7 764 несчастных случая, из них шестьдесят смертельных. В июне 1956 года рабочие профсоюзной организации № 409 тракторного завода Форда высказались за объявление стачки с требованием прекращения «спид-ап» и установки предохранительных приспособлений вдоль конвейеров; рабочие цеха автомобильных корпусов заводов «Крайслер» проголосовали за стачку протеста против того, что компания сокращает рабочих и в то же время ускоряет темпы таким образом, чтобы уровень производства остался прежним; рабочие профсоюзной организации № 15 завода «Дженерал моторс» в Детройте заявили компании, что они будут бороться против тактики компании, «прибегающей к «спид-ап», чтобы получить ту же работу с меньшим числом людей»<sup>1</sup>.

При современных методах организации капиталистического производства рабочих, как говорит теоретик одной из потогонных систем Шеллер, «превращён в анонимную, взаимозаменяемую шестерёнку гигантского производственного механизма... Элемент человеческого совершенно исчез из процесса его труда»<sup>2</sup>.

А раз это так, то он может с ещё большим успехом быть заменён машиной, прибором — словом, роботом!

#### МАШИНА МИНУС ЧЕЛОВЕК

Когда Карел Чапек четверть века тому назад создал образ «Россумского универсального робота», он сделал робота копией человека. Было ли это отражением уровня техники того времени, стремившейся воспроизвести автоматизированные подобию живых существ? Едва ли. Пафос бессмертной комедии замечательного чешского писателя состоял именно в том, что изготовленные в месильных чанах роботы сделались в конце концов людьми, и какими людьми! Людьми, способными на высшую человеческую акцию, — революционное действие.

Между тем изобретатель роботов молодой Россум и его сотрудники стремились прежде всего к тому, чтобы у выпускаемых ими живых разумных машин были полностью уничтожены какие бы то ни было человеческие свойства. Как говорил директор фабрик «россумских универсальных роботов» Гарри Домин, «человек — это такое существо, которому надобно, например, чувствовать радость, играть на скрипке, ему хочется гулять и вообще нужно проделывать массу вещей, которые, собственно говоря, излишни, когда нужно ткать и считать. Наилучший рабочий тот, который дешевле всего, тот, у которого минимум потребностей. Молодой Россум изобрёл рабочего с минимальным количеством потребностей. Он выбросил всё, что не имеет прямого отношения к работе. Тем самым он отказался от человека и сделал робота»<sup>3</sup>.

Современные мистеры россумы, заменяя своих рабочих электронными, химическими и гидравлическими роботами, ценят в роботах те же качества. «Роботы выпускают продукцию, никогда не делая пауз, чтобы выпить чашку кофе», — заявил директор заводов «Адмирал» (США)<sup>4</sup>. «Цель автоматизации предприятий состоит в том, чтобы полностью устранить рабочих», — писал «Уолл-стрит джорнэл»<sup>5</sup>. «Люди — это слишком трудная и ненадёжная штука... Выкиньте их полностью с ваших заводов, и вы будете чувствовать себя превосходно», — советует орган Большого бизнеса «Форчун»<sup>6</sup>.

Разговоры о роботах стали сегодня последним криком моды капиталистического мира. Роботы сделались героями романов и комиксов. Идеи «технократов» тридцатых

<sup>1</sup> «The Worker». 17. VI. 1956.

<sup>2</sup> «Industrie et Organisation». Февраль. 1956.

<sup>3</sup> К. Чапек. «РУР» (Россумские универсальные роботы). Прага. 1933.

<sup>4</sup> «Chicago Daily News». 14. I. 1955.

<sup>5</sup> «Wall-Street Journal». 25. XI. 1953.

<sup>6</sup> «Fortune». Октябрь. 1953.

годов перелицовываются на новый лад. Неважно, что они уже трижды биты историей, доказавшей несокрушимую мощь того, что деятели «мозговых трестов» капитала называют термином «человеческий фактор» и что на языке настоящих людей называется рабочим классом, народом, человечеством. Неважно, что существует могучий лагерь стран социализма, что в самих капиталистических странах растут и крепнут силы рабочего класса, ведущего за собой широкие народные массы, и что человечество, выразителем интересов которого являются эти силы, не допустит собственного уничтожения. Для идеологов современного капитализма новейшие достижения техники — удобный повод для воскрешения утопий об обществе, в котором решительно покончено с социализмом и рождающими его силами, а власть сосредоточена в руках «избранного меньшинства», повелевающего армиями послушных роботов.

Автоматика едва успела появиться на свет, как в Соединённых Штатах Америки, в Англии, Франции, Западной Германии хлынул поток книг, посвящённых «истории будущего». Все они с небольшими вариациями рисуют одну и ту же картину<sup>1</sup>. Далеко-далеко, на многие сотни километров, тянутся длинные полосы однообразных зданий. Это — заводы-автоматы. Десятки тысяч автоматических линий прядут, ткут, шлифуют, штампуют без какого бы то ни было участия человека. Нигде ни души — ни на заводских дворах, ни в цехах. Только в стальной башне возле пульта управления сидит единственный человек, который нажимом кнопки приводит в действие эту армию машин. Техника достигла таких пределов, что несколько человек могут произвести всё потребное для населения земного шара.

И в это же время в Сахаре и на берегах океанов сотни миллионов людей с деревянными лопатами в руках роют каналы и сооружают песчаные плотины, которые тут же рассыпаются в прах. Их труд совершенно бессмыслен. Но куда девать, чем занять это многомиллионное человеческое стадо? И, чтобы оно не взбунтовалось от тоски и безделья, его властелины сунули ему в руки лопаты и заставили пересыпать пески пустынь.

Эти массы, называемые одним из авторов «армиями тупиц», другим — «невежественными множествами», обречены на уничтожение. «Избранное меньшинство», которому одному предназначено уцелеть на земле, проводит методами принудительной стерилизации операцию последовательного уничтожения человеческого рода. На земле остаются только две силы: правящая верхушка, которая путём «селективного человеческого водства» превращается в расу интеллектуальных и физических гигантов, и покорные ей механические роботы.

Этот омерзительный бред возник не случайно. Он порождён современной капиталистической действительностью.

В последние годы в промышленности капиталистических стран происходит неуклонный процесс вытеснения рабочих автоматическими и электронными приспособлениями. Особенно отчётливо проявился он в Соединённых Штатах Америки.

Уровень промышленного производства США в ноябре 1954 года был примерно таким же, как в ноябре 1953 года, но число производственных рабочих при этом уменьшилось на 850 тысяч человек<sup>2</sup>. По подсчётам председателя профсоюза электриков Джемса Керри, общее число рабочих в этой отрасли вследствие автоматизации производства сократилось за 1953—1956 годы на 9 процентов, причём в производстве электроматериалов сокращение достигло 13 процентов, а радиоаппаратуры и электроники — даже 16 процентов.

В июньском номере этого года нисовой профсоюзной газеты, издаваемой организацией № 581 профсоюза автомобильных рабочих во Флинте, рассказывается, что на заводе, выпускающем автомобили «бьюнк», установлена новая машина, выполняющая 700 операций и обслуживаемая всего двумя рабочими. На заводе Форда имеется машина, выполняющая 500 операций при одном рабочем. В цехе прессов, где раньше работали 16 человек, теперь ту же работу выполняют двое. «Выталкивание рабочих

<sup>1</sup> См. G. T h o m s o n. «The Foreseeable Future»; P. E. C l e a t o r. «The Robot Era»; A. N a x l e y. «Ape and Essence» и другие.

<sup>2</sup> «La Tribune des Nations», 25. V. 1956.



является первостепеннейшей проблемой, которая стоит перед рабочим классом», — заключает газета <sup>1</sup>.

Вот как выглядит этот процесс, переведённый с языка цифр на живой язык человеческих судеб.

«Я хочу рассказать вам о некоторых результатах введения электронных механизмов, — говорит рабочий с завода «Монруж» (Франция). — У нас установлена новая машина для обработки магнитов, основанная на принципе конвейера: она выполняет серию последовательных операций при помощи группы станков, которыми командует электронно-механический «мозг»... Установка этого механизма сопровождается деqualификацией рабочих. Раньше эти станки обслуживали семь или восемь высококвалифицированных рабочих. Теперь, контролируемая и управляемая механическим регулятором, эта машина обслуживается только одной работницей, тоже превращённой в автомат... Работница, которая подаёт материалы ненасытному молоху, должна успевать за машиной, иначе её вышвырнут на улицу... За 48 часов хозяева выжимают теперь столько труда, сколько раньше за 60» <sup>2</sup>.

Этот рассказ целиком совпадает с рассказом американского рабочего С. Тилейка. Проработав 27 лет на заводе Форда «Ривер Руж», Тилейк был уволен в связи с автоматизацией. Но ему «повезло»: его приставили к автоматической машине. Он должен был следить за девянью разноцветными огнями, которые то зажигаются, то гаснут.

«Машина имеет около 80 отверстий и 22 блока, — рассказывает Стэнли Тилейк. — Вы обязаны непрерывно наблюдать за ними. Через каждые несколько минут вы обязаны проверять, всё ли в порядке. А у машины столько сигналов и выключателей, что это, уверяю вас, очень нелегко» <sup>3</sup>.

Темп работы при автомате оказался непосильным, и Тилейк вынужден был уйти.

Автоматика ворвалась в жизнь рабочего класса капиталистических стран буквально как смерть. С первых же своих шагов она принесла ему усиление мук гнида, безработицу и страх перед завтрашним днём.

«Что мы будем делать? Ведь для нас не будет работы, — говорили в Англии ораторы на рабочих собраниях, посвящённых автоматике. — Нас ждут ужасы тридцатых годов и даже хуже того» <sup>4</sup>. «Рабочий в 40 лет теперь уже «слишком стар» и оказывается за бортом промышленности, — пишет в профсоюзном журнале английский рабочий-литейщик. — С ростом автоматике такая же судьба постигнет квалифицированных, полуквалифицированных и высококвалифицированных рабочих. Кто сможет покупать товары, производимые автоматизированными заводами, если из десяти человек восемь будут без работы? Никто!.. Мы вновь вернёмся к городам-призракам!» <sup>5</sup>

Ничто не страшит рабочего капиталистических стран и его семью больше, чем угроза безработицы. Рассказ простого американского рабочего, приведённый в книге профессора Мичиганского университета Генри Смита, с потрясающей силой показывает этот постоянный ужас перед возможностью потери работы.

«В последние восемь месяцев, — говорил этот рабочий, — я всё время имел работу. Но, клянусь богом, за это время не было минуты, когда бы моё сердце не вздрагивало, как только я увижу приближающегося ко мне хозяина. Каждый раз мне казалось, что он явился, чтобы сказать мне об увольнении. И стоило мне прийти домой на десять минут раньше обычного, как моя жена, увидев в окно, что я иду по улице, бросалась к воротам, крича душераздирающим голосом: «Э то случилось? Том, ответь мне скорее: это случилось?» <sup>6</sup>

Весь исторический опыт говорит рабочему классу, что автоматика, как и все достижения техники и науки, способные доставить человечеству огромное количество материальных благ и облегчить труд, в условиях капитализма неизбежно превращается в угрозу для жизни миллионов трудовых людей.

<sup>1</sup> «The Worker». 17. VI. 1956.

<sup>2</sup> «Economie et Politique». Июнь. 1955. «Отчёт конференции по обнищанию».

<sup>3</sup> «The Marxist Quarterly». Апрель—июнь. 1956.

<sup>4</sup> «The Socialist Leader». 22. X. 1955.

<sup>5</sup> «The Foundry Worker Journal». Апрель. 1956.

<sup>6</sup> H. C. Smith. «Psychologie of Industrial Behaviour». N. Y. 1955.

«Мы не желаем быть жертвами автоматике и нового переоборудования нашего завода,— пишет рабочий-металлист с завода «Орн» (Франция).— Мы знаем опасность роста производительности: снижение заработной платы по сравнению с количеством выжатого труда и безработицу. В 1952 году на нашем заводе работали 900 рабочих, производивших 700 тонн в месяц. В 1956 году было 590 рабочих, и производили они 1 200 тонн. Продукции стало на 500 тонн больше, а число рабочих на 310 человек меньше. Новая реконструкция предполагает дальнейшее увеличение продукции и сокращение персонала... Вот почему, товарищи, надо поставить машину на службу человеку. Сегодня же она служит лишь тому, чтобы обогащать тресты вроде нашего, уменьшает покупательную способность населения, приводит к навязыванию невыносимых темпов и преждевременному изнашиванию рабочего»<sup>1</sup>.

— Вы воскрещаете идеи разрушителей машин, — отвечает на это капитал.

Американский автомобильный король Генри Форд Второй, выступая перед американскими издателями газет, произнёс патетическую речь, в которой обвинил рабочих в том, что они «реакционно мыслят, решительно противятся прогрессу, сопротивляются введению новых машин и находятся во власти убогих и жалких идей...»<sup>2</sup> Буржуазная печать всего капиталистического мира объявляет рабочих «луддитами в современных костюмах» и требует, чтобы они безропотно покорились той участи, которая их ждёт.

Но вопрос о том, удастся ли автоматам вытеснить людей, будут решать не Денежные мешки, а Люди труда и их борьба!

### «РАБОЧИЙ КЛАСС НЕ ДАСТ СЕБЯ КОВЕНТРИРОВАТЬ!»

Буржуазные и реформистские деятели утверждают, что борьба эта бессмысленна и ненужна. Рабочий класс стоит перед лицом исторической фатальности. Эта фатальность сама, в силу присущих ей внутренних закономерностей, неизбежно приведёт к благим результатам.

Правда, пока дело идёт об автоматике сегодня, они не могут отрицать, что автоматика уже нанесла рабочему классу бесчисленные удары. Но зато, едва разговор переходит на то, чем будет автоматика завтра, они сулят, что вместо сегодняшних кошмаров, безработицы и бедствий она будет нести рабочему классу изобилие, благосостояние и счастье.

Каким образом это произойдёт? Неизвестно. Рассуждения на эту тему строятся по тому же принципу, что и остроты известного листка «Аризона жиккар» («Аризонская заноза»), над которыми уже сто лет смеётся Америка: описывается начало и конец какой-нибудь истории и опускается её середина.

«Позавчера миссис Милли Шэвер намеревалась одновременно почистить бензином свои перчатки и нагреть утюг на открытом пламени камина. Костюмы миссис Шэвер пришлось совершенно впору второй жене мистера Шэвера, их только нужно слегка отпустить в талии». Это из «Аризонской занозы».

А вот это из речи одного видного американского профсоюзного лидера:

«Американское рабочее движение приветствует новую эру автоматике и атомной энергии даже в том случае, если она повлечёт за собой уменьшение занятости. Если на изготовление автомобиля или тонны стали потребуется втрое меньше рабочей силы, чем сейчас, американские рабочие будут удовлетворены, если только это прищпорит продукцию и снизит цены... Благодаря новой технике человек впервые в своей истории вступит в век, который откроет перед ним возможности культурного, социального и нравственного самосовершенствования»<sup>3</sup>.

Нетрудно представить себе события, которые произошли между тем, как первая жена мистера Шэвера открыла бутылку бензина и вторая его жена стала примерять юбки первой. Но понять, каким образом рабочий класс будет «наслаждаться самосовершенствованием», когда двое рабочих из трёх будут выброшены с производства, значительно труднее.

<sup>1</sup> «Vie Ouvrière». 20. VIII. 1956.

<sup>2</sup> «The Worker». № 20. Май. 1955.

<sup>3</sup> «AFL—News Reporter», 30. IX. 1955.

Верные своей «теории» гармонии труда и капитала, реформисты и правые профсоюзные деятели обещают в будущем нечто вроде «ночи 4 августа», когда капиталисты, обливаясь слезами умиления, разделят с рабочими бесчисленные сокровища, принесённые автоматикой. А пока что нужно лишь терпеливо ждать!

Однако сами биржевые и промышленные волки что-то не обнаруживают намерения превратиться в ягнят!

— Мы затратили 4 миллиона фунтов стерлингов на новое автоматизированное оборудование не для того, чтобы держать на заводе то же количество людей, — заявил Аллен Дик, производственный директор английских автомобильных заводов «Стандард моторс», выбрасывая на улицу 2 900 рабочих<sup>1</sup>.

— А мы не намерены расстёгивать ворот своей рубахи, чтобы вам было удобнее свернуть нам шею! — ответил на это один из рабочих.

История промышленного переворота жива в памяти английского рабочего класса, до сих пор английские рабочие поют песни о том, как «машины съели людей». Ещё более живы в их сознании воспоминания о чёрных годах мирового экономического кризиса, когда ржавчина разъедала бездействовавшие станки, а миллионы людей бродили в поисках любой работы. Не случайно поэтому именно английские рабочие первыми дали капиталу бой против капиталистических методов внедрения автоматизации и провели широкую стачку.

О нависшей над ним угрозе автоматизации английский рабочий класс узнал немногим более года назад. Ещё в июле 1955 года орган британского конгресса тред-юнионов «Лейбор» писал, что «совсем недавно много тысяч людей даже не знало, что существует слово «автоматика»<sup>2</sup>. Но, едва появившись, оно сразу же облетело английский рабочий класс. Повсюду происходили собрания, на которых сотни тысяч «мужчин и женщин, которые сегодня ещё работают, но которым завтра предстоит быть вытесненными электронной техникой», обсуждали проблемы автоматизации. Рабочие Бирмингэма послали в Советский Союз специального представителя, чтобы он ознакомился с автоматикой в стране социализма.

Особенно встревожены были внедрением автоматизации рабочие автомобильных заводов, которые первыми подпали под её удары. Они провели две общebritанские конференции фабричных старост («шоп-стюардов»); на них присутствовали представители всех предприятий автомобильной промышленности. Там был заслушан доклад доктора Лиллэй, ездившего в Советский Союз. Он рассказал, что в условиях социалистической экономики автоматические машины действительно облегчают труд рабочего и служат на благо всего общества. Установка автоматических машин в СССР не приводит ни к снижению квалификации, ни к безработице. Наоборот, рабочие проходят переподготовку на специальных курсах, повышая свою квалификацию для работы на новых станках.

Что до методов внедрения автоматизации в Англии, то выступления представителей заводов показали совсем иную картину. «Рабочие британской автомобильной промышленности уже имеют значительный опыт того, каким образом предприниматели применяют автоматизацию, и они весьма недовольны», — сказал шоп-стюард Джон Лоуренс. А Дик Эттеридж, старший шоп-стюард заводов «Остин» в Бирмингэме, под одобрительные восклицания и смех всего зала охарактеризовал предпринимательские методы внедрения новой техники, как «приёмы ненасытного брюха»<sup>3</sup>.

Рядовые рабочие единодушны в оценке капиталистической автоматизации. Основываясь на собственном опыте, они видят в ней угрозу массовой безработицы. Поэтому их первое требование: никаких увольнений!

Борьба рабочих против увольнений, вызванных автоматизацией производства, занимает всё большее место в классовых боях наших дней.

В апреле 1956 года администрация заводов «Стандард моторс» в Ковентри объявила об увольнении 2 900 рабочих в связи с установкой автоматических линий, закуплен-

<sup>1</sup> «The Socialist Leader». 12. V. 1956.

<sup>2</sup> «Labour TUC Magazine». Июль. 1955.

<sup>3</sup> «Tribune», 30. IX. 1955.

ных фирмой в Западной Германии. В ответ на это началась стачка, которая и получила в Англии название «первой стачки эры роботов»<sup>1</sup>.

Регулирование производства за счёт рабочих давно уже вошло в обычаи фирмы «Стандард моторс», как и других автомобильных компаний. Едва спрос на автомобили и тракторы падал, она переводила своих рабочих на неполную рабочую неделю, уменьшая таким образом свои затраты, но сохраняя за собой резервы квалифицированной рабочей силы. На этот раз компания действовала иначе. На этот раз ей не было нужды сохранять рабочих, ибо вместо живых людей она поставила на работу роботов. И она объявила, что 2 900 рабочих увольняются навсегда.

— Пусть они останутся, — потребовали рабочие заводов. — Мы, все двенадцать тысяч рабочих компании, будем работать четыре дня в неделю, мы отказываемся от части нашего заработка, но пусть наши товарищи не будут уволены.

— Нет! — ответила компания. — Мы не намерены держать людей для их забавы<sup>2</sup>.

27 апреля 1956 года по решению рабочих и шоп-стюардов заводов «Стандард моторс» началась забастовка. Она была «неофициальной», то есть объявленной без согласования с высшими профсоюзными органами.

Трудно передать бурю, которая поднялась в буржуазной печати! Стачечников объявляли «луддитами», «разрушителями машин». Журнал «Скетч» заявил, что «люди из Ковентри бастуют против будущего». Газета «Ньюз кроникл» называла «идиотством» рассматривать автоматику под углом зрения интересов рабочего класса. Стачечников обвиняли в том, что стачка направлена против технического прогресса. «Стоит рабочим увидеть новые методы, как они считают, что их жизненный уровень находится под угрозой», — иронизировала «Дейли экспресс»<sup>3</sup>.

Стачечники держались стойко, и администрация была вынуждена пойти на переговоры. В течение трёх часов, пока шли переговоры, вокруг здания ходили рабочие с плакатами: «Мы не допустим увольнений!», «Один уволен — все уволены». И, вспомнив слово «ковентризовать», пущенное германским генштабом, после того как гитлеровская авиация разбомбила дотла город Ковентри, рабочие написали на плакатах: «Заводы «Стандард» могут быть автоматизированы. Но рабочий класс не будет ко в е н т р и р о в а н».

Администрация, чтобы сорвать стачку, заявила, что отказывается от своего решения. Но это было лишь манёвром: через несколько дней после того, как рабочие приступили к работе, она снова объявила об увольнении.

Завод забурлил. Внимание всего английского рабочего класса снова было приковано к событиям, происходившим на «Стандард моторс». Конференция шоп-стюардов «Большой шестёрки» английских автомобильных фирм потребовала от Генерального совета тред-юнионов, чтобы он выступил с заявлением о поддержке всех действий, направленных против предпринимателей в случае увольнений. Шоп-стюарды заводов «Стандард» вновь выдвинули требование перевода заводов на сокращённую рабочую неделю, с тем чтобы сохранить всех рабочих<sup>4</sup>.

И вдруг в самый разгар всех этих переговоров дирекция компании «Бритиш моторс», самой крупной автомобильной монополии в Англии, без всякого предупреждения объявила шести тысячам своих рабочих, что с завтрашнего дня они увольняются.

Операция увольнения на «Бритиш моторс» была проделана в самой вызывающей форме. Администрация наотрез отказалась внести какие-либо изменения в своё решение. На все предложения о переговорах она отвечала коротким «нет». В ответ на решение профсоюзов объявить всеобщую забастовку всех заводов компании, где работают 50 тысяч человек, глава фирмы сэр Леонард Лорд заявил, что компания не пойдёт ни на какие уступки. Даже Бибиси в своей передаче 30 июня признало, что

<sup>1</sup> Это название не совсем точно. Правильнее было бы так назвать стачку 56 тысяч рабочих сорока заводов компании «Вестингауз электрик», бастовавших с 17 октября 1955 года по 22 марта 1956 года, где рабочие добились согласия компании не прибегать к увольнениям при установке нового более совершенного оборудования.

<sup>2</sup> «The Socialist Leader». 12. V. 1956.

<sup>3</sup> «Daily Worker». New York. 6. VI. 1956.

<sup>4</sup> «Daily Herald». 25. VI. 1956.

«увольнения английских рабочих в последнее время производятся с такой беззастенчивостью, какой не было со времён кризиса тридцатых годов»<sup>1</sup>.

Рабочие отнеслись к действиям компании, как к объявлению войны. По всей стране разнёсся старый лозунг английского рабочего класса: «Несправедливость к одному — несправедливость ко всем. Объединившись, мы победим, действуя врозь, мы обречены на поражение!»

Забастовка на заводах «Бритиш моторс» началась в понедельник 23 июля. События сразу же приняли напряжённый и драматический характер. Задолго до того, как настал час начала работы первой смены, являвшийся также часом начала забастовки, у ворот тринадцати заводов компании в Ковентри, Бирмингэме, Оксфорде и Ллонелли скопились отряды пешей, конной и моторизованной полиции.

В начале восьмого утра к воротам начали подходить рабочие. Они несли плакаты: «Не пресмыкайтесь! Держитесь прямо!», «Мы бастуем сегодня, чтобы спасти наше будущее!» Представитель стачечного комитета через громкоговоритель, установленный на грузовике, обращался к рабочим с призывом: «Оставайтесь снаружи! Пусть хозяева посмотрят на вас, вы принесли им за последний год 23 миллиона фунтов стерлингов прибыли. Если вы не будете бастовать сегодня, то через месяц вас, как и многих других, вышвырнут на мостовую. Перед вами выбор — быть мышами или людьми!»

К восьми часам утра у ворот заводов образовалось две тысячи пикетов. Конные полицейские, насадая лошадиными крупами, пытались их разогнать. Рабочие мужественно сопротивлялись. К заводским воротам начали подъезжать грузовики, на которых штрейкбрехеры-шофёры подвозили материалы. Рабочие их не пропускали. Борьба переходила в рукопашную. Так началась первая неделя стачки, которая вошла в историю, как «битва у ворот»<sup>2</sup>.

Со времени всеобщей английской стачки 1926 года английское рабочее движение не знало такого единодушия. Вся трудовая Англия поддержала бастующих. Профсоюзы докеров и транспортных рабочих принимали решения не перевозить «чёрные грузы» «Бритиш моторс». На многочисленных предприятиях производились сборы и отчисления в фонд бастующих. Рабочие других заводов и даже других отраслей промышленности ходили по улицам с плакатами: «Спасайте вашу работу! Поддержите автомобильостроителей!»

С каждым днём всё большие массы рабочих присоединялись к бастующим. Забастовали и женщины. «Мы должны поддержать забастовку ради нашего будущего, ради наших детей», — говорили они.

Все реакционные силы Англии ополчились против стачечников. Газеты писали, что стачечники представляют собой лишь ничтожную кучку, что большинство рабочих продолжает работать. Администрация угрожала дальнейшими увольнениями.

И несмотря на всё это, стачка была выиграна! Компания пошла на переговоры и приняла требования стачечников: выплатить компенсацию уволенным, не увольнять в последующем ни одного человека без консультации с профсоюзами.

Рабочие вернулись на работу как победители. На заводе «Остин» в Бирмингэме они построились в ряды и плечом к плечу обошли огромную территорию завода, распевая песню, тут же сочинённую заводским поэтом:

Борьба закончилась, одержана победа!  
Будем же крепить наше единство против хозяев!

### БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ

Стачки на «Стандард моторс» и «Бритиш моторс» замечательны не только мужеством и организованностью рабочих, но и их высокой классовой зрелостью.

Рабочий класс вырос. Об этом говорит размах стачечной борьбы, которым отмечены послевоенные годы. В США число стачек на протяжении последнего десятилетия выросло по сравнению с довоенным десятилетием в полтора раза, а количество их

<sup>1</sup> «La Tribune des Nations», 6. VII. 1956.

<sup>2</sup> «Daily Worker» и «Daily Herald», Июль—август, 1956.

участников и забастовочных дней удвоилось. Во Франции за один только 1955 год было проведено 2 672 стачки, а число забастовочных человеко-дней перевалило за три миллиона.

Но главное не в этих сухих цифрах. Главное — в бьющей ключом жизни, которая за ними стоит, с её горячей борьбой, столкновениями, тревогами, заботами, трудностями, надеждами и победами.

С какой гибкостью и многообразием применяет в наши дни рабочий класс своё старое и верное оружие — стачку! В процессе борьбы родились стачки, охватывающие цепь заводов одной или нескольких монополий; «активные» стачки, во время которых рабочие продолжают работу, вопреки воле хозяев, саботирующих производство; стачки с занятием предприятий бастующими; стачки «по крупинкам», когда рабочие, не покидая своего рабочего места, каждый час бастуют по несколько минут; стачки «зубьев пилы», когда рабочий день разбивается на перемежающиеся отрезки часов работы и часов забастовки и кривая производства прыгает вверх и вниз.

Рост рабочего класса нашёл себе выражение также и в стремлении понять механику капиталистической эксплуатации, которым охвачены сейчас широчайшие массы рабочего класса. Безработный из Детройта и забастовщик из Ковентри, итальянский шахтёр или «Корреспондент №...» французской профсоюзной газеты «Ви увриер», начинающий свою заметку словами: «На нашем заводе...» — все они ставят перед собой вопрос: «Отчего нам так трудно сегодня? Что ожидает нас завтра? Как обуздать монополию? Как бороться против применяемых ими «приёмов ненасытного брюха?»

Рабочий читает газету. Он узнаёт из неё размеры прибылей монополий. Он сравнивает эти прибыли со своей заработной платой и ловит с поличным грабящих прибавочную стоимость.

Он сопоставляет движение цен, движение заработной платы и движение прибылей монополий. Он видит, что заработная плата ползёт, а прибыли и цены несутся вскачь. Подобно марсельскому докеру, выступавшему на конференции по обнищанию, которую устроила партийная организация департамента Буш дю Рон, он делает расчёт: «За то количество товаров, которое можно было купить в 1933 году за 6 часов 40 минут работы, теперь надо отработать 12 с лишним часов»<sup>1</sup>.

Рабочий смотрит на тонкий слой маргарина, который жена намазала ему на хлеб, на свои изношенные башмаки и вспоминает цифры дивидендов, выплаченных акционерам «его» компании. Это приводит его к новым выводам: «В то время как акционеры получили в 1954 году 3 миллиарда франков сверхприбылей, безработица и нищета рабочих растут и подтверждают закон капиталистического накопления, при котором накопление богатств на одной стороне сопровождается абсолютным и относительным обнищанием рабочего класса на другой»<sup>2</sup>.

Рабочий сравнивает затраты труда на единицу продукции несколько лет тому назад и теперь. Подсчёт показывает, что затраты труда вследствие бешеного «спид-ап» уменьшились, а заработная плата осталась либо прежней, либо чуть возросла, а иногда даже упала. Следовательно, его доля в произведённом продукте стала меньше, а доля хозяина больше. Он заключает: «Несмотря на то, что сумма заработной платы рабочих нашего предприятия уменьшилась с 1951 года по 1955 год на 8 процентов, тоннаж продукции вырос на 57 тысяч тонн. Рабочий день увеличился с 8 до 10 часов»<sup>3</sup>.

Он, как и забастовщики с завода «Ферродо», говорит:

— Прибыли хозяев за истекший год достигли 6,5 миллиарда франков. Они могут заплатить нам, и надо их заставить, чтобы они заплатили<sup>4</sup>.

На жалобы хозяев, что дела у них идут туго и поэтому, мол, они не могут дать прибавку, он отвечает так же, как ответила делегация рабочих завода «Альстом»:

<sup>1</sup> «France Nouvelle». 29. X. 1955.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> «Vie Ouvrière». 11. VII. 1956.

«Ваши трудности — это ваше дело. Нам хватает своих забот. Мы требуем повышения заработной платы»<sup>1</sup>.

Буржуазные учёные и литераторы со всех сторон уверяют рабочего в том, что в США создана система «народного капитализма». Особенно благотворна она, по их заверениям, в американской автомобильной промышленности. Чтобы увидеть, как выглядит этот пресловутый «народный капитализм» в действительной жизни, взглянем на то, что творится в знаменитом «автомобильном городе» Детройте.

«Там, в Детройте,— пишет корреспондент одной из французских газет,— происходят сегодня необычайные, тревожные события, события, подобные которым можно найти, лишь перелистав анналы американской истории вплоть до трагических сцен эпохи экономического кризиса тридцатых годов... Мы говорим о собрании безработных автомобилестроителей в конце мая 1956 года»<sup>2</sup>.

Выступавшие на этом собрании руководители низовых профсоюзных организаций рассказывали один за другим об огромных размерах безработицы. Общее число безработных автомобилестроителей перевалило за 200 тысяч, а к концу лета грозило достигнуть 300 тысяч. Перед некоторыми заводскими посёлками штата Мичиган стоит опасность превратиться в «города-призраки» — настолько сильна там безработица.

— Как могло всё это обрушиться на нас посреди небывалого преуспевания? — спрашивали ораторы. И тут же, на собрании, они услышали циничный ответ видного правительственного чиновника Говарда Пиля:

— Право на страдание является одним из благ свободной экономики!

Предприниматели ведут себя с невозмутимой наглостью. Выбрасывая на улицу рабочих, они вместе с тем усиливают «спид-ап». В то время как больше половины безработных автомобилестроителей уже исчерпали сроки получения пособий и вынуждены жить подкачками благотворительных обществ, автомобильные компании получили за первые пять месяцев нынешнего года на 50 процентов больше прибылей, чем за эти же месяцы 1955 года. Они отказываются присылать своих представителей на митинги безработных, а недавно, в начале сентября, ответили отказом участвовать в переговорах с профсоюзом по вопросам автоматизации, заявив, что не желают выслушивать вздорные умозаключения рабочих на её счёт<sup>3</sup>.

Можно ли удивляться после этого тому, что любимой песней американских рабочих в наши дни является шахтёрская песня «Шестнадцать тонн»? За короткий срок было продано три миллиона пластинок с этой песней—рекорд, какого не знал ни один из буржуазных «бест-селлеров».

Ты отгрузил шестнадцать тонн, но что это тебе принесло?  
Ты стал лишь на день старше и ещё глубже влез в долги!  
Святой Пётр, не зови меня к себе, я не могу прийти,  
Я заложил свою душу в хозяйской лавке!

\* \*  
\*

...Борьба продолжается. Каждый день английские и американские газеты сообщают о новых увольнениях рабочих.

Каковы же пути выхода из создавшегося положения? Их указал генеральный секретарь Международного объединения профсоюзов металлургической и машиностроительной промышленности Марсель Бра, который на пресс-конференции, созванной 16 июля 1956 года, сказал:

— Вот предложения Всемирной федерации профсоюзов: повсеместное повышение зарплаты, сокращение рабочей недели с сохранением зарплаты, принятие мер против закрытия предприятий и перевода на неполную рабочую неделю, увеличение пособий по безработице и старости, развитие международной торговли, уничтожение ограничений в торговле между Западом и Востоком.

<sup>1</sup> «L'Humanité». 27. XI. 1955.

<sup>2</sup> «La Tribune des Nations». 1. VI. 1956

<sup>3</sup> «Daily Worker», 3, IX, 1956.

Только так можно предотвратить возвращение тех страшных времён тридцатых годов, когда газеты чернели заголовками: Тринадцать миллионов безработных! — Число самоубийств растёт! — Школьники теряют сознание от голода! — Безработный привратник повесился в уборной! — Сорок семей питаются только тем, что им удаётся добыть на городской свалке! — Целая семья приняла яд вместе с последним куском хлеба!<sup>1</sup>

Буржуазия хочет разрешить созданные её собственными руками экономические трудности за счёт рабочего класса и всех трудящихся путём создания «пула безработицы», сокращения рабочей силы, замораживания заработной платы, перемещения предприятий в районы низкой заработной платы и неорганизованной рабочей силы, повышения возраста выхода на пенсии и т. п. Как остроумно выразился выступавший на конгрессе британских тред-юнионов секретарь профсоюза химических рабочих, капиталистическая экономика напоминает поезд, в котором едут пассажиры трёх классов:

— Пассажиры первого класса — это банкиры и крупные предприниматели, второго класса — торговцы и мелкие промышленники, третьего — трудящиеся. Поезд потерпел аварию посреди дороги. И вот пассажирам первого класса рекомендуют оставаться на местах, второго — идти пешком, а третьего — толкать поезд собственными плечами<sup>2</sup>.

Рабочие требуют, чтобы все трудности были устранены путём обуздания монополий, урезки прибылей, повышения зарплаты, прекращения дискриминации в мировой торговле. В День труда 2 сентября 1956 года рабочие Детройта несли знамёна: «Миру — мир! Торговля со всеми нациями! Сокращение рабочей недели, чтобы увеличить занятость! Выход на пенсию в 60 лет! Организация общественной медицинской помощи!»

Современный рабочий сознаёт, что его энергия, труд и ум создали все богатства человечества, и он гордится этим. Он не желает примириться с той участью, которую уготовала ему буржуазия. Об этом хорошо сказал Рег Бэрч из Хэвилленда (Англия):

— Мы, рабочие, не примиримся со снижением нашего жизненного уровня и не дадим своего согласия на то, чтобы отправиться бродить по стране в поисках работы. И это не является невыполнимым требованием. Мы не желаем жить в нужде и губить свои семьи. Мы представляем собой могучую, специализированную, высококвалифицированную рабочую силу, и мы заявляем правительству и хозяевам: «Мы требуем, чтобы вы дали нам в руки инструмент, с которым мы пойдём на работу»<sup>3</sup>.

Капитализм разъединил пролетариат множеством всевозможных перегородок, барьеров, средостений — политических, экономических, национальных, религиозных, цеховых и других. Устранение этих преград является условием, без которого пролетариат не может выдержать натиск класса капиталистов, оказать решительное сопротивление.

Процессы, которые происходят сегодня, благоприятствуют ломке этих перегородок. Одна английская буржуазная газета изобразила автоматiku в виде бульдозера, нож которого надвигается на рабочий класс. Однако этот «бульдозер», помимо воли буржуазии, разрушает постронные ею перегородки, объединяет в общей борьбе против неё квалифицированного и неквалифицированного рабочего, уничтожает опоры, на которых держится капиталистическое влияние на известную часть рабочего класса. Поэтому никогда ещё не было более благоприятных условий для единства действий рабочего класса, для объединения всех его отрядов в борьбе за улучшение жизненных условий.

Чтобы достигнуть единства, рабочему классу приходится преодолевать сопротивление профсоюзных «бонз» и «боссов» и всяческих «вождей», напоминающих летучую мышь из басни Лафонтена. Когда она бывала вместе с птицами, она кричала: «Я тоже птица!» Но едва завидев мышь, она начинала визжать: «Мы мыши! Мы мыши! Да здравствуют крысы!»

<sup>1</sup> Привожу по А. Т. Andrew. «Property, Profits and People». New York. 1954.

<sup>2</sup> «Правда». 6.IX.1956.

<sup>3</sup> «Daily Worker». 9. VII. 1956.



«Бульдозер» монополий стирает не только завоевания отдельных отрядов рабочего класса. Он беспощадно обрушивается и на средние слои. Борьба против монополий находит поддержку самых широких народных масс.

Ленинское учение о гегемонии пролетариата в народной революции с новой силой звучит в нашу эпоху, когда все эксплуатируемые массы поднимаются на борьбу против империализма и засилья монополий. Под знамёнами рабочего класса объединяются самые широкие слои народа. За ним идут все те, о ком поёт Эрл Робинсон в своей «Балладе для американцев»:

Я никто, который — всё!  
 Я всё, который никто!..  
 Инженер, музыкант, уборщик улиц,  
 Плотник, учитель и фермер.  
 Я клерк, механик и хозяйка,  
 Рабочий, стенографистка и шофёр...

Социализм стал в наши дни мировой системой. Миллионы простых людей во всех странах мира знают, что в странах социализма строится общество, которое ставит себе целью счастье каждого человека и всех людей. Они знают, что в этом обществе нет ни безработицы, ни кризисов, и каждое достижение науки превращается в источник облегчения труда и всеобщего благосостояния.

Идеи социализма принимают всё более широкое распространение. Всё чаще слышатся на страницах рабочей печати и на рабочих собраниях слова о том, что «настало время нам, рабочим, принять активное участие в определении политики, которая сделает прогресс достоянием всего общества... Рабочие добьются этого собственной рукой, проведя обобществление средств производства, распределения и обмена»<sup>1</sup>.

Великий лозунг сосуществования, выдвинутый странами социализма, открывает перед народами перспективы наименее болезненного выхода из того положения, в которое их поставили капиталистические правители. Ещё в 1920 году Ленин сказал: «...мы предлагаем всем народам, в том числе и народам капиталистических стран, сделать краеугольным камнем восстановления народного хозяйства и спасение всех народов от голода»<sup>2</sup>.

Осуществление великого ленинского принципа мирного сосуществования, с величайшей мудростью и глубиной разработанного в решениях XX съезда КПСС, создаёт условия, в которых коммунистические и рабочие партии и международное рабочее движение могут обеспечить длительный мир и безопасность народов, отстаивать демократические права и свободы, обуздать монополии, покончить с гонкой вооружений, развернуть борьбу трудящихся за лучшую жизнь и светлое будущее.

Большая человеческая семья хочет счастья. Она найдёт его на путях социального прогресса. Объединив свои усилия, миллионы простых людей во всех странах мира добьются осуществления своих желаний. Ибо, говоря словами арабской пословицы, «земля служит опорой подкове, подкова — лошади, лошадь — человеку, а Человек — Человек держит в своих руках весь мир!»

<sup>1</sup> «The Foundry Worker Journal». Апрель. 1956.

<sup>2</sup> В. И. Ленин. Собрание сочинений, т. XXVI, стр. 20, изд. 3-е.



---

---

## ОТВЕТ ЗАВОДА

*В десятой книжке «Нового мира» за прошлый год был опубликован очерк А. Безыменского и И. Вайнберга «Заводские будни», рассказывающий о жизни и людях Московского станкостроительного завода (МСЗ).*

*Авторы очерка вскрыли неприглядную картину: неумение наладить ритмичную работу, безответственное отношение к внедрению рационализаторских предложений и полное пренебрежение к культуре производства.*

*Корни зла надо было искать прежде всего в негодном стиле руководства заводом, в слабой работе его партийной организации — таков был вывод авторов. Стране не безразлично, как и м путём выполняется план на заводе,— так формулировали авторы основную проблему, затронутую в очерке. Завод «в силах вернуть свою былую славу и стократно её умножить. Мы твёрдо верим, что это так и будет»,— этили словами заканчивается очерк.*

*Очерк «Заводские будни» получил многочисленные отклики — читатели интересуются тем, что практически сделано для устранения отмеченных недостатков.*

*Ниже мы помещаем письмо нового руководства Московского станкостроительного завода, присланное в редакцию.*

---

Очерк «Заводские будни» А. Безыменского и И. Вайнберга обсуждался на заседании партийного бюро. Члены партбюро и партийно-хозяйственный актив, принявшие участие в обсуждении очерка, согласились с основными критическими замечаниями, которые в нём содержались. Тогда же было принято решение о проведении в жизнь мер по развитию технического прогресса и улучшению работы завода. Партийное бюро считало необходимым обратиться за помощью в Главстанкопром.

Вслед за этим дирекция завода разработала организационно-технические мероприятия по благоустройству цехов и повышению технического уровня производства. Приказом дирекции предусматривались очерёдность и сроки выполнения намеченных работ, а также их исполнители. В целях скорейшего внедрения плана по предложению партийного бюро и заводского комитета был объявлен месячник смотра состояния культуры производства, который был затем продлён ещё на месяц. По инициативе 2-го механосборочного цеха развернулось соревнование за лучший и благоустроенный цех и рабочее место. Для награждения победителей учреждены: переходящее Красное знамя для лучшего цеха, красные вы-

пелы — лучшему отделению и станочникам, отличившимся в соревновании.

Партийная организация, возглавив подъём коллектива, направила все виды массово-политической работы — доклады и беседы агитаторов, наглядную агитацию, печать — на осуществление плана благоустройства, наведения чистоты и порядка в цехах и на производственных участках. В результате проделана следующая работа.

Произведена некоторая перепланировка внутри главного заводского корпуса, которая позволила более рационально использовать имеющиеся производственные площади, улучшить поточность производства и технологический процесс, создать лучшие условия работы в цехах и на участках.

Значительно обновлён станочный парк, его мощность повышена благодаря замене устаревшего и низкопроизводительного оборудования новым, современным.

Успешно решена задача по ликвидации в производстве ряда «узких мест», создан механосборочный цех для выпуска новых прецизионных и других специальных станков, расширен и оснащён новыми механизмами заготовительный цех, создано координатно-расточное отделение для выработки деталей высокой точности.

Выполнена значительная работа по ликвидации захлащённости.

Старые, пришедшие в негодность полы заменены новыми — плиточными и ксилолитовыми.

Оштукатурены, побелены и покрашены все пролёты главного заводского корпуса, окрашены все металлоконструкции, балки, краны, калориферы, наружные трубопроводы.

Заасфальтирована территория завода, проведено значительное озеленение заводского двора.

Много сделано и по благоустройству рабочих мест: приведены в порядок, покрашены рабочие тумбочки, сделаны стеллажи для хранения деталей, сооружены щитки для предохранения от разлива масла и эмульсии и др.

Передовым цехом на заводе стал литейный цех. Литейщики, механизировав некоторые производственные процессы, значительно повысили свою производительность. Улучшилось содержание участков, наведён порядок на формовке, в обрубном и землеприготовительном отделениях. Выпуск годного литья с 280 тонн увеличился до 400—420 тонн в месяц. За передовые пока-

затели, достигнутые коллективом, ему в первом полугодии три раза присуждалось переходящее Красное знамя.

Серьёзные изменения произошли и на другом сильно отстававшем участке — с рационализацией. На работу БРИЗа был поставлен опытный технолог, укреплен институт цеховых уполномоченных БРИЗа, проведён смотр работы рационализаторов и конкурс молодых рационализаторов, усилен контроль за рассмотрением и внедрением предложений и усовершенствований.

В результате намного повысилась активность новаторов. Число предложений, поступивших в этом году, в два с половиной раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Коллектив завода рассматривает всё это лишь как начало большой работы, которая ждёт его впереди. Он хорошо сознаёт, что предстоит напрячь свои силы, чтобы решить некоторые оставшиеся нерешёнными задачи и главную из них — ликвидацию штурмовщины и организацию ритмичной работы.

**Директор завода МСЗ**

**В. ХАРИТОНОВ.**

**Секретарь партийного бюро МСЗ**

**В. АФАЛОВ.**



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

★

## ПИСЬМО ДРУГУ

**Д**орогой друг!  
Жаль, что мы не успели договорить, не успели доспорить. Теперь надо ждать будущего года, пока ты снова приедешь в Москву поработать в библиотеках.

Мне кажется, что вчера мы близко подошли к вопросам, важным и для того, кто пишет о современной зарубежной литературе, и для того, кто преподаёт её историю: хоть за столом, хоть на час-другой, а мы, так сказать, ликвидировали разрыв между академическим литературоведением и практической критикой. Я шучу, конечно, но, если говорить серьёзно, я тебе завидую. Или, как говорят в плохих очерках, «я тебе по-хорошему завидую».

Разработать и прочитать несколько раз кряду курс истории мировой литературы от древности до наших дней, «от палеолита до Гослита», как называли этот курс когда-то у нас в ИФЛИ,— как это здорово! И как по-новому сможешь ты вернуться к стране, которую специально изучаешь, к писателю, о котором хочешь написать книгу.

Конечно, это трудно — вместить всю античную литературу в двадцать часов или втиснуть всё Возрождение в сорок! Ты прав, когда жалуешься на программу. Я понимаю, что часто тебе приходится строить курс по собственному разумению.

Нет, я не берусь подсказать тебе план всего курса, который ты читаешь, но представлю себе, как прочитал бы одну лекцию в этом курсе. Назовём её так: «Народ и рабочий класс в произведениях современной зарубежной литературы».

Я начал бы эту лекцию издавека, вернувшись к XIX веку. Впрочем, я не читаю лекцию, а пишу тебе письмо и потому могу отвлечься в сторону. Не приходилось ли тебе заниматься принципами классифика-

ции и расстановки книг в больших библиотеках? Существует множество различных систем, и та, к которой мы привыкли, лишь одна из многих. Но, насколько мне известно, нет ни одной библиотеки в мире, где книги были бы расставлены по годам их появления в свет.

Наверное, для библиотек этот принцип неосуществим. Но представь себе, что ты подходишь со своими студентами к книжной полке, где рядом с «Коммунистическим Манифестом» стоят все значительные произведения западноевропейской литературы, которые впервые были изданы в том же самом 1848 году, когда появился «Манифест». Представь себе библиотеку, где и дальше книги были бы расставлены год за годом, где соседствовали бы одновременно написанные политические сочинения, философские трактаты, романы, трагедии, поэмы; где толстые фолианты эпопеи стояли бы рядом с брошюрами революционных памфлетов, а карманные томики народных песен — рядом с академическими исследованиями по эстетике; где разные книги были бы объединены, как объединяет разных людей общий год рождения или общий год призыва.

Сколько неожиданных, интереснейших сопоставлений могло бы возникнуть перед такой книжной полкой, сколько материала, чтобы установить связи между гражданской историей и историей литературы, сколько классических произведений обратилось бы к нам актуальной для своего времени стороной, которую мы часто упускаем из виду, когда, сняв книгу с полки, как бы «вынимаем» эту книгу из её реального литературного окружения; наконец, сколько доводов, подтверждающих мысль о неравномерности художественного развития человечества, о сложных зависимостях между прогрессом общества и развитием его

литературы, возникло бы при работе в такой библиотеке!

Не в том ли заключается одна из бед в изучении зарубежной литературы, что мы либо совсем отрываем её от гражданской истории, либо схематизируем их связь, рассматривая историю литературы, как простую иллюстрацию к истории общества? Я бы начал лекцию с того, что постарался бы, напомнив о многих и разных книгах, появившихся в один и тот же узловой для истории год — скажем, 1848 или 1871,— показать, как сложны, как противоречивы связи литературы и общественной жизни, как часто не совпадают исторические и литературные рубежи.

Но потом я показал бы, что при всей противоречивости и сложности в литературе разных стран, вначале разрозненно, как бы случайными вспышками, отдельными нотами, ещё не сливающимися в общую мелодию, отдельными мазками, ещё не образующими целой картины, возникает тема, которая в литературе нашего времени нарастает, становится ведущей, центральной, главной,— тема борющегося народа, тема рабочего класса. Тут были бы в прошлом и стихи Георга Веерта, едва ли не первого немецкого поэта, который воспел рабочего; тут был бы Эжен Потье: ведь «Интернационал» в его творчестве не случайность, а вершина в ряду стихотворений и песен, посвящённых рабочему классу; тут был бы поэт-чартист Эрнст Джонс; тут был бы Вильям Моррис, которого современная прогрессивная критика в Англии называет первым социалистическим писателем; тут был бы автор «Филантропов в рваных штанах» Роберт Трессол и Марк Резерфорд, написавший роман «Революция в Танерс-лэй». О герое этой книги Ральф Фокс говорит в исследовании «Роман и народ»: «В его жизни нет пропасти между поэзией его воображения и прозой его жизни. Бедность, первый несчастливый брак, горечь угнетения, тюрьма, религиозные сомнения— всё это превращается у Захарии в неукротимую волю к переустройству жизни, в поэзию революции...»

Кстати сказать, знают ли твои студенты о Ральфе Фоксе и о его книге, которую я только что процитировал? Наверное, нет. Но разве их можно винить в этом? На русском языке она вышла один-единственный раз, в 1939 году, небольшим тиражом, с тех пор не переиздавалась и стала библиографической редкостью.

Славный путь английского коммуниста Ральфа Фокса и его героическая гибель на фронте борьбы за народную Испанию дают ему бесспорное право на жизнь в нашей памяти. Но это ещё не всё. Книга Фокса, возникшая в ряду его исследований об истории революционного движения в России, Англии, Ирландии, Франции, Китае, книга, написанная марксистом, не только изучавшим историю, но и делавшим её, имеет самое непосредственное отношение к нынешним спорам о социалистическом реализме. В ней в счастливом сочетании научной объективности и публицистической страстности прослежено, как от десятилетия к десятилетию нарастала в литературе Западной Европы тема народа, тема рабочего класса — предвестие реализма нового типа. Конечно, не все частные оценки Фокса верны и кое-где в книге ощущается дань социологическим схемам, но это не может заслонить главного — революционного духа, пронизывающего его исследование.

Эту книгу в 1939 году принёс на семинар по современной западной литературе наш друг, который зимой 1942 года погиб на Западном фронте. Мне рассказывали те, кто знал подробности последних месяцев его жизни, что среди нескольких томиков, взятых им с собой на войну, была и страстная книга Фокса.

Но я отвлекся от той воображаемой лекции, о которой решил вместе с тобой по мечтать в этом письме.

Я рассказал бы в ней, что значение писателей, непосредственно поднявших в своём творчестве тему народа, тему рабочего класса, годами, десятилетиями замалчивалось на Западе официальной наукой, умалялось, искажалось.

Вот передо мной известный двухтомник немецкого литературоведа Зергеля «Литература и писатели современности», изданный в 1928 году. Десятки иллюстраций, портреты, факсимиле писателей, огромные цитаты, превращающие книгу почти что в хрестоматию, богатый справочный аппарат. Но произведения, посвящённые народной жизни, и тем более, книги, связанные с жизнью рабочих, рассматриваются в этом труде как одно из третьестепенных жанровых явлений в одном из наиболее беглых подразделов той части книги, которая носит характерное название «В плену натурализма и социализма».

Не случайно сейчас на Западе литературоведы-марксисты буквально по крупицам собирают материал о писателях, поданных Трессолу или Резерфорду.

Конечно, в лекции нужно будет показать две стороны нашей темы: стремление рабочих самим создать литературу о себе и появление образа рабочего в литературе критического реализма. Но в письме мне нет нужды точно оговаривать все академические аспекты темы...

Отдав дань заслуженного уважения первым стихам, первым песням, первым романам, посвящённым на Западе рабочему классу, мы не станем закрывать глаза на их идейную слабость, на их художественную незрелость. Я напомнил бы в этой лекции письмо Энгельса мисс Гаркнесс и процитировал бы из него не только ту единственную фразу, которая постоянно приводится, — о «типичных характерах в типичных обстоятельствах», а весь энгельсовский разбор романа «Городская девушка». (Как часто мы приводим в статьях и лекциях высказывания классиков марксизма, ничего не говоря о том конкретном поводе, к которому они относились.) Вот отрывок из этого разбора: «Характеры у Вас достаточно типичны в тех пределах, в каких они действуют, но нельзя сказать того же об условиях, которые их окружают и являются стимулами их действий. В «Городской девушке» рабочий класс фигурирует как пассивная масса, неспособная помочь себе, не делающая даже никаких попыток и усилий к тому, чтобы помочь себе. Все попытки вырвать её из огуляющей нищеты исходят извне, сверху. Но если это было верно для 1800 и 1810 гг. в дни Сен-Симона и Роберта Оуэна, то в 1887 г. для человека, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата, — это не так. Революционный отпор рабочего класса угнетающей среде, которая его окружает, его судорожные попытки, полусознательные или сознательные, добиться своих человеческих прав вписаны в историю и должны поэтому занять своё место в области реализма».

На примере разных произведений разных стран, разных народов надо показать, как постепенно осуществляется пожелание Энгельса, как рабочий из героя страдательного становится героем активным, действующим, наступающим. К такому изо-

бражению рабочего вело писателей само объективное развитие исторического процесса.

И это можно отметить не только в литературе. Я не успел рассказать тебе, как поразило меня знакомство с творчеством немецкого демократического художника, замечательного рисовальщика Цилле. Быть может, никто не заслужил в такой степени наименования «разгребателя грязи» (как называли себя первые американские прозаики-реалисты), как Цилле. Он изображал жизнь самых бедных углов в самых бедных кварталах старого Берлина с самой неприглядной её стороны. Зловонные дворы, глухие закоулки, трущобы, куда буржуазный город загнал неимущих... Дети — рахитичные, чахоточные, играющие около помоек, плещущиеся в грязных лужах, дети с недетской болью в глазах. Он рисовал их снова и снова. Это было творчество беспросветное, горькое. Но вот что интересно. Тот же самый беспощадный Цилле — автор рисунка, на котором рабочий, обняв свою подругу, шагает рядом с колонной таких же, как он, рабочих, движущихся в неотвратимом шествии к далёкому горизонту. И этот рисунок — больше чем простая зарисовка демонстрации: в нём художник выразил свою пусть ещё смутную, но сильную веру в силу рабочего, поднявшегося на борьбу.

Я рассказал бы в этой лекции, как в творчестве писателей и художников XIX века, даже тех, кто, казалось бы, был далёк от прямого изображения народной борьбы, возникает образ нового героя, поразившего художника своим богатырским размахом, своей чистотой и силой...

Недавно я перечитал стихи почти не известного у нас немецкого поэта прошлого века Рихарда Демеля. О его связях с различными модернистскими течениями сказано немало справедливого. И никто никогда не называл его певцом рабочего класса. Но вот его стихотворение «Рабочий», которое лет шестьдесят назад было напечатано на титульной обложке весьма прогрессивного в ту пору журнала «Симплициссимус». (К сожалению, эту характеристику никак нельзя отнести к нынешнему «Симплициссимусу».) Посылаю тебе подстрочник двух строф из этого стихотворения:

«У нас есть общее ложе. У нас есть ребёнок, жена моя! И у нас у обоих есть работа. Для нас сияет солнце, для нас идут

дожди, для нас дуют ветры. Самой малой малости недостаёт нам, чтобы быть свободными, как птицы. У нас нет времени!.. Только времени! Но мы предчувствуем грозу. Мы, народ. Нам не хватает малой малости — частицы вечного времени. Нам больше ничего не надо, тебе, моя жена, и тебе, мой ребёнок. Только то, что созревает на земле, благодаря труду наших рук, чтобы радоваться, как радуются птицы. И нам не хватает времени!»

Разве не звучит в этом стихотворении трагическая тема создателя всех истинных ценностей на земле, который в буржуазном обществе лишён того, что он сам создает, который продаёт себя и своё время без остатка? Разве не звучит в этом стихотворении предчувствие грозы, которая должна сделать рабочего хозяином времени?

Не так уж много у Мопассана героев, которым он безоговорочно отдал бы свою симпатию. И, быть может, стоит призадуматься, почему этот художник, бесконечно далёкий от рабочего движения, написал рассказ «Папа Симона», где маленький мальчик, своей обездоленностью похожий на мальчишек, которых всю свою жизнь рисовал Цилле, впервые почувствовал себя счастливым, когда его судьбу взял в свои руки рабочий, а кузнец Филипп, приняв решение стать для этого мальчика отцом, ощутил себя могучим и смелым хозяином будущего.

Мимо темы народа и рабочего класса не могли пройти и те художники, которые были враждебны демократии.

Недавно мне довелось перечитать статью Плеханова «Сын доктора Стокмана» — его рецензию на русский перевод пьесы К. Гамсуна «У врат царства» («У царских врат», как была названа пьеса в переводе, о котором писал Плеханов).

«Истребить рабочих!» Таков тот определённый вид, который принимает у Ивара Карено наследованная им от своего отца, доктора Стокмана, и весьма неопределённая прежде задача борьбы с «большинством»...

Доктора Стокмана называли, как известно, врагом народа. Это было несправедливо... Не то с сыном доктора Стокмана, Иваром Карено. Он выражается как враг народа вовсе не по недоразумению. Он в самом деле — враг народа, т. е. враг того класса, который играет главную роль в производительном процессе новейшего об-

щества. «Конечная цель», которую он ставит себе в своей борьбе с пролетариатом, разумеется, нелепа в полном смысле этого слова. «Истребить рабочих» невозможно».

Завершая свою характеристику Карено, Плеханов называет его «трагикомической фигурой», а потом говорит о нём как о выродившемся образе одинокого «великого человека», как о байроническом бунтаре наизнанку и связывает появление этого образа с закатом буржуазного общества, то есть видит и показывает в нём характерное знамение времени.

Ты скажешь, что вместить всё это в одну лекцию невозможно, а ведь я пока только говорю о вступлении к ней. Ты прав, конечно, но это мысли, которые возникли у меня, когда я думал о том, как бы я её прочитал.

Нет, в ней мало просто сказать, что Горький оказал огромное влияние на прогрессивных художников Запада, искавших путь изображения нового героя. Я постарался бы с живыми подробностями времени описать, как, где, при каких обстоятельствах вышли за границу первые переводы произведений Горького. Появление книг Горького было рубежом в развитии литературы мира. Передовая общественная мысль на Западе услышала в них не только шаги русской литературы, но и шаги русской революции. Я рассказал бы про статью Розы Люксембург «Душа русской литературы», где вслед за поразительно свежими, меткими (пусть в каких-то частностях и неточными) страницами о Толстом, Достоевском и особенно о Короленко шла характеристика Горького, которую мне хочется выписать.

Она имеет непосредственное отношение к нашей теме: «...только тот, кто читал воспоминания Горького, может измерить и оценить его изумительный взлёт из этих социальных низов на самую вершину современной образованности, гениального искусства и научно обоснованного миросозерцания. И в этом отношении личная судьба Горького служит символом русского пролетариата как класса, который среди грубости и суровости внешней некультурности в царской империи через суровую школу борьбы дозрел в поразительно короткий срок — в два десятилетия — до исторической активности. Это несомненно непонятное явление для всех культурных филистеров, считающих культурой хорошее уличное освещение, правильное железнодорож-

ное сообщение и чистый воротничок и видящих политическую свободу в усердной трескотне парламентских мельниц». Стоило бы рассказать, как впервые прочитал «Мать» Горького, ну, скажем, Нексе, или как услышал о Горьком Джерманетто. Но это уже особая тема, ей можно посвятить страницы (да что там страницы — главы!) только не сухой информации, не вялой академической справки, а страницы, написанные так, как сказал о воздействии Горького на литературу мира тот же Ральф Фокс. Я читаю его речь «Памяти Горького» и чувствую, как сохранено и передано в ней ощущение свежего ветра, ворвавшегося в литературу Запада со страниц горьковской прозы, создавшей образ революционного рабочего как творца исторического процесса.

«Никогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции,— писал В. И. Ленин.— В такие времена народ способен на чудеса...» И Великая Октябрьская социалистическая революция, подтвердившая всю истину этих слов, стала подлинным озарением для многих писателей мира. Проследить и напомнить о том, как её встретили Вайян-Кутюрье во Франции, Нексе в Дании, Драйзер в США, Смирненский в Болгарии, показав их высказывания на фоне газет того времени, в атмосфере споров, которые шли тогда во всех литературах мира, как это увлекательно! Победа Октябрьской революции, события, происходившие в Советской России, позволили передовым писателям Запада совсем по-новому ощутить силу борющегося народа.

Как свежо и молодо, с каким торжествующим оптимизмом звучат выступления Анри Барбюса тех далёких и незабываемых дней. Размышления о путях мира, о перспективах Европы и её литературы, навеянные Октябрьской революцией, связываются в его сознании с мыслью о народе, о творческой силе масс. Вот отрывок статьи А. Барбюса, написанной в 1917 году: «Заря свободы, занимающаяся над землёй, воодушевляет народные массы, которые ныне уверенно и неодолимо идут к власти ради того, чтобы перестроить общество...»

Эта прекрасная заря, этот освежающий вихрь, уже охвативший часть нашей земли, ещё не проникли повсюду; ещё много есть мест на нашей планете, где гнев и восстание только зреют, где эти ростки нового стараются затоптать и уничтожить, где

приливы сменяются отливами, а вспышки света — зловещим мраком фанатизма и злобы.

Деятели культуры, вчера ещё выступавшие в одиночку, ныне научились находить своих единомышленников и идти с ними рука об руку; они полны решимости соединиться со всей борющейся массой, жить с ней одной жизнью, воодушевлять, просвещать массы, отстаивать интересы и единство масс, строить лучшее будущее в союзе с массами и силой масс».

Я пишу письмо, а не конспект лекции. Мне не нужно давать тебе обзор развития прогрессивной литературы Запада за последние десятилетия, стремясь ничего не опустить. Но я непременно рассказал бы о книге, которая лежит сейчас у меня на столе. Да, это стенографический отчёт того самого «Международного конгресса писателей в защиту культуры», который состоялся в Париже в 1935 году. Не обижайся на меня, что я не одолжил тебе эту книгу. Мне трудно с ней расстаться. Я читаю и перечитываю её, и мне кажется, что я вочию вижу тот зал, где состоялся конгресс. Это был тот самый конгресс, где молодой Арагон произнёс удивительную речь о возвращении искусства к реальности, где Анна Зегерс говорила о подлинном патриотизме пролетариата, противопоставляя его национализму реакционеров; это был конгресс, озарённый приветствиями Роллана, Горького, Димитрова; Барбюс ещё был жив, но к тому времени, когда отчёт конгресса был издан книгой, его имя над речью «Нация и культура» пришлось обвести чёрной рамкой.

Ещё не началась война в Испании, ещё далеко на горизонте сгушались тучи мюнхенского сговора, ещё не потерпел поражение Народный фронт во Франции, но мир, культура, демократия уже стоят перед грозной опасностью. Писатели чувствуют это, и в их речах на конгрессе о защите культуры снова, снова и снова возникает тема народа как главной надежды, а в некоторых речах — и тема рабочего класса. Многие ораторы обращаются в своих речах к тому, что означал для мировой культуры исторический опыт Великого Октября.

Впрочем, далеко не все. Как любопытно было бы проследить печальный путь Олдоса Хаксли от его первых романов, носивших отпечаток бунтарства, исканий, протеста, через его речь 1935 года, речь, при



всей своей словесной утонченности поражающую глухотой к ходу истории, до недавней книги его, которая воспекает наркотический сон, как подлинное царство свободы.

...В 1933 году Илья Эренбург писал в одном из своих очерков: «Напряжённость социальной обстановки или обострение классово-борьбы ещё не успели переменить тот климат Франции, который способствовал полнокровию Бальзака и который обрекает на белокровие современных писателей».

Пролетариат ещё не успел утвердиться как некий отдельный мир со своим бытом и своей психологией. Героичный в часы работы или борьбы, в часы досуга он ещё довольствуется уголовными мелодрамами и сентиментальными романами. Он не успел выдвинуть своих писателей, которые могли бы по силе тягаться с писателями третьего сословия, а эти последние столь цельны, столь органичны, что мало кто из них решается на героическую вылазку».

Теперь, спустя два десятилетия, мы уже не можем представить себе литературу Франции без романов о пролетариате, без книг Арагона, Стиля, Роже Вайяна. Они явились для французской прозы не только тематическим новаторством, но и художественным открытием: жаль, что об этом мы написали мало и хуже, чем следовало бы.

Я постарался бы рассказать о романе «Коммунисты», как о запечатлённых поисках писателя. Когда читаешь и перечитываешь эту огромную эпопею, видишь, чувствуешь, как писатель ищет новую композицию, новую форму, чтобы в книге о коммунистах отразить все грани, все стороны народной жизни. Хотя не всё удалось в этих поисках, роман Арагона читаешь не только как историю его героев, но и как отчёт об экспедиции художника, решившего проложить новые пути для прозы родной страны.

Новый жизненный материал ведёт к новаторству формы, требует его, и вот появляется проза Вайяна, где один из самых интересных образов — сам лирический герой, не просто интеллигент, связавший свою судьбу с судьбой и борьбой рабочего класса, но писатель, рассказывающий и о новом герое и о своих поисках этого героя.

Успел ли ты прочитать уже последнюю повесть Роже Вайяна «325 000 франков»?

В ней тоже возникает тема рабочего

класса, но возникает совсем по-новому. Это рассказ о рабочем, который ищет пути к счастью не в борьбе, а в попытках утвердиться в мире буржуазных отношений индивидуалистическим путём, рассказ о человеке, решившем дважды и трижды продать свою силу, своё время предпринимателю, чтобы потом самому стать хоть крошечным, а хозяйчиком и за стойкой собственного кабака взять реванш у жизни.

Как великолепно написаны сцены обеспечения поединка Бюзара с машиной, к которой приковал он себя своим решением, как безжалостно точен финал повести: Бюзар у финиша, но он потерял всё, что делало его жизнь жизнью, — здоровье, любовь, веру.

Но не только в творчестве писателей коммунистов видно, как воздействует на книги борьба народа...

Мы сидели однажды за длинным редакционным столом и слушали французского писателя Веркора. Он излагал свои философские взгляды. Младший из нас — вчерашний студент — смог рел на Веркора круглыми от изумления глазами. Оно и понятно. Одно дело прочитать об агностицизме в учебнике, другое — увидеть человека, который сидит рядом с тобой за столом, крошечными глотками отпивает из рюмки коньяка и с трагической убежденностью говорит, что человек не может познать ни мира вообще, ни собственной своей человеческой сущности...

Пока шёл этот разговор, пока перед нами билась человеческая мысль в тенетах, которые она сама для себя сплела, я думал о только что прочитанной книге Веркора «Люди или животные», как предполагают её, кажется, назвать в издании на русском языке (дать более точный перевод названия очень трудно).

В глухих лесах Центральной Африки обнаружено племя таинственных, неведомых науке существ. Пока учёные радуются открытию, пока операторы кинохроники снимают сенсационный фильм о племени «тропи», деловые круги одной из стран решают использовать находку в качестве бесплатной, безропотной и бесправной рабочей силы.

Английский журналист, участник экспедиции, открывший племя «тропи», пытается спасти его от истребления. Но, чтобы взять «тропи» под защиту закона, необходимо доказать, что они люди. Большая и самая примечательная часть романа — диспут на

эту тему экспертов-биологов, антропологов, врачей, социологов, юристов. Первоначальный вопрос: «Являются ли «тропи» людьми?» — очень скоро сменяется более сложным вопросом: «Что такое человек?»

Роман Веркора утверждает: современному обществу, современной науке неизвестно, что такое человек, более того, они не имеют критерия, чтобы также определение выработать. Эта книга — художественное воплощение философского тезиса, вынесенного в её эпиграф: «Все наши беды происходят от того, что люди не знают, кто они такие, и не поступают согласно тому, чем они себя считают». Но чем больше я читал роман, тем яснее чувствовал, какое разительное и поучительное противоречие заключено в нём. Веркор утверждает тезис о непознаваемости человека и человеческого общества; но его герой, вступившись за племя «тропи», отлично узнаёт и что такое казуистическое судопроизводство, и каковы цели теоретиков расизма, и как действует парламентская механика, и какие закулисные силы влияют на «независимую» прессу, — словом, на собственном практическом опыте познаёт многие стороны жизни современного буржуазного общества; более того, он убеждается, что помочь «тропи», что разбить ухищрения расистов могут в конечном итоге не умозрительные рассуждения о сущности человека, а активные действия, общественная практика.

Впрочем, буквально такого вывода в романе Веркора нет. Но к такому выводу, даже если Веркор этого и не хотел, читателя объективно подводит всё содержание книги: дело, а не слово — вот решение заключённых в ней философских проблем.

Мы ещё не успели спросить Веркора об этом романе, а он заговорил о своём участии в движении сторонников мира и сказал, что видит в этой своей общественной деятельности путь к познанию человеческой сущности, и пусть он это выразил тоже не в столь прямой форме, но мне подумалось, что агностицизм писателя, вставшего на путь активной общественной деятельности, не будет долговечным.

Роже Гароди — французский философ-марксист — года два назад рассказал, как в творчество таких писателей, как Веркор, Сартр, Гаскар, проникает «новый богатый опыт, подсказанный писателям самой жизнью».

Роман Веркора, его взгляд на участие в

движении сторонников мира, то есть на участие в общественной практике, как на путь к познанию человека, наконец, его статья о своём понимании долга писателя, которая была напечатана в «Литературной газете» как продолжение беседы за редакционным столом, — всё это, кажется мне, подтверждает справедливость характеристики Роже Гароди по отношению к Веркору. Но ведь подобный процесс происходит не только в творчестве Веркора и не только во французской литературе.

Вот, например, творчество Ремарка. Мы недавно прочитали перевод романа Ремарка «Время жить и время умирать». Не знаю, известны ли тебе его книги: «Три товарища», «Любите ваших ближних» и «Триумфальная арка». Они у нас не издавались, наша критика о них не говорила. Между тем в них отразилась эволюция взглядов, характерная не для одного Ремарка. В этих романах, написанных с большим мастерством, от книги к книге нарастали мотивы неверия в общественный смысл человеческого существования, поэтизировалось мужество одиночки, который верит только своим собственным силам, но решительно отказывается от каких бы то ни было политических идеалов и от борьбы за них...

Трагическая безысходность судьбы части немецкой эмиграции, не нашедшей себе места в рядах активных борцов с фашизмом, наложила свой отпечаток на эти книги; индивидуалистический пессимизм, разъедающий скепсис, проявление гордого одиночества определили звучание каждой страницы. Но вот мы прочитали новый роман Ремарка «Время жить и время умирать». Обстановка этой книги (её действие происходит на Восточном фронте во время отступления фашистских войск и в гитлеровской Германии) ещё мрачнее, чем в романах об эмиграции.

И Гребер, герой этого романа, поначалу очень похож на героев предыдущих книг: он такой же одиночка, такой же «настоящий мужчина» в ремарковско-хемингуэвском смысле, который верит только в свои собственные силы и только в самые простые земные блага: в хлеб, в вино, в любовь... Но в этой последней книге Ремарка сильно звучит ранее совершенно чуждая его творчеству тема: Гребер думает о своей ответственности не только перед самим собой, перед своим другом и своей возлюбленной, но о своей ответственности перед страной,

перед народом, перед миром и будущим.

В «Трёх товарищах» один из главных героев романа — один из трёх товарищей — погибал как жертва фашистских молодчиков. Но его друзья не становились из-за этого на антифашистскую позицию: они принимали решение отомстить только за него и только его непосредственному убийце. Этот трагический эпизод завершал главу, посвящённую предвыборным митингам в Берлине тридцать второго года. Ремарк рисовал митинг фашистский, митинг социал-демократический и митинг коммунистов. Все три митинга он изображал по-разному, но все иронически. Гибель Ленца, который, судя по некоторым намёкам, сочувствовал коммунистам и погиб, потому что был на коммунистическом митинге, изображалась, как трагическая бессмыслица. Недоверчивое отношение к коммунистической партии и к коммунистам звучало и в других книгах Ремарка. В романе «Время жить и время умирать» пусть всего в нескольких эпизодах, но всё-таки с несомненной симпатией впервые в творчестве Ремарка показан коммунист Иммерман. Рано делать прогнозы о дальнейшем пути Ремарка, но думается, что и симпатий к образу Иммермана и размышления Гребера о себе и своей жизни как о части жизни общественной не случайно возникли в этом произведении Ремарка.

Но ведь и раньше, когда передовые зарубежные писатели убеждались, что любимый герой терпит крах на пути индивидуалистического самоутверждения, в их книгах возникала тема связи частной судьбы с судьбой народной, возникал мотив, выраженный в словах Поля Элюара: «от горизонта одного к горизонту всех». Вспомним одну из последних глав завершённого в 1935 году романа Халлдора Лакснесса «Самостоятельные люди». В конце своего жизненного пути, после удач, которые оказались призрачными, после поражений, которые были неизбежными, после того, как Бьяртур снова становится нищим последней степенью нищеты и одиноким последней степенью одиночества, он видит своего сына Гвендура в бараке среди рабочих, тех самых, которые рассказали Бьяртуру о революции в России. Бьяртур стоит и смотрит на своего сына, решившего избрать путь, не похожий на путь отца, — путь рабочей солидарности, — и, не решаясь последовать за ним, признаёт, что сын выбрал свой путь правильно.

И если в романе Лакснесса «Самостоятельные люди» будущее Гвендура связывается с борьбой народа ещё в достаточно общей и туманной форме, то в книге «Атомная станция», написанной в послевоенные годы, судьба героини прямо связывается с борьбой партии, а центральной в композиционном и самой сильной в художественном плане сценой оказывается глава «На собрании «ячейки». С какой теплотой человеческого дыхания, с какой живой естественностью интонации написана она!

«В низком подвальном помещении собрались мужчины и женщины, большей частью это были пожилые люди. Все они пришли прямо с работы и не успели переодеться. Мест не хватало, некоторые стояли вдоль стен, другие сидели прямо на полу, тут же рядом ползал маленький ребёнок. Вот и все ужасы, которые я там увидела».

Помнишь, какое необычное сравнение появляется, когда молодой оратор начинает говорить о газете? «Рабочие должны снова встать на защиту своей газеты. Газета — это корова бедняка. Если он лишится её, семья умрёт с голоду».

И дальше рассказывает героиня:

«Я увидела, как эти бедные и усталые люди, такие же бедные и усталые, как и мои родные в Эстридале, стали вытаскивать из карманов кошельки, открывать их своими натруженными пальцами. Мне вдруг захотелось поцеловать и облить слезами эти руки. Они доставали свои жалкие трудовые гроши, вытряхивали кошельки над столом, а те, у кого не было денег, старательно выводили свои имена в списке. И я почувствовала, что во всём и всегда буду вместе с этими людьми, какие бы скучные для меня темы они ни обсуждали и независимо от того, будет ли распахано неведомое мне болото в Мосфелсвейте; вместе с ними стану я выступать против тех людей в цилиндрах, которые собираются обмануть простой народ, украсть и продать его родину. Я тоже нацарапала своё имя и обязалась платить десять крон в месяц в фонд газеты, хотя никогда её и в глаза не видела».

Хозяйка квартиры предложила нам кофе, но многие, в том числе и я, торопились домой; некоторые ведь даже не успели помыться после работы, а время было уже позднее. Хозяин дома, который председательствовал на собрании, проводил меня до двери. Он пригласил приходиться и в сле-

дующий раз, но тогда уж я непременно должна буду остаться и выпить кофе.

Вот и я побывала на собрании ячейки». Знаешь, что я вспомнил, когда читал эту сцену? Я вспомнил славного рабочего парня, которому дьявольски не везёт. Вначале он думает, что это его личное невезение, но нет, его невезение в том, что в родном городке, что в родной стране нет для него работы, нет крова, чтобы ввести под этот кров любимую, нет денег, чтобы одеть её... И он мечется, помогает втаскивать экипаж на горную кручу, нанимается мойщиком бутылок, пытается организовать кооператив владельцев автобуса...

Да, я, конечно, говорю о герое фильма «Два гроша надежды». Далек от Исландии до Италии, не похож итальянский рабочий на исландскую служанку, но, так же как она, и он пришёл в ячейку. Пусть эта сцена проходит в фильме эпизодом, но она знаменательна, в ней движение нашего времени.

...Нет, конечно же, не исчерпать эту тему одной лекцией. Ты прав. Наверное, среди того, что я написал тебе, есть что-то лишнее, а что-то очень важное я упустил из виду, не вспомнил.

Множество примеров приходит на ум, множество не названных здесь книг, писателей и литературных героев. Конечно же, нужно взять не только те литературы, которые я упомянул, но показать, как тема борющегося народа всё сильнее и всё смелее звучит в литературах вчерашних колоний и полуколоний. Нужно показать, что хотя развитие этой темы в звучании мирового искусства шло неравномерно, знало свои приливы и отливы, подчас уходило под землю или растекалось на множество мелких ручейков, но в наше время оно охватило все литературы мира и уже никогда и ничем не будет заглушено, как не будет заглушена поступь борющихся народов.

Надо, наконец, сказать и о тех трудностях, о тех больших и сложных вопросах, которые встают сейчас, не могут не вставать перед зарубежными писателями, разрабатывающими тему народа, тему рабочего класса, тему партии.

Мне не раз приходилось видеть Стефана Гейма, слышать его высказывания о мире, о писателях, о героях книг — трезвые, лишённые и тени восторженности и лакировки. Приезжая к нам, он не считал, что

обязанность гостя состоит в том, чтобы говорить комплименты, но помнил, что долг друга — всегда говорить правду, даже горькую, и первое же знакомство началось с того, что Гейм без всяких вежливых оговорок резко отозвался о нескольких наших признанных книгах, например о повести, где процесс перестройки сознания немцев изображается со схематической прямолинейностью. Мне приходилось читать его статьи о современной литературе, в которых он откровенно и прямо говорил о слабых сторонах новой литературы ГДР, иногда, быть может, даже с излишней суровостью.

И как же было радостно прочитать недавно слова, в которые Гейм — ему так свойственно критическое отношение к окружающему и так чужда романтическая восторженность — облёк своё кредо: «За последнее время раздавалось много вопросов, в которых слышалась тревога, и настроение многих людей было подавленным. Да это и не удивительно. Слишком много людей, между прочим и по вине писателей, было слишком уж напичкано формулами, лозунгами и именами, чтобы избавиться от этого за одну ночь.

Тем, кого охватило подавленное настроение, и тем, кто задаёт тревожные вопросы, — но также и тем, кто злорадно скалит зубы, а такие тоже имеются, — можно задать встречный вопрос: как велико должно быть дело, как должно оно воодушевлять людей, если, несмотря на все ошибки, недостатки, слабости и тщеславие отдельных лиц, в течение неполных сорока лет оно охватило треть земного шара с населением около миллиарда человек!

И второй встречный вопрос: кто они, совершившие это люди? Ангелы? Нет. Герои? Иногда да, иногда нет. Но, во всяком случае коммунисты, коммунисты по партийной принадлежности или по духу. Кто решился поднять голос против нацистов, когда все остальные смирились и находили различные причины для молчания и даже соучастия? — Коммунисты! Кто стоял на кургане Сталинграда, стоял и сдерживал напор фашизма? — Коммунисты! А когда всё в Германии распалось и люди потеряли веру в самих себя и в человеческое достоинство вообще, кто заговорил тогда о будущем и поднял новое знамя? — Коммунисты! Кто распределил землю и сделал первые посевы? Кто создал новые формы ор-

ганизации общества и обосновал у нас принцип общественной собственности на средства производства? — Коммунисты! И куда ни глянешь, почти всюду в нашей стране, где возникают трудности и требуется готовность жертвовать собой, везде встретишь коммунистов!»

Несколько десятилетий назад зарубежных писателей, создавших (или, точнее, стремившихся создать) образы рабочих-борцов, образы коммунистов, можно было без труда вместить в короткий список. Теперь едва ли найдёшь такую литературу в мире, которая не создала бы значительных книг об этом. Неодолимо дело рабочего класса, преодолимо дело его авангарда — коммунистов. Поэтому с каждым годом

всё шире и сильнее процесс проникновения в искусство главной темы современности — темы борьбы народа и его лучших сыновей.

...Пора заканчивать моё затянувшееся письмо. Поздравляю тебя с наступающим праздником. Я не знаю точно, какой раздел твоего курса приходится на эти дни, но, может быть, стоит, нарушая учебный план, мысленно пройти в этот день вместе со своими студентами по всей истории мировой литературы, чтобы увидеть, как от Прометея и до наших дней развивалась в ней тема борца за счастье людей на земле, которая в наш век, озарённый светом Великого Октября, стала темой рабочего класса, темой партии коммунистов.



---

---

М. КОРАЛЛОВ

★

## КАЛИДАСА

*Хочешь цветение весны, плодами  
богатую осень,  
Всё, что манит, и влечёт, и  
насыщает тебя,  
Небо желаешь и твердь словом  
осмыслить единым —  
Вспомни «Сакунталу» ты, и  
этим сказано всё...  
Гёте.*

**С**трашно оставаться ночью в пустом храме богини Кали. Ещё страшнее оскорбить богиню. У кого хватит смелости вымазать её лицо пеплом? Кому придёт в голову такая безумная мысль? И всё же безумец нашёлся. Но едва он приблизился к статуе, испуганная Кали стала умолять не позорить её. Она обещала смельчаку сделать для него всё, что он пожелает. Юноша был скромн. «Хочу быть мудрейшим из мудрых», — сказал он. И богиня исполнила его желание. Этого юношу стали звать Калидасой.

Индийские легенды наделяют Калидасу простоватостью очень мудрого свойства. Герой легенд побеждает все препятствия, стоящие на его пути. Мудрость Калидасы народ объяснял вмешательством богов: он подчёркивал этим мощь гения своего, народного поэта.

Герои драм и поэм Калидасы бесстрашны, как и их творец. Отец богов Касиapa восхищается царём Душиантой:

Его стреле, до цели доходящей,  
Обязаны мы тем, что в гуле гроз  
Топор громовой Индры стал игрушкой<sup>1</sup>.

Легендарный герой Рагху бросает вызов богу Индре, когда тот пытается отнять у него жертвенного коня: «Берись за оружие, ибо, только победив Рагху, добьёшься ты своего». Даже в образах отшельников Калидаса воспекает не умерщвление плоти, а силу воли и презрение к страданиям.

Кто же был он, этот певец мужества, память которого по призыву Всемирного Совета Мира отмечает 26 ноября всё человечество?

«Спорили семь городов о рождении славном Гомера...» О Калидасе спорят семьдесят семь, а может, и семьсот семьдесят семь городов Индии. Многочисленные сказания переносят место и время рождения поэта во все области и разные века. И хотя каждому из этих сказаний не хватает достоверности, взятые вместе, они выражают правду о Калидасе. Его гений принадлежит всем народностям Индии.

Европейцы познакомились с поэзией Калидасы в конце XVIII века. Покорение Индии английскими колонизаторами тогда заканчивалось, а знакомство Европы с индийской культурой только начиналось.

---

<sup>1</sup> Цитаты из драм Калидасы даются по изданию: Калидаса. Драм. Перевод К. Бальмонта. М. 1916. Мы сохраняем написание собственных имён, данное переводчиком.

Существует немало академических трудов, авторы которых посвятили себя изучению Калидасы. На соби́рание материалов о его поэзии учёными затрачены громадные силы. Однако академическая филология, собрав ценнейшие факты, всё же не дала им верного истолкования. Академический Калидаса — поэт, далёкий от своего народа. В его искусстве исследователи обычно отмечают лишь эстетство и аристократическую уточнёность. Они подчёркивают в индийской культуре глубокий пессимизм и равнодушие к жизни. Увидеть в ней свободолюбие сумели лишь революционные мыслители.

В русской литературе интерес к Индии связан с тем вниманием, которое прогрессивное русское общество уделяло борьбе за независимость порабождённых народов. Передовые умы России не верили, что тысячелетняя культура многомиллионного народа выросла из проповеди пессимизма и презрения к жизни. История доказала, что правы не те, кто утверждал: огня нет, есть только пепел. Правда за теми, кто видел пламя индийской культуры, печалился, когда оно слабело, верил, что оно не угаснет, и ликовал, когда оно разгоралось.

Наука относит жизнь Калидасы к IV—V векам. Индия была тогда могучей империей, управляемой знаменитой династией Гуптов. Основателем империи был царёк из династии Гуптов, вступивший в политически выгодный брак. Укрепил и расширил империю один из его сыновей — Самудрагупта (правивший приблизительно в период 320—380 гг.). Он уничтожил десятки правителей северных, южных, центральных княжеств и приказал вырубить надписи о своих подвигах на колонне. Перечисление раджей, потерявших жизнь, не угодную Самудрагупте, заняло бы целую страницу. Властелин всех земель и вод, вершина иерархической пирамиды, придавившей своей тяжестью страну, глава империи считался высшим божеством. По отношению к нему рабами были все. В пределах всеобщего рабства в империи Гуптов было достигнуто «равенство». Вместе с тем история Индии после V века не знает государства столь обширного и устойчивого, как империя Гуптов. Маркс отмечал, что индийские деспоты не только грабили народ, как английские колонизаторы, — они заботились о торговле, дорогах, об использовании воды — основе индийского земледелия. Необходимость искусственного орошения вынуждала правительство руководить общественными работами. Строительство крупных дорог, больших оросительных систем и поддержание порядка на всём пространстве империи было непосильной задачей для мелких княжеств и тем более для отдельных общин. Именно поэтому в Индии периоды существования могучих государств — это периоды расцвета страны. Победы Самудрагупты и его потомков надолго положили конец междоусобной вражде княжеств.

Империя Гуптов была страной политического и духовного рабства. Больше, чем власть, человека делала рабом религия. Она считала социальное неравенство установлением самого Брахмы — творца всего сущего. Брахманизм освятил неравенство, создав учение о варнах. Оно делило людей на четыре категории. Делом благородных брахманов было отправление религиозных обрядов. Стоявшим ступенью ниже кшатриям вменялось в обязанность карать народ и вести войны. Вайшии должны были содержать брахманов и кшатриев, а шудры — безропотно служить всем. Брахманизм угрожал отступнику от веры возрождением в образе животного или червя и веками неисчислимых страданий. Такое бессмертие подавляло человека и учило относиться к жизни, как к ничтожной случайности. Правда, с VI века до н. э. распространился оппозиционный брахманизму буддизм. Подобно христианству, он возник из протеста народных масс против социальной несправедливости. Но Будда учил: активность приносит горе, пассивность — благо. Избавление от зла даёт только свобода от желаний. Такая свобода подданных не угрожала династии Гуптов. Высшей буддийской заповедью было непричинение зла ближнему. Для народных масс эта мысль означала прежде всего непротавление социальному злу. Несмотря на различия, и буддизм и брахманизм согласно проповедовали мимолётность и иллюзорность сущего. Убеждая, что реальная жизнь — иллюзия. «майя», они убивали волю народа к борьбе.

И всё же против рабства велась борьба. В своей книге «Артхшастра» (примерно II век н. э.) Каутилья — индийский Макиавелли — учил правителей предотвращаю-

бунты. Современник Калидасы — Шудрака — посвятил драму «Глиняная повозочка» восстанию против выроodka-монарха.

Ещё не написана история индийского революционного движения. Но это не значит, что его не было. Дух свободолюбия живёт в трудах древнеиндийских материалистов. Они отрицают власть бога. Брихаспати — по преданиям, родоначальник материалистической школы — говорил: «Мы не верим ни в небо, ни в избавление, ни в жизнь души в другом мире, ни в то, что деяния каст и орденов приносят ожидаемые плоды».

Джавахарлал Неру в книге «Открытие Индии» прослеживает на всём протяжении индийской культуры, как героическое и радостное мироощущение народа пробивалось сквозь все напластования рабства и пессимизма. Ни брахманизм, ни буддизм не уничтожили стремления народа к свободе... Его творческая мощь не иссякала...

В IV и V веках в Индии развиваются науки, искусства и ремёсла. В свою честь народ не высекал надписей на колоннах. Он не заботился о письменных доказательствах подвигов, неисчислимых, как перенесённые страдания. Но о них говорят металл, камни, воспоминания путешественников.

Больше двух сотен медицинских инструментов имел хирург того времени. «Великий шёлковый путь» соединял Индию и Китай. В тончайшие индийские муслины рядились римские красавицы. Шестидесять четыре искусства изучали баядеры, чтобы овладеть своей профессией. От них требовалось не только проникновение в тайны туалета, гастрономии и любви. Баядеры знали музыку, древнюю и современную литературу, умели танцевать, рисовать, играть, декламировать. Вряд ли они уступали знаменитым греческим гетерам. IV и V века — эпоха создания великих произведений индийского искусства. Именно тогда появились гениальные сказки «Панчатантра», сотни драматических произведений. О взлёте народного гения свидетельствует монументальная живопись пещерного храма в Аджанте, скульптура, резьба, фрески эпохи Гуптов.

Во славу богов народ строил в долинах и высекал в горах прекрасные храмы. Но воплотилось в них не величие божества, а мощь человека. Гений Калидасы раскрыл для нас благородство в образе мыслей, глубину в чувствах и силу в деяниях своего народа. Калидаса был наследником великой культуры. Для него не было тайн в остывшем прошлом и кипящей современности.

О жизненном пути Калидасы почти ничего не известно. По-видимому, близко к действительности сказание о том, что он был украшением двора легендарного Викрамадитьи. Среди знаменитых мыслителей — создателя медицинского словаря Джанвантари, грамматика Вируачи, поэта Гхатапаркара и других — Калидаса был одной из «девяяти жемчужин» правителя. В поэме «Облако-вестник» есть полное любви описание города Удджайна. После завоевания Западной Индии туда перенёс свою столицу Чандрагупта II (380—413), имевший титул Викрамадитьи, что означает «Солнце мощи». Возможно, Удджайн был родиной поэта. Однако Калидаса не прожил там всю жизнь. Знание многих диалектов, языков и природы Индии он приобрёл скорее всего в странах. Он знал достоинства простых людей и недостатки монархов. Он знал любовь народа, интриги двора, знал славу и козни соперников, завидующих успеху. Поэтические состязания, победа в которых зависела больше от изворотливости, чем от способностей, поражение и торжество таланта — всё это было ему известно.

Калидасе приписывалось множество самых различных произведений. Современная наука считает подлинными лишь шесть из них: три драмы («Малявика и Агнимитра», «Мужеством добывая Урваси», «Сакунтала») и три поэмы («Облако-вестник», «Рождение Кумары» и «Род Рагху»). Они представляют собой энциклопедию культуры эпохи Гуптов. По ним можно судить об уровне астрономических знаний того времени, политическом устройстве империи, музыкальных инструментах, оттенках философских систем, законах танцевального искусства и о многом другом. Но в историю мировой литературы Калидаса вошёл прежде всего как лирик. Он остаётся лириком и в философской драме и в эпической поэме. Лиричность Калидасы не уменьшает философской глубины и эпической шири его произведений. В долгих страданиях, мужественной борьбе и коротких минутах счастья его героев выражены горе и радость жизни.

Герой поэмы «Облако-вестник» принадлежит к «якшам» — небожителям, которые обязаны служить великим богам. Любовь отвлекла якшу от исполнения долга, и он



был изгнан из небесного царства. Там, в райской обители, где красавицы не уступают в сиянии блеску молний, осталась безутешная подруга якши. Глубокое горе терзает женщину, разлучённую с любимым. Изгнанник молит облако быть добрым вестником и утешить далёкую подругу.

Жестокая разлука придала его чувству огромную силу. Якша видит весь путь облака, всю Индию, её реки, горы, слышит далёкую музыку и вдыхает нежный запах благовоний. Только любовь даёт такую зоркость. В переживаниях небесного существа есть все оттенки человеческой любви. Снежные вершины гор напоминают ему застывшие белые лотосы, стан любимой — изгибы лиан.

Горе не может сломить любящего. Его чувство не слабеет от времени и расстояния. Оно героично, ибо в нём — вызов судьбе. Якше не страшен даже гнев сурового бога.

Проникновенное видение природы, такой же очеловеченной, как божественный герой поэмы, знание человеческого сердца, такого же богатого, как природа, создали поэме мировую славу. Переведённая на тибетский язык, она была помещена даже в сборник священных буддийских текстов. Ей посвятил стихи Гёте. «Облако-вестник» — шедевр мировой лирики.

Торжеству любви посвящена другая поэма — «Рождение Кумары». Людей, животных и растения — всех увлекла страсть. Только грозный Шива подавлял природу своей суровостью. Погружённый в тяжёлую задумчивость, он сидел на тигровой шкуре, накиннув на себя шкуру антилопы. Шива был неподвижен, как мрачная туча в безветрии или глубокое озеро, в котором не вздымается ни одна волна. Бог любви Кама почти отчаивался в своей победе. У Камы оставалась лишь одна надежда. Он верил, что Шива не устоит перед прекрасной Умой — воплощением женственности. Когда Шива увидел Уму, Кама выстрелил в него из своего лука. Почувствовав нанесённую рану, гневный бог подавил затрепетавшую в нём любовь. Молнией из третьего, сверкающего во лбу страшного глаза он сжёг Каму. Отчаяние охватило Уму. Её горе и любовь были так сильны, что сердце Шивы смягчилось. Он обручился с Умой и отпраздновал свадьбу по земным обрядам.

Описание радостей «молодых» — страницы прекрасной лирики. Лёжа на скале во время заката солнца, Шива рассказывает любимой о наступающей ночи... Вечерняя заря знает, что курдюная красавица Ума будет смотреть на облака, и спешит придать им самые нежные оттенки. Поэтому края облаков отсвечивают то розовым, то жёлтым, то коричневым. Но вот кончается сражение дня и ночи. Умирая, заря оставляет на западе багряную полосу. Это окровавленный меч, брошенный на поле битвы. Когда Месяц, победивший сумерки, начал целовать свою возлюбленную Ночь и нежно гладить её волосы, лотосы закрыли свои глаза от блаженства...

Уходили годы и десятилетия, а любовь разгоралась. Она сильнее сурового бога.

Много чудесных лирических страниц и в третьей поэме Калидасы — «Род Рагу». Её значение, однако, не только в лирических страницах. Калидаса выразил в поэме своё отношение к власти. Почти все воспеты в «Роде Рагу» легендарные предки современного поэту властителя — просвещённые монархи. В детстве они отдаются изучению наук, в юности — земным наслаждениям, в старости уединяются в лесах. Они разумно управляют подданными и делают всё, чтобы укрепить государственную власть. Создавая образы идеальных монархов, Калидаса, однако, не теряет трезвости. Он видит, как далека от идеала действительность. Славословие предкам становится в поэме поучением потомству, образцовый пример — упреком правителю, который далёк от идеала. Легендарный Дилипа, исполнив свой долг перед подданными, прощается с суетным миром. Он уходит в леса размышлять о содеянном и достойно завершает круг жизни. Царствующий Агиварна считает потерянными минуты, проведённые без женщин. Он умирает от излишеств любви, прежде чем у него рождается наследник.

Поэма оставляет читателя в неизвестности — возродит ли последний представитель когда-то великой династии её ныне померкшую славу? До нас не дошла полностью и предыдущая поэма. Она заканчивается на строфе, посвящённой рождению Кумары — сына Шивы и Умы. Современники, по-видимому, воспринимали образ Кумары как намёк на императора Кумарасупту. И всё же жизнь героя осталась за пределами произведения. Вряд ли это можно объяснить случайностью. Калидаса умолкает или становится сатириком, когда сюжет требует описания подвигов царствующего монарха.

Деяния великих предков он описывает золотыми чернилами, а дела их ничтожных потомков — чёрными.

Сдержанная оппозиция к власти проявляется и в «Малявике и Агнимитре» — драме, которую условно можно назвать придворной комедией. С тонкой иронией рассказывает Калидаса о борьбе ревнивой царицы с любовью властительного супруга к служанке Малявике. Царю Агнимитре, кое в чём напоминающему царя Агниварну, помогает постоянный поверенный в любовных делах шут Гаутама. В то время как во дворце идёт война женщин, на границах государства начинается настоящая война. (В драме она нужна, чтобы объяснить царственное происхождение Малявики и её появления во дворце.) Агнимитра не участвует в защите своей империи. На это есть полководцы, обязанные побеждать именем Агнимитры. Их дело — писать победные реляции, дело государя — упиваться славой. При известии о победоносном окончании войны поэты слагают стихи о мужестве царя. Кстати, царь, всю войну занимавшийся во дворце любовью, так и не собрался взглянуть на поле брани.

Все образы в комедии снижены. Шут, знающий только изменную сторону жизни, — господин придворного мира. Он ведёт всю интригу, и царь Агнимитра лишь орудие в его руках. Калидаса не задевает в комедии острых углов, не идёт в глубь жизни. Он старается изящно скользить по её поверхности. Но за его лёгкой усмешкой скрывается осуждение людей, лишённых благородства и героизма.

Человеку-герою Калидаса посвящает драму «Мужеством добытая Урваси».

Страшные демоны напали на небесных дев. Подобно якшам, небесные девы — это существа, призванные исполнять волю божественных повелителей. Самая прекрасная среди них — Урваси. Именно она схвачена жестоким Данавой. Земной царь Пуруравас вступает в битву с демонами и спасает Урваси. Земной царь и небесная дева полюбили друг друга. Пробуждающаяся природа откликнулась на их чувство:

Весна, в своём очарованьи,  
На грани медлит между детством  
И блеском юной красоты.

Но счастью влюблённых мешают и боги и люди. Боги призывают Урваси на небо. За своим супругом следит ревнивая царица. Наконец все препятствия позади. Восхищённые подвигом Пурураваса, боги позволили Урваси быть вместе с героем. Смирила свой гнев и царица. Никто теперь не мешает счастью влюблённых. Но его губит сама Урваси. Она оскорбила высокую любовь Пурураваса низкой ревностью. Боги наказали её, превратив в лиану. Безутешен несчастный Пуруравас. В поисках возлюбленной бродит он по лесам, умоляя птиц и животных, цветы и скалы сказать ему, где Урваси... Мир равнодушен к мукам влюблённого. Нигде не находит Пуруравас ответа. Но его терпение безгранично, как его любовь. После долгих поисков он находит талисман соединения. Урваси снова с ним. И снова мужеством завоёванное счастье разрушено. Отпуская Урваси на землю, боги поставили условие: как только Пуруравас увидит своего сына, Урваси покинет их обоих. Боясь расстаться с любимым, Урваси скрыла рождение сына от Пурураваса. Он воспитывался у отшельников. Случай всё же привёл его во дворец. Пуруравас обрёл сына и должен потерять жену. Страшен новый удар судьбы:

Так древо, зноем спалено,  
Чуть освежилось первым ливнем.  
Вдруг преломившись, сражено,  
На землю падает от молний.

Услышав весть о новой разлуке с Урваси, Пуруравас отказывается от царства. Ему не нужна власть без любимой, ему ничто не мило в этом мире. Он решает уйти в леса. Но боги не могут примириться с таким решением. Предстоит война с демонами. Пуруравас нужен богам. Во имя его будущих подвигов Урваси разрешено не разлучаться с супругом.

Сюжет этой драмы взят из древней легенды о небесной деве, полюбившей земного царя, но вынужденной вернуться на небо. Печальное сказание Калидаса превратил в гимн радостной человеческой любви. Только борьба — достойная форма жизни, утверждает поэт. Только мужеством добывается счастье.

Наиболее полно гений Калидасы раскрылся в «Сакунтале» — лучшей драме поэта. В ней богатство жизненных впечатлений, высшая зрелость. В ней каждый штрих — открытие. «Сакунтала» принесла Калидасе мировую известность. Первый русский перевод драмы появился в 1792 году — на два года позже первого лондонского издания и на год позже немецкого. Перевёл «Сакунталу» Н. М. Карамзин. Гениальная индийская драма впоследствии изучалась и издавалась в Петербурге, Москве, Вологде.

Она привлекла не только внимание учёных. Существует много попыток переработать её текст для современной сцены. На темы «Сакунталы» написаны балеты и оперы. В 1914 и 1920 годах драмой Калидасы открывал театральный сезон А. Таиров. «Сакунталой» восхищались великие поэты.

За два года до смерти Гёте писал о драме: «...Лишь теперь я понимаю то громадное впечатление, которое некогда произвело на меня это творение. Здесь поэт предстаёт перед нами в своём высшем проявлении как носитель природных сил, тончайшего образа жизни, чистейшего нравственного устремления, царственного достоинства и глубочайшего боговидения...»<sup>1</sup>

Для Ламартина «Сакунтала» — «шедевр поэзии одновременно эпической и драматической, который соединяет в себе самое пасторальное в Библии, самое патетическое в Эсхиле, самое нежное в Гасине».

Карамзин в предисловии к своему переводу писал: «Калидас для меня столь же велик, как и Гомер. Оба они получили кисть свою из рук Натуры, и оба изображали Натуру»<sup>2</sup>.

Правда, талант поэта нашёл в Европе не только поклонников. Французский исследователь профессор Летурно считал, например, что драмы Калидасы «фальшивы и жеманны».

Сюжет «Сакунталы» взят из «Махабхараты» — древней эпической поэмы, созданной народом. Понадобилось почти тысячелетие (примерно IV век до н. э. — IV век н. э.) для окончательного оформления её девятнадцати книг. По объёму «Махабхарата» в восемь раз превосходит «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, вместе взятые. Много столетий поэма служила фундаментом национальной культуры и неисчерпаемым источником поэтических сюжетов. В ней есть рассказ о том, как царь Душианта во время охоты оказался в обители отшельника Канвы. Приёмная дочь Канвы Сакунтала пленила его красотой. Он вступил с ней в брак. Покидая Сакунталу, Душианта обещал ей, что, если у них родится мальчик, он сделает его наследником. Мальчик родился. Но когда Сакунтала пришла к царю, тот отрёкся от неё. Только голос с неба заставил Душианта признать в отшельнице и ребёнке жену и сына. В эпосе создан образ грубого и лживого царя, обманувшего девушку.

Калидаса превратил легенду в глубокою философскую драму. В прологе театральный директор предлагает зрителям новую пьесу. Он просит актрису воспеть начавшееся лето. Актриса поёт о нежном цветке ирисе, полном душистой пыльцы, о девушках, вплетающих в волосы любимые цветы. Песня настраивает зрителя на солнечно-радостный лад и подготавливает к рассказу о любви царя Душианты.

Первое действие драмы, в согласии с легендой, посвящено описанию охоты и встречи с Сакунталой.

Индийские актёры не играли, а рассказывали пьесу. Движениями рук или поворотом корпуса они помогали зрителю вообразить плывущую рыбу, разъярённого слона или разгневанного бога Шиву. Калидаса в ремарке пишет, что царь Душианта появляется в колеснице с луком и стрелами в руках, преследуя лань. В задачу актёра входило передать движение колесницы, а самую колесницу зритель создавал усилиями собственной фантазии.

Итак, драма начинается описанием погони Душианты за ланью. Когда царь натянул тетиву, чтобы пустить стрелу, раздался властный голос. «Царь, эта лань принадлежит Пустыни», — сказал появившийся отшельник.

В этой сцене всё символично. Охота — это не только забава царя, это символ его жизни. Убийство лани доставляет ему наслаждение потому, что насилие господствует

<sup>1</sup> Гёте. Собрание сочинений. ГИХЛ. 1949, т. XIII, стр. 516.

<sup>2</sup> Известия АН СССР, отделение языка и литературы, т. XV, вып. 2, стр. 116.

во владениях Душианты. В обители отшельников другая мораль. Вступив в пределы, где всё послушно отцу Канве, Душианта также проникается благочестием. Он не смеет нарушить идиллический покой обители. В ней «полные доверья, внимательные лани не бегут». В ней нет охотников и жертв. Здесь царствует любовь. Здесь

Источники, под ветерком курчавясь,  
К корням деревьев светлой влагой льнут.

Душианта понимает, что здесь неуместны ни украшения, ни оружие, и снимает их. Сердце царя, удивлённое покоем, ощущает трепет. «Сюда не придёт же любовь?» — спрашивает он. «Впрочем, к тому, что судьбой предназначено, двери открыты везде». Лишь теперь, когда царь выразил готовность принять всё, что случится в обители, в сопровождении подруг появилась Сакунтала. Душианта на своём пути сеял смерть. Девушки, поливая деревья, несут природе жизнь. Любовь — стихия Сакунталы. Противопоставленная царю Душианте, Сакунтала полна нежности ко всему миру — людям, растениям и животным. «Мне растения как сёстры», — говорит она. Её любовь чиста и альтруистична.

Царь, укрывшись за деревьями, наблюдает за девушками. Он потрясён красотой Сакунталы. Даже в грубой одежде из коры это дитя природы затмевает придворных красавиц. Руки Сакунталы царь сравнивает с нежными побегам, губы — с алыми цветами, груди — с белыми чашечками цветов. Вся природа вокруг Сакунталы зовёт к любви: до самого корня покрылся почками вьюнок, ветка жасмина прильнула к манговому дереву.

Когда влюблённая в Сакунталу пчела стала виться вокруг её лица, ревнивый Душианта не выдержал и вышел к подругам. Девушки с учтивостью принимают благородного гостя. Царь узнаёт от них, что Сакунтала — дочь великого мудреца Каусики и небесной девы Менаки. По повелению богов Менака смутила благочестивого Каусику. Отец Канва лишь воспитал дитя мудреца и небесной девы... Образ Сакунталы — не только символ любви и единения с природой. В нём сочетание чистоты природы, мудрости человека и святости небожителей. Душианта не хочет возвращаться в город, в жестокий, неправедный мир. Он не может расстаться с прекрасной девушкой.

Второе действие драмы начинается монологом шута. Если Сакунтала — дочь небесной девы, то шут — сын земли. Его образ — олицетворение всего низменного. Шута, разумеется, возмущают порядки в обители. Ни азарт охоты, ни поэзия любви ему не доступны. «Что мы пьём? Тёплую вонючую воду из горных ручьёв, с приправой из листьев, — нечего сказать, вкусно».

Шут уговаривает царя бросить охоту. Он не видит в любви Душианты ничего, кроме животной страсти. «Ты не видал красивейшего, что есть на свете», — возражает ему царь. «Но ведь Сакунтала — отшельница, — рассуждает шут, — и поэтому не достанется царю. Какой толк на неё смотреть?»

В душе царя происходит борьба высокого и низменного. В ней столкнулись два отношения к жизни. Шут уверен, что любовь Душианты — это блажь человека, который, объевшись финиками, захотел кислого тамаринда. Сакунтала верит в благородство любви.

Отшельники предлагают царю провести несколько ночей в обители.

Желание святых отцов видеть в Душианте защитника и гостя — это попытка добра отстоять царя. Но не дремлет и зло. Когда Душианта согласился исполнить просьбу отшельников, прибыл вестник с повелением царицы-матери вернуться в столицу. «Ни тем, ни другим пренебречь нельзя. Как же быть?» — мучительно размышляет царь. «А будь на полдороге, между небом и землёй», — смеётся шут, точно определяя место Душианты в борьбе добрых и злых сил. Душианта отправляет вместо себя в город шута, поручая ему свои обязанности. Но его решение остаться среди отшельников не означает, что добро победило зло. Мысли и душа царя ещё отравлены тем миром, куда отправился шут. Царь боится, что придворные узнают от шута о его новой любви. Он ещё в их власти, во власти прошлого. Чистая любовь не стала в его сердце безраздельной владычицей. Поэтому он лжёт, говоря шуту, что его любовь к Сакунтале не более чем шутка. Но в этой лжи есть правда, а в правде о его любви — ложь.

Ничто не нарушает покоя обители в третьем действии. Нет ни охотников, ни шутов, оскверняющих святое место. Лишь Сакунтала, полюбившая Душианту, потеряла былую безмятежность.

Щёки её побледнели, плечи её упадают,  
Грудь выражает истому, краски сбежали с лица,  
Так истомилась любовью, как вянет, бледнея, лиана  
Под дуновеньем ветров знойно-палаящего дня.

Нет покоя и царю, сжигаемому любовью. Но в сердце Душианты есть уголок, не принадлежащий Сакунтале. Шут ошибался только наполовину, видя в любви царя одно сладострастие. В Душианте нет цельности. Он любит, боясь, что о его чувстве узнают во дворце, что отшельники увидят его рядом с Сакунталой.

Удовлетворив страсть, царь возвращается в город. Грешное победило праведное. Восторжествовал шут. Сакунтала не подозревает, что она обманута. Вера в людей — дар, не растраченный в святой обители. Отшельники убеждены, что красота человека и его благородство нераздельны. Драма Сакунталы не в том, что она покинута соблазнителем. Творение Калидасы не мелодрама. Мысль поэта бесконечно глубже. Он выразил в образе Сакунталы беспредельную любовь, в которой не должно быть ни малейшего оттенка эгоизма. Поглощённость собой и невнимание к людям — уже отступление от любви, тяжкий проступок для Сакунталы. Она совершила его. Когда в обитель пришёл великий и гневный мудрец Дурвасас, Сакунтала в задумчивости не обратила внимания на гостя. Этот проступок — нечто большее, чем нарушение законов гостеприимства. Невнимание к мудрецу Дурвасасу — это измена себе. Замкнувшись в своём чувстве, Сакунтала нарушила альтруистическую мораль отшельников. На одно мгновение она оказалась эгоистичной. В этом её вина. Эгоизм вызвал суровую кару Дурвасаса.

За то, что всем сердцем ослепшим  
Прилипла к любимому ты,  
Меня не увидев, который  
Всю жизнь в покаяньи провёл,  
Тебя да не вспомнит ушедший,  
Слова да забудет свои,  
Да будет как хмелю подвластный.  
А ты — как забытый рассказ.

Атеистическому сознанию современного читателя может показаться излишним вмешательство потусторонних сил, управляющих судьбой Сакунталы. Характер Душианты сам по себе объясняет измену царя своему слову и любимой женщине. Религиозное сознание древних индийцев не удовлетворялось реалистической трактовкой человеческих судеб. Ему был нужен приговор богов для оправдания или осуждения героев. Небесное придавало земному значительность, божественное раскрывало смысл человеческого.

Отец Канва возвращается из паломничества, совершённого, чтобы предотвратить горькую участь Сакунталы. Небо раскрыло перед ним всё, что произошло в его отсутствие. Он решил послать Сакунталу к царю Душианте. Любовь надо нести в жизнь, а не спасаться от жизни в любви — такова мысль Калидасы.

Царь Душианта, покинув мир горя, нашёл в обители счастье. Но он принёс Сакунтале неизвестное ей прежде страдание. Сумеет ли Сакунтала принести в мир страданий неизвестное там счастье?

Вся природа, огорчённая разлукой, провожает Сакунталу.

Лани роняют траву изо рта, не глотая,  
Пляску не хочет продолжить павлин,  
Жёлтые листья вьюнок уронил, извиваясь,  
Листья, как слёзы, упали, грустя о тебе.

Цветение любви Сакунталы происходило в начале лета. Её путешествие к Душианте совершается осенью. Печальная природа — предзнаменование горестей, ожидающих героиню.

Действие переносится во дворец, где безрадостно живёт Душианта.

Достигнешь владений — убьёшь честолюбье,  
И вместо стремленья — лишь сонмы забот,  
Достоинство царское — зонтик от Солнца —  
Ты держишь, и лишь утомилась рука.

Лживость придворной жизни несовместима с чистой любовью. Душианта забыл о счастье, которое он познал в обители. Он не узнаёт Сакунталу, представшую перед ним. Рядом с Душиантой снова его испытанный советчик — шут.

Отшельник, сопровождающий Сакунталу, сурово осуждает жизнь двора.

Уйдя от мира и мирского,  
На них на всех я так смотрю,  
Как тот, кто только искупался,  
На тех, кто в масле и грязи,  
Как чистый смотрит на нечистых,  
Как умудрённый на слепых,  
Как тот, кто бодрствует, на сонных  
И как свободный на рабов.

Душианта был свободен лишь в обители. Он раб в том мире, где свободы нет. В этом мире человеку не верят Душианта обвиняет забытую им женщину, напомнившую ему о счастливых минутах супружества, в обмане, притворстве, хитрости и корысти. «Прятаться под личиной добродетели, как зияющий колодец, прикрытый сверху травой!» — гневно восклицает Сакунтала. Отвергнутая, она хочет возвратиться в обитель к своим цветам и нежной лани. Но отшельники отказываются принять её.

Если ты заслужила весь этот позор,  
Что отцу с тобой делать, преступная?  
Если ж совесть чиста твоя, знай и терпи,  
В доме мужа и рабство ты вынесешь.

Судьбой Сакунталы распорядились боги, взяв её на небо. Прошли годы. Наконец наступила пора, когда всесильное время решило помочь страдающим. Однажды бедный рыбак принёс царю кольцо. Это был талисман, когда-то подаренный Душиантой Сакунтале и обронённый ею на берегу Ганга. Рыбак нашёл кольцо во внутренностях пойманной им рыбы. Лишь оно могло уничтожить власть проклятия Дурвасаса. Как только Душианта увидел свой подарок, он вспомнил о далёком счастье. Кольцо-талисман вернуло царю любовь. На земле снова весна, расцветают манговые деревья, мечтают девушки. Один Душианта безмерно страдает от мысли, что в заблуждении отверг Сакунталу. Как прежде, он снимает с себя все украшения и предпочитает суетной пышности благородную скромность. Как прежде, шут осуждает «приступ Сакунталовой лихорадки» и хочет вернуть царя в колею обычной жизни. Но Душианту влечёт в жасминную беседку. Она напоминает ему место в обители, где он впервые увидел Сакунталу. Там, в беседке, он горько размышляет о причинах разлуки с любимой:

Верно, кольцо, и твои все достоинства,  
Как и мои, оказались малыми,—  
С нежного пальца, как роза прекрасного,  
Как же иначе упало бы ты?

Кого упрекать во всём случившемся — кольцо, богов или самого себя? «А я вот эту палку мою буду упрекать. Ты что ж, приятельница, такая кривая, когда я прямая?» — издевается шут над муками влюблённого Душианты. Чтобы восстановить хотя бы частицу утраченного счастья, царь рисует Сакунталу. Милый образ и услаждает и терзает его сердце. Иногда царь забывает, что перед ним изображение, и говорит с портретом, как с живой Сакунталой. Любовь теперь до конца завладела его сердцем. Она дала царю мудрость и бескорыстие. Он вынес благородный приговор по делу погибшего в кораблекрушении купца. (Купец был бездетен, и по закону его наследство принадлежало царской короне; но Душианта отказался от наследства и передал его ребёнку купца, который вскоре должен был родиться.) Однако одного бескорыстия недостаточно, чтобы стать достойным Сакунталы. Только в героической борьбе во имя победы добра над злом может заслужить Душианта счастье встречи.

Осуждая в первом действии охоту за ланью, Калидаса осуждал бессмысленную воинственность царя. Но Калидаса не проповедовал пассивность. Устами бога Индры он призывает:

Ищи врагов лишь между злобных сил  
И против них стреми стрелу...

Боги просят Душианту вступить в борьбу с исчадием тьмы, исполинскими демонами, отродьем многоголового и сторукого Калянеми. Подвиг свершён. Слава Душианты распространилась на небесах. Почётным гостем был царь на пиру у Индры. Летя в колеснице бога мимо Золотого утёса, Душианта решает посетить обитель, где подвижники достигают высших ступеней святости. Их подвиги воистину фантастичны.

Вон там стоит подвижник этот строгий,  
В огромной муравьиной куче он,  
Змеиной кожей грудь он препоясал,  
На шее цепь из высохших лиан,  
На голове венки, то грубый волос,  
Что колетя, спускаясь до плеча.  
Свершая искус, он глядит на Солнце,  
Не отводя усталых глаз своих,  
И, как скала, стоит так неподвижно,  
Что птицы гнёзда свили в волосах.

Среди отшельников Душианта встречает мальчика, играющего со львёнком. Сердце царя рвётся к бесстрашному укротителю. Безотчётное влечение Душианты к мальчику оказывается не случайным: это его сын. В образе Всеукротителя — таково имя сына — положительный идеал Калидасы. В мальчике сочетается святость отшельников и героизм Душианты. Здесь же находит царь верную и бесконечно любящую его Сакунталу. Её лицо осунулось, волосы в знак скорби заплетены в одну косу. Истрадавшаяся, она ещё милее царю, измученному раскаянием и тоской. Обретено наконец счастье. Соединение с Сакунталой — это награда богов за подвиг, мудрость и бескорыстие. Сам Каснапа — отец богов — одаривает своей милостью влюблённых.

Счастье да будет Сакунтале,  
Счастье малому мальчику,  
Счастье царю...

Радостна эта гениальная драма о торжестве счастья над страданиями, правды — над ложью, добра — над злом, о торжестве человека, победившего тёмные силы.

Полторы тысячи лет назад прозвучал голос Калидасы, зовущий к героической борьбе за счастье, за добро и правду. С тех пор мир пережил великие потрясения, опустошительные войны и не одну смену политических систем. Но творения Калидасы не умерли вместе с прошлым. Теперь, в героический век социального освобождения народов, они звучат с новой силой. И народы всех стран, объединённые общим стремлением к миру и дружбе, чествуют память великого индийского поэта-гуманиста.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Елена Успенская.** Труженики революции.— **М. Щеглов.** Роман о восставшем народе.— **Иван Кашкин.** Завоеванное право.— **М. Алексеев.** Поиски и находки.— **М. Чарный.** Душевные люди.— **А. Палей.** Рассказы и повести И. Ефремова.— **А. Мамонов.** Стихи друзей.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Г. Петровский.** Воспоминания о В. И. Ленине.— **А. Середа.** Зимний взят! — **И. Манарьев.** Прекрасная жизнь.— **Н. Сергеева.** Книга президента Суарно.— **Мих. Леснов.** Молодость древнего народа.— **А. Николаева.** США и независимость арабских стран.— Член-корреспондент Академии наук СССР **А. Трайнин.** Жан Поль Марат — теоретик уголовного права.— **Иван Сергеев.** Лицо страны.

## Труженики революции

**С**о стихами легче... Если они взволновали вас, можно позвать друга, прочитать ему эти стихи и ещё раз пережить их. Куда труднее с прозой. Когда вы читаете книгу, которая захватила вас, то хочется поделиться с друзьями, рассказать о ней. А рассказать хорошую книгу своими словами невозможно. Можно только попробовать передать то ощущение, которое она у вас вызвала,— ощущение праздника.

Такую книгу написала писательница Александра Бруштейн. Эта книга называется «Дорога уходит в даль...» В ней писательница, которую мы до сих пор знали как драматурга, критика и автора воспоминаний, теперь выступает перед нами как беллетрист.

Книга о детстве. Она вышла в Детгизе. И очень хорошо, что её прочтут наши дети, потому что для них нужно писать и печатать как можно больше таких книг, как эта. Но она должна выйти и в издательстве для взрослых, потому что, как и всякая настоящая книга, она с такой же любовью и радостью будет читаться и взрослыми, с той только разницей, что взрослые поймут и увидят больше, чем дети.

«Дорога уходит в даль...» — рассказ о девятилетней девочке Саше.

В этой книге мы встречаемся с множе-

ством хороших людей. Это и отец Саши, доктор Яновский, которого знает и любит весь город, человек, неумоимо и самоотверженно выполняющий свой высокий и святой долг, и старый одинокий врач Рогов, и ворчливая няня Юзефа, человек с золотым сердцем, и француженка Поль. Их много, этих обыкновенных, казалось бы внешне ничем не примечательных людей, окружающих детство маленькой героини книги. И чем дальше читаешь эту книгу, тем отчётливее и яснее видишь, что в простом рассказе о детстве девочки автор взволнованно повествует о том, как скромные труженики революции готовили освобождение своего народа.

Замечательны в книге образы революционера Павла Григорьевича, его товарищей по ссылке, его жены Анны Тихоновны, маленького «зёрнышка», — тех людей, которые изо дня в день ценой громадных лишений, отказа от личного счастья и личного покоя, ценой повседневных и тяжких жертв подготавливали величайшее свершение — Октябрьскую революцию. Отчётливо прорисованы в книге те люди, в которых воплотились враждебные этой революции силы: зажавшийся фабрикант Шабанов, ксёндз Недзвецкий, барон фон Литтен. В сущности, событий, имеющих непосредственное отношение к революции, в книге не так уж много. Это главным образом предмайские дни, когда в городе происходит одна из первых больших демонстраций,



когда Павла Григорьевича сажают в тюрьму, когда наиболее передовых рабочих увольняют с работы, когда полуслепой доктор Яновский под руку со скромной французской Поль выходит вечером для того, чтобы за ночь перевязать раненных казаками революционеров, когда отчаянные, иссечённые казаками мальчишки-связные носятся по улицам. И отчётливо видишь, сколько же человеческого мужества, самоотверженности, любви к народу было проявлено в эти и подобные им дни простыми, рядовыми людьми. Это были именно труженики революции — они смотрели на свою жизнь, как на будничную работу, повседневную, ежечасную подготовку к тем дням, которые навсегда записаны в истории, как самые светлые дни борьбы за счастье, достоинство и права трудового человека. И никто из них — ни Павел Григорьевич, ни его жена, ни доктор Яновский, ни рабочие, которые вышли на демонстрацию с красными знамёнами, — не смотрел на свои поступки, как на подвиг, они считали это только долгом. И в этом их величие.

Саша — героиня книги — пытается разобратся в том, что же такое подвиг. Она ещё очень мала. Мы застаём её в ту минуту, когда ей кажется, что истинный героизм — это стать укротительницей львов. Но всё внимательнее и внимательнее присматривается девочка к окружающей её жизни, и к концу книги мы уже знаем: Саша поняла, что такое подвиг. И когда Павел Григорьевич, её учитель, рассказывает, как у него на глазах повесили трёх революционеров, Саша, которая до сих пор плакала от любой детской печали, обиды, впервые не плачет. У неё больше нет слёз. Настоящее, несравненное человеческое мужество выжгло детские слёзы.

В книге есть много понятий, которым писательница очень тонко, почти незаметно возвращает их первоначальный смысл. Особенно отчётливо мы это видим в эпизоде, когда доктор Яновский решает пойти в тюрьму, чтобы уговорить тюремного врача облегчить участь арестованного Павла Григорьевича. И тогда жена революционера, маленькое, тихое «зёрнышко», останавливает его. Она знает, что доктор Яновский не уважает тюремного врача и до сих пор не пожимал руки этому человеку. Она считает, что рукопожатие доктора Яновского — слишком высокая цена. Цена рукопожатия, цена правдивого слова, цена честного слова, цена выполненного долга

обрели первоначальный, кристально-чистый смысл.

Это трудно, это очень трудно: ни разу не пожать руки того, кого не уважаешь, ни разу не сказать слова неправды, всегда и во всём выполнять свой простой и трудный долг — долг честного человека. Когда тихий, скромный доктор Яновский выгоняет из своего дома фабриканта Шабанова, понимаешь — ему это нелегко. Ведь они были знакомы много лет, много лет спорили... Наконец настала та минута, когда доктор понял, что между ним и этим человеком, рабочие которого живут, как нищие, трудятся за гроши, больше не может быть сказано ни одного слова, — и он, не колеблясь, рвёт старые связи.

Так за каждой строкой книги, внешне очень скромной, встаёт подлинная, высокая идейность людей, которые её населяют, их духовная чистота, их повседневное мужество — всё то, чему нет цены.

Достигнуть такой силы воздействия книги может только писатель, овладевший высоким литературным мастерством.

Примеры этому можно найти буквально на каждой странице. Это видно и в мелочах: «Папа спит часа полтора.. Рядом с диваном, на стуле, — папины очки. Поникшие дужки их — как оглобельки сальной, из которых выпряжен конь». Можно ли более скупой и более выразительной показать, как сбита доктора усталость?

Точные сравнения, скупые характеристики людей отличают эту книгу. Так, например, великолепно, несколькими словами показывает А. Бруштейн тётю Женю, свояченицу Шабанова. Она сравнивает её с качалкой, которую толкнули, и она никак не может остановиться, — неустойчивая, сыплющая мудрёными словами, и пенсне вокруг неё порхает на тоненьком шнурочке, как мотылёк.

А как написан разговор доктора Яновского со старой бубличницей Ханой!

Доктор и его маленькая дочка решили «кутить». «Кутёж» заключается в покупке бубликов на улице, так как магазинов доктор боится панически.

«— Кушайте на здоровье! — Хана смотрит на нас замученными глазами и улыбается нам усталой, грустной улыбкой. — Кушайте и живите сто двадцать лет... И вы, господин доктор, и ваши дети, и дети детей ваших...

— За что мне такой долгий век? — смеётся папа.

— За то, — серьёзно отвечает Хана, — что вы мою дочку вынули из гроба — вот так, вот этими вашими руками вынули — и велели ей: «Живи!»

— И живёт она? — интересуется папа.

— А как же! Конечно, живёт, лучше б ей, бедной, умереть! Каждый год — по ребёнку, муж — без работы... Вот хожу с моими бубликами с утра до ночи, а можно прокормить этим шестерых деток и трёх взрослых? А?..»

Только большой мастер мог вот так, буквально в нескольких строках, рассказать о нескольких жизнях. И это сделано не случайно. Когда потом доктор вместе с дочкой сидят в сквере и наслаждаются Ханиными бубликами и «кутёж» их перерастает в целый пир (приходит мороженщик Андрей, и они покупают у него «крембруле»), мы вдруг видим, как на эту самую Хану обрушивается городской. Все торговки убежали, а она не смогла, она хромяя. Мороженщик помогает ей спасти вторую корзину с бубликами от нашествия грозного представителя власти, и только в эту минуту мы понимаем, как необходим был этот разговор с Ханой для того, чтобы подготовить то чувство неугасимой ненависти к шабановым и к тем, кто с ними, чувство боли за простого человека, которое просыпается в нас. И Саша вопросительно смотрит на своего отца: неужели он не заступится за Хану? А отец говорит ей: «Лечить — вот всё, что я могу...» И девочка впервые понимает, что в этом мире, мире старой России, её отец — самоотверженный и мужественный человек — действительно может только лечить. И не может помочь ни Хане, ни безработным, ни мороженщику Андрею, который уже начинает глохнуть оттого, что он ходит все летние месяцы с тяжёлой кадкой мороженого на голове.

Книга очень невелика по объёму. Но в ней много людей, разных, сложных и благодаря мастерству автора подробно выписанных. Тут и Древницкий, который совершает свой подвиг, поднимаясь на воздушном шаре; и маленькая рахитичная Юлька, дочка подёнщицы; и мать Юльки; и тихий сфициант из ресторана, который любит

мать Юльки и помогает ей спасать девочку.

И что бесконечно радостно — на протяжении всей книги, на каждой странице, мы видим глаза в глаза автора, мудро, честного, хорошего человека. А ведь это очень много значит, когда книгу пишет хороший человек! И мы видим и понимаем, что девочка, которую в детстве окружали такие люди, не могла вырасти иной.

Доктору Яновскому ворчливая и преданная ему няня Юзефа предсказывает как-то, что он получит лишь дом в три аршина. Все другие доктора в городе уже имеют свои дома, а доктор Яновский с его изумительными руками хирурга чаще всего лечит бедных людей. Откуда же взяться собственному дому? И в тот момент, когда маленькая девочка с отцом «кутяти» в сквере, дочка спрашивает, что это за дом в три аршина сулила ему Юзефа. И дальше идёт маленькое отступление. Это уже голос самого автора. Эти строки нельзя читать без глубокого волнения и уважения:

«Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трёхаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это здесь».

Бывают в книгах такие слова, к которым больше ничего нельзя прибавить...

Может быть, и даже наверное, в книге «Дорога уходит в даль...» есть недостатки. Не знаю Я их не увидела, и я не хочу их искать только потому, что в рецензии, по неведению кем установленной дозировке, полагается указывать на какой-то процент недостатков. Я не увидела их потому, что полюбила эту книгу. Потому что это книга, которую хочется дать каждому — молодому, старому — и сказать: прочти — и ты станешь лучше. Потому что это одна из тех книг, которые стоят в ряду книг — борцов за человеческое счастье, достоинство, мир, свободу и труд.

**Елена УСПЕНСКАЯ.**

## Роман о восставшем народе

Роман Юрия Бессонова «Восстание» посвящён событиям гражданской войны на территории Сибири; это монументальное по своим размерам произведение охватывает всю историю колчаковщины — от омского переворота и провозглашения очередного ставленника Антанты, адмирала Колчака, «верховным правителем» всероссийским вплоть до освобождения Сибири от белогвардейского господства и власти интервентов. Книга завершается казнью кровавого адмирала и вступлением регулярных частей Красной Армии в освобождённый Иркутск.

Роман не просто обрисовывает ряд событий, относящихся к эпохе борьбы молодой Советской республики с нашествием четырнадцати держав и внутренними врагами, это исторический роман в его настоящем смысле, в нём воссоздан во всей сложности и многоплановости исторический процесс на значительном, насыщенном событиями этапе. Его персонажи — действительные и вымышленные — не просто переживают свои «частные» судьбы, они выражают собой историю, её пути, тенденции, её различные стороны. Роман воссоздаёт и внешне эффектные исторические «зрелища», и глубоко корыстные основы политики врагов Советской власти, и новые, революционные черты политики большевиков, характеризует фигуры действительных и мнимых деятелей, стоявших на первом плане исторической панорамы, а главное — превосходно отражает судьбы народа, революционный накал и порыв масс, роль простого рабочего и крестьянина в легендарных битвах гражданской войны. Перед читателем романа «Восстание» проходят события более чем трёхдесятилетней давности, но — волей автора — вновь тревожащие и захватывающие.

Книга читается с интересом; это первостепенное для литературного произведения достоинство хотелось бы подчеркнуть. Почти не прибегая к нарочито авантюрным решениям, автор умело использует тот материал, который дала ему действительность революции, и увлекает читателя как развитием индивидуальных судеб героев, так и общим потоком исторических событий. Сибирские города — от Владивостока

до Екатеринбурга, великая железнодорожная артерия, глубинные земледельческие области, Приангарье и Предуралье — такова «география» романа. Интервенция — японская, английская, американская и прочая, белогвардейщина — монархическая, эсеровская и просто безыдейная, свирепое, террористическое господство Колчака в Сибири, борьба Советской республики против колчаковских армий, народная партизанская война за Советы, изгнание белогвардейцев и интервентов, постыдное бегство Колчака и жалкая его смерть — таков исторический материал романа.

И на этом фоне, точнее, в гуще этих событий, развивается судьба множества рядовых людей: рабочих-большевиков, интеллигентов-подпольщиков, красногвардейцев, нескольких женщин и т. д. И так как большинство из них написано интересно и искусно, это не вызывает впечатления запутанности или излишества, но создаёт в произведении обстановку живой многолюдности, многособытийности, разнообразия местностей и пейзажей, необозримости историко-географических пространств и в конце концов ощущение эпоса.

Чётко выражена в романе историческая концепция автора, отражающая действительную расстановку сил в гражданской войне. На одном полюсе — кучка своекорыстных, честолюбивых и фанатичных реакционеров, от них тянутся нити к международным, главным образом американским, финансовым и военным воротилам. Все эти колчаки, пепеляевы и семёновы служат делу обречённого класса; то надевая демократические маски, то прибегая к разнузданному террору, они сколачивают свои последние армии и обрушиваются на первую в мире республику трудящихся. На другом полюсе — всколыхнувшиеся непокорённые массы рабочих и крестьян, революционное ядро сибирского пролетариата — большевики, вооружённые ясными и человечными ленинскими идеями, идущие на исторический подвиг во имя торжества коммунизма. На первом полюсе — всё мрачное, позорное и садистское, сама смерть, на другом — человеческая чистота, дружба, твёрдая справедливость и жизнерадостность.

Этот интернационально-революционный раскол мира изображён автором не только в прямой характеристике действующих сил,

но и другими, более тонкими художественными средствами. Этому подчинена, в частности, и композиция романа. Сразу после сцены прибытия во Владивосток американских представителей, военных и финансистов, самоуверенно решающих судьбы России, после эпизодов чехословацкого антисоветского мятежа следует глава о бояцах чешского отряда, действующего рука об руку с Красной Армией, и это вселяет в читателя веру в крепость международных уз пролетарской солидарности вопреки всем провокациям, вопреки международному ополчению империализма.

В конце романа, вслед за очень сильной главой — о последних часах Колчака, с её мрачными деталями, с этой зловещей и обречённой фигурой адмирала — следует пронизанная солнцем и торжеством, вся весенняя и праздничная, заключительная глава романа — вступление красных отрядов в Иркутск. Она возвращает нас из тьмы к свету, к хорошим простым людям, чья тяжёлая борьба за счастье кончается успехом — и в романе и в жизни. Наибольшей остроты противопоставления смерти и жизни, сил жестокости и сил дружбы и человечности писатель достигает с помощью очень яркой композиционной детали. Колчак содержится в той же камере, где ещё вчера томились приговорённые им к смерти узники-коммунисты. И, разглядывая своё новое помещение, потерпевший позорный крах «верховный правитель», он же «главный контрразведчик», обнаруживает выцарапанные на стене слова — их оставила здесь юная подпольщица Ксения, освобождённая восставшими рабочими: «Дорогие мои, я не боюсь смерти, потому что остаётся жить вы...»

Привлекает в лучших эпизодах книги впечатление реалистической, подчас документальной подлинности происходящего. Это касается и начального эпизода первой боевой разведки молодого красногвардейца Никиты Нестерова, и многих сцен с Колчаком — в особенности его появления на вокзале в Омске, — и замечательного рассказа о трагическом восстании куломзинских рабочих, и бегства Никиты с большевиком Лукиным из колчаковских казарм, и картин крестьянской жизни, и многих других.

Роман хорошо и в общем экономно (как ни юмористически это звучит в отношении столь протяжённого полотна) построен. Автор очень последовательно и точно во-

дит нас в обстановку. Вот, например, начало романа: разведка троих бойцов, ранение Никиты; Никиту отсылают в санитарном вагоне в Иркутск, по дороге он узнаёт о событиях в стране — об интервенции, о мятеже чехословаков, о том, что мировой капитализм решил задушить Советы. Что-то будет, какой оборот примут дела? И вот предчувствия и волнения конкретизируются: появляется сам Колчак с его антинародными замыслами и могущественной поддержкой Антанты, за республику рабочих и крестьян надвигается страшная угроза.

Самые же растянутые и неэкономные части романа — это страницы, посвящённые пребыванию Никиты Нестерова в партизанском отряде. Тут много лишнего и неясного. Правильно найдя типичный для «крестьянской» войны конфликт между местными интересами бойцов и широкими общеклассовыми задачами их борьбы, показав, как общие революционные интересы побеждают частные, крестьянские, автор не смог так же глубоко и полно обрисовать дальнейшие пути партизанского движения, ставшие перед ним другие задачи. Взамен этого многие страницы заполнены чрезвычайно растянутой и надуманной историей с самогонщицей Селиванихой и романтическими эмоциями Никиты, которые автор изображает не столь уж искусно. Здесь же встречается эпизод, хотя и хорошо написанный, но слишком напоминающий известную сцену с пленным американцем из «Бронепоезда 14-69» Вс. Иванова. У Бессонова вместо американца — японец, а вместо картинок из библии, по которым пленного в «Бронепоезде» учат политграмоте, — показывание друг другу рабочих мозолей на руках.

Достоинства исторического романа Ю. Бессонова — в чёткой и ясной художественной характеристике общественных сил, участвующих в исторической борьбе. В лучших местах книги образ Колчака не сводится к карикатуре, при всей совершенно твёрдой и яростной антипатии, какую он вызывает в читателе. Отчётливо встаёт со страниц романа долговязая, мрачная и холодная фигура верховного правителя, с его англоманством, постоянной жёлчностью и нервными тиками. В нём как бы воплощён мертвящий дух монархизма и карательного правления. Напрасно только всю мотивацию деятельности Колчака автор выводит из его безудержного честолюбия, из желания вознестись над всеми, повелевать и ца-

ритель. Эти мотивы глушат все остальные, кроме совершенно лакейской услужливости хозяевам-американцам. По всей видимости, тут дело было глубже, и понять это нужно более «исторично». У людей, подобных Колчаку, несомненно, была своя «идеология» — вероятно, это был ультрареакционный национализм и монархизм, может быть, с налётом кое-каких либеральных сочувствий, и уж конечно воспитанная всей жизнью и дворянской традицией идея «державности» России не покидала их. Поэтому, например, в романе Юрия Бессонова так понятен тот пароксизм, который вызвали в Колчаке, бесстыдно торгующем родиной, слишком откровенные посягательства иностранцев на русский золотой запас, когда он в истерике кричит, что лучше большевикам отдаст золото, чем своим западным союзникам. Вероятно, сводить всю авантюру Колчака, его «вознесение» и гибель к одному только честолюбию, делать из него какого-то Лжедмитрия всё-таки неверно и неглубоко. Сам по себе этот образ — удача писателя. И хищная обречённость, и чёрствая, металлическая жестокость, и, при всём этом, «интеллигентские» нервы, психопатизм — всё это вполне вероятно в данном случае. Наибольшего успеха, как уже говорилось, достигает Бессонов в эпизодах бегства Колчака, ареста его и расстрела, когда впервые правитель-палач лицом к лицу встречается со своим судьёй — народом, с простыми рабочими «в чёрных засаленных полушубках». И всё же местами чувствуется излишний нажим, образ Колчака приобретает слишком «инфернальные» черты. Таков, например, эпизод, когда Колчак в ночь, на которую, как он знает, назначено большевистское восстание в его «стольном» городе Омске, подходит к окну: «Он ещё раз взглянул на изогнутый над снежной равниной жёлтый серп и... бесцельно определил по выпуклости серпа, нарождается или умирает месяц.

Месяц умирал. Он стоял над белой равниной, изогнувшись буквой «С».

К чему эта «астрология», когда и без того мы видим, что всё могущество Колчака, его всероссийские претензии — это миф, самообольщение. Колчак нужен своим хозяевам — американским, английским и французским банкирам и политикам. И пока он нужен, они готовы помогать ему, поддерживать в нём убеждение в своём особом предназначении, курить ему фими-

ам, но как только оказывается, что колчаковские методы правления не достигают цели, что народ не покорить кровавым террором, хозяева Колчака безразлично отбрасывают его, как битую карту, и готовы платить тому, кто даёт больше гарантий. Ярко показан в романе денежный подхвост заокеанских воротил к «русским делам»; рождается убежденность, что те кошмарные зверства, которые обрушивают колчаковцы на крестьян и рабочих Сибири и которые с таким суровым реализмом воссоздаёт Бессонов, организованы всей мировой реакцией, жаждущей потопить в крови социалистическую революцию.

Метко и верно запечатлены черты военного окружения Колчака и тех политических лилипутских партий, группировок и деятелей, которые поднялись на волне народных движений и тщетно пытались оттолкнуть народ от большевиков. Все эти демагоги, честолюбцы и наёмники — чешский генерал на белогвардейской службе Гайда, французский генерал Жанен, генерал-карьерист Лебедев, лидер кадетов Пепеляев и пустейшие «демократы» из буржуазных партий, чуть что пускающие, как пишет Бессонов, «исторические нюни», — все они показаны во всей ничтожности их исторической роли и, несмотря на яростные, доходящие до пролития крови перепалки их меж собой, в их одинаковости, одинаковой враждебности народу, одинаковой обречённости.

Этой обречённости реакционных сил противопоставлена в романе целеустремлённая и всенародная сила большевизма, движение широчайших масс, возглавляемое коммунистами, громадная сила ленинской правды и разума. В самые апофеозные моменты колчаковского господства, в период временных успехов белых армий, нас не оставляет уверенность в конечной победе Советской власти, пролетарских вооружённых сил. Это особенно чувствуется в таких эпизодах, как чтение помощником Колчака, генералом Лебедевым, в пору высших успехов белой армии донесения о том, что вся Сибирь полна подпольных ячеек, централизованных и неуловимых, руководство которыми идёт из самой красной Москвы, и в эпизоде рабочего восстания в самом «капище» колчаковского режима — в Омске, и в том, что в самую глухую пору подпольщики читают ленинское воззвание, поднимающее Сибирь на Колчака, и в сценах всенародного партизанского движения.

В романе «Восстание» много персонажей. Не все из них выписаны автором одинаково хорошо и тщательно. Рядом с такими удачными образами, как матрос Василий Нагих, крестьянин Егор Матвеевич Федотов и его жена, священник-расстрига Алякринский, «каторжная вдова» Василиса, большевик Лукин и его подруга Ксения, есть характеры, просто не получившиеся целостными и ясными. Таков прежде всего главный (во всяком случае, фигурирующий в наибольшем количестве эпизодов) герой романа Никита Нестеров. В нём есть привлекательные черты юности, порывистости, горячей преданности делу, но в целом он романтизирован до полной расплывчатости и неощутимости. Здесь не найдены какие-то «границы» характера. В изображении внутреннего мира Никиты автор гораздо менее искусен, чем в обрисовке исторических обстоятельств. Переживаниям Никиты подчас придан налёт манерности и томности, чуждых пареньку с рудников, более подходящих какому-нибудь чувствительному

гимназисту. Герой необычайно влюбчив, экзальтирован, он чаще, чем это делают простые люди, смотрит на звёзды и лобуетя пейзажами...

В романе есть слишком привычные образы и невыразительные сравнения: например, уподобление хода военных действий шахматной партии, а дивизий и полков — фигурам на шахматной доске. Не всегда естествен в романе переход от субъективных представлений героев к объективной картине событий, к необходимой в историческом романе «информации». Есть порой однообразие в формулировках и приёмах.

Думается, однако, что не этими огорчительными частностями характерен роман Юрия Бессонова. Литературные и познавательные достоинства романа весьма внушительны. Своими лучшими главами он не уступает многим заслужившим большую известность произведениям о суровых годах, о днях и ночах великих битв за социалистическую Россию.

М. ЩЕГЛОВ.

★

## Завоёванное право

У нас много и хорошо переводят зарубежных поэтов, но, за редкими исключениями, переводы эти оставались на страницах журналов или в немногих случаях печатались в редко выходящих антологиях. Следовательно, и критика не давала сколько-нибудь детального разбора творчества отдельных переводчиков, и хорошо, если вообще упоминала о них. Следовательно, и читателю трудно было судить о творческом лице даже лучших наших мастеров перевода, одним из которых по праву считается В. Левик. Поэтому отраден самый факт выхода в свет сборника, дающего представление о переводческом творчестве В. Левика. Читатель давно знает и всегда хорошо принимал его работы. Без сомнения, хорошо принята будет и рецензируемая книга. Однако в ней собраны переводы не просто хорошие, но по-своему и псучительные позволяющие ставить общие вопросы переводческого мастерства.

Правда, всякому, кто слышал на вечерах чтение В. Левика, кто помнит ранее напечатанные его стихи, сразу бросается в глаза, что книга далеко не полно отражает его

переводческую работу. Так, помещены далеко не все переводы из Мицкевича, мало переводов Бодлера, совсем нет Верлена, нет Кольриджа, нет Шелли, нет современных авторов. И всё же, несмотря на явную неполноту, только теперь, когда хотя бы часть переводов Левика собрана вместе в одной книге, читателю становится ясно, какую большую и ценную работу проделал переводчик и как своеобразно его творческое лицо.

Есть переводчики всеядные. Сегодня они переводят одно, завтра — другое, прямо противоположное по духу и манере, и всех авторов переводят с подстрочника и всех на один лад. Этого никак не скажешь о Левике. Как правило, он переводит с подлинника. У него широкие и разносторонние интересы, ему свойственна творческая гибкость — неотъемлемое качество настоящего переводчика, но у него есть определённый круг переводимых им авторов, и для каждого из них В. Левик каждый раз находит совершенно особое поэтическое выражение. Может быть, только в Ленау иногда чудятся то интонации Гейне («Три цыгана»), то чужеродные языковые обороты («Ниагара»).

«Из европейских поэтов XVI—XIX вв.» Переводы В. Левика. Редактор Н. Банников. 456 стр. Гослитиздат. М. 1956.

В. Левик не только талантливый переводчик, он в то же время живописец, и в его работе наглядно видишь, как одно искусство обогащает другое. Не говоря уже о пластичности и конкретности видения, В. Левик, как живописец, по собственным его словам, учился смотреть на натуру широко, единым взглядом охватывать её всю в целом, не разбивая целостно воспринятый образ излишним вниманием к несущественным деталям. Для переводчика счесь важно выработать эту способность целостного восприятия, о чём забывали некоторые, иной раз и талантливые, переводчики двадцатых и тридцатых годов.

Многие переводы того времени грешили слепым копированием синтаксического строя чужой речи, отдельные слова были наглухо прикованы к тем же местам, что и во фразе оригинала, и получались слова не на месте, неверные интонации, не живая связь, а мёртвые пути. Перевод превращался в своего рода петлю, душающую попавший в него подлинник. А бедь читателю нужна не мёртвая добыча переводчика, а новая жизнь подлинника, воссозданного переводом в органичной динамике нашей поэтической речи.

Как прекрасною с мужчиной  
Половиною — жена,  
Так прекрасной половиной  
Нашей жизни — ночь дана.

Так переведена была в тридцатых годах одна из строф «Филины» Гёте. Переведите все слова подлинника отдельно, сложите их по грамматическим правилам, и в сумме вы не получите даже осмысленной копии оригинала, не то что произведения искусства. Приведённый выше натуралистический перевод «Филины» так же неспособен полностью воссоздать подлинник, как и импрессионистический перевод, который навязывает читателю произвольно выбранные слова и образы. Трудно не то что поэтически воспринять, но даже просто понять этот «точный» перевод. Посмотрим то же место в переводе Левика:

Полно петь, слезу глотая,  
Будто ночь длинна, скучна'  
Нет, красотки, тьма ночная  
Для веселья создана.

Коль прекрасной половиной  
Называют жён мужья,  
Что прекрасней ночи длинной,  
Половины бытия!

Подстрочник — это не только прозаическое изложение стихотворного подлинника. Зарифмованным подстрочником, своего рода полуфабрикатом, можно назвать всякий пассивный, неосмысленный или ремесленный перевод. Мастерство противостоит такому зарифмованному подстрочнику, и мастерство это бывает очень разное. Непременные предпосылки мастерства — это правдивость, сила и яркость выражения, чувство меры, вкус и безошибочная хватка, передающая основное и главное в подлиннике. Так же обязательно и трудноуловимое «чуть-чуть» — этот неотъемлемый признак подлинного искусства. И, может быть, больше всего пленяет мастерство тогда, когда оно лишено видимых следов каких-либо усилий, когда есть в нём прозрачность и лёгкость, не в ущерб глубокой трактовке поэтических образов и мыслей. В. Левику свойственны именно эти черты переводческого мастерства. Его переводы отличает почти безошибочное чувство формы, ему удаются формально блестящие произведения высшей трудности. Однако не только они. Недаром так хорошо перевёл он скромное и содержательное стихотворение Ленау «Форма»:

Если форма и готова,  
Знай, поэт, стихи пусты  
До тех пор, покуда ты  
Мыслью не наполнил слово.

Есть слова — как облаченье,  
Под которым тела нет.  
Сердце дрогнет им в ответ,  
Но, увы, лишь на мгновенье.

Неподобие трещотки  
Стих по рифмам застучит,  
И, хоть он мастеровит,  
Жалок век его короткий.

Про самого В. Левика никак не скажешь, что стих его просто «мастеровит», это стих настоящего мастера, который к тому же знает, что дух подлинника может быть передан только всей полнотой средств нашего языка, всем богатством выразительных средств нашей поэзии.

Левик-переводчик многим обязан своему поэтическому таланту, но немаловажное значение имело и то, что он направил свой талант по пути реалистического развития нашего художественного перевода. Реалистическое искусство не слепая копия с природы и жизни, а творческое их отражение и воссоздание, — и это справедливо по отношению ко всем видам искусства.

Если от перевода художественного произведения мы требуем сейчас, чтобы он сам был тоже произведением искусства, то можно ли сводить художественный перевод к слепому копированию подлинника? Иногда перевод сравнивают с исполнением музыкальных произведений, но там нотная ткань остаётся одинаковой повсюду; исполнители в разных странах добавляют от себя лишь соответствующую трактовку; напротив, в переводе дело осложняется тем, что сама языковая ткань, подлежащая переводу, иная в каждой из литератур.

Секрет художественного перевода в том, чтобы, может быть, и не теми же, но строго рассчитанными словами и средствами дать тот же эффект, выplatить читателю ту же сумму, хотя, может быть, и иной монетой, да кроме того, дать не просто сумму, а произведение. При этом приходится основное внимание обращать на главное, по возможности сохраняя характерные частности, а замены, если они потребуются, давать в том же ключе и тоне так, чтобы они не только не дисгармонизировали, но и не казались безразличным, нейтральным довеском. Если при этом удастся передать правду подлинника — не формально, а творчески, — тогда такой перевод можно считать удовлетворяющим требованиям реалистического искусства.

Показательным примером реалистического подхода к подлиннику может служить перевод В. Левиком байроновского «Беппо». В таком произведении, как «Беппо», особенно важно сохранить верность общего тона и интонации, свободное дыхание, непринуждённое движение стиха с характерными для Байрона беспрепятственными отступлениями, наконец, самый язык «Беппо»: гибкий, выразительный и необычайно конкретный, для передачи которого больше, чем где-либо, нужна прозрачная ясность и лёгкость. В переводе В. Левика много бесспорно хорошего и даже блестящего. Вот, например, величавый облик венецианки:

Венецианка хороша донныне:  
Глаза как ночь, крылатый взлёт бровей,  
Прекрасный облик эллинской богини,  
Дразнящий кисть мазилки наших дней.  
У Тициана на любой картине  
Вы можете найти подобных ей  
И, увидав такую на балконе,  
Узнаете, с кого писал Джорджоне.

А рядом — насмешливый портрет английской мисс:

Хоть мисс, как роза, свежестью сверкает,  
Но неловка, дрожит за каждый шаг,  
Пугливо-строгим видом вас пугает,  
Хихикает, краснеет, точно рак.  
Чуть что, смутясь, к мамаше убегаёт,  
Мол, я, иль вы, иль он ступил не так.  
Всё отдаёт в ней нянькиным уходом,  
Она и пахнет как-то бутербродом.

Но нас сейчас интересует не бесспорное, а по необходимости дискуссионное. В стихотворном переводе, да ещё такой трудной строфической формы, как октава, не обойтись без некоторых потерь. Педантичный турист, привыкший глядеть на всё глазами своего «Бедекера» (висит картина на месте, и ладно, а какая она — неважно), мог бы расценить как потери и некоторые частности в переводах В. Левика. Возьмём, например, строфу 41:

Но пусть грешит Италия по моде!  
Прощаю всё пленительной стране,  
Где солнце каждый день на небосводе,  
Где виноград не лепится к стене,  
Но пышно, буйно вьётся на свободе,  
Как в мелодрамах, верных старине,  
Где в первом акте есть балет, и задник  
Изображает сельский виноградник.

Тут есть досадные на первый взгляд утраты: исчезли некоторые имеющиеся в подлиннике детали: то, например, что виноград «прикреплён гвоздями к стене», что представление «собирает массу народа», что декорации «скопированы с виноградников южной Франции». Иной педантичный читатель-турист поставит это в вину переводчику. Но ведь основной образ тут не Прованс и не гвозди, а пленительный облик Италии, конкретный образ, без воссоздания которого ни к чему и детали, сами по себе, может быть, и любопытные. Ведь художественный образ, как известно, — это не просто механическая комбинация признаков или определяющих понятий. По природе своей, как соединение «далековатых вещей», образ, помимо суммы признаков, должен обладать ещё неким множителем, впечатляющей взрывчатой силой. Можно затолкать в перевод все детали, а они останутся в нём лишь словесным мусором или водой, от которой отсыреет пороховой заряд. В переводе В. Левика нет инвентарной описи стен и гвоздей на стене. Где они? — возопит педант. Но бог с ними, с гвоздями, если в переводе мы увидели то, что видел автор подлинника, создавая эти строки.

К сожалению, перевод В. Левика тоже не без «гвоздей» в такой, например, фра-



зе, как: «Рыба — гвоздь питастья» (строфа 6). По-английски у Байрона это сказано проще и конкретнее, да и русский идиом в данном случае не бог весть какая находка.

Уязвимой, с точки зрения педанта, может показаться и строфа 66, передающая суждение Лауры о своих приятельницах на карнавале:

...Лаура пьёт

И взором всех критическим обводит,  
Своих подруг ужасными находит.

У той румянец жёлтый, как шафран,  
У той коса, конечно, накладная.  
На третьей — о безвкусица! — тюрбан,  
Четвёртая — как кукла заводная.  
У пятой прыщ и в талии изъян.  
А как вульгарна и глупа шестая!  
Седьмая... Хватит! Надо знать и честь!  
Как духов Ванно, их не перечесть.

Байрон в этой строфе осуществил поистине *tour de force*, в шести строках осязательно охарактеризовав восемь приятельниц Лауры. У Левика приятельниц Лауры семь вместо восьми, приметы их свободно перегруппированы, но зато слышишь живую интонацию самой Лауры и видишь каждую из её подруг, и в обрисовке их нет ни одной лишней или фальшивой черты. Не воспроизведена в точности цитата из «Макбета», но эмоциональный жест и смысл переданы безошибочно в духе общего лёгкого тона всей поэмы, с вполне понятным обозначением источника цитаты («духи Банко»), тогда как при точном цитировании потребовалась бы сноска, указание на автора, на произведение. При таком громоздком привеске что осталось бы от лёгкой, искристой шутки оригинала? А сейчас вся строфа, живая, улыбчивая, сама опровергает упреки педанта и утверждает право переводчика на обоснованный отбор.

Ещё уязвимее, и, пожалуй, не только с точки зрения всё того же педанта, одна строка из строфы 44, в целом чрезвычайно удачно переведённой и дающей сравнительную характеристику языков итальянского и английского:

Люблю язык! Латыни гордый внук,  
Как нежен он в признаньях

сладострастных!

Как дышит в нём благоуханный Юг!  
Как сладок звон его певучих гласных!  
Не то что наш, рождённый в царстве вьюг  
И полный звуков тусклых и неясных,  
Такой язык, что, говоря на нём,  
Мы харкаем, свистим или плюём.

Здесь опять-таки есть утрата: у Байрона итальянский язык назван «незаконным сыном» латыни (*bastard*). Жалко утраченной детали потому, что это существенная черта в характеристике главного определяемого явления. Жалко тем более в данном случае, когда байроновское определение могло бы быть передано одним удачно найденным словом или даже одной буквой («Латыни гордой внук» — в последнем случае дистанция была бы подчеркнута возвышением латыни). Но опять-таки строфа эта всем своим звучанием перекрывает одну неверно взятую переводчиком ноту.

Да! Хорошо бы сохранить всё без исключения! Но утраты, к сожалению, почти неизбежны, и переводчику нередко надо решать, чем пожертвовать — малозначительной деталью или силой и конкретностью поэтического образа и мысли. Чем жертвует Левик? Обычно лишь малозначительными деталями. Что привносит Левик? За немногими исключениями, лишь черты, помогающие более полному раскрытию образа.

Если при неизбежности потерь выбирать: либо единство впечатления, либо «полнота», которая это единство раздробляет, — то ли основное, то ли частное (особенно если в первом случае в переводе из деталей сохранено всё «необходимое и достаточное»), то едва ли приходится колебаться в выборе. И, сравнивая перевод В. Левика с подлинником и с предыдущими переводами тех же вещей, видишь, что сохранённое и достигнутое в переводе намного перевешивает частные и несущественные утраты.

Иной раз читательские сомнения надо отнестись за счёт особенностей самого подлинника, вполне квалифицированно переведённого Левиком (таково, например, многословие Лафонтеновой обработки лаконичной притчи «Мельник, его сын и осёл» или перечислительная громоздкость «Церковных витий» Гюго).

Встречаются в переводах Левика и мелкие, частные промахи. Есть они и в «Чайльд Гарольде» (уже отмеченные однажды в печати и оставшиеся в тексте шероховатости) и в удавшейся в целом «Леноре», где некоторые, вероятно вполне нормальные для немецкого слуха, звукоподражания по-русски выглядят вовсе не страшными, как того требует весь тон поэмы, а скорее несколько пародийными. Например:

И свистнул бич, и, гоп-гоп-гоп,  
Уже гремит лихой галоп

Или:

И сброд нечистый, хуш-хуш-хуш,  
Вослед помчался с треском.

Или:

Взгляни, взгляни: гремя, звеня,  
Гугу! свершилось чудо!

К сожалению, читательский счёт переводчику не исчерпывается подобными шероховатостями. И в его превосходном переводе «Беппо» есть всё-таки отдельные места, где смысл не доведён до полной ясности, где упущены некоторые важные исторические или интересные бытовые детали. Поэтому, может быть, ещё рано считать некоторые строфы данного сборника окончательно устоявшимися. Доработать их переводчику будет нетрудно. Было бы желание, а найденная им поэтическая основа обеспечивает успех.

Хотелось бы только, чтобы переводчик не успокаивался на достигнутом. Простое и энергичное повествование некоторых авторов требует такого же выражения его в переводе, такой же прямой, непосредственной работы слова и стиха. Это и находишь у В. Левика в его переводе «Чайльд Гарольда» или петербургских фрагментов Мицкевича (последние, к сожалению, совсем не представлены в данном сборнике), и хотелось бы, чтобы переводчик развивал и укреплял именно эту, не всегда в равной мере проявляемую им сторону своего дарования.

А возможности Левика-переводчика очень широки. Например, в переводах одного лишь Ронсара Левик даёт почувствовать и пленительное изящество стихов о боярышнике:

Мой боярышник лесной,  
Ты весной  
У реки расцвёл студёной,  
Будто сотней цепких рук  
Весь вокруг  
Виноградом оплетённый.

И озорную улыбку Венеры, приведшей к Ронсару маленького Амура:

«Ронсар, возьми-ка, старина,  
Мальчишку вырастить поэтом...» —

а мальчишка, глядя, сам обучил поэта.

И величие поэтического подвига Ронсара:

Тогда для Франции, для языка родного,  
Трудиться начал я отважно и сурово.

А дальше в возможностях переводчика оказываются ирония и вместе с тем лиризм Гейне и Ленау, и вдумчивая, но по-своему простая глубина таких стихотворений, как «Томление» Гёте, и лёгкость «Беппо».

В. Левик работает много и упорно. Он завоевал право не только на книгу своих переводов. Ещё важнее то, что он вообще завоевал для себя право вести творческий разговор с такими собеседниками, как Гёте и Байрон, Ронсар и Мицкевич; а вместе с тем — право на переводческую свободу в самом высоком и строгом смысле этого обязывающего понятия.

Иван КАШКИН.

★

## Поиски и находки

Пьеса Александра Володина удивляет своей непринуждённостью. Она даже слегка шеголяет непритязательностью языка и свободой композиции. Она порой нарочито небрежна. Так она и названа — «Фабричная девчонка». Читатели и зрители будут поражены. За последние годы они привыкли встречать на афишах заглавия пьес многозначительные и завлекающие: «Годы странствий», «Вечно живые»... Читатели и зрители привыкают к тому, что основную свою мысль драматурги утверждают многократно — в заголовке, в действии, в комментариях, в монологах. Её

освещают боковые линии, её формулирует финал. Никто не усомнится в проблемности таких пьес, но можно ли безоговорочно поручиться за их естественность? Логика драматического действия осуществляется в них порой за счёт человеческой свободы. Разные события наполняют годы, на протяжении которых происходят странствия героев А. Арбузова, но к третьему акту убеждаешься, что постулки, мысли, чувства и слова этих героев текут только в одном русле. Общая этическая тема насильственно объединяет разноречивые эпизоды и характеры драматической элегии В. Розова. Пьеса С. Алёшина «Одна» — вдумчивая и тонкая, но порой кажется, что это диспут, а не пьеса, с такой преднаме-

А. Володин. Фабричная девчонка. Пьеса. Журнал «Театр» № 9 за 1956 год.

ренностью, даже софистической ловкостью чередуются её «выстроенные» диалоги и сцены. Поэтому радуется «Фабричная девчонка» — пьеса живая, оваянная воздухом действительности.

Её герои не решают трудных задач, над которыми безуспешно бьются персонажи многих других пьес. Девушкам Володина, увы, не приходится выбирать между двумя поклонниками, символизирующими добро и зло, они, быть может, и рады бы изведать эти жгучие моральные противоречия, но судьба не сделала им подарка, а Володин — драматург неопытный, автор первой пьесы — об этом не позаботился. Если есть вопросы, которые волнуют его героев, то они подсказаны самой жизнью, как подсказан ею, например, вечный вопрос — что такое настоящая любовь и как надо любить? Вспоминается Маша из «После бала» Погодина — у «фабричных девчонок» те же сомнения и тревоги, такой же независимый вид и трепетное сердце. Герои Володина ссорятся и помогают друг другу, они задумываются о будущем, некоторые раскаиваются в своём прошлом, совершают грубые ошибки и благородные поступки, они часто, даже слишком часто, танцуют и поют — словом, они живут такой полной, хотя и безыскусной жизнью, что, кажется, с завистью смотрят на них персонажи морально-лирических драм. Правда «Фабричной девчонки» — это прежде всего правда непосредственного наблюдения.

Конечно, в пьесе есть и внутренняя тема, она не подчиняет себе частности, но, напротив, проявляется в них. Автор «Фабричной девчонки» ненавидит лицемерие. Он бичует — и это точное слово — равнодушные к интересам и личности рядового человека. Две тенденции борются в пьесе. Неумный секретарь комитета комсомола Бибичев заботится лишь о фасадах и отчётах. Он жрец мнимых показателей. Он всё может сделать скучным и сухим, а в конечном счёте — жестоким и губительным. Он устраивает нелепые лекции, «организует» несправедливый фельетон. С тупой методической настойчивостью он калечит жизнь Жени Шульженко. А Женья, фабричная девчонка, беспокойно добивается правды. Её натура романтически требовательна. Комсомольская горячность, молодая честность и порыв — в этом суть её характера. Пьеса рисует положение парадоксальное: отрицательное принимает облик положительного

и наоборот. Бездушный чиновник руководит молодёжью, искренняя и чуткая девушка объявлена примером аморального поведения. Несоответствие видимого и сущего продолжается и в других характерах, оно продолжается и в деталях и даже в оформлении сцен. Но в этом не чувствуется авторского произвола: «Фабричная девчонка» — не пьеса искусственных проблем, а пьеса жизненной проблематики.

Бибичев обесценивает истины, которые пытается проповедовать. Он их компрометирует. Молодёжи он приносит страшное зло. Каждый из героев пьесы поступает по-своему: одни лицемерят, другие протестуют. Женья Шульженко попадает в положение сложное: враг её неуязвим, он прикрывается правильными лозунгами. В конце концов торжествует подлинная, а не мнимая принципиальность. Коллектив фабричных девчонок проявляет и человечность и мудрость не благодаря, а вопреки секретарю комсомола и мастеру цеха. Но если бы Женья действительно стала такой, какой её изобразили в фельетоне, виноваты были бы бибиचेы. Это мысль острая и точная: лжецы формируют циников. Володин не первый открыл противоречия, которые создали конфликт его пьесы, — серьёзные раздумья о воспитании и воспитателях проходили в очерках и статьях, повестях и фильмах. Но впервые тема раскрыта с тем пристрастием к правде и верой в неё, которые отличают не только героиню, но и автора «Фабричной девчонки». Впервые она выражена с убедительной художественной щедростью.

Мы не знали недостатка в бытовых пьесах, закипающие чайники на нашей сцене мирно уживались с торжественными речами. Но мы давно уже не видели в жанровых мотивах обобщённого смысла и подводного течения. Быт являлся только украшением, чаще всего неловким и ненужным, он был условным и умильным. У Володина в повседневных мелочах зреют и проявляются характеры. Быт его пьесы рождает конфликты и придаёт неразрешимость страстям. Любовь боится дурной молвы. Дерзость возлюбленной сталкивается с презрением матери. В ответ на предложение руки и сердца девушка показывает фотографию внебрачного ребёнка. Старая песенка о фабричной девчонке, загубленной неведомым красавцем, наполняется драматической силой и горечью. Как говорил Чехов, «люди обедают, только

обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни». «Фабричная девчонка» — пьеса трудная для постановки. Только на первый взгляд она кажется выигрышной. От режиссёра и исполнителей она требует проникновенности.

Может быть, она требует и спора. Иногда Володин позволяет себе писать приблизительно. Согласно ремаркам автора на танцевальном вечере атмосфера «особая», перенасыщенная тревогами и радостью, обидами и надеждами. Если бы это было так! Завсегдатаи танцулек в клубах и парках знают, что преобладающие здесь эмоции — томительная скука, однообразные и почти всегда напрасные ожидания, нехитрое напускное бахвальство, чувства, знакомые, между прочим, и Жене Шульженко. Таких неточностей в пьесе много. Водевильная пара — девушка в футболке и парень в очках — пришла из какого-то другого произведения. Бибичев утомителен не только для героев пьесы, но иногда и для читателей — у него чересчур однообразная интонация. Возможно, остроумный актёр сумеет высветить иные грани образа, но во всяком случае этому актёру можно посочувствовать — он в худшем положении, чем его коллеги; прочие герои и особенно героини богаче и интереснее.

В пьесе действуют люди, которых мы знаем в жизни, но на сцене не встречали давно. Надюша — добропорядочная и ласковая. Она осудит лишь за глаза, скорее всего она тактично промолчит. Она со всеми мила, в этом её нехитрый расчёт. Она врёт свободно и искренне. Беспокойство, нетерпение и жадность владеют её пустой душой. Она не может схватить ускользающее счастье, она даже лирична в своём эгоизме. Ирина — молчаливая и неловкая, строгая в понимании долга и чувства, беззащитная в преданности далёкому любимому. Лёля — человек, который молчит о самых важных своих интересах. Она скрывает заветные переживания, и потому её жизнь — постоянный компромисс, хотя характер Лёли прямой и твёрдый. Жёня —

обаятельная и азартная. Она во всём победительница — на работе и в танцах, в нарядах и в любви. Но она всегда не удовлетворена. Она жила бы легко, если бы не её пылливость и насмешливость. Душевная и участливая, она кажется озорной и бесшабашной. У каждого образа пьесы своя серьёзная тема, но раскрывается она в аспекте комедийном.

«Фабричная девчонка» — пьеса весёлая; у Володина счастливое свойство замечать смешное и мягко, без нажима, его воспроизводить. В беседе о семье и браке Лёля даёт «определение любви»: «Физическое влечение при единстве культурных и общественных интересов». Любовное признание Бибичева: «Я знаю, у тебя нет ко мне сильного чувства, но, помнишь, ты сама говорила: «Любовью дорожить умейте!» Федя предлагает тост: «Я уезжаю, а Жёня остаётся. Она мой друг, кто её обидит, будет иметь дело со мной, с курсантом Краснознамённого Балтийского флота». Нина успокаивает Федину мать, которой не нравится Женька: «Коллектив может поручиться. Вот у нас в пионерском лагере одна девочка воровала прямо из тумбочек! Её хотели исключить, а мы всем отрядом за неё поручились. И всё — больше ни разу не повторяла». Володин улыбается наивности юных героев, запальчивости Жени Шульженко, но он язвительно смеётся, когда в нелепое положение попадают болтуны и лицемеры. Юмор пьесы того же происхождения, что и её драматизм. Он раскрывает несоответствие парадной видимости и житейской реальности. Здесь богатые возможности и для смеха и для слёз. Володин их использует. Различные эмоции переливаются, спорят, причудливо соседствуют друг с другом, — диалогу это придаёт остроту, а действию — живую атмосферу. «Фабричная девчонка» — нежная пьеса, но одновременно сатирическая. Это пьеса о печальных событиях, а финал её оправданно счастливый. Пьеса Володи-на полна надежд, которым непременно суждено сбыться.

**М. АЛЕКСЕЕВ.**

## Душевные люди

Вышел сборник рассказов В. Ильенкова, написанных им в разные годы. В таком объединении есть серьёзный смысл. Оно даёт возможность составить более полное представление об одном из наших мастеров рассказа.

В. Ильенков обладает даром видеть в самой обыкновенной, будничной обстановке людей большой сердечной силы, высоких нравственных качеств, скромной и великой самоотверженности, тех людей, которые, собственно, и определяют все достижения советского народа.

Писатель не ищет чрезвычайных условий, в которых проявился бы характер его героев. Гоголь говорил, что труднее всего писать о простом. Ильенков идёт по этому трудному пути.

Сборник открывается рассказом «Народный комиссар». Народный комиссар — это старик-пасечник, которого в годы гражданской войны односельчане избрали своим «комиссаром по денежной части». Старик хранит многие годы документы — расписки на клочках старых обоев — о расходовании общественных денег. «Вызана пособия вдове Матрёне Козловой на вбитого мужа десять рублей. Народный комиссар Пырь». Тут же и документ о расходе восьми рублей на похороны родного сына, убитого белыми. На четырёх неполных страничках дана и обстановка гражданской войны с частой сменой властей, и образ простого человека, исполненного чувства ответственности перед народом и высокой самоотверженности.

Рассказ этот сделан мастерски. При предельной краткости выразительно передано большое, серьёзное содержание.

В ряде рассказов убедительно раскрываются черты нового быта и сознания, складывающиеся в колхозной деревне. Рассказ «Митрофан и Захарка» написан почти двадцать лет тому назад, но и сейчас он насколько не потерял актуальности. Митрофан находит сумку с общественными деньгами. Соблазн одолевает его. Но вся атмосфера новой деревни такова, что, несмотря на старые инстинкты и соблазны, он возвращает сумку. О деревенском почтальоне Климушке («Бессмертие») автор говорит, что «мир, в котором жил он пятьдесят ше-

стой год, имел в длину пятнадцать километров: на одном полюсе его стояла деревня Заморно, а на другом — станция Веретье». Этот мир Климушки в новые колхозные времена необычайно расширяется. Теперь учительница Надя считает вполне естественным интерес Климушки к вопросам науки; совершенно логичным становится приглашение из города лектора, который рассказывает крестьянам о новейших успехах медицины и биологии.

В рассказе «В степи» пастух Володя в отчаянии от того, что его невеста Наташа уехала в город — у неё есть не только желание, но и все данные, чтобы стать киноактрисой. Но и Володя мало напоминает тех пастухов, которые некогда были самыми обездоленными людьми деревни. Он окончил семилетку и мечтает о техникуме, даже о ветеринарном институте. С этим новым переплетаются иногда ещё остатки старого быта. В том же рассказе дан выразительный образ старого пастуха Капитона с его мрачным представлением о человеческом «шша-астье».

Значительное место занимают в сборнике рассказы о годах войны против фашизма. В них и непомерная тяжесть этой войны, и неслыханная жестокость гитлеровских захватчиков, и горький дым пепелищ, и страдания советских людей и героизм патриотов. Чувство родины необыкновенно обострилось в советском человеке в годы военных испытаний. Боец Мамочкин («Весна») затрудняется сказать, что руководило им, когда он, охваченный необычайным возбуждением, бросился в атаку, и что он хотел выразить в крике, который вырвался из его груди. «...Мамочкин молчал, и щёки его были покрыты густым румянцем смущения, словно Сова расспрашивал его о самом сокровенном, о чём нельзя говорить вслух. Не мог же он рассказывать о запахе можжевельника, о строгих глазах матери, встречавшей его с укоризной и лаской, о весенней холодной воде, леденившей его тело, о Рязанцеве, который помог ему прицелиться в пулемётную амбразуру, о граче, сидевшем вчера на берёзе...»

Лучшим в цикле рассказов о войне является, пожалуй, «Фетис Зябликов». Фетис был брюзга, ворчлив и вечно, казалось, недоволен. И поэтому, когда фашисты заперли двенадцать колхозников в амбаре и требовали, чтобы они выдали деревенских ком-

мунистов, то парторг Вавилыч, перебирая в уме всех и каждого и убеждённый, что никто из колхозников не может стать предателем, с сомнением думал только о Фетисе Зябликове.

С Зябликовым творилось нечто действительно необыкновенное. Он глядел в амбарную щель и видел крышу своего дома и верхушку берёзы над ней, озарённую золотисто-розовым светом заката. И вспомнил свою дочь Таню, которую немцы увезли неизвестно куда... «И только теперь, глядя в щель, Фетис понял, что было у него на земле всё, что нужно для человеческого счастья. И он всё смотрел и смотрел, не отрываясь от щели, тяжело дыша, словно поднимая большой груз».

А когда пришёл фашистский офицер и крикнул: «Коммунисты, выходите!», Фетис Зябликов ответил: «Есть так!» — и вышел вперёд.

И вот конец рассказа: «В радостно-тревожном изумлении глядели на него одиннадцать человек. А Максим Савельевич (один из заключённых, старый колхозник. — М. Ч.) тихо сказал: «Достоин».

Заканчивается сборник несколькими рассказами о днях послевоенного восстановления. И здесь автора привлекают прежде всего хорошие, душевные люди, в которых социалистическое чувство общего блага стало уже преобладающим. Таков врач Воробьёв («Юбилей»), возвращающийся в разорённое войной село, чтобы создать больницу, и башкирская учительница Ранса Мохаммедовна («Богатство»), и Верочка, скромная сотрудница аптеки («Верочка»).

Так определяются некоторые важнейшие черты советского человека, прошедшего исторический путь от гражданской войны до наших дней, — непоказной героизм, скромность, стойкость, самоотверженность.

В. Ильенков как рассказчик идёт от лучших традиций русской классической литературы, в частности, думается нам, от Тургенева. Его не прельщают замысловатые сюжеты, эффектные неожиданности. Читательское внимание привлекается прежде всего правдой характера, реализмом обстоятельств, напряжённостью чувства. Эта правда обстоятельств и характеров определяет и форму. Так совершенно закономерно и естественно возникают впечатляющие концовки в рассказах «Фетис Зябликов» и «Народный комиссар». Здесь ничего надуманного, ничего литературно-навязанного. Сю-

жет получает завершение, вытекающее из логического развития самого образа.

Заметное место в рассказах Ильенкова занимает пейзаж. Он нарисован в подчеркнута скромных тонах, но пронизан чувством сокровенной любви к нашей среднерусской природе, к берёзовой роще на пригорке, которая кажется лиловой от того, что набухли почки, к вкусному дымку, встающему над деревней по утрам, когда хозяйки растапливают печи берёстой.

Герои Ильенкова, в особенности крестьяне, говорят хорошим, выразительным языком, который сам по себе является отличной характеристикой человека. Так, старик пчеловод говорит: «...пчёлка зазря не кусается. Правильная насекомая. С ней надо лаской жить, вежливо. И чтоб ничем не пахло. А тут кругом нефтью воняет, дымом, она и волнуется».

— Нефть понимает? — удивился сцепщик.

— Не то что нефть, а ежели ты, скажем, выпизший, то к улюю не подходит.

— Ишь ты! Пьяных не любит, значит?»

Не все рассказы сборника (их тридцать пять) одинаково хороши. Иногда стремление к сжатости и краткости мешает убедительному раскрытию образа. Так, в рассказе «Цена человека» чувствуется некоторая недосказанность, хочется видеть людей в кульминационный момент событий, но автор обошёл его. Иногда рассказ из-за некоторой сюжетной незаконченности кажется скорее очерком (например, «Миллионер»). В другом случае автор как бы отступает от своих же принципов и нагнетает такое количество событий, которое явно мешает развитию основной сюжетной линии («Бесмертие»). Несколько надуманными, натянутыми в психологическом отношении представляются рассказы «Второе дыхание», «Сын», «Огонь». На этих рассказах лежит печать спешки военного времени.

Жанр короткого рассказа в последние годы имеет заметные достижения. Появился ряд молодых талантливых новеллистов. Этому можно от души порадоваться. Ведь у рассказа вследствие некоторых его особенностей — оперативности, небольшого, удобного для быстрого чтения размера — пожалуй, наиболее широкий круг читателей.

Думается, что один из старейших мастеров советского рассказа Василий Павлович Ильенков многое сделал для развития этого трудного, но благородного жанра.

**М. ЧАРНЫЙ.**

## Рассказы и повести И. Ефремова

В книгу И. Ефремова вошёл ряд произведений, уже знакомых читателю и пользующихся его заслуженным расположением.

Через много лет после появления «Аэлиты» и «Гиперболоида инженера Гарина» А. Н. Толстого советская научная фантастика вновь смело и уверенно вошла в «большую литературу» рассказами И. Ефремова. Один из крупнейших наших учёных-палеонтологов, И. Ефремов создал новый для нашей литературы жанр научно-фантастической новеллы и показал себя отличным мастером этого жанра.

М. Горький говорил о плодотворности «спаренной езды» писателя и учёного при работе над литературными произведениями, основанными на научном материале. Ещё удачнее получается, когда художник слова и учёный сочетаются в одном лице, как В. К. Арсенев или (в области фантастики) В. А. Обручев. Кто может глубже проникнуть в творческую лабораторию учёного, чем он сам? Такое сочетание оплодотворяет творчество писателя, позволяет ему с наибольшей компетентностью, а следовательно, с максимальной силой и убедительностью создать обобщающие образы людей науки, исследователей, поднять на принципиальную высоту изложение научной проблемы, сплавить в монолитное целое вымысел с достоверностью.

К этой не часто встречающейся категории писателей и принадлежит И. Ефремов.

Научные проблемы его рассказов порой условны. Так, в «Озере Горных Духов» повествуется об открытии ртутного озера, в «Бухте радужных струй» — о находке целебного «дерева жизни», секрет благотворного действия которого остаётся неразъяснённым. Зато в других рассказах, как «Алмазная труба», сюжет построен на точных научных данных. Такие рассказы иногда являются пророческими. И. Ефремов в «Алмазной трубе» на основании анализа строения почв предсказал открытие месторождения алмазов в Сибири.

Но научный материал — только один из элементов научно-фантастического произведения, хотя и характерный для этого жанра. Так как научная фантастика — полноправный жанр художественной литерату-

ры, то какой бы научный материал ни был включён в произведение, оно будет неполноценным, если образы фигурирующих в нём людей будут бледны, схематичны.

Герои рассказов Ефремова — интересные люди. Они привлекают своей активностью, целеустремлённостью в творческих поисках. Обычно это учёные, исследователи, ставящие перед собой важные и трудные задачи и добывающиеся разрешения их в упорной борьбе с препятствиями.

Подобные герои близки советскому читателю, к какому бы жанру ни относилось произведение. Рисовать таких людей трудно, но это благодарный труд для писателя: ведь человеческий характер ярче всего раскрывается в борьбе с препятствиями.

В научно-фантастической литературе сюжет строится на постановке и разрешении научной проблемы, и конфликт и преодоление препятствий вытекают из борьбы за разрешение этой проблемы. Это накладывает определённый отпечаток на героев научной фантастики, определяющий «специфику» жанра. Герой научно-фантастического произведения — носитель мощи разума, человек, который прокладывает новые дороги в науке или смело идёт по пути, едва намеченному его предшественниками, открывая новые горизонты, за которыми чувствуется большая цель. Образ его должен заражать читателя стремлением к раскрытию ещё не познанных тайн природы, воспитывать уважение и любовь к науке, дающей человеку власть над природой. Несомненно, что рассказы Ефремова вдохновят новых энтузиастов, исследователей. Они будут, как Никитин в рассказе «Тень минувшего», разгадывать тайны давно минувших эпох, обнаруживать богатства земной коры («Обсерватория Нур-и-Дешт»), пылливо рыться в старинных рукописях («Встреча над Тускаророй»).

В рассказах Ефремова показан сложный ход исследовательской мысли учёного, что очень важно для всякого научно-фантастического произведения. Но есть в них и нечто характерное именно для советской фантастической литературы: исключительное высокие побуждения, которые руководят его героями. Если у Жюль Верна храбрый профессор Лиденброк отправляется к центру земли, движимый преимущественно

личным честолюбием и боязнью, чтобы его кто-нибудь не опередил, а Мишель Ардан летит на Луну главным образом из любви к приключениям, если даже гуманист капитан Немо не находит себе места среди людей и умирает одиноким отшельником, то герои Ефремова работают в коллективе, отдают все свои способности, рискуют собой, чтобы обогатить человечество новыми знаниями, сделать жизнь полнее и радостнее, — стремятся к счастью и богатству своей Родины.

Наиболее удачный образ среди героев Ефремова — Усольцев из рассказа «Белый Рог». Скромный, сдержанный в выражении своих чувств и в то же время как бы светящийся внутренним светом вдохновения, Усольцев вызывает горячее сочувствие читателя, с глубоким волнением переживающего все перипетии его опасного подвига. Вершина «Белый Рог» считается недоступной, но, чтобы обнаружить месторождение ценного минерала, необходимо добыть с этой вершины кусок породы. Добравшись туда с невероятными усилиями, Усольцев уносит с собой золотой меч, некогда оставленный богатырём, достигшим вершины, и взамен оставляет свой геологический молоток. Этот символ замены боевого оружия орудием мирного труда придаёт рассказу глубокий смысл.

В сборник вошли также две повести из античной жизни — «Путешествие Баурджеда» и «На краю Ойкумены». Это историческая фантастика, основанная на документальных данных. На первый взгляд кажется, что автор даже несколько злоупотребляет документальностью — многочисленными сносками, ссылками и пояснениями. Однако в сочетании с увлекательным сюжетом сноски эти придают повестям очарование достоверности. Но главное достоинство повестей в том, что писатель умеет привлечь к судьбам изображаемых людей не только внимание читателя, но и его сочувствие. Египтянин Баурджед, дерзнувший противопоставить непреодолимой, жестокой власти фараона свой гуманистический жизненный идеал, воспринимается как реальное, духовно близкое нам лицо. Глубоко волнует судьба талантливого художника, грека Пандиона, которому довелось испытать необычайные приключения и чудовищные страдания и который вышел из них обогащённым жизненным

опытом, оплодотворившим его творчество, приобрёл бесценный дар — чувство дружбы, товарищества с разделившими его участь страдальцами и храбрцами.

Порой, однако, создаётся впечатление, что автор, утомившись в трудной борьбе с сопротивлением материала и спеша к финишу, сворачивает на обходную тропу, менее крутую, более лёгкую, и тогда сразу пропадает ощущение правдивости обстановки и людей. Тогда, например, негр Кидого, один из друзей Пандиона и его соратников в борьбе за освобождение от рабства, вдруг начинает говорить современным книжным языком: «...Я буду с вами в моих мыслях. Вы уходите навеки от меня, вы, ставшие мне дороже жизни... Я буду верить, что когда-нибудь люди научатся не бояться просторов мира. Моря соединят их...»

То же происходит и в эпизоде, где один из вождей племени, один из «главных учителей слонов», также переходит на наш современный язык — и сразу исчезает колорит эпохи.

В творчестве облегчённость всегда непримиримо враждует с достоверностью. «Бухту радужных струй» портит случайный случай, совпадение, помогшее герою разрешить свою задачу. В «Белом Роге» Усольцева спасает ветер, поддержавший его (в буквальном, физическом смысле слова) в опаснейшем месте. Между тем направление этого ветра было неизменным в определённые дни. Если бы Усольцев знал и учитывал это, его предприятие, при всей опасности, было бы обосновано. Но он этого не знал. Значит, он шёл, собственно, на верную смерть, и удача оказалась неожиданным для него выигрышем. Получается авантюра, хоть и героическая. Она противоречит замыслу автора, ибо прекрасный образ Усольцева чужд всякой авантюриности.

Литература о научном, творческом поиске, полная романтики раскрытия тайн природы, — необходимая для наших дней литература. Нельзя сказать, чтобы она была так уж богата. И. Ефремов — один из лучших её представителей. Сборник его произведений, выпущенный издательством «Молодая гвардия», — приятный подарок нашим читателям.

**А. ПАЛЕЙ.**



## Стихи друзей

Хорошая книга — как новый друг. Раскрывать её интересно и радостно. Передо мной небольшая книжка в оранжевом переплёте, на котором изображены пальма и солнце, сияющее над пирамидами. Это «Стихи поэтов Египта». В ней заключён новый для меня, да, вероятно, и для многих читателей, мир, мир новых друзей.

Наступили времена, когда рушатся привычные представления о Египте, как о стране пальм, пирамид и жаркого солнца. Теперь всему миру известно, что там живут смелые люди, борющиеся за свою свободу. Советские люди с восхищением следили за этой борьбой. Эта борьба не прекращается и сейчас. И оттого выход в свет сборника стихов египетских поэтов особенно своевременен, особенно интересен для советского читателя.

Разные поэты и разные люди стоят за строчками стихов, напечатанных в сборнике. Читая их стихи, понимаешь, что в далёкой стране, так мало похожей на нашу, в стране, где никогда не бывает снега, нет берёз и осенних дождей, живут люди, понятные и близкие нам, с такими же мыслями и чувствами и непобеждаемой любовью к свободе.

Трудно пересказать тот большой круг тем, который затрагивают поэты Египта в своих стихах. Они пишут о тяжёлых годах рабства, о войне, убившей много сыновей Египта, о верности родине, о труде простых людей, о древней египетской культуре, которую веками душили «цивилизованные европейцы», о дружбе, о любви.

Что же объединяет их стихи, очень разные по своим мыслям, форме, наконец, поэтическим достоинствам? Мне кажется, что это любовь к своей родине, любовь, которая стала ещё сильнее, когда исполнились самые смелые надежды народа, когда Египет обрёл свою независимость.

Знаю: смотрит весь мир, как с колен я  
встаю,  
Как я сам создаю в мире славу свою.

Этот отрывок из стихотворения Хафиза Ибрахима «Египет говорит о себе» можно было бы поставить эпиграфом ко всему сборнику.

«Стихи поэтов Египта». Перевод с арабского. Составление и общая редакция А. Палладина. 399 стр. Гослитиздат. М. 1956.

Все стихи сборника относятся к XX веку, и оттого они полны предчувствием или радостью освобождения. Они по праву могут быть названы песнями борьбы. Поэзия Египта стяхнула с себя «книжную пыль» веков, эстетские одежды и вышла на широкую дорогу борьбы за народное счастье. Поэт Камаль Аммара в стихотворении «Служителю муз» говорит, обращаясь к своим собратьям, что для того, чтобы быть настоящим поэтом, нужно знать жизнь и труд простых людей — рабочего, прачки, портнихи, продавца..

Войди, о поэт, и в наши дома,  
Взгляни, как живём,—для тебя это ново!  
Довольно от жизни прятаться, брат,  
В башне из кости слоновой.

Следует особенно отметить включённые в сборник произведения Ахмеда Шауки, которого в Египте называют «эмиром арабских поэтов». Темы его стихов разнообразны. Поэт пишет о необходимости и важности для человека познания мира («Стремящимся к познанию»), о судьбах родной страны («Судьбы дней»), где он обращается к молодёжи:

Слушай, поколение молодое,—  
Мир широк, сложны его загадки,—  
Перед вами жизнь как на ладони,  
Только жизнь играть не любит  
в прятки...

Волнует его стихотворение «Песнь реке Барада», посвящённое восстанию сирийского народа против французских оккупантов. Но, пожалуй, самое сильное стихотворение Шауки это «Вспоминаю: о Данышвае». Здесь, вспоминая о людях небольшого селения, над которыми английские колонизаторы учинили жестокую расправу, поэт достигает подлинно трагического пафоса. Подборка стихов Ахмеда Шауки заканчивается стихотворением с красноречивым заголовком, как бы подводщим итог всему сказанному поэтом: «Власть народу!»

Большой интерес вызывает творчество поэта Хафиза Ибрахима. Его перу, кроме стихотворения «Египет говорит о себе», принадлежит ещё целый ряд интересных произведений. В стихотворениях «Мы — арабы», «Кончается наше терпенье», «Сущность — богатство моего народа!» и других видна большая любовь к своей родине, её

древней культуре, языку. «Я — арабский язык — океан слов печальных, весёлых, набатных», — пишет поэт.

Теми же чувствами пронизан и цикл стихов Мухаммеда Мохрава ас-Сайида «Для них я пою». Трогательно и значительно, что любовь к родине присутствует и в тех стихах, в которых поэт рассказывает о своей безответной влюблённости, о своих страданиях и радостях. Он обращается к звёздам — и это звёзды Египта, которые кажутся ему чуть ярче, чем звёзды других стран, он обращается к морю, к ветру, к земле, приносящей цветы и плоды, и мы чувствуем, что это сын говорит с матерью.

Египетской поэзии свойственна простота, которая сочетается с большими темами и

пламенным пафосом. Эти особенности очень хорошо переданы в сборнике.

Над переводами работала большая группа поэтов. Стоит отметить удачные переводы А. Голембы, Л. Озерова, М. Ваксмахера.

С уважением и горячей симпатией относятся советские люди к свободолюбивому египетскому народу, который хорошо умеет различать своих друзей и врагов. Изданные в русских переводах «Стихи поэтов Египта» — это руки друзей, протянутые советским людям. Мы чувствуем тепло этого рукопожатия.

А. МАМОНОВ.

★

### Политика и наука

#### Воспоминания о В. И. Ленине

Всякий, кому выпало счастье непосредственно работать с Владимиром Ильичём и учиться у него, с чувством особенного волнения будет читать эту книгу.

В первом томе «Воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине», подготовленном Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и вышедшем в Госполитиздате, помещены воспоминания свыше чем семидесяти человек — деятелей науки, инженеров и техников, рабочих, писателей. Среди этих людей, в разное время и в разной обстановке общавшихся с В. И. Лениным, мы находим имена Голубевой, Лалаянца, Бабушкина, Шелгунова, Сильвина, Кржижановского, Мицкевича, Ганшина и других. Особенно интересны воспоминания родных Владимира Ильича: Анны Ильиничны, Марии Ильиничны, Дмитрия Ильича, Надежды Константиновны. Их рассказы глубоко западают в душу.

Анна Ильинична пишет не только как старшая любящая сестра, но и как друг и единомышленник Ленина. Она рассказывает о его детстве и юности, о том, как формировался молодой Ленин.

Трудолюбивая, с крепкими моральными основами семья Ульяновых, высокообразованный отец Илья Николаевич, любящая, чуткая мать Мария Александровна... Всё

хорошее во Владимире Ильиче было заложено с детства. Все, кто соприкасался с Ульяновыми, высоко ценили эту большую дружную семью честных тружеников-революционеров.

В своих воспоминаниях М. Эссен пишет: «Что это была за изумительная семья! Связанная огромной любовью друг к другу, общностью интересов, подчинившая раз навсегда свою жизнь, свои интересы делу партии, делу революции, это была настоящая семья...»

Анна Ильинична подробно рассказывает об ученических годах Владимира Ильича, помогавшего ей, слушательнице Высших женских курсов, усвоить латынь. Блестящие способности и необыкновенная усидчивость выдвинули Володю Ульянова в число первых учеников гимназии. Он окончил её с золотой медалью.

Шестнадцать лет Владимир Ильич пережил большое несчастье: умер отец, а через год был казнён за участие в заговоре против царя Александра III его любимый старший брат Александр. Вскоре на семью свалилась ещё одна беда: умерла сестра Владимира Ильича — Ольга. Беря пример с матери, которую не сломило тяжёлое горе, Владимир Ильич оставался бодрым и деятельным. Он всё серьёзнее начал продумывать пути освобождения русского народа от царизма и капитализма и усердно пополнял полученные им от брата знания в области революционных учений.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. I. 560 стр. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Госполитиздат. М. 1956.

Анна Ильинична описывает поступление В. И. Ленина в Казанский университет и его активное участие в студенческом движении, направленном против усиления реакции и ограничения свобод. Как известно, царское правительство обрушило на студенчество целый ряд репрессий. Среди арестованных студентов был и Владимир Ильич. При аресте полицейский пристав сказал ему: «Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена». И, как пишет Анна Ильинична, юный Ленин ответил: «Стена, да гнилая, тщи — и развалится». Владимир Ильич был исключён из университета и выслан из Казани.

Анна Ильинична рассказывает и о первых знакомствах Ленина с рабочими социал-демократами: Бабушкиным, Шелгуновым и другими. К тому времени забастовочное движение шло в гору.

В конце 1895 года Владимир Ильич был арестован и более года просидел в тюрьме. Анна Ильинична пишет, что это «сидение» было наполнено кипучей деятельностью. Ленин прочитал уйму книг, много писал, вёл конспиративную переписку. Охранке удалось открыть многое из подпольной работы Владимира Ильича, и его после тюрьмы сослали на три года в далёкое сибирское село Шушенское.

Вынужденное пребывание в глухом уголке России Владимир Ильич использовал для теоретической работы, продумывания путей создания политической партии.

Очень интересно и с большим тактом написаны воспоминания о Владимире Ильиче его жены и соратницы Надежды Константиновны Крупской. Они вместе вспахивали ниву грядущей революции, создавали и растили нашу великую партию коммунистов

Надежда Константиновна — тогда педагог рабочей воскресной школы — рисует яркую картину первых шагов партийной деятельности Владимира Ильича, который вёл занятия в кружках рабочих, и очень точно описывает собрания первых русских социал-демократов. С ними Ленин закладывал основы нашей партии.

Приехав в Петербург, Владимир Ильич сразу же произвёл огромное впечатление на революционную молодёжь. Первые её встречи с Лениным тепло описывает С. Невзорова-Шестернина.

Молодые марксисты собрались в комнате слушательниц Высших женских курсов, чтобы познакомиться со статьёй Германа

Красина о рынке. Впервые туда пришёл и Владимир Ильич, тогда двадцатитрёхлетний молодой человек. Он читал в тот вечер по тетради свои возражения на статью Красина.

«...Все с необыкновенным вниманием слушают, как Владимир Ильич опровергает Г. Красина и некоторых других, возражавших ему, — пишет С. Невзорова-Шестернина. — ...Я видела тогда Владимира Ильича первый раз в жизни. И сразу он принёс с собой что-то яркое, живое, новое, неотразимое».

С. Мицкевич, вспоминая о молодом Ленине, пишет: «...всегда оказывалось, что его мысли, его директивы бывали самыми мудрыми, самыми правильными, ведущими партию и пролетариат к неуклонному росту и к конечной победе».

Все мы, кому приходилось работать под руководством Ленина, чувствовали, что это учитель, которому дороги малейшие успехи его учеников. Особенно Владимир Ильич заботился об идейном росте рабочих-революционеров, учил их и выдвигал на самостоятельную работу.

Задумчивы воспоминания Бабушкина и Шелгунова. В первых петербургских рабочих политических кружках Ленин готовил их для пропагандистской работы, воспитывал профессиональных революционеров.

«Лектор (В. И. Ленин. — *Ред.*), — пишет И. Бабушкин, — излагал нам эту науку словесно, без всякой тетради, часто стараясь вызывать у нас возражения, или желание завязать спор, и тогда подзадоривал, заставляя одного доказывать другому справедливость своей точки зрения на данный вопрос».

Авторы воспоминаний подчёркивают отличительные черты характера Владимира Ильича — его необыкновенную чуткость и отзывчивость. При всей своей занятости он никогда не забывал о человеке. Он думал о людях и заботился о них даже тогда когда ему самому было очень тяжело.

Известный революционер И. Лалаянц сидел в Петербургской одиночной тюрьме. У него в городе не было ни родственников, ни знакомых, и поэтому он не получал ни от кого передач, ни с кем не имел свиданий. У него не было «...ни имени, ни фамилии, а номер, который пришивался к рукаву. — вот и всё».

И вдруг в эту безрадостную жизнь ворвался яркий дружеский луч. Заключённого Лалаянца вызывают с прогулки.

«В чём дело?» — «На свидание». — «На свидание?! С кем?» — «С невестой».

Оказывается, Владимир Ильич, зная о тяжёлом положении товарища, находившегося в тюрьме, разыскал курсистку Высших женских курсов Ольгу Ивановну Чачину и уговорил её стать «невестой» Лалаянца. Так наладилась связь с волей, появились книги, письма, передачи. Жить стало легче.

Заботу Владимира Ильича я не раз чувствовал и на себе. Помню, как-то в дни Краковского совещания членов ЦК с большевиками — депутатами Государственной думы я сидел в комнате Ленина и отбирал нелегальную литературу, чтобы увезти её в Россию. Владимир Ильич, очень занятый в эти дни, обратил всё же внимание на то, что я отложил слишком большое количество литературы, и заботливо предупредил меня, что нужно быть очень осторожным при переезде через границу, чтобы не дать повода жандармам к аресту. Пришлось большую часть литературы оставить.

На том же совещании Владимир Ильич подробно расспрашивал меня о том, как я готовлю леклады, как составляю тезисы для своих подпольных выступлений на рабочих собраниях.

Вспоминаю ещё несколько эпизодов, относящихся к пребыванию Владимира Ильича в Кракове.

Ленин заставлял нас подробно рассказывать о своих семьях, об условиях, в которых они живут. Он подал мысль о том, чтобы делегаты приезжали за границу с семьями. Это дало бы семьям профессиональных революционеров возможность отдохнуть от напряжённой обстановки, в которой обычно они находились в России. Ему казалось возможным приобщить наших родных к политической и революционной работе.

Владимир Ильич старался, чтобы мы не чувствовали себя одинокими в свободное от заседаний время. Как-то, видя, что Ленин очень устал, мы решили оставить его одного и ушли в кафе. Настроение у нас было неважное. И вдруг все радостно заулыбались: в дверях стоял Владимир Ильич. Он узнал, что мы уединились, и пришёл к нам. Мы быстро освободили место за столом. Как хорошо и дружно мы побеседовали в этот вечер!

Помню, перед уходом из кафе Владимир Ильич с грустью сказал нам:

— Жаль, что мы не можем так же от-

крыто собираться у себя в России и так же свободно говорить. Проклятый режим!!!

Владимир Ильич работал всегда с подъёмом, живо, даже, можно сказать, весело. Несмотря на занятость (по выражению Марии Ильиничны Ульяновой, Ленин занимался революцией двадцать четыре часа в сутки), Владимир Ильич любил жизнь во всех её проявлениях.

Он водил нас, делегатов совещания, в театр и музеи. Однажды, идя по настоянию Владимира Ильича в театр, мы уговорили и его пойти с нами. Он внимательно смотрел спектакль, а в антрактах заставлял каждого высказать своё мнение об игре актёров, о содержании пьесы.

Новый, 1913 год мы решили отпраздновать все вместе в складчину. Владимир Ильич принял в этом самое активное участие. Мы собрались в отдельном кабинете небольшого скромного кафе. Все были оживлены и веселы. С нами были Надежда Константиновна Крупская, Инесса Арманд, Лилина (жена Зиновьева), Елена Фёдоровна Рязмирович, Валя Лобова. Пели родные русские песни — «Байкал» и «Дубинушку». Потом захотелось потанцевать. Музыки не было, и мы начали напевать танцевальные мотивы. Кто-то даже заиграл на гребешке. Я танцевал с Надеждой Константиновной вальс и польку. Потом плясали русскую. Мы вовлекли Владимира Ильича в круг. Видя, что легко от нас не отделаешься, Владимир Ильич прошёлся под нашу «музыку» из одного угла комнаты в другой.

Во время совещания членов ЦК и делегатов-большевиков в Поронино (август 1913 года) Ленин настаивал на том, чтобы мы давали себе отдых от умственной работы. Он водил нас перед вечерним чаем на реку купаться и рассказывал, что раньше сюда никто не ходил. Но когда Владимир Ильич начал каждый день купаться, за ним потянулись и местные жители.

Однажды мы совершили прогулку в небольшое курортное местечко Закопане. Зашли в кафе. Владимир Ильич сел с Ганецким играть в шахматы. Трудно было оторвать Владимира Ильича от любимой игры. Тогда мы налили маленькую рюмочку вина, окружили столик, за которым сидели шахматисты, и начали петь, прося Владимира Ильича выпить вино. Владимиру Ильичу пришлось принести эту «шахматную жертву». Он взял рюмку и, выпив вино, замахал руками: дескать, отставайте... Про-

сто и хорошо чувствовали мы себя с любимым Ильичём.

Климент Ефремович Ворошилов, вспоминая о своей первой встрече с Владимиром Ильичём, пишет, что он очень волновался, когда ему в 1906 году, как делегату партсъезда, пришлось выступать в присутствии Ленина на предварительном совещании делегатов в Питере. Но когда он начал своё выступление, Владимир Ильич внимательно посмотрел на него, спросил его имя и название организации, им представляемой, и ласково ему улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы рабочий, приехавший из провинции, почувствовал себя свободно и хорошо выступил.

Права М. Эссен, когда она, сравнивая Плеханова и Ленина, говорит, что в противовес Плеханову, подчёркнутое превосходство которого подавляло и подчас заставляло тушеваться, Ленин слушал собеседника с доверием и вниманием.

«Это был такт большого человека, — отмечает она, — ободрить работника, поднять в нём веру в свои силы, заечь бодростью и энергией...» После беседы с Владимиром Ильичём «каждый чувствовал, что у него точно крылья выросли».

Г. М. Кржижановский пишет, что «отсутствии внешнего, показного блеска было характерной особенностью Владимира Ильича». «Никаких крикливых, громких слов он не скажет, но всё, что он скажет, будет так веско и многозначительно, так метко и выразительно, что исключительная одарённость человека, могущего говорить так, станет для всех очевидной». «Своей приветливостью и простотой он производил чарующее впечатление», — вспоминает П. Лепешинский.

Об этой же характерно для Ленина простоте и скромности, дисциплинированности всегда и во всём мы читаем в воспоминаниях Е. Стасовой. Однажды Владимира Ильича, забывшего пропуск, часовой, не зная Ленина лично, не пропустил в квартиру в Кремле. Владимир Ильич прошёл в комендатуру и взял там разовый пропуск. Когда часовой, сменившись, узнал, что не пропустил самого Ленина, он в испуге побежал извиняться, но Ленин сказал ему:

«— Нет, Вам извиняться нечего. Распоряжение или приказ коменданта на территории Кремля — это закон. Как же я, Председатель Совета Народных Комиссаров, мог этот закон нарушить? Я был виноват, а Вы — правы».

Одним из замечательных качеств Ленина было стремление к коллективной работе, к коллегиальности. А. В. Луначарский пишет, что «Ленин вообще очень любил коллективную работу в самом подлинном смысле этого слова, т. е. выработку формулировок на основе некоего черновика, путём непосредственной работы многих голов».

В ряде воспоминаний сборника отмечают исключительно глубокие знания Владимира Ильича в области политической экономии, исторического материализма, философии. В дискуссиях против представителей других партий, и главным образом народников, Владимир Ильич с поразительной убедительностью доказывал, что только научный марксизм указывает правильные пути борьбы за социализм и коммунизм, что революция неизбежна в России, как неизбежен восход солнца и наступление дня после ночи.

«С приездом Ленина в Россию в апреле 1917 года, — вспоминает В. М. Молотов, — наша партия почувствовала под ногами твёрдую почву».

Это было в дни, когда Ленин начал огромную работу по подготовке социалистической пролетарской революции. Владимир Ильич прекрасно понимал, что преждевременно революцию делать нельзя, и ему приходилось охлаждать горячие головы и терпеливо завоевывать большинство в Советах.

Когда Владимир Ильич скрывался на станции Разлив, его посетил Орджоникидзе. Сперва он не узнал Ленина в человеке без бороды и усов, но затем восторженно пожал ему руку. Владимир Ильич сразу же предложил поужинать с ним чёрным хлебом и селёдкой. «После этого «ужина», — вспоминает Орджоникидзе, — беседу перенесли в «апартаменты» Ленина. Таковыми являлся стог сена, в который мы и влезли». Орджоникидзе рассказал о том, что делалось в Петрограде в отсутствие Ленина. Владимир Ильич задал Орджоникидзе несколько вопросов, а затем сказал:

«— ...Власть можно взять теперь только путём вооружённого восстания, оно не заставит ждать себя долго. Восстание будет не позже сентября—октября...»

«Всё это, — продолжает Орджоникидзе, — я слушал с напряжённым вниманием, впечатление было ошеломляющее. Нас только что расколотили, а он предсказывает через месяц-два победоносное восстание».

В воспоминаниях ярко обрисована поистине гигантская работа Ленина в незабываемые дни Октябрьской революции. Чрезвычайно интересны воспоминания В. Бонч-Бруевича «Как Владимир Ильич писал декрет о земле».

Очень хочется, чтобы все прочитали эту замечательную книгу воспоминаний о титане социалистической революции. Бессмертный образ вождя вдохновляет советский народ, убыстряет его движение к коммунизму.

Г. ПЕТРОВСКИЙ.

★

## Зимний взят!

«Это был героический момент революции, прекрасный, незабываемый. Во тьме ночной, озарённые бледным, затуманенным дымом, свстом и кровавыми мечущимися молниями выстрелов, со всех прилегающих улиц и из-за ближайших углов, как грозные, зловещие тени, неслись цепи красногвардейцев, матросов, солдат, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, но ни на секунду не прерывая своего стремительного ураганоподобного потока».

Когда смолкли дикие завывания и грохот трёхдюймовок и шестидюймовок с Петропавловской крепости, в воздухе, заглушая сухую непрерывную дробь пулемётов и винтовок, стояло сплошное победное «ура», страшное, захватывающее, объединяющее всю разнородную массу. Одно мгновение — и самые баррикады, и их защитники, и на них наступающие слились в одну тёмную сплошную массу, кипевшую, как вулкан, а в следующий миг победный крик уже был по ту сторону баррикад. Людской поток заливает уже крыльцо, входы, лестницы дворца. По сторонам валяются трупы, громоздятся разваленные баррикады и стоят толпы людей без шапок, с бледными лицами, трясутся челюстями, с поднятыми кверху, как призыв к пощаде, руками.

Дворец взят. Единственный кусок территории, державшийся в течение дня в руках «Временного правительства всяя Руси», вырван руками народа. Царский дворец — символ бесконечного произвола, беспросветного угнетения, сотни лет смеявшийся над горем и слезами миллионов рабов, — в руках этих угнетённых, бесправных, в руках пролетариата, единого властителя своей судьбы с этой минуты... В Зимнем дворце всё было кончено».

«Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде». Воспоминания активных участников революции. Редактор А. Г. Савраскин. 424 стр. Лениздат. 1956.

Это отрывок из воспоминаний председателя Военно-революционного комитета Н. Подвойского, включённых в сборник «Октябрьское вооружённое восстание в Петрограде».

Отсвет великих исторических событий Октября 1917 года лежит на каждой странице этой книги. Перед нами воспоминания тех, кто вершил революцию, наводил на Зимний пушки «Авроры», видел и слышал В. И. Ленина в дни и часы, решавшие судьбу России. Авторы воспоминаний — руководящие работники партии, члены Военно-революционного комитета, комиссары революционных полков, члены ЦК Балтийского флота, рабочие, матросы, солдаты.

Много волнующих мыслей и чувств вызывает эта книга, живо и правдиво повествующая о победе народа, о партии, возглавившей массовый революционный поток, о днях, которые потрясли мир и открыли новую эру в человеческой истории.

Отдельные воспоминания, освещающие эпизоды вооружённого восстания, сливаются в сознании читателя в единую героическую картину. Работа большевиков среди рабочих, солдат и матросов, деятельность военной организации при ЦК партии и Военно-революционного комитета, боевые действия Красной гвардии, Смольный в Октябрьские дни, арест Временного правительства, могучий революционный порыв масс — всё это в книге показано выразительно, ярко, зримо.

Читая эту интереснейшую, полную революционной страсти книгу, мы переносимся мысленно в клокочущий Петроград 1917 года. Ряд воспоминаний воскрешает предоктябрьскую обстановку в столице России. После разгрома корниловщины быстро назревал революционный кризис. Массы переходили на сторону большевиков. Рабочее движение принимало характер и форму открытой революционной борьбы за власть. На сторону социалистической революции вступали армия и флот. Большинство пет-

роградских полков активно поддерживало большевиков. Об огромной работе, развёрнутой партией среди солдат и матросов, рассказывают в своих воспоминаниях член Военно-революционного комитета К. Мехоношин, председатель полкового комитета Волынского полка А. Хохряков, солдат Волынского полка М. Базаев и другие.

Воспоминания участников свидетельствуют об огромной роли, которую сыграли в завоевании великой победы моряки Балтийского флота.

«Балтийский флот в то время, — рассказывает один из руководителей Центробалта Н. Измайлов, — представлял огромную и мощную вооружённую силу (свыше 60 000 человек личного состава и более 500 единиц боевых и вспомогательных кораблей). Большинство революционных матросов Балтийского флота шло под лозунгами большевиков. Это был плод огромной работы большевистской партии в широких матросских массах. Вот почему Владимир Ильич Ленин в предстоящем вооружённом восстании пролетариата придавал такое исключительное значение флоту и глубоко верил в беззаветную преданность матросов пролетарской революции».

«Настоящий революционный муравейник», — так в своих воспоминаниях называет Кронштадт руководитель большевистской фракции Кронштадтского Совета И. Флеровский. Матросы-кронштадтцы были в первых рядах борцов за победу восстания, повсюду вносили энергию, смелость, революционное дерзание. Вместе с рабочими и солдатами Петрограда кронштадтцы героически сражались за власть Советов.

Огромное впечатление производят страницы, рассказывающие о боевых делах Красной гвардии. Секретарь штаба Красной гвардии Выборгского района В. Малаховский воскрешает волнующие дни формирования пролетарской вооружённой силы. В период октябрьских боёв красногвардейцы показали «необычайный героизм, самопожертвование, готовность умереть, холодать и голодать, своим энтузиазмом заражали и поддерживали солдат гарнизона, настойчиво требовали снарядов, патронов на передовые позиции, беспрекословно выполняли все приказания...»

Самые проникновенные и сердечные строки в воспоминаниях участников вооружённого восстания посвящены великому Ленину.

Ленин был воплощением воли народных масс победить во что бы то ни стало. Твёрдой рукой вёл он рабочих и солдат к победе.

«Ильич в эти дни великого переворота, — пишет член Военно-революционного комитета А. Бубнов, — был оживлён, весел, светился весь изнутри каким-то особенным светом, был непоколебим, уверен и твёрд».

26 октября на II Всероссийском съезде Советов Владимир Ильич выступил с докладом о мире, о земле, об образовании Совета Народных Комиссаров. Делегат И. Флеровский вспоминает:

«На трибуне В. И. Ленин — вождь пролетарской революции, отныне приковавший к себе небывалое в истории внимание всего мира... Четыре месяца мы его не видели, но, незримый, он руководил великой партией, влил в наши ряды энергию и твёрдую веру в революционную победу. Бритое, необычное лицо, но знакомы глаза, улыбка, — во всей фигуре торжество победы рабочего класса и уверенность в силе и правде социальной революции. Декреты о мире, о земле, о рабочем контроле. Вот они — мир, хлеб, воля. Они завоёваны в первом бою».

Много интересных, исторически ценных наблюдений содержат воспоминания рабочего Путиловского завода М. Лондарского, председателя Комитета по борьбе с погромами и контрреволюцией В. Бонч-Бруевича, члена Военно-революционного комитета В. Молотова, председателя Центробалта П. Дыбенко, матроса И. Колбина, члена Военно-революционного комитета В. Антонова-Овсеенко и других активных участников вооружённого восстания в Петрограде.

В качестве приложения к сборнику публикуются воспоминания бывшего министра юстиции Временного правительства П. Малайновича, показывающие развал буржуазной власти, полную оторванность Временного правительства от народа.

С глубоким вниманием прочтут эту книгу советские читатели. Страницы её составляют нас вновь и вновь ошутить величие событий незабываемого семнадцатого года. Кажется, воочию видишь площади Петрограда, объятые пламенем восстания, рабочих и солдат, идущих на штурм старого мира, Владимира Ильича, поздравляющего друзей, а с ними и весь народ:

— С первым днём социалистической революции!

**А. СЕРЕДА.**

## Прекрасная жизнь

*Юноше,  
обдумывающему  
жизнь,  
решающему,  
сделать бы жизнь с кого,  
скажу,  
не задумываясь:  
— Делай её  
с товарища  
Дзержинского.*

**В. Маяковский.**

Для людей старшего поколения, в особенности для тех, кто юношами встретил Октябрьскую революцию и был опалён романтикой гражданской войны и первых лет становления нового мира, с этими неповторимыми, героическими и прекрасными годами неразрывно связан облик одного из самых близких и верных соратников Ленина — Феликса Эдмундовича Дзержинского.

«Железным Феликсом», «рыцарем революции», «грозой буржуазии» называли Дзержинского в партии и народе. И в этих определениях не было никакой риторической приподнятости и ходульности, как это у нас бывало иной раз со всякими эпитетами под развесистой сенью культа личности,— нет, по отношению к Дзержинскому эти определения были естественными и правдивыми; они как-то хорошо шли к нему, как-то органически сочетались с его скромным и тоже правдивым определением самого себя, как солдата революции.

На долю Дзержинского досталась в нашей революции нелёгкая работа: с первых дней Октября и до самой смерти, все эти грозные годы, он возглавлял ВЧК — Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (потом ГПУ). Одновременно, с переходом страны к мирному строительству, он стоял во главе руководства восстановлением разрушенного транспорта и промышленности страны.

Открытой военной интервенцией, заговорами и восстаниями, организацией прямого и скрытого саботажа и вредительства отвела озлобленная мировая и отечественная буржуазия на Октябрьский переворот. Для защиты завоеваний революции надо было создать боевой карательный орган

пролетариата. Таким органом явилась ВЧК, созданная декретом Совета Народных Комиссаров 20 декабря 1917 года.

При обсуждении в Совнарком кандидатуры на пост руководителя ВЧК Ленин сказал: «Сюда надо найти хорошего якобинца!» И председателем ВЧК был утверждён Дзержинский.

Ленин не ошибся в выборе. Со всей безграничной преданностью революции взялся Дзержинский за тяжёлую работу, заражая сотрудников самоотверженностью, храбростью, мужеством и бесстрашным презрением к смерти.

Он был беспощаден к врагам революции. Меч пролетарской диктатуры не щадил врагов, но зоркий глаз Дзержинского умел отделять заклятого, непримиримого классового врага от случайно арестованного простого обывателя. При Дзержинском никогда в работе ВЧК не допускались методы, которые могли быть недостойными нашей великой революции.

Опирающаяся на рабочие массы, неразрывно связанная с партией (именно в те годы Ленин сказал, что «хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист»), ВЧК сыграла под руководством Дзержинского огромную роль в закреплении победы революции.

Феликс Кон рассказывал, что, находясь в 1915 году в Орловской каторжной тюрьме и твёрдо веря в недалёкую победу революции, Дзержинский заявил товарищам по камере:

«— Я бы считал величайшей честью для себя быть вооружённым стражем революции».

Он удостоился этой чести.

Дзержинский пишет жене в 1918 году:

«Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце моё в этой борьбе осталось живым,

Феликс Дзержинский. Дневник и письма. Перевод с польского. Редактор Л. Антипина. 192 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.



тем же самым, каким оно было и раньше. Всё моё время, это — одно непрерывное действие, чтобы устоять на посту до конца...»

Это живое сердце Дзержинский и сохранил до конца.

А. И. Микояч говорил о нём:

«Это был пламенный борец с великим сердцем, которое горело любовью к трудящимся, к порабощённому капитализмом человечеству. Он шёл всю свою жизнь к одной цели, к коммунизму, без колебаний, без отступлений, без оглядки... Именно пламенная любовь к человеку родила в нём страстность в отстаивании интересов трудящихся, интересов коммунизма».

Феликс Эдмундович умер на посту, через три часа после пламенной речи, произнесённой им на пленуме ЦК 20 июля 1926 года.

В этой речи он сказал о себе:

«...Вы знаете отлично, моя сила заключается в чём? Я не шажу себя... никогда. (Голоса с мест: «Правильно!») И поэтому вы здесь все меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю своей душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них».

Эта характеристика, которую дал себе сам Дзержинский, абсолютно точна и правдива. Да, он имел право так сказать о себе!

Кристалльно-чистый образ Дзержинского навсегда останется для нашей молодёжи образцом того, каким должен быть подлинный большевик-ленинец. Жизнь Дзержинского, семнадцатилетним юношей давшего великую клятву бороться за лучшее будущее человечества, против всякого гнёта и насилия, и сдержавшего эту клятву, — эту жизнь должна внимательно изучить наша молодёжь.

Недавно вышедший в «Молодой гвардии» сборник, включающий в себя тюремные письма и дневники Дзержинского, поможет нашим юношам и девушкам понять, как складывались такие характеры, как выковылались в кошмарной обстановке царских застенков и каторги такие негибимые революционеры.

В 1898 году двадцатилетний Дзержинский пишет из Ковенской тюрьмы сестре:

«Я уверенно могу сказать, что я гораздо счастливее тех, кто на «воле» ведёт бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на свободе без смысла, я избрал бы первое...»

Тюрьма страшна лишь для тех, кто слаб духом...»

В 1901 году он пишет из Седлецкой тюрьмы:

«Ты видишь, что после первого ареста и заключения я не отступил от своего долга, как я его понимал и понимаю. Но чтобы достигнуть поставленной цели, такие, как я, должны отказаться от всех личных благ, от жизни для себя ради жизни для дела».

Дзержинский записывает в тюремном дневнике, который он вёл в Варшавской цитадели:

«Не стоило бы жить, если бы человечество не озарялось звездой социализма, звездой будущего. Ибо «я» не может жить, если оно не включает в себя всего остального мира и людей». «В тюрьме я созрел в муках одиночества, в муках тоски по миру и по жизни. И, несмотря на это, в душе никогда не зарождалось сомнения в правоте нашего дела».

Любовь к людям, стремление к борьбе за их счастье и оправдание этой любовью всех своих лишений — этим наполнены письма Дзержинского из тюрем.

Он пишет:

«Я знаю, что если даже тело моё и не вернётся из Сибири, — я буду вечно жить, ибо я любил многих и многих...» «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть. Тогда человек не боится ни страданий, ни боли, ни горя, ни нужды. Тогда человек перестанет бояться смерти, хотя только тогда он научится по-настоящему любить жизнь».

Одиннадцать лет, больше трети своей сознательной жизни, провёл Дзержинский в царских тюрьмах, в ссылке, на каторге. Только революция освободила его, больного и измученного, из каменного мешка, но силы его не надломались, а лишь закалились для жизни и борьбы.

И гордостью звучат слова его тюремного дневника:

«Здесь, в тюрьме, часто бывает тяжело, по временам даже страшно... И, тем не менее, если бы мне предстояло начать жизнь сызнова, я начал бы её так, как начал».

Эти слова написаны в 1908 году. С полным правом мог бы повторить их Феликс Эдмундович и в последний день своей прекрасной жизни.

**И. МАКАРЬЕВ.**

## Книга президента Сукарно

Обидно мало знают у нас об Индонезии и ещё меньше — о её деятелях. Можно смело утверждать, что книга президента Сукарно «Индонезия обвиняет» для подавляющего большинства наших читателей будет своего рода откровением. Эта книга раскрывает перед нами внутренний мир индонезийского народа, его политическую жизнь, его устремления. Она полна кипучей мысли и страстной ненависти к колонизаторам.

«Индонезия обвиняет» — это сборник, включающий произведения, относящиеся к различным периодам. Он открывается большой речью, произнесённой молодым Сукарно в 1930 году на политическом процессе, когда он был приговорён колониальным судом за революционную деятельность к тюремному заключению. Далее следует брошюра «За свободную Индонезию», написанная в 1933 году для людей, «только вступающих на путь борьбы». Третье крупное произведение в сборнике — доклад Сукарно, сделанный им 1 июня 1945 года в Комиссии по подготовке независимости, — доклад, который он назвал «Рождение Пачча сила». Затем идут выступления периода 1954—1955 годов, в том числе речи на Богорской и Бандунгской конференциях. Закрывается книга двумя речами, произнесёнными весной нынешнего года в Соединённых Штатах.

Сборник в целом представляет собой интереснейший политический очерк борьбы Индонезии за независимость.

В коротеньком предисловии, написанном для русского издания, президент Сукарно указывает:

«Основной линией моей борьбы, продолжающейся уже в течение десятилетий, является сопротивление колониализму, достижение национальной независимости и завоевание справедливого и процветающего общества для народа Индонезии и для людей всего мира.

Несмотря на то, что империализм повсюду имеет общие черты, то есть интернациональные черты, борьба против империализма в каждой стране наряду с общими, характерными моментами, безусловно, имеет и свои особенности.

**Сукарно. Индонезия обвиняет. Сборник статей и речей. Перевод с индонезийского и английского. Редактор Н. В. Рудницкая. 354 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.**

Я надеюсь, что издание моих произведений на русском языке позволит русскому народу лучше понять характер и цели борьбы народа Индонезии.

Книга хорошо выполняет это назначение. Автор глубоко верен своей политической идее, он её аргументирует со страстностью убеждённого революционера и горячего патриота. Читая его выступления, живо ощущаешь пульс политической жизни страны. И вместе с тем понимаешь, почему имя Сукарно пользуется таким высоким авторитетом у индонезийского народа.

...После Бандунгской конференции мы, советские корреспонденты, захотели посмотреть одно из немногих высших учебных заведений, которыми располагает Индонезия, — Высшую техническую школу в Бандунге. И первые слова, которые мы услышали, переступив порог школы, были: «Здесь получил свой диплом президент Сукарно. Он — инженер». Это было сказано с чувством большой и искренней гордости.

В книге вы найдёте фотографию с подписью: «Группа обвиняемых перед зданием суда в Бандунге 18 августа 1930 года». Четыре молодых индонезийца в белых лёгких костюмах и чёрных шапочках, Сзади — два адвоката в чёрных адвокатских мантиях. Адвокаты — тоже индонезийцы (один из них — Сартоно — нынче председатель индонезийского парламента). Это молодая Индонезия тридцатых годов. Это те люди, про которых президент Сукарно говорит теперь, что они, как и революционеры в старой царской России, шли в тюрьмы и отдавали жизнь в борьбе за освобождение своего народа.

В выступлениях Сукарно каждое слово доходит до человека, потому что там нет сухих, безжизненных формул. Всё, что он говорит, идёт из самой глубины его сознания и его сердца. Он говорит о муках своего народа с болью и горечью, он призывает к борьбе, доказывает, что эта борьба возможна, необходима и что в ней можно и должно победить. Он мечтает о построении общества справедливого и совершенного, без всякой эксплуатации и угнетения, без капитализма и империализма. Он пишет:

«Каково же первое условие ликвидации капиталистической и империалистической системы? Первым условием является достижение нами независимости. Мы должны стать независимыми, чтобы иметь возможность порвать все пути капитализма и им-

периализма. Мы должны стать независимыми, чтобы иметь возможность создать новое общество без капитализма и империализма. Пока мы не свободны, мы не сможем пошевелить своим телом, ни рукой, ни ногой, каждое наше движение будет стеснено, мы не сможем стать сильными, мы не сможем окончательно избавиться от системы капитализма и империализма. До тех пор, пока мы не станем независимы, капитализм и империализм будут оставаться могучими гигантами, восседающими на троне индонезийских богатств».

Как политический деятель, как теоретик и философ Сукарно старается внушить народу веру в свои силы. Он непримирим. Он постоянно доказывает, что империализм заинтересован в укреплении и упрочении колониализма. Не верь империалистам, говорит он. Не верь, что власть империалистов является властью цивилизации над варварством, властью избранных над «неумытыми массами», как говорят англичане. Социально-экономическая отсталость народов не должна служить причиной того, чтобы ими управляли империалисты.

Особенное впечатление производит доклад Сукарно в Комиссии по подготовке независимости 1 июня 1945 года. Он сумел доказать — и никто не мог его опровергнуть! — что независимость должна быть предоставлена Индонезии немедленно. Он обрушился на тех, кто считал, что индонезийцы «не созрели» для того, чтобы самим управлять своей страной, что они слишком долго жили в темноте, для того чтобы могли теперь взять судьбу родины в свои руки. Дайте нам независимость, и мы будем просвещёнными и сумеем повести свою страну и народ к процветанию, говорит он и приводит исторические примеры, в том числе пример Советской России.

«Разве советский народ уже был культурно развит, когда Ленин создавал Советское государство?.. Разве Ленин, когда он создавал независимую Советскую Россию, уже имел в своём распоряжении Днепрогэс — огромную плотину на реке Днепр? Разве он имел в своём распоряжении радиостанции с уходящими в небо мачтами? Разве в его распоряжении уже было достаточно железных дорог, пересекающих пространства России? Разве каждый русский человек уже умел читать и писать, когда Ленин создавал независимую Советскую Россию? Нет, уважаемые господа! Только по другую

сторону моста, воздвигнутого Лениным, были построены радиостанции, созданы школы, организованы детские ясли, построен Днепрогэс!»

«Свободу Индонезии сейчас, сейчас, сейчас!» — повторял Сукарно, выступая в комиссии, которой надлежало решить, быть ли Индонезии самостоятельным государством.

Именно в этой речи были сформулированы Сукарно пять принципов Панча сила, которые сейчас составляют официальную идеологию Индонезийской республики.

Последние выступления Сукарно — это уже выступления президента Индонезийской республики. С какой гордостью произносит он эти слова: «Республика Индонезия». Он может уже говорить о её успехах: мы создали наше единое государство, мы установили отношения с зарубежным миром, и наша независимая внешняя политика не только облегчила нам получение помощи для развития республики, но и предоставила нам возможность внести свой вклад в дело ослабления международной напряжённости...

Важная черта политики Сукарно — его стремление к установлению единого антиимпериалистического фронта стран Азии и Африки.

«...Если империалистические гиганты сотрудничают между собой, то давайте и мы, жертвы этих империалистических гигантов, тоже будем сотрудничать. Давайте создадим единый фронт борцов за независимость Азии. Если Буйвол Индонезии будет сотрудничать со Сфинксом Египта, с Быком Нанда Индии, с Драконом Китая и с другими борцами за независимость в других странах, если Буйвол Индонезии сможет сотрудничать со всеми врагами капитализма и международного империализма во всём мире, то дни международного империализма наверняка будут сочтены!»

Это сказано молодым Сукарно в 1933 году. Почти через четверть века, открывая Бандунгскую конференцию, он намечает реальные контуры сотрудничества независимых государств Азии и Африки...

Выступления президента Сукарно в Советском Союзе нашли живой отклик у нашей общественности. Президент сумел донести до нас боевой дух Индонезии, её стремление к независимости, к прочному миру, к дружбе со всеми народами.

Каждая страница книги президента Сукарно горит пламенем революционной борьбы, дышит глубокой верой в победу народа. Мы, советские люди, твёрдо знаем, что империализм и колониализм отжили свой век. Но когда следишь за развитием

мысли и историей политической борьбы выдающегося индонезийского деятеля, как бы воочию видишь самый процесс уничтожения колониализма и освобождения народов.

**Н. СЕРГЕЕВА.**

★

## Молодость древнего народа

У маленького албанского народа — одного из старейших на Балканах — поистине героическая биография. Вся его двухтысячелетняя история заполнена тяжёлой, неравной, страстной борьбой за существование. Земли этой небольшой горной страны разоряли римские легионы, захватывали беспощадные оттоманские орды, топтали танки Гитлера и Муссолини, но никому не удалось покорить свободолюбивый и жизнелюбивый народ.

«...нас убивали, топили в крови, сжигали, — говорит в одной из своих речей руководитель Албанской партии Труда Энвер Ходжа, — но нас не покорили, не победили».

Сквозь века иноземного рабства с удивительной стойкостью пронесли албанцы пламенную мечту о свободной жизни, о национальной независимости, о счастье для простых людей. И вот наступила желанная пора — стали явью самые смелые чаяния, самые светлые надежды.

Не будет преувеличением сказать, что последнее двенадцатилетие было более значимым для судьбы албанцев, нежели предыдущие двадцать веков. Впервые люди получили возможность дышать свободно в своей родной стране. С приходом к власти трудящихся страну от края до края захлестнуло половодье революционного творчества. При горячей поддержке масс были проведены решительные социально-экономические реформы. И в поразительно короткий срок на наших глазах Албания совершает гигантский прыжок из мрака феодальной патриархальщины в светлый мир, озарённый лучами социализма.

Владимир Ильич Ленин говорил тридцать шесть лет назад: «...С помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к

коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития».

Историческая судьба Албании — лучшее подтверждение гениальности ленинского пророчества.

«Самый отсталый уголок Европы» — так характеризовали Албанию во всех энциклопедиях мира. Туристы ездили в эту страну, чтобы собственными глазами увидеть чудом уцелевший в XX веке «заповедник средневековья», в котором сохранились феодальные отношения, племенная вражда, купля-продажа женщин, кровная месть. В книге, вышедшей во Франции перед первой мировой войной, утверждалось, что «Сахара более известна, а Тибет едва ли более таинствен, чем Албания».

И вот в речах и статьях Энвера Ходжи звучит увлекательный рассказ о новой Албании, о её бурных экономических победах, о её свободной жизни и свободных людях. Язык фактов, сравнений, цифр неопровержимо показывает, какие огромные возможности открывает перед раскрепощённым народом строй социализма.

Обладая значительными природными богатствами, Албания не имела собственной промышленности. Итальянские колонизаторы, хозяйничавшие в экономике Албании перед второй мировой войной, сознательно препятствовали промышленному развитию вассальной страны. Циничную философию империалистов откровенно выразил один из «советников» Муссолини, подвизавшийся в Албании: «До сих пор отсутствуют условия широкой индустриализации, и это, пожалуй, является счастьем Албании, потому что индустриализированные народы или те, которые стремятся к широкой индустриализации, являются вообще самыми беспокойными народами».

Разорвав феодально-буржуазные оковы, албанский народ быстро двинулся вперёд по пути индустриального развития. На экономической карте «самого отсталого уголка Европы» появились промышленные цент-

Энвер Ходжа. Албанский народ — за мир и социализм. Редактор Ю. Георгиев. 164 стр. Госполитиздат. М. 1956.

ры, крупные заводы, электростанции, шахты, рудники.

В Албании было 70 небольших, преимущественно кустарного типа предприятий. Теперь в стране более 200 предприятий, в числе которых много крупных фабрик и заводов.

Довоенная Албания производила 68 видов продукции. Сейчас производится более 600 видов.

В 1938 году во всей Албании насчитывалось три тысячи промышленных рабочих. Теперь их сто тысяч.

Добыча угля в Албании по сравнению с довоенным временем возросла в 23 раз, производство строительных материалов — в 29 раз, выработка электрической энергии — в 25 раз! При народной власти появились в стране первые железнодорожные магистрали, первые электрические станции в деревнях.

Стремительно догоняя свой век, Албания чудесно преображается, сбрасывает обветшалые одежды отсталости и нищеты. Там, где вчера ещё крестьянин обрабатывал землю деревянной сохой, теперь работают тракторы. Растут государственные фермы, машинно-тракторные станции, земледельческо-производственные кооперативы. Там, где веками простирались топкие болота — очаги смертоносной малярии, косившей ежегодно тысячи жизней, — теперь зеленеют плодородные поля. Покончено с бичом Албании — страшными болотами Маликит и Вентрока, Рушку и Леван. В то же время засушливые районы получили воду: построено 190 оросительных каналов.

В довоенной Албании не было ни одной железной дороги, ни одного высшего учебного заведения, ни одного театра, ни одного музея. Из каждых ста албанцев 80 были неграмотны. На всю страну насчитывалось... 60 человек, имевших высшее образование.

В книге Энвера Ходжа рассказывается о культурной революции, охватившей весь албанский народ, о поразительных переменах, происшедших за короткий срок в стране. Сейчас даже в отдалённых горных селениях трудно найти неграмотного человека в возрасте до сорока лет. В Албании введено всеобщее начальное обучение. Число средних учебных заведений возросло в тридцать раз! Народ создаёт собственную интеллигенцию. Растёт сеть высших учебных заведений. Дети земледельцев и пастухов стали инженерами, врачами, пе-

дагогами. Более 900 албанских юношей и девушек получили высшее образование в Москве, Варшаве, Праге.

«Тот факт, — говорит Энвер Ходжа, — что в Албании, в которой раньше не имелось ни одного театра, сейчас ставятся оперы и балеты, публикуются романы и поэмы, пишутся симфонии и самобытные оперетты, свидетельствует о развитии и расцвете культуры албанского народа».

С одинаковой гордостью руководитель коммунистической партии говорит о росте нефтедобычи и о постановке «Бахчисарайского фонтана» на тиранской сцене, о новых рудниках и о рождении отечественной кинематографии, о росте посевных площадей и о первой албанской оперетте «Рассвет», написанной композитором Кристо Коно.

Победы социалистического созидания сказываются во всём. Социализм — это и новый современный завод, и телефонная линия в горах, и неуклонный рост рождаемости, и лучезарное детство маленьких албанцев. Меняется облик древней страны, обогащается духовный мир людей. На родном языке албанцы читают Ленина и Пушкина, женщины, носившие чадру, заседают в парламенте, а вчерашний пастух Ислам Ислами является заместителем директора хромового рудника.

Албанская партия Труда наметила на ближайшие годы смелые планы дальнейшего экономического и культурного прогресса. Страна обогатится многими вполне современными промышленными предприятиями. Через горы и долины будут проложены новые железные дороги. Поднимется урожайность албанских полей. Осуществление принятого недавно Центральным Комитетом Албанской партии Труда и правительством 15-летнего плана развития культуры оливкового дерева, цитрусовых, садоводства и виноградарства, как сказал Энвер Ходжа, превратит страну в красивый сад.

Древняя Албания, начавшая новую жизнь, воистину походит на цветущий сад... В чём же секрет великого обновления страны, всех её побед? Энвер Ходжа даёт точный ответ:

«Албанский народ победил и Албания вырвалась к свету потому, что в мире побеждает ленинизм, потому, что албанский народ нашёл в нём могучий животворный источник сил».

Новая жизнь на берегах Адриатики стала возможной потому, что увенчался побе-

дой революционный штурм 1917 года на берегах Невы.

Храбрые албанские патриоты изгнали вооружённых до зубов фашистских захватчиков благодаря тому, что Советская Армия нанесла смертельные удары гитлеровским ордам.

Созданная пятнадцать лет назад — в ноябре 1941 года, — Коммунистическая партия Албании добилась побед на полях битв и на нивах мирного труда потому, что это партия нового типа, руководствующаяся бессмертными ленинскими идеями.

Албанский народ совершил исторический скачок к социализму потому, что он опирается на помощь передовых социалистических стран, и в первую очередь на помощь родины ленинизма — страны Советов.

У маленького албанского народа — сильные и верные друзья. «Каждый албанец, — говорит Энвер Ходжа, — если его сегодня спросят, скажет, что нас 900 миллионов, и никто больше не скажет, что нас 1 миллион».

Мих. ЛЕСНОВ.

★

## США и независимость арабских стран

Эта книга вышла в Индии — стране, которая решительно утверждает своё место в ряду независимых свободолюбивых стран. Талантливый индийский учёный и публицист Агвани посвятил свой труд проблеме освобождения арабского мира от колониального угнетения. Его книга найдёт горячий отклик у всех, кого волнуют острые проблемы современного арабского Востока.

В итоге двух мировых войн и образования системы социалистических государств значительно усилились стремления арабского Востока к социальному и политическому возрождению. Этот процесс исторически закономерен, ибо, как справедливо отмечает Агвани, «при всём разнообразии названий («мандаты», «сферы влияния» и т. п.), главной чертой отношений арабов с империалистами остаётся взаимное подозрение и недоверие; политика Запада зиждется на обмане народов Востока, на эксплуатации их отсталости и отсутствия единства в их среде».

В наши дни, когда Египет ведёт борьбу за ликвидацию остатков колониального насилия, книга Агвани звучит особенно актуально.

В сравнительно короткий срок угнетатели Египта, пишет Агвани, сделали много громковещательных заявлений. Достаточно напомнить декларацию Бальфура в 1917 году, провозглашение «независимости» в 1922 году, договор 1936 года. «Но за фасадом примиренчества творились совершенно

иные дела: шаг за шагом англичане лишали национальные власти возможности обороны своих стран, коммуникаций, юрисдикции, самостоятельной внешней политики».

Исследуя значительный фактический материал, автор обнажает подлинную сущность американского экспансионизма на Ближнем и Среднем Востоке. В книге приводятся факты, убедительно разоблачающие устремления агрессивных кругов Соединённых Штатов, активно противившихся раскрепощению арабских стран, уничтожению колониального гнёта.

1947 год. Нарастание активной борьбы египтян за национализацию Суэцкого канала, стремление египетского правительства к созданию собственных вооружённых сил для защиты прав и независимости государства. Соединённые Штаты отказываются содействовать Египту в его намерениях. О «холодной логике» госдепартамента откровенно свидетельствуют английские колонизаторы: США «не захотят создавать опасного прецедента и не станут показывать Панаме, что она, подобно Египту, может защищать свои права в зоне Панамского канала».

1948—1949 годы. Всеми средствами, от грубого нажима до лъстивых заверений, США пытаются навязать Египту свои политические требования и «полезные советы», содержащиеся в пресловутой доктрине Трумэна.

1951 год. В октябре правительство Египта заявляет об отмене неравноправного договора 1936 года с Англией, который противоречит конвенции 1888 года о Суэцком канале и не соответствует новой международной обстановке. Требованиям Египта

Mohammed Shafi Agwani. The United States and the Arab World. Aligarh. 1955 (Мохаммед Шафи Агвани. Соединённые Штаты и арабский мир. Алигарх. 1955).

тогдашний американский государственный секретарь Ачесон противопоставляет заявления о заинтересованности всего «свободного мира» в «безопасности» и «обороне» средневосточной зоны. Агвани с полным основанием замечает, что, по сути дела, настроения и высказывания официальных лиц США свидетельствуют о полной поддержке ими позиций английских колонизаторов.

Тогда же, в октябре 1951 года, Египет вызвал бурю негодования американских правящих кругов своим отказом присоединиться к средневосточному военному блоку. Египтяне видели, что цель этого военного соглашения — узаконить оккупацию их страны как Англией, так и Соединёнными Штатами Америки. Стало совершенно ясно, резюмирует Агвани, что отныне Египет в своей борьбе против Англии не может рассчитывать даже на нейтралитет американцев.

1952 год. Черчилль прокламирует идею о том, что проблема Суэцкого канала должна подлежать не национальной (то есть законной, египетской. — *А. Н.*), а «международной ответственности». Соединённые Штаты солидаризируются с таким заявлением и отвечают на английские предложения созданием системы военных баз на Ближнем и Среднем Востоке.

Таковы факты. Являясь прологом волнующих событий наших дней, они свидетельствуют о растущей воле египтян навсегда оградить свою свободу и независимость от посягательства агрессоров. Они в то же время подтверждают преемственность планов и действий американских монополий в их настойчивых, но тщетных усилиях сохранить колониальные порядки в арабских странах.

В последнее время экономическая заинтересованность американских монополий на Ближнем и Среднем Востоке неизмеримо возросла. К концу второй мировой войны, сообщает Агвани, США контролировали уже 42 процента арабской нефти, в девятнадцать раз больше, чем в 1936 году. А заокеанские политики и бизнесмены видели перед собой ещё более широкие возможности эксплуатации важнейшей в мире нефтяной зоны. Техасские, нью-йоркские и колумбийские компании опережают своих британских конкурентов. После постройки трансаравийского нефтепровода целая группа стран (Иордания, Ливан и Сирия) ста-

ла источником обогащения монополий США.

Американцев привлекает не только нефть. Они создали «Миддл-Ист компани», поставившую своей целью установление контроля над внешней торговлей арабских государств. Они опутали эти страны густой сетью своих авиационных линий. Большую активность в арабских странах проявляют крупнейшие банки США — Чейз Нейшнл Бэнк и Экспорт-Импорт Бэнк. Заокеанские монополисты развязно утверждают, что теперь «для экспорта США ближне- и средневосточные рынки так же значительны, как и Латинская Америка».

Но подобная политика «ещё больших возможностей» хозяйничанья в арабских странах в современных условиях наталкивается на решительное сопротивление народов, стремящихся к полному суверенитету и истинной независимости.

Агвани безоговорочно выступает против всех и всяческих псевдоцивилизаторских миссий колонизаторов. Он показывает, что экономическая экспансия Соединённых Штатов «не имеет ни малейшего отношения к нуждам и перспективам дальнейшего развития арабского Востока». Подъём экономики арабских стран требует самого широкого участия самих арабов в коренном переустройстве экономики, в разумном, всестороннем использовании природных богатств. Странам Востока нужна финансовая помощь, которая способствовала бы ликвидации отсталости и экономической зависимости, а не американские «кредиты», предоставляемые в эгоистических интересах самих заимодавцев. Ведь до сих пор, заключает Агвани, «такой важнейший фактор, как законные устремления и потребности арабских народов, вовсе не привлекал внимания американцев. В результате... Соединённые Штаты значительно подорвали свой престиж».

Автор книги показывает, что идея «холодной войны» является одним из ведущих принципов американской политики в арабских странах. Насаждаемая сеть военных баз, попытка захватить выгодные экономические позиции, навязывая свою «помощь», США прикрываются мифической угрозой «советского вторжения». Однако, говорит Агвани, «напрасно думать, что арабы приведены в смятение угрозой со стороны СССР». Он цитирует высказывание арабского писателя: «Если волею судеб эксплуатация арабских стран американцами ещё какое-то время

будет продолжаться, то их попытки «спасения» Востока от коммунизма приведут к усилению коммунистического влияния».

Этими словами заканчивается интересная и содержательная книга индийского учёного. Автор показал способность к глубокому исследованию современных экономических и политических явлений. Однако в книге есть положения, с которыми согласиться нельзя. Агвани даёт идеалистическое объяснение одной из причин экспансии США. Он считает в известной мере «естественным» стремление сильной державы «заполнить вакуум» в тех частях земли, где ей не оказывают достаточного сопротивления. В этой же связи находится другая ошибка автора. Говоря о мирной и дружественной политике СССР в арабских странах, он в то же вре-

мя, правда, мельком, даёт понять, что существует потенциальная возможность «естественного расширения» сферы Советского государства. Нельзя согласиться и с утверждением Агвани о том, что позиция США как противника арабской независимости активно проявилась лишь в последнее десятилетие.

Но все эти замечания попутные. В самом главном — разоблачении империалистических устремлений США — автор достиг полного успеха. Серьёзный и глубокий труд индийского учёного поможет росту национального самосознания в арабских странах, мужественной борьбе народов Востока за полное освобождение от ига колониализма.

А. НИКОЛАЕВА.

★

### Жан Поль Марат — теоретик уголовного права

Имя «друга народа» Марата, выдающегося деятеля французской буржуазной революции, одного из вождей якобинцев, которых Ленин назвал «представителями самого революционного класса XVIII века, городской и деревенской бедноты», знакомо широким общественным кругам. Но не всем известно, что Жан Поль Марат был не только выдающимся революционером, но и крупным и разносторонним учёным. Он занимался медициной, написал много работ по философии, глубоко изучал проблемы уголовного права.

Ещё в предреволюционные годы Марат разработал уголовно-правовую теорию, направленную к защите народных интересов. В период революции он ещё глубже и острее ставит вопросы борьбы с врагами народа и разоблачает реакционный характер классово-юстиции. В буржуазной литературе уголовно-правовым воззрениям Марата уделено мало внимания; при этом научный и политический облик пламенного якобинца часто предстаёт в оценке буржуазных теоретиков искажённо. В советской юридической литературе работы Марата также ещё систематически не исследованы.

Профессор А. А. Герцензон поставил перед собой нелёгкую и интересную задачу: ознакомить советского читателя с Мара-

том — исследователем и творцом оригинальных теорий уголовного права.

Вслед за общей характеристикой прогрессивных уголовно-правовых теорий периода, предшествовавшего французской буржуазной революции XVIII века, и кратким очерком жизни и политической деятельности Жана Поля Марата следуют главы, подробно характеризующие и анализирующие развитие уголовно-правовых воззрений одного из крупнейших деятелей революции. Большой интерес, в частности, представляет глава «Марат и разоблачение контрреволюционных преступлений».

Впервые вопросы уголовного права освещены были Маратом в «Романе сердца», опубликованном в 1747 году. В этой работе Марат разоблачает террористическую политику государей, направленную во вред народным массам. «Государь, — писал Марат, — должны быть исполнителями законов. Но они предпочли стать над законами и превратили своих подданных в рабов».

В «Романе сердца» Марат подвергает острой критике законодательную деятельность Екатерины II. Он пишет: «По её повелению было составлено новое уложение, но позаботилась ли она о торжестве законности? Не остаётся ли она всемогущей вопреки законам?.. Не предписывает ли оно (уложение. — А. Т.) по-прежнему ужасающие казни за малейшие провинности?» Разоблачая реакционную политику Екатерины, Марат указывает, что, не заботясь о

А. А. Герцензон. Уголовно-правовая теория Жана Поля Марата. Редактор А. М. Яковлев. 248 стр. Юридическое издательство. М. 1956.



благе народа, императрица «содействовала лишь его разорению, лишая земли земледельцев... и вырывая у остающихся тощие плоды их трудов для удовлетворения тщеславия и любви к пышности».

В 1774 году Марат опубликовал в Лондоне на английском языке новую работу «Цепи рабства», в которой широко освещает и вопросы уголовного права. Здесь удары автора направляются против преступных действий «сообщников» правительства. Марат пишет: «Шайка спекулянтов, как и товарищества торговцев, капиталистов, откупщиков, ростовщиков, скупщиков, биржевых маклеров, ажиотёров, бездельников, вымогателей, вампиров и кровопийц народа находятся обычно во всех странах в тесной связи с правительством и становятся его самыми ревностными помощниками».

В 1777 году Бернское экономическое общество объявило, по инициативе Вольтера, конкурс на разработку проекта нового уголовного кодекса. В конкурсе приняли участие сорок четыре автора, в том числе и Марат. Работа Марата премии не получила, но составленный им «План уголовного законодательства» был в 1780 году опубликован. «Да погибнут же, наконец, — восклицает Марат, — эти основанные на произволе законы, созданные для благополучия нескольких индивидов во вред роду человеческому; да погибнут также эти гнусные различия, которые делают одни классы народа врагами других и которые приводят к тому, что массы должны сокрушаться по поводу благополучия ничтожного меньшинства, а ничтожное меньшинство должно бояться благополучия масс».

Очень интересны и для своего времени радикальны соображения Марата об отдельных видах преступлений. Так, «оскорбления величества», каравшиеся самыми суровыми наказаниями, заслуживают, по мнению Марата, лишь денежных наказаний или объявления виновного плохо воспитанным. Но когда речь идёт о «подлинных государственных преступлениях», направленных против народа, Марат требует суровых наказаний. Решительно отвергая прочно господствовавшие в феодальном законе и суде санкции за религиозные преступле-

ния, он рекомендует установить в качестве наказания за богохульство арест на три дня, за кражу «священных вещей» — пятикратное возмещение их стоимости и т. д.

При построении системы наказаний Марат правильно отмечает: «Сурово наказывать лёгкие нарушения законов — значит напрасно пользоваться авторитетом власти... что же останется ей для обуздания крупных злодеев?»

Однако «лестница» наказаний сохраняет у Марата следы средневекового варварства. Его «План» предусматривает и особо мучительную казнь и чудовищные телесные наказания — отрубание пальцев руки. Этого наказания Марат, в частности, требует для дуэлянтов. При оценке системы теории террористических наказаний, рекомендуемых Маратом, необходимо иметь в виду указание Маркса, что «Весь французский терроризм был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством».

Оценивая уголовно-правовые воззрения Марата, следует отметить принципиальное их отличие от тогдашних буржуазных теорий, служивших интересам шедшей к власти буржуазии. Марат использовал уголовно-правовые требования и лозунги буржуазных идеологов, придав им совершенно иной классовый смысл и повернув остриё репрессий против контрреволюционных сил.

Уголовно-правовая теория Марата, как правильно отмечает профессор Герцензон, отвечала интересам трудящегося и эксплуатируемого народа в той мере, в какой классовые интересы трудящихся масс уже могли быть ими осознаны и противопоставлены классовым интересам буржуазии. Уголовно-правовая теория Марата, полная глубокой ненависти к эксплуататорам, беспощадно разоблачает их преступления против народа и в то же время стремится развивать революционное правосознание угнетённых и эксплуатируемых.

Работу А. Герцензона, хорошо построенную и содержательную, с интересом и пользой прочтут не только юристы, но и широкие круги советских читателей.

*Член-корреспондент Академии наук СССР*  
**А. ТРАЙНИН.**

## Лицо страны

Трудно не согласиться с законным раздражением широкого советского читателя, лишённого возможности приобрести альбомы пейзажей родной природы. Это тем обиднее, что наши фотомастера создали множество замечательных произведений, отражающих черты лица нашей Родины. Время от времени мы знакомимся с ними на редких фотовыставках. Но едва ли сотая часть этих произведений публиковалась иллюстрированными журналами.

Лишь в 1955 году начали выходить фотоальбомы Географгиза и Изогиза. Об одном из них, представляющем незаурядное явление, мы и хотим рассказать.

Речь пойдёт об альбоме, созданном научными сотрудниками Музея земледелия МГУ имени Ломоносова. По замыслу составителей, альбом должен отражать величие, красоту и богатство природы СССР, раскрывать многообразие путей освоения естественных сокровищ в интересах социалистического общества, показывать многогранность ресурсов народного хозяйства и влияние экономики на изменение ландшафта. Решить такие сложные задачи не так-то легко, пользуясь в основном только пейзажными картинками.

В основу группировки иллюстраций составители положили деление территории СССР не по республикам, а по природным областям. Иное решение неизбежно привело бы к ненужному дублированию показа сравнительно сходных черт пейзажа в смежных республиках Прибалтики и Закавказья, юга Белоруссии и севера Украины и пр. Композиция же, принятая составителями, позволила раскрыть специфические особенности каждой из природных областей.

Альбом, состоящий из шести разделов, начинается с фоторассказа о природе Русской равнины. Перед нами проходят её леса, роши, реки, перелески, степи, заповедники, болота, морские берега, озёра, каналы...

Но пейзаж не является самоцелью. Он одушевлён присутствием человека, который вводится в ландшафт не для «масштаба» или «оживления» природы, а как её преобразующая сила.

«Природа нашей Родины». Фотоальбом. Ответственный редактор академик Д. И. Щербанов. Художник Н. С. Трошин. 208 стр. Географгиз. М. 1955.

Многие иллюстрации свидетельствуют, что природная красота не уничтожается в результате вмешательства человека, но становится ещё более впечатляющей, — об этом говорят плотины гидростанций, полноводные каналы, новые «моря», лесные полосы в степной зоне, хлопковые массивы в Средней Азии, рисовые поля на Кубани, чайные плантации и бамбуковые рощи на Черноморском побережье Кавказа. Чудесно гармонируют с пейзажем стада на высокогорных лугах Алтая, на выгонах Ставрополя, в степях Молдавии и в пустыне Каракумы.

В альбоме мы встретим памятные и дорожные сердцу каждого из нас Горки Ленинские, Ясную Поляну, поленовские места на Оке, короленковские — на Полтавщине. Среди памятных мест есть и пейзажи, являющиеся своеобразными «героями» литературных произведений, — Бежин Луг, Казбек, Терек, долина Арагви. Стоит пожалеть, что нет в альбоме аксаковских ландшафтов Башкирии, тем более, что Заволжье вообще показано весьма скудно.

Очевидно, неплохо было бы дополнить список пейзажей-«героев» фотоснимками некоторых исторических плацдармов — Куликова поля, Чудского озера, степи под Полтавой, Бородинского поля, подступов к Севастополю, Сиваша, волочаевских сопков, степей под Сталинградом, овеянных славою памятных битв за становление, независимость и свободу Родины.

Многие фотоснимки, обобщающие и раскрывающие типические черты отдельных областей страны, могут служить прекрасным учебным пособием при изучении географии. Наряду с ними составители поместили ряд фотоснимков уникальных объектов: погасший вулкан Кара-Даг в Крыму, водопад Кивач в Карелии, ворота Тамерлана в Средней Азии, ишимбаевские «шиханы», «столбы» под Красноярском, долина гейзеров на Камчатке, безусловно достойные запоминания и по своей живописности и по исключительности явлений.

Очень хорошо, что природа страны показана в различное время года и в самых разнообразных условиях: красота зимы запечатлена в отличных фотоснимках Подмосковья, Хибин, Западного Кавказа, о весне рассказывает и лирическая «весна воды» в Подмосковье и «весна в пустыне» с цветущими эремурусами. Большая часть фотоснимков относится, разумеется, к летнему

периоду — чудесны ясные летние дали белорусских пейзажей, чёткий сухой полдень в лесу, вечерние ландшафты Литвы, утренний туман в ущелье Кавказа, заход солнца на Аральском море. Жаль, что так бедно отражена осень: ведь её можно было бы дать не только в аспекте уборки урожая, но и в самой её осенней сущности — с бурным листопадом, сквозными лесами и тяжёлыми тучами.

Это тем более досадно, что альбом не лакирует природу. Мы видим её и хмурой и даже грозной — вот собирается гроза над Сейдозером, суровым холодом дышат ледники, ползущие в тёплые долины, мощные облака сернистых газов и пепла вздымаются над кратером вулкана Сарычева.

Однако некоторый элемент слащавости, ничуть не уступающий лакировке, в альбоме всё же наличествует. «Конфетность» и «прилизанность» фотоснимков относится главным образом к нашим курортным местам. Снимков этих не много, но они отнюдь не украшают альбома и свидетельствуют о том, что составители вынуждены были не заказывать иллюстрации, а подбирать их из уже готового и подчас устарелого материала.

Это нельзя признать нормальным рабочим методом для таких ответственных изданий. Культура фотоиллюстрирования географической литературы у нас, к сожалению, стоит ещё на очень низком уровне. Издательства экономят на иллюстрациях, считая их фактором приводящим и совсем не равноценным тексту, хотя иная иллюстрация способна «рассказать» читателю больше, нежели самое пространное «картинное» описание. Весьма жаль, что Географгиз, выпуская альбом, где доминирующим фактором являются иллюстрации, всё же отнёсся к ним с традиционных «экономических» позиций к вящему вреду для издания.

Часть замечательных фотоснимков, известных читателям по прежним публикациям, испорчена возмутительным «кадрированием». Это «кадрирование» фотоснимков, к которому часто прибегают наши издательства, следует осудить безоговорочно, особенно когда речь идёт о талантливом фотоэтуде или фотокартине. Но художественные редакторы без зазрения совести отрезают кусок «лишнего неба» или «лишней земли», подгоняя фотоснимок под необходимый им размер. В результате такого

варварского обращения были зарезаны в прямом и переносном смысле слова снимок Хибин Ю. Багрянского и превосходный пейзаж рисовых полей на Кубани С. Раскина. Полные воздуха и света фотоснимки стали приземистыми, тёмными, невыразительными, потому что было убрано «лишнее небо».

Особое место занимает текст. Он написан одним из составителей фотоальбома Ю. Ефремовым. Лаконичны и содержательны поэтические введения к каждому разделу альбома. Предельно скупые подписи, сопровождающие иллюстрации, органически слиты с ними и помогают «прочитать» фотоснимок, порой обогащая читателя расшифровкой малоизвестного географического понятия: так, читатель узнаёт, что «шиханы» Предуралья — это остатки коралловых рифов древнего тёплого моря, «бараньи лбы» в Карелии — скалы, сглаженные древним ледником, и т. п.

Но объяснены, к сожалению, далеко не все специфические термины, а предельный лаконизм подписей подчас оставляет читателя неудовлетворённым. Разумеется, нет смысла давать под иллюстрациями громоздкие подтекстовки, однако их можно было бы вынести в заключительную часть альбома, как это делается во многих аналогичных изданиях за рубежом.

Круг людей, интересующихся таким фотоальбомом, чрезвычайно широк и не ограничивается рубежами нашей страны, где вряд ли мы найдём хотя бы одного человека, который не мечтал бы познакомиться с обликом любимой Родины. Особо следует подчеркнуть, что такое издание выходит у нас в СССР впервые, и надо полагать, что подобного рода альбомы появятся в ближайшее время по отдельным частям страны — по Кавказу, Казахстану, Западной и Восточной Сибири, по Средней Азии и Дальнему Востоку.

Тираж фотоальбома «Природа нашей Родины» до смешного ничтожен (20 тысяч экземпляров). Вряд ли можно сомневаться в том, что альбом будет переиздан. И в этой связи нам хотелось бы высказать несколько пожеланий.

Последующее издание должно быть обязательно обогащено индустриальными пейзажами, выразительно меняющими природу крупных районов страны, — стоит лишь вспомнить характерные ландшафты Донбасса, Второго Баку, Воркутинского бассейна, Урала или центрально-промышлен-

ного района... Отсутствие таких пейзажей обедняет фотоальбом, искажая тем самым истинный облик индустриальной мощи нашей страны.

По укоренившейся привычке, выродившейся в дурную традицию, фотоальбом полностью лишён географических карт. Об этом бескультурье, проявляемом при издании географической литературы, писалось уже не однажды, но, к сожалению, ничего дныне не изменилось. Фотоальбому же карты попросту необходимы. Они помогли бы читателю узнать географические точки, где производились фотосъёмки пейзажей, воспроизведённых в альбоме.

В ближайшем же издании альбома нужно обязательно отразить сдвиг наших экономических интересов на Восток. Казахстану и Сибири следует отвести значительно большую площадь в фотоальбоме, со страниц которого должен прозвучать подлинный гимн сказочно богатой природе восточных районов страны. В этом разделе найдут своё место и природные особенности районов крупных новостроек и новые производства, которые по масштабам своим становятся весомым фактором пейзажа: открытые разработки полезных ископаемых, гидроэнергетическое строительство на великих

азнатских реках, прокладка новых стальных и шоссейных магистралей. Пожалуй, было бы совсем не плохо в разделе той же Русской равнины показать наряду с пейзажами, рождёнными новыми «морями», и пейзажи недавнего прошлого. Это было бы наглядным примером великих возможностей, которые дала нашему народу Советская власть и Коммунистическая партия.

Надо надеяться также, что и полиграфический уровень последующих изданий альбома будет более высоким. Далеко не в нашу пользу сравнивать качество печати продукции Географгиза с лейпцигскими или пражскими изданиями. Но фотоальбом Географгиза намного лучше выпущенных Изогизом альбомов, посвящённых Крыму, Минеральным Водам и Черноморскому побережью Кавказа, в которых цветные фото исполнены на удручающе низком полиграфическом уровне, напоминающем олеографии прошлого века.

Последнее наше пожелание — предельно удешевить стоимость фотоальбома «Природа нашей Годины». Его познавательная ценность, увлекательность и высокий научный уровень, несомненно, обеспечат ему широкую популярность и долгую жизнь.

**Иван СЕРГЕЕВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. ТАЙМИ.** Страницы пережитого. «Молодая гвардия». М. 1956. 256 стр. Цена 5 р. 35 к.

На первой странице этой книги есть такие слова: «Нашей молодёжи, юным строителям коммунизма, посвящается эта книга». Автор Адольф Петрович Тайми — один из представителей старой большевистской гвардии. О своей жизни, наполненной борьбой за счастье народа, о деятельности своих друзей и соратников — русских и финских революционеров — поведал автор молодому поколению со страниц книги.

Ещё в 1902 году юный тогда Тайми — рабочий петербургского завода — стал членом Российской социал-демократической партии. Аресты, тюрьмы, ссылки не сломили духа стойкого большевика. В Петербурге, в Финляндии, в туруханской ссылке не прекращает он революционной деятельности. Тайми рассказывает о своей встрече в Луганске с К. Е. Ворошиловым, о дружбе с Я. М. Свердловым, о знакомстве с Н. К. Крупской, о том, какой глубокий след в его душе оставил разговор с Лениным в феврале 1918 года.

Первые книга «Страницы пережитого» была издана в 1949 году Государственным издательством Карело-Финской ССР.

**АВГУСТ ЯВИЧ.** Утро. Роман в двух книгах. «Советский писатель». М. 1956. 576 стр. Цена 10 р. 5 к.

Августовским утром 1918 года начинается действие романа Августа Явича «Утро». Герой романа, журналист Андрей Руднев, проходит сквозь горнило гражданской войны, которая выковывает его характер, характер революционера-большевика.

Явич рассказывает о судьбах интеллигенции в революции, о людях и семьях, вчера ещё близких друг другу, а сегодня оказавшихся на разных полюсах борьбы. Разлом среди интеллигенции А. Явич изображает на фоне общенародной борьбы, в тесной связи с ней.

Писатель показывает политический и моральный развал белогвардейского лагеря, создаёт вереницу образов бывших хозяев России, рвущихся к потерянной власти.

В романе много свежих, живых картин жизни и быта России того времени.

**Н. А. МАЛАХОВ.** Хопёр в огне. Литературная запись Л. М. Субоцкого. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. М. 1956. 312 стр. Цена 6 р. 50 к.

«События и люди, изображённые в этой книге, не выдуманы — они взяты из жизни

одного из округов Донской области в 1905—1918 гг.», — говорит Н. А. Малахов в авторском предисловии.

«Хопёр в огне» — это воспоминания «солдата революции», прошедшего путь до командира отрядов Красной Армии Хопёрского округа.

Жизнь автора настолько тесно спаяна с революцией, что его книга выходит далеко за рамки автобиографической повести и превращается в своего рода исторический документ. Интересно и живо рассказывает Н. А. Малахов о быте казацкого хутора, о работе революционного подполья, о героических буднях Красной Армии, о тех революционерах-большевиках, с которыми свела судьба автора повести. Памяти этих людей, погибших за дело революции, посвящает Н. А. Малахов свою книгу.

**В. КАТАНЯН.** Маяковский. Литературная хроника. Издание третье, дополненное. Гослитиздат. М. 1956. 504 стр. Цена 16 р. 80 к.

Эта летопись жизни и трудов Владимира Маяковского давно уже стала необходимым пособием для каждого, кто интересуется его творчеством.

По сравнению с двумя первыми изданиями («Советский писатель», 1945 и 1948) книга обогатилась новыми материалами. Она включает теперь все полицейские донесения о Маяковском (1908—1909 годов), новые данные о выступлениях поэта в Москве и других городах до, и особенно после, революции. Интересны выдержки из дневника писателя Б. Лазаревского — о встречах Маяковского с Репиным, Куприным, отрывки из воспоминаний о поэте С. Прокофьева, Д. Фурманова, высказывания А. Луначарского, письмо М. Цветаевой.

Любопытны приведённые в книге ответы Маяковского на вопросы редакции журнала «Жизнь искусства», где он, между прочим, говорит, что «лаборатория — это жизнь и мозг всякого ремесла».

Читатель найдёт в книге выдержки из воспоминаний о Маяковском Д. Шостаковича и Вс. Мейерхольда (эти воспоминания, уже публиковавшиеся ранее, почему-то напечатаны недавно в «Литературной газете» как «Новое о Маяковском»).

Оформление нового издания книги выгодно отличается от прежних её изданий в

«Советском писателе» — новые фотографии, большой их размер, чёткость изображения.

**ИНДОНЕЗИЙСКИЕ СКАЗКИ.** Перевод с индонезийского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 240 стр. Цена 4 р. 10 к.

Молодая Индонезийская республика — страна очень древней культуры. Особенно богат её фольклор. Деятели индонезийской культуры тщательно собирают и изучают сказки и легенды многочисленных народов и народностей, населяющих их многонациональную и многоязычную страну.

Сборник «Индонезийские сказки», изданный Гослитиздатом, — первая и весьма удачная попытка познакомить нашего читателя с народным творчеством индонезийцев. Легенды и сказки, собранные в нём, очень поэтичны и разнообразны по теме.

Очень интересны самые популярные в Индонезии сказки о хитроумном канчиле (канчиль — яванская карликовая лань). Эти сказки высмеивают вероломство, жадность, жестокость и другие человеческие пороки.

Предисловие к сборнику (принадлежащее перу составителя и переводчика В. Островского), краткое и очень живо написанное, даёт яркое, осязаемое представление о стране, её народе, его истории и культуре.

**А. С. ЕСАУЛЕНКО.** Революционный путь Г. И. Котовского. Государственное издательство Молдавии. Кишинёв. 1956. 156 стр. Цена 3 р. 45 к.

Легендами овевана жизнь Григория Ивановича Котовского. И, как ни странно, до сих пор мало, очень мало написано о нём. Автор поставил своей целью в известной мере восполнить этот пробел. Особое внимание он уделил боевому пути Котовского и руководимой им бригады на фронтах гражданской войны. Книга основана на первоисточниках: автор широко использовал документы центральных и местных архивов.

**В. ЛЕВИЦКИЙ.** Константин Суханов. Председатель первого Владивостокского Совета. Приморское книжное издательство. Владивосток. 1956. 116 стр. Цена 1 р. 40 к.

«Мы должны вспомнить первого председателя Владивостокского Совета — погибшего товарища Суханова. Многие здесь знают его твёрдую волю и светлый ум, знают, что он был вождем владивостокского пролетариата... Он исполнил свой долг и стоял на своём посту до конца...» Эти слова из речи С. Лазо на заседании Владивостокского Совета 3 апреля 1920 года автор взял эпиграфом к историко-биографическому очерку о Константине Суханове — одном из руководителей большевиков и организаторов Советов на Дальнем Востоке в 1917—1918 годах.

По сохранившимся документам и по воспоминаниям старых большевиков автор су-

мел воссоздать одну из славных страниц революционной истории Дальневосточного края.

**И. А. ГЛАДКОВ.** Очерки советской экономики 1917—1920 гг. Госполитиздат. М. 1956. 504 стр. Цена 12 р. 50 к. ●

Русь станет действительно могучей и обильной, писал В. И. Ленин в марте 1918 года, «если отбросит прочь всякое уныние и всякую фразу, если, стиснув зубы, соберет все свои силы, если напряжет каждый нерв, натянет каждый мускул...». Ленин призывал трудящихся «собрать камень за камушком прочный фундамент социалистического общества...»

«Очерки советской экономики», охватывая первое трёхлетие после Великой Октябрьской революции, показывают, как Коммунистическая партия и Советское государство, основываясь на ленинской программе социалистического преобразования России, создавали советскую систему хозяйства.

Автор рассказывает о политике «военного коммунизма» в период интервенции и гражданской войны. Заключительный раздел книги посвящён характеристике ленинского плана электрификации страны — «второй программы» Коммунистической партии — и началу претворения её в жизнь.

**СЕРГЕЙ НАПАЛКОВ.** Рассказ о далёких странах. Военное издательство. М. 1956. 256 стр. Цена 5 р. 35 к.

Англия. Египет Гавайские острова. Народный Китай... Автор, побывавший в этих странах, подробно рассказывает об их жизни и быте.

Содержание книги весьма разнообразно. Читатель найдёт здесь много наблюдений и обобщений, зарисовки характерных сценок, описание достопримечательностей. Путевые впечатления дополняются рядом исторических экскурсов.

Запоминаются страницы, посвящённые поездке по египетским городам. Египтяне, говорится в книге, начинают всё лучше разбираться в истинном смысле империалистических интриг. Один из клерков, оформлявший судовые документы на Суэцком канале, в беседе с автором воскликнул: «Народы Африки теперь уже не те, что были во времена колониальных завоеваний!»

Книга написана живым, образным языком, снабжена выразительными иллюстрациями.

**КОЛХОЗЫ НА ПОДЪЕМЕ.** Сельхозгиз. М. 1956. 160 стр. Цена 2 р. 5 к.

Книга состоит из десяти статей работников сельского хозяйства, освещающих примеры передового опыта. Авторы статей доходчиво рассказывают о том, чего можно добиться всего лишь за один год при правильной организации сельскохозяйственного производства.

Сборник открывается статьёй министра сельского хозяйства УССР М. Спивака «Колхозы Украины в 1955 году».

## Сдаются в печать...

Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС наметил ряд мероприятий по расширению своей научно-исследовательской и издательской деятельности.

Над какими же изданиями ведётся работа в секторах Института, готовящего к сорокалетию годовщины Великого Октября выпуск целого ряда книг?

Институт приступает к переизданию важнейших документов — протоколов и стенографических отчётов всех съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза. Эти исторической важности документы давно уже стали библиографической редкостью, а некоторые из них вообще не излавались, сохранившись лишь в стенографической записи. В первую очередь будут изданы материалы I, II, VI съездов партии и VII Апрельской партийной конференции.

Готовится ряд документальных сборников, раскрывающих деятельность Центрального Комитета партии, В. И. Ленина в период подготовки Октябрьской революции, в Октябрьские дни и в период социалистического строительства.

Среди этих сборников наибольший интерес представляют «Протоколы ЦК РСДРП (март 1917 г. — февраль 1918 г.)», «Переписка ЦК РСДРП с местными партийными организациями (март 1917 г. — июль 1918 г.)», «Коммунистическая партия в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции (февраль 1917 г. — октябрь 1917 г.)», «Важнейшие решения ЦК КПСС по хозяйственным вопросам», начиная с октября 1917 года.

Совместно с Институтом истории Академии наук СССР Институт марксизма-ленинизма готовит сборник «Декреты Великой Октябрьской социалистической революции». В первый том этого сборника войдут документы с октября 1917 года по март 1918 года, во второй том — с марта по июль 1918 года. В сборнике найдут место все важнейшие декреты Советской власти, начиная с декретов о мире и о земле, ознаменовавших начало существования Советского государства.

Ведётся работа по подготовке к изданию произведений видных деятелей партии — Г. К. Орджоникидзе (второй том), Ф. Э. Дзержинского, М. И. Калинина, С. Г. Шаумяна, а также их биографий.

Готовится «Сборник воспоминаний активных участников Великой Октябрьской социалистической революции» (в двух томах). В первый том будут включены воспоминания участников вооружённого вос-

стания в Петрограде и в Москве (ряд из них публикуется впервые). Во второй том войдут воспоминания о революционных событиях 1917 года в важнейших центрах страны.

К сорокалетию Октября выйдет в свет сборник научных статей, посвящённых Великой Октябрьской социалистической революции, основанных на новых архивных документах. Авторами статей являются сотрудники Института марксизма-ленинизма и его филиалов в союзных республиках. К участию в сборнике привлекаются и авторы из стран народной демократии.

Вскоре будет сдан в производство дополнительный, 36-й том четвертого издания Собрания сочинений В. И. Ленина. В этот том войдут произведения, помещённые в третьем издании Собрания сочинений, но не напечатанные в четвёртом, а также некоторые новые документы.

С новыми документами читатели познакомятся и в XXXVI Ленинском сборнике, охватывающем период 1917—1922 годов.

Готовится к сдаче в производство новое издание книги «Письма к родным» В. И. Ленина, куда вошли и ранее не издававшиеся материалы.

Начата подготовка нового издания «Краткой биографии В. И. Ленина» (объёмом в 20 листов), а также массового издания биографии В. И. Ленина (объёмом в 4 листа).

Ведётся работа над сборником «Ленин об Октябрьской социалистической революции».

В конце этого года должен выйти в свет второй том «Воспоминаний о В. И. Ленине».

Подготовлены к изданию три тома «Истории гражданской войны в СССР», охватывающие период с октября 1917 года по 1922 год. Важнейшие события этой эпохи рассматриваются с привлечением не известных до сих пор источников. Широко освещается роль Центрального Комитета Коммунистической партии в деле организации разгрома иностранных интервентов, значение первых партийных мобилизаций на фронт. Читатель познакомится со многими ранее ему не известными героями гражданской войны. Во всей полноте показана руководящая и направляющая деятельность великого Ленина.

Готовится к сдаче в производство библиографический указатель большевистской периодической печати (февраль—октябрь 1917 года), необходимость в котором давно назрела.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О национальном и национально-колониальном вопросе. 600 стр. Цена 8 р. 75 к.

**Листовки большевистских организаций в первой русской революции 1905—1907 гг.** Часть 2. 600 стр. Цена 12 р. 85 к.

**А. А. Андреев.** О Владимире Ильиче Ленине. 56 стр. Цена 80 к.

**Вопросы марксистско-ленинской эстетики.** 376 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Всемирная ассамблея мира. Хельсинки 22—29 июня 1955 г.** 784 стр. Цена 12 р.

**А. И. Малыш.** Трудящиеся Западной Германии под гнетом монополий. 176 стр. Цена 2 р. 80 к.

**М. Москалёв.** В. И. Ленин в последние годы жизни. 100 стр. Цена 1 р. 20 к.

**П. Никитин.** Репортаж о Югославии. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Фёдор Панфилов.** Богатырский размах. 56 стр. Цена 55 к.

**Л. И. Петрова.** Международная демократическая федерация женщин за мир, равноправие женщин и счастье детей. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

**А. Шваков и В. Богословский.** Независимый Египет. 64 стр. Цена 80 к.

**Д. Т. Шенилов.** Суэцкий вопрос. 88 стр. Цена 1 р.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Белишвили.** Рассказы. Перевод с грузинского. 220 стр. Цена 4 р. 15 к.

**К. Бгажба, К. Зелинский, Д. Гулиа.** Критико-биографический очерк. 156 стр. Цена 2 р. 55 к.

**Б. Бурсов.** Мастерство Чернышевского-критика. 340 стр. Цена 7 р. 70 к.

**А. Вергелис.** Жажда. Стихи и поэмы. Перевод с еврейского. 120 стр. Цена 2 р.

**Горький и вопросы советской литературы.** Сборник статей. 484 стр. Цена 11 р. 10 к.

**В. Закруткин.** Сотворение мира. Роман. Книга 1-я 760 стр. Цена 14 р. 60 к.

**К. Зелинский, А. Фадеев.** Критико-биографический очерк. 240 стр. Цена 3 р. 75 к.

**В. Иванов.** Путь к Алмазной горе. Повести. 496 стр. Цена 10 р. 15 к.

**А. Кошгейн.** Стихотворения. Перевод с украинского 176 стр. Цена 3 р.

**С. Крыжановский, М. Рыльский.** Критико-биографический очерк. 176 стр. Цена 2 р. 85 к.

**А. Кушноров.** Избранное. Стихи и поэма. Перевод с украинского. 180 стр. Цена 3 р.

**К. Лапин.** Очерки и рассказы. 272 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Л. Ленч.** С точки зрения реализма Рассказы. 204 стр. Цена 3 р. 60 к.

**А. Марков.** Ветер в лицо. Стихи 1940—1955. 156 стр. Цена 2 р.

**В. Саянов.** Страна родная Роман. 438 стр. Цена 8 р.

**И. Семпер.** Красные гвоздики Роман. Перевод с эстонского. 440 стр. Цена 7 р. 70 к.

**В. Смирнова.** О литературе и театре. Статьи. 412 стр. Цена 9 р. 90 к.

**Л. Тоом, А. Якобсон.** Критико-биографический очерк. 180 стр. Цена 3 р.

**Г. Фиш.** Земля и хлеб. Очерки. 400 стр. Цена 4 р. 35 к.

**А. Якобсон.** Рассказы. Перевод с эстонского. 500 стр. Цена 8 р. 20 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Бела Иллеш.** Карпатская рапсодия. Роман. Перевод с венгерского. 568 стр. Цена 10 р. 60 к.

**Рашид Нигмати.** Звезда над городом. Стихотворения. Перевод с башкирского. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Конст. Симонов.** На литературные темы. Статьи 1937—1955. 356 стр. Цена 8 р. 80 к.

**Семён Скляренко.** Карпаты Роман. Книга вторая. Авторизованный перевод с украинского 436 стр. Цена 8 р. 25 к.

**Словацкие рассказы.** Перевод со словацкого. 160 стр. Цена 2 р.

**Юрий Смолич.** Рассвет над морем. Роман Авторизованный перевод с украинского Книга 1 и 2. 684 стр. Цена 5 р. 20 к.

**А. А. Фет.** Стихотворения. 380 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Хафиз.** Лирика. Перевод с фарси. 136 стр. Цена 2 р. 25 к.

**Мариэтта Шагинян.** Собрание сочинений. В шести томах. Том I. 656 стр. Цена 11 р.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**и. Горелик.** Точная позиция. Рассказы и очерки. 248 стр. Цена 5 р. 15 к.

**Н. Евдокимов.** И снова в луть. Повесть. 264 стр. Цена 5 р. 45 к.

**В. Кассис.** Свободная юность Очерки о молодёжи Китайской Народной Республики. 136 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Илья Лавров.** Несмолкающая песня. Рассказы. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Аркадий Первенцев.** Шестнадцатая весна. Рассказы. 208 стр. Цена 4 р. 40 к.



**Иван Стаднюк.** Люди с оружием. Повести и рассказы. 472 стр. Цена 8 р. 50 к.

**У Юнь-до.** Всё для партии. Перевод с китайского. 168 стр. Цена 4 р. 30 к.

**С. Шуртаков.** Трудное лето. Повесть. 392 стр. Цена 7 р. 20 к.

### ДЕТГИЗ

**Р. Бершадский.** Путь к подвигу. Рассказы. 120 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Г. Гуревич.** Подземная непогода. Научно-фантастическая повесть. 224 стр. Цена 5 р. 95 к.

**В. Жукровский.** Похищение в Тютюрлистане. Авторизованный перевод с польского. 184 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Р. Киплинг.** Сказки. Перевод с английского. 168 стр. Цена 3 р. 30 к.

**Р. Ланкаускас.** Луна и кузнечики. Повесть. Перевод с литовского. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Л. Пантелеев.** Рассказы. 176 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Птичий язык.** Корейские народные сказки. 64 стр. Цена 1 р. 5 к.

**О. Туманян.** Царь Чах-Чах. Сказки. Перевод с армянского. 80 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Л. Фридланд.** Высокое искусство. Рассказы. 196 стр. Цена 3 р. 95 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Академику Виктору Владимировичу Виноголадову к его 60-летию.** Сборник статей. 311 стр. Цена 18 р. 15 к.

**П. А. Баранов.** В тропической Африке. 274 стр. Цена 11 р.

**М. С. Строгович.** Проверка законности и обоснованности судебных приговоров. 319 стр. Цена 12 р. 10 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

**Вопросы психологии обучения и воспитания в школе.** 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Ф. Зуев.** Педагогические труды. 148 стр. Цена 4 р. 40 к.

**Методика работы с учащимися на школьном учебно-опытном участке.** 686 стр. Цена 10 р. 35 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Нгуен Ван Бонг.** Буйвол. Повесть. Перевод с вьетнамского. 160 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Очерки по новой истории Китая.** Перевод с китайского. 175 стр. Цена 3 р. 55 к.

**Чезар Петреску.** Приезжай, посмотри! Перевод с румынского. 170 стр. Цена 4 р. 70 к.

**В. Раймонд.** Рабеманандзара — Мадагаскар. История мальгашской нации. Перевод с французского. 230 стр. Цена 7 р. 20 к.

**Тейн де Фрис.** Рембрандт Перевод с голландского. 310 стр. Цена 10 р.

**Джон Хант.** Восхождение на Эверест. Перевод с английского. 294 стр. Цена 18 р. 45 к.

**Мотицура Хасимото.** Потопленные. Японский подводный флот в войне 1941—1945 гг. Перевод с английского. 231 стр. Цена 7 р. 80 к.

**Цин Жу-цзи.** История американской агрессии на Тайване. Перевод с китайского. 142 стр. Цена 2 р. 80 к.

### МЕДГИЗ

**Н. Ш. Мелик-Пашаев.** Предупреждение ранней старости. 52 стр. Цена 80 к.

**Д. М. Российский.** История всеобщей и отечественной медицины и здравоохранения. 940 стр. Цена 43 р. 25 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**День поэзии.** Сборник стихов. 201 стр. Цена 10 р. 25 к.

**Коммунисты в борьбе за технический прогресс.** Из опыта работы партийных организаций предприятий и научно-исследовательских институтов Москвы и Московской области. Сборник статей. 255 стр. Цена 4 р. 45 к.

---

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**Б. Н. Агапов** (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,  
**А. Ю. Кривицкий** (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,  
**М. К. Луконин**, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

---

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

---

Сдано в набор 2/Х 1956 г.  
А 13306. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л.

Подписано к печати 27/Х 1956 г.  
л. Тираж 140.000. Заказ № 2168.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР“  
Москва, Центр, площадь Пушкина, 5.

## ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1957 год

на ежемесячный  
литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал  
орган Союза писателей СССР

# ДРУЖБА НАРОДОВ

В журнале «Дружба народов» печатаются — романы, повести, пьесы, рассказы, стихи и поэмы, очерки, публицистические статьи, заметки и библиография.

В 1957 г. в числе других произведений будут опубликованы романы П. Бронни «Когда сливаются реки», Ю. Домбровский «Обезьяна приходит из своего черепом», А. Мухомар «Сестры», М. Стальмах «Хлеб и соль», М. Сулейманова «Шторы», Стихи и поэмы Н. Асеева, Д. Вавраджи, Г. Гудима, Р. Гамзатова, Т. Жаронова, Н. Заболотского, А. Исавалова, С. Кирсанова, В. Казина, М. Миршалара, М. Рыльского, Я. Судрабалина, М. Ташка, А. Твардовского, М. Турсуни-заде, П. Тычнина и др.

Начиная с 1957 года журнал «Дружба народов» будет выходить в увеличенном объеме (14 печ. лист.) с приложениями «БИБЛИОТЕКИ КЛАССИКОВ ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ СССР» в переводах на русский язык.

Программа издания «Библиотек» рассчитана на ряд лет и ставит своей задачей ознакомить широкий круг советских читателей с богатейшим литературным наследием классиков народов СССР и крупнейших советских писателей.

«Библиотека» будет состоять из отдельных выпусков собраний сочинений, которые будут выходить в качестве ежегодных приложений к журналу «Дружба народов».

В «Библиотеку классиков литератур народов СССР» войдут собрания сочинений: Абды, С. Айли, М. Ахундова, А. Вепуолиса, Э. Вильде, Марие Вончок, М. Гафури, А. Каабегги, Шарифа Камала, Якуба Коласа, М. Кошобицкого, И. Крлинге, Яени Кувала, Масмед-сули-заде, П. Мирного, А. Навои, П. Прованца, Я. Райниза, А. Тамисаларе, А. Тушпа, К. Хеттагурова, А. Церетели, Н. Чалчанадзе, Е. Чарокица, А. Ширванзаде, Шолом-Алейхема, Ю. Яновского и др.

В 1957 году подписчики журнала «Дружба народов» получат **ШЕСТЬ** книг «БИБЛИОТЕКИ», в которые войдут:

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
КЛАССИКА УКРАИНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

**Марко  
ВОВЧОК**  
в трех томах

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
КЛАССИКА АРМЯНСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

**Александра  
ШИРВАНЗАДЕ**  
в трех томах

Книги будут изданы в цельнотканевых переплетках. Подписка на «Библиотеку классиков литератур народов СССР» принимается только от годовых подписчиков журнала «Дружба народов».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1957 ГОД:

	На год	На 6 мес.	На 3 мес.
на журнал «Дружба народов» . . . . .	60 р.	30 р.	15 р.
на «Библиотеку классиков литературы народов СССР» . . . . .	66 р.	—	—

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

«Совзупечатью», всеми почтовыми конторами и уполномоченными по приему подписки.